

Н О В Ъ И Т Ы
М И Р

51

Н О В Ъ И Т Ы
М И Р

1960

51



1960

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 5

Май, 1960 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — За далью — даль (Заключительные главы книги)	3
ВИКТОР НЕКРАСОВ — Вторая ночь, рассказ	23
Е. СТЮАРТ — Вы скажете, быть может... Стихотворение	48
ВАСИЛИЙ СУББОТИН — День тысяча четыреста десятый	49
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Голосеевская осень, стихи. Перевели с украинского Ал. Сурков и Мария Комиссарова. Предисловие Леонида Новиченко	63
В. ЛИПАТОВ — Глухая Мята, повесть	69
ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ — Стихи разных лет. Перевели с сербохорватского Б. Слуцкий, М. Ваксмахер, М. Алигер	99
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ИВАН ВИННИЧЕНКО — Русский инженер Гиталов	105
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
М. СТУРУА — Весна 1960 года	130
И. РАДВОЛИНА — К друзьям в Чехословакию!	139
ПУБЛИЦИСТИКА	
Маршал Советского Союза С. БИРЮЗОВ — Летопись мужества и героизма	161
Кандидат химических наук О. ДОБРОЛЮБСКИЙ — Два колоса	167
В МИРЕ ИСКУССТВА	
ЛЕВ ЛЮБИМОВ — Среди сокровищ Эрмитажа	179
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
НАШ ШОЛОХОВ. Жан Каталя. Роман-трагедия и роман-поэма.— Александр Иванов. На экране.— Иван Держинский. В музыке	214
А. СИНЯВСКИЙ — Поэзия и проза Ольги Берггольц	225

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Лебедева. Всей жизнью написанная книга.— В. Гоффеншефер. Великий образ — высокие требования.— С. Образцов. Прочтите эту книгу!— Л. Левицкий. О мещанстве, романтике и просто стихах.— Л. Плоткин. Монография о Вересаеве.— И. Поступальский. Новеллы Владимира Назора.	237
<i>Политика и наука</i>	
А. Копцева. О «Философских тетрадах» В. И. Ленина.— Полковник Н. Денисов. Боевое братство.— А. Лебедев. В борьбе за мир, за счастье людей (У истоков советской дипломатии).— Л. Кюзаджян. Новый журнал советских востоковедов.— Генерал-лейтенант С. Красильников. Еще один глашатай агрессии.— И. Геевский. Баццалы империализма.	258
Трибуна Читателя	
Галина Зинченко. Против бедности чувств	275
О СТАТЬЕ ПРОФЕССОРА П. МАСЛОВА Ю. Жернов, С. Ларин, Н. Болгаров. Нам нужна такая пропаганда — М. Маркович. То, что не входит в ведомость	278
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

ЗА ДАЛЮЮ—ДАЛЬ

(Заключительные главы книги)

К КОНЦУ ДОРОГИ

Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба, что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток.

И Транссибирской магистралью,
Кратчайшим, может быть, путем,
Связала с нашей главной далью
Мой трудный день и легкий дом.

Судьба, понятно, не причина,
Но эта даль всего верней
Сибирь с Москвой сличать учила,
Москву с Сибирью наших дней.

И эти два большие слова,
Чей смысл поистине велик,
На гребне возраста иного,
На рубеже эпохи новой
Я как бы наново постиг.

Я начал песнь моей дороги
С того, как душу мне томил
Бессоньем сдавленной тревоги
Огромный наш немирный мир.

И тем обязан не Москве ли
И не Сибири ли опять
Весь белый свет — что в самом деле
Полегче стало в нем дышать;
Что неусыпной той угрозы
В нем поубавились права.
Да, это верные слова,
Что под оливы и березы
Желанный мир несет Москва...

Я повторю, хотя вначале
О том велась как будто речь,

Что в жизни много всяких далей,
Сумей одной не пренебречь.

Такая даль — твое задание,
Твоя надежда или цель.
И нужды нет всегда за далью
Скакать за тридевять земель.

Они при нас и в нас до гроба —
Ее заветные края.
Хотя со мной вопрос особый,
Как выше высказался я.

С моим заданием в эти сроки
Я свой в пути копил запас,
И возвращался с полдороги,
И повторял ее не раз.

Нехитрым замыслом влекомый,
Я продвигался тем путем,
И хоть в дороге был, хоть дома —
Я жил в пути и пел о нем.

И пусть до времени безвестно
Мелькнул какой-то и прошел
По краю выемки отвесной
Тайги неровный гребешок;

Какой-то мост пропел мгновенно
На басовой тугой струне,
Какой-то, может, день бесценный
Остался где-то в стороне.

Ничто душой не позабыто
И не завянет на корню,
Чему она была открыта,
Как лучшей молодости дню.

Хоть критик мой, вполне возможно,
Уже решил, пожав плечом,
Что транспорт железнодорожный
Я неудачно предпочел:

Мол, этот способ допотопный
В наш век, что в скоростях, не тот,
Он от задач своих, подобно
Литературе, отстает.

Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд, но и посох,
Смотря кому, вполне хорош

И впору высшим интересам,
Что заывают в мир дорог.
А впрочем, авиаэкспрессом
Я и теперь не пренебрег.

Мне этим летом было надо
Застать в разгаре жданный день,
Когда Ангарского каскада
Приспела новая ступень.

И стрелкам времени навстречу
Я устремился к Ангаре,
В Москве оставив поздний вечер
И Братск увидев на заре.

И под крутой скалой Пурсеем,
Как у Иркутска на мсту,
В числе почетных ротозеев
В тот день маячил на посту.

Смотрел, как там, на перемышке,
Другой могучий гидрострой
В июльский день в короткой стычке
Справлялся с Нижней Ангарой...

И, отдавая дань просторным
Краям, что прочила Сибирь,
В наш век нимало не зазорным
Я находил автомобиль.

Так, при оказии попутной,
Я даром дня не потерял,
А завернул в дали иркутской
И в Александровский централ,

Что в песнях каторги прославлен
И на иной совсем поре,
В известном смысле, был поставлен
Едва ль бедней, чем при царе...

Своей оградой капитальной
В глуши таежной обнесен,
Стоял он, памятник печальный
Крутых по-разному времен.

И вот в июльский полдень сонный,
В недвижной тягостной тиши,
Я обошел тот дом казенный,
Не услышав живой души.

И только в каменной пустыне,
Под низким небом потолков,
Гремели камеры пустые
Безлюдным отзвуком шагов...

Уже указом упраздненный.
Он ждал, казенный этот дом,
Какой-то миссии ученой,
И только сторож был при нем.

Он рад был мне, в глуши тоскуя,
Водил, показывал тюрьму
И вслух высчитывал, какую
Назначат пенсию ему...

Свое угрюмое наследство
Так хоронила ты, Сибирь,
И вспомнил я тебя, друг детства,
И тех годов глухую бль...

Но — дальше.
Слава самолету,
И вездеходу — мой поклон.
Однако мне еще в охоту
И ты, мой старый друг, вагон.

Без той оснастки идеальной
Я обойтись уже не мог,
Когда махнул в дороге дальней
На Дальний, собственно, Восток.

Мне край земли, где сроду не был,
Лишь знал по книгам, толку нет
Впервые в жизни видеть с неба,
Как будто местности макет.

Нет, мы у столика под тенью,
Что за окном бежит своя,
Поставим с толком наблюденье
За вами, новые края!

Привычным опытом займемся
В другом купе на четверых.
Давно попутчики-знакомцы
Сошли на станциях своих.
Да и вагон другой. Ну что же:
В пути, как в жизни, всякий раз
Есть пассажиры помоложе,
И впору нам, и старше нас...

Душа полна, как ветром парус,
Какая даль распочата!
Еще туда-сюда Чита,
А завалился за Хабаровск —
Как вдруг земля уже не та.

Другие краски на поверке,
И белый свет уже не тот.
Таежный гребень островерхий
Уже по сердцу не скребнет.

Другая песня —
Краснолесье, —
Не то леса, не то сады.
Поля, просторы — хоть залейся,
Покосы буйны — до беды.

В новинку мне и так-то любви
По заливным долинам рек,
Там-сям в хлебах деревьев купы,
Что здесь не тронул дровосек.

Они как будто наших гуще,
Деревья эти и кусты,
Да не кусты, а как бы кущи
С картин старинной красоты.

Но край, таким богатством чудный,
Что за окном, красуясь, тек,
Лесной, земельный, горнорудный,
Простертый вдоль и поперек,
И он таил в себе подспудный
Уже знакомый мне упрек.

Смотри, читалось в том упреке,
Как изобилен и широк
Не просто край иной. далекий,
А Дальний, именно, Восток,—
Ты обозрел его с дороги
Всего на двадцать, может, строк.

Слуга балованный народа,
Давно не юноша, поэт,
Из фонда богом данных лет
Ты краю этому и года
Не уделил. И верно — нет.

А не в ущерб ли звонкой славе
Такой существенный пробел?
Что, скажешь — пропасть всяких дел?..
Нет, но какой мне край не вправе
Пенять, что я его не пел!

Начну считать — собьюсь со счета:
Какими ты наделена,
Моя великая страна,
Краями! То-то и оно-то,
Что жизнь, по странности, одна...

И не тому ли я упреку
Всем сердцем внял моим, когда
Я в эту бросился дорогу
В послевоенные года.

И пусть виски мои седые
При встрече видит этот край,
Куда добрался я впервые,
Но вы глядите, молодые,
Не прогадайте невзначай

Свой край, далекий или близкий,
Свое призванье, свой успех —
Из-за московской ли прописки
Или иных каких помех.

Не отблеск, отблеском рожденный,—
Ты по себе свой край оставь,
Твоею песней утвержденный,—
Вот славы подлинный устав.

Как этот, в пору новоселья,
Нам край открыли золотой
Ученый друг его Арсеньев
И наш Фадеев молодой.

Заветный край особой славы,
В чьи заповедные места
Из-под Орла, из-под Полтавы
Влеклась народная мечта.

Пусть не мое, а чье-то детство
И чья-то юность в давний срок
Теряли вдруг в порту Одессы
Родную землю из-под ног.

Чтоб в чуждом море пост жестокий
Переселенческий отбыть
И где-то, где-то на востоке
На твердый берег сосупить.

Нет, мне не только что из чтения,
Хоть книг довольно под рукой,
Мне эти памятни виденья
Какой-то памятью другой...

Безвестный край. Пожитков гряда.
Ночлег бездомный. Плач ребят.
И даль Сибири, что отсюда
Лежит с восхода на закат.

И я, с заката прибывая,
Ее отсюда вижу вдруг.
Ага! Ты вот еще какая!
И торопливей сердца стук...

Огни. Гудки. По пояс в гору,
Как крепость, врезанный вокзал.
И наш над ним приморский город,
Что Ленин наш е н с к и м назвал...

Такие разные — и все же,
Как младший брат
И старший брат,
Большим и кровным сходством схожи
Владивосток и Ленинград.

Той службе преданные свято,
Что им досталась на века,
На двух краях материка
Стоят два труженика-брата,
Два наших славных моряка —
Два зримых миру маяка...

Владивосток!

Наверх, на выход.
И — берег! Шляпу с головы
У океана.
— Здравствуй, Тихий,
Поклон от матушки-Москвы;
От Волги-матушки — немалой
И по твоим статьям реки;
Поклон от батюшки-Урала —
Первейшей мастера руки;
Еще, понятно, от Байкала,
Чьи воды древнего провала
По-океански глубоки.

От Ангары и всей Сибири,
Чей на земле в расцвете век,—
От этой дали, этой шири,
Что я недаром пересек.

Она не просто сотня станций,
Что в строчку тянутся на ней,
Она отсюда и в пространстве
И в нашем времени видней.

На ней огнем горят отметки,
Что поколенью моему
Светили с первой пятилетки.
Учили сердцу и уму...

Все дни и дали в грудь вбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся — моя, моя, моя!

На все, что внове и не внове,
Навек прочны мои права.
И все смелее наготове
Из сердца верного слова.

ТАК ЭТО БЫЛО

...Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами,—
Иных не знали мы имен.

Гадали, как еще восславить
Его в столице и селе.
Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле...

Мой друг пастушеского детства
И трудных юношеских дней,
Нам никуда с тобой не деться
От зрелой памяти своей.

Да нам оно и не пристало —
Надеждой тешиться: авось
Уйдет, умрет — как не бывало
Того, что жизнь прошло насквозь.

Нет, мы с тобой другой породы,—
Минувший день не стал чужим.
Мы знаем те и эти годы
И равно им принадлежим...

Так это было: четверть века
Призывом к бою и труду
Звучало имя человека
Со словом Родина в ряду.

Оно не знало меньшей меры,
Уже вступая в те права,
Что у людей глубокой веры
Имеет имя божества.

И было попросту привычно,
Что он сквозь трубочный дымок
Все в мире видел самолично
И всем заведовал, как бог;

Что простирались эти руки
До всех на свете главных дел —
Всех производств, любой науки,
Морских глубин и звездных тел;

И всех свершений счет несметный
Был предуказан — что к чему;
И даже славою посмертной
Герой обязан был ему...

И те, что рядом шли вначале,
Подполье знали и тюрьму,
И брали власть, и воевали,—
Сходили в тень по одному,

Кто в тень, кто в сон — тот список длинен,—
В разряд досрочных стариков.
Уже не баловал Калинин
Кремлевским чаем ходоков...

А те и вовсе под запретом,
А тех и нет уже давно,
И где каким висеть портретам —
Впредь на века заведено.

Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил — и найдись такой!

Не зря, должно быть, сын Востока,
Он до конца являл черты
Своей крутой, своей жестокой
Неправоты.
И правоты.

Но кто из нас годится в судьи —
Решать, кто прав, кто виноват?
О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?

Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста,
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста...

Не те ли все, что в чинном зале,
И рта открыть ему не дав,
Уже, вставая, восклицали:
— Ура! Он снова будет прав...

Что ж, если опыт вышел боком,
Кому пенять, что он таков?
Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов.

Кому пенять! Страна, держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых.

И русских воинов отвага
Ее от волжских берегов
Несла до черных стен рейхстага
На жарком темени стволов...

Мой сверстник, друг и однокашник,
Что был мальчонкой в Октябре,
Товарищ юности не зряиной,
С кем рядом шли в одной поре,—

Не мы ль, сыны на подвиг дерзкий,
На жертвы призванной земли,
То имя-знамя в нашем сердце
По пятилеткам пронесли?

И знали мы в трудах похода,
Что были знамени верны
Не мы одни, но цвет народа,
Но честь и разум всей страны.

Мы звали — станем ли лукавить? —
Его отцом в стране-семье.
Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле.

То был отец, чье только слово,
Чьей только брови малый знак —
Закон. Исполни долг суровый —
И что не так,
Скажи, что так...

О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев...

А что подчас такие бури
Судьбе одной могли послать,
Во всей доподлинной натуре —
Тебе об этом лучше знать.

Но в испытаньях нашей доли
Была, однако, дорога
Та непреклонность отчей воли,
С какою мы на ратном поле
В час горький встретили врага...

И под Москвой, и на Урале —
В труде, лишениях и борьбе —
Мы этой воле доверяли
Никак не меньше, чем себе.

Мы с нею шли, чтоб мир избавить,
Чтоб жизнь от смерти отстоять.
Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Ты помнишь все, Отчизна-мать.

Не та ли сила думы дальней
Нам указала в давний срок
Страны форпост индустриальный
Бесстрашно двинуть на восток,—
Не за чужим стоять припасом,
Свою в виду имея даль...

И прогремела грозным гласом
В годину битвы наша сталь.

И мы бы даром только стали
Мир уверять в иные дни,
Что имя Сталин —
Этой стали
И этой дали не сродни.

Ему, кто вел нас в бой и ведал,
Какими быть грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам...

На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,

Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.

О том ли речь, страна родная,
Каких и скольких сыновей
Не досчиталась ты, рыдая,
Под гром победных батарей...

Салют!
И снова пятилетка.
И все тесней лучам в венце.
Уже и сам себя нередко
Он в третьем называл лице.

Уже и в келье той кремлевской,
И в новом блеске древних зал
Он сам от плоти стариковской
Себя отдельно созерцал.

Уже в веках свое величье,
Что весь наш хор сулил ему,
Меж прочих дел, хотелось лично
При жизни видеть самому.

Спешил.
И все, казалось, мало.
Уже сомкнулся с Волгой Дон,
Москва высотная вставала,
Как некий странный павильон...
Канала
Только не хватало,
Чтоб с Марса был бы виден он!..

И за наметкой той вселенской
Уже как хочешь поспевай —
Не в дальних далях, — наш смоленский,
Забитый им и богом, женский
Послевоенный вдовый край.

Где занесло следы поземкой
И в селах душам куцый счет,
А мать-кормилица с котомкой
В Москву за песнями бредет...

И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой.

С се терпеньем безнадежным,
С ее избою без сеней,
И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью — не полней;

С ее дурным озимым клином
На этих сотках под окном;

И на печи ее овином,
И среди избы гумном;

И ступой — мельницей домашней —
Никак из древности седой;
Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжелой нынешней бедой.

Но и у самого предела
Тоски, не высказанной вслух,
Сама с собой — и то не смела
Душа ступить за некий круг.

То был рубеж запретной зоны,
Куда для смертных вход закрыт,
Где стража зоркости бессонной
У проходных вросла в гранит...

И, видя жизни этой вечер,
Помыслить даже кто бы смог,
Что и в Кремле никто не вечен
И что всему выходит срок...

Но не ударила царь-пушка,
Не взвыл царь-колокол в ночи,
Как в час урочный т а С т а р у ш к а
Подобрала свои ключи

Ко всем дверям, замкам, запорам,
Не зацепив лихих звонков,
И по кремлевским коридорам
Прошла к нему без пропусков.

Вступила в комнату без стука,
Едва заметный знак дала —
И удалилась прочь наука,
С т а р у ш к е этой сдав дела...

Сломилась ночь, в окне синяя
Из-под задернутых гардин.
И он один остался с нею,
Один —
Со Смертью — на один...

Вот так, а может, как иначе —
Для нас, для мира не простой,
Тот день настал, черту означил,
И мы давно за той чертой...

Как говорят, отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползи на грудь.

Еще в виду отцовский разум,
И власть, и опыт многих лет...
Но вот уйдет отец — и разом
Твоей той молодости нет...

Так мы не в присказке, на деле,
Когда судьба потрянула нас,
Мы все как будто постарели —
Нет, повзрослели — в этот час.

Безмолвным строем в день утраты
Вступали мы в Колонный зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.

Стоял поникший и спокойный
С рукою правой на груди.
А эти годы, стройки, войны —
Все это было впереди;

Все эти даты, вехи, сроки,
Что нашу метили судьбу,
И этот день, такой далекий,
Как видеть нам его в гробу.

В минуты памятные эти —
На тризне грозного отца —
Мы стали полностью в ответе
За все на свете —
До конца.

И не сробели на дороге,
Минуя трудный поворот,
Что нынче люди, а не боги
Смотреть назначены вперед.

Там — хороши они иль плохи —
Покажет дело впереди,
А ей, на всем ходу, эпохе,
Уже не скажешь: «Погоди!»

Не вступишь с нею в словопренье,
Когда гремит путем своим...

Не останавливалось время,
Лишь становилось иным.

Земля живая зеленела,
Все в рост гнала, чему расти.
Творил свое большое дело
Народ на избранном пути.

Страну от края и до края,
Судьбу свою, судьбу детей
Не божеству уже вверяя,
А только собственной своей

Народы, земли и державы,
Что все теперь — рукой подать,
Нам этой мирной нашей славы
Уже не могут не воздать.

Вступает правды власть святая
В свои могучие права,
Живет на свете, облетая
Материки и острова.

Она все подлинней и шире
В чреде земных надежд и гроз.
Мы — это мы сегодня в мире,
И в мире с нас не меньший спрос!

И высших нет для нас велений —
Одно начертано огнем:
В большом и малом быть как Ленин,
Свой ясный разум видеть в нем.

С ним сердцу нечего страшиться,
И в нашей книге золотой
Нет ни одной такой страницы,
Ни строчки, даже запятой,

Чтоб нашу славу притемнила,
Чтоб заслонила нашу честь.

Да, все, что с нами было, —
Было!
А то, что есть, —
То с нами здесь!

И все от корки и до корки,
Что в книгу вписано вчера,
Все с нами — в силу поговорки
Насчет пера
И топора...

И правда дел — она на страже,
Ее никак не обойдешь,
Все налицо при ней — и даже,
Когда умалчиванье — ложь...

Кому другому, но поэту
Молчать невыгодно и тут,
Его к особому ответу
На завтра вытребует суд.

«Ты что ж — ни оха и ни вздоха?
Робел, что, может, попадет?
Не лги, не та была эпоха,
И для тебя устав не тот.»

Молчал и мнил еще, наверно,
Что ты всех прочих не глупей.
Что ты и есть помощник первый
Великой партии своей.

Нет, просто жил да был бесславно,
Привычки ради без тревог,
И получал притом исправно
По списку Музы свой паек».

Я не страшусь суда такого
И, может, жду его давно,
Пусть не мне еще то слово,
Что ёмче всех, сказать дано.

Мое — от сердца — не на ветер,
Оно в готовности любой:
Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

Нет выше долга, жарче страсти
Стоять на том
В труде любом!

Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоём.

За новым трудным перевалом —
Вздохнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим иль малым,
Ах, самым малым —
Все равно:
Она моя — твоя победа,
Она моя — твоя печаль.
Как твой призыв:
Со мною следуй,
И обретай в пути, и ведай
За далью — даль.
За далью — даль!

ДО НОВОЙ ДАЛИ

Пора! Я словом этим начал
Мою дорожную тетрадь.
Теперь оно звучит иначе:
Пора и честь, пожалуй, знать.

Ах, эти длительные дали,
Дались они тебе спроста.
Читали? Да. Но ждать устали:
Когда ж последняя верста.

А сколько дел, событий, судеб,
Людских печалей и побед
Вместилось в эти десять суток,
Что обратились в десять лет.

Все верно. В сроках не потрафил,
Но я прошу высокий суд
Учесть, что мне особый график
Составлен был на весь маршрут.

И что касается охвата
Всего, что в памяти любой,—
Суди по правде, как солдата,
Что честно долг исполнил свой.

Он воевал не славы ради.
Рубеж не взял? И сам живой?
Не представляй его к награде,
Но знай — ему и завтра в бой.

А что в пути минули сроки —
И в том вины особой нет.
Мои герои все в дороге,
Да ты и сам не домосед.

Ты сам, читатель, эти дали
В пути проверил и постиг,
В своем бывалом чемодане
Держа порой и мой дневник.

Душа моя принять готова
Другой взыскательный упрек,
Что ткань бедна: редка основа,
Неровен бедный мой уток.

Что, может быть, не ярки краски
И не заманчив общий тон;
Что ни завязки, ни развязки —
Ни поначалу, ни потом...

Ах, сам любитель я, не скрою,
Чтоб с места ясен был вопрос —
С приезда главного героя
На новостройку иль в колхоз,

Где непорядков тьма и бездна,
Но прибыл с ним переворот.
И героиня в час приезда
Стоит случайно у ворот.

Он холост, или же в разводе,
Или с войны еще вдовец,
Или от злой жены беглец,
Иль академик-молодец,
И все, что надо,— на подходе,
Хоть не заглядывай в конец.

Но сам лишен я этой хватки:
И совесть есть, и лень, прости,
В таком развернутом порядке
Плетень художества плести.

А потому и в книге этой —
Признаться, правды не тая,—
Того-другого — званья нету,
Всего героев —

ты да я,
Да мы с тобой.

Так песня спелась.
Но, может, в ней отозвались
Хоть как-нибудь наш труд и мысль,
И наша молодость и зрелость,
И эта даль, и эта близь?

Что горько мне, что тяжко было
И что внушало прибыль сил,
С чем жизнь справляться торопила,—
Я все сюда и заносил.

И неизменно в эту пору,
При всех изгибах бытия,
Я находил в тебе опору,
Мой друг и высший судия.

Я так обязан той подмоге
Великой — что там ни толкуй,—
Но и тебя не прочу в боги,
Лепить не буду новый культ.

Читатель, снизу или сверху
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже — всякий на поверку,
Бываешь — мало ли какой.

Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец.
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец.

И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор.
И сам начетчик и цитатчик,
И не судья, а прокурор.

Беда бедой твой пыл бессонный,
Когда вдобавок ко всему
Еще и книжкой пенсионной
Ты обладаешь на дому.

Не одному бюро погоды
Спешишь ты всыпать поскорей,
Хоть на почтовые расходы
Идет полпенсии твоей.

Добра желаючи поэту,
Наставить пробую меня,
Ты пишешь письма в «Литгазету»,
Для «Правды» копии храня.

Ты привести мой труд и отдых
К научной норме норовишь:
О вредных творчеству доходах
Моих в инстанции строчишь.

Иль вдруг, объятый жаром новым,
Ты поручаешь мне всерьез —
За чаем как-нибудь с Хрушевым
Продвинуть некий твой вопрос...

И то не все. Замечу кстати:
Опасней нет болезни той,
Когда, по скромности, читатель,
Ты про себя, в душе, — писатель,
Безвестный миру Лев Толстой.

Ох, вы, мол, тоже мне, писаки,
Вот недосуг за стол засесть...

Да, и такой ты есть и всякий,
Но счастлив я, что ты, брат, есть!

Не запропал, не стал дитятей,
Что наша маменька-печать
Ласкает, тешась:— Ах, читатель,
Ах, как ты вырос — не достать!

Сама пасет тебя тревожно
(И уморить могла б любя):
— Ах, то-то нужно, то-то можно,
А то-то вредно для тебя...

Ты жив-здоров — и слава богу,
И уговор не на словах:
В любую дальнюю дорогу
На равных следовать правах...

Ты помнишь, я свой план невинный
Представил с первого столбца:
Прочти хотя б до половины,
Авось прочтешь и до конца.

Прочел по совести. И что же:
Ты книгу медленно закрыл,
Вздыхнул, задумался, похоже.
Ну вот. А что я говорил?

Прости, что шутка на помине.
Когда всерьез не передать,
Как нелегко и эту ныне
Мне покидать свою тетрадь.

Не то чтоб жаль, но как-то дико,
Хоть этот миг — желанный миг:
Была тетрадь — и стала книга
И унеслась дорогой книг.

Уже не кинешься вдогонку
За ней во все ее края...
Так дочка дома — все девчонка,
Вдруг — дочь. Твоя и не твоя.

Скорбеть о том не много проку,
Что низок детям отчий кров.
Иное дело, с чем в дорогу
Ты проводил родную кровь.

И мне уже не возвратиться
Назад, в покинутый предел,
К моей строке или странице,
Что лучше б мог, как говорится,
Да не сумел. Иль не посмел.

Тем преимуществом особым
При жизни автор наделен:
Все слышит сам, но, как за гробом,
Уже сказать не может он,
Какой бы ни был суд нелестный...
Но если вправду он живой,
Он в новый замысел безвестный
Уже уходит с головой.

И распростившись с этой далью,
Что подружила нас в пути,
По счастью, к новому свиданью
Уже готовлюсь я. Учти!

Конца пути мы вместе ждали,
Но прохлаждаться недосуг.
Итак, прощай. До новой дали.
До скорой встречи, старый друг!

1950—1960 гг.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

ВТОРАЯ НОЧЬ

Рассказ

1

Случалось ли вам когда-нибудь искать нужную вам часть в день, когда началось наступление? Если нет — вам просто повезло. Будь вы даже трижды стрелянным-перестрелянным фронтовиком, возвращающимся после недолгого лечения из армейского или фронтового госпиталя, и то на это у вас уйдет дня три или четыре, если не больше. Что же говорить тогда о новичке бойце, впервые попавшем на фронт? А Ленька Богорад был именно таким бойцом. Было ему восемнадцать лет, и на фронт он попал впервые. Из Камышина до штаба фронта, а затем армии их — сто двадцать человек из запасного полка — вез лейтенант Гурмыза. В штабе армии Леньку и Федьку Кожемякина заставили рыть щели возле хат. Вырыли они восемь щелей по полтора метра глубиной, разровняли землю, замаскировали травой, а тем временем группа их ушла. В довершение всего Кожемякин отравился какими-то консервами, его отправили в госпиталь, и Ленька остался один как палец. О нем все забыли. Где-то на Донце началось наступление, все бегали как угорелые, и никто не хотел с ним разговаривать. Один только повар из офицерской кухни, которому он принес четыре ведра воды, дал ему полный котелок лапши с маслом и посоветовал обратиться к капитану Самойленко.

— Вон там, где верба сухая. Парень хороший. Попросись в дивизию Петрова. Мировой генерал, и дивизия мировая. Я в ней весь Сталинград кашу варил.

Капитан Самойленко оказался действительно хорошим парнем, не накричал на Леньку, когда, попытавшись козырнуть, он уронил винтовку, а только расемсялся, сказал: «Эх ты, село» — и дал ему конверт с надписью: «Х-во Петрова, к-ну Переверзеву».

— На Донце ищи, у Богородичного. Они уже там, вероятно. — И вдогонку крикнул: — Штык, смотри, не потеряй, а то достанется по первое число!

Ленька вышел на улицу, перевернул и привязал штык к стволу, обмотал тряпочкой затвор, чтобы не пылился, и пошел искать Богородичное. День был солнечный, веселый, в сидоре — буханка хлеба, круг колбасы и две пачки пшеничного концентрата, за обмоткой — ложка, на боку — котелок, махорки полон кисет и бумаги целая газета — что еще надо? Начальства над тобой сейчас нет, иди потихонечку, присаживайся, где хочешь, а надоест идти — машин на дороге много, вскакивай в любую, куда-нибудь да подвезет.

И Ленька шел и ехал, глаза по сторонам. Черт-те что творится! Он никогда не видал такого количества пушек и тридцатичетверок. Так

прямо и прут среди бела дня, громыхают, пылят, и все в одну сторону. Раза два прогнали партии пленных немцев, и Ленька даже соскочил с машины, чтобы посмотреть на живого фрица, — до сих пор он их только в газете на карикатурах видал. Разочаровался. Люди как люди — пыльные, усталые, только сидора раз в десять больше, чем у нас, и в землю все смотрят. Один раз пролетел «мессер», кто-то крикнул «воздух», но разбежаться не успели — «мессер» улетел.

Все шло чин чином — с машины на машину, с повозки на повозку, — пока не оказалось, что день кончился, полбуханки и круг колбасы съедены, а до Богородичного как было, когда он выходил, двадцать километров, так и осталось.

Ленька свернул с дороги, наткнулся на какой-то куст и завалился — сидор под голову, винтовку меж колен.

Всю ночь трещали над головой «кукурузники», где-то за горизонтом вспыхивали ракеты и стреляли пушки — днем их почему-то не было слышно, сейчас же грохотали без умолку. На дороге лязгали гусеницы, доносились откуда-то голоса. Ленька ворочался с боку на бок и никак не мог заснуть. Стало вдруг жалко самого себя: валяешься вот под кустом, а ребята ушли, и ни с кем не попрощался — будь они трижды прокляты, эти щели! — ни с Ванькой, ни с Глебкой Фурсовым, ни с лейтенантом Гурмызой. Неплохой все-таки лейтенант был — за две недели один раз только на него накричал, когда курицу поймал, а так очень обходительный командир. Потом в голову полезли всякие мысли. Марья Христофоровна — молодая учительница. Как она, когда его в армию брали, принесла тетрадку и карандаш, чтобы письма писал. Потом еще что-то, тоже жалостное, еще что-то, и еще, и наконец заснул.

2

Проснулся — и все как рукой сняло. Небо голубое, кузнечики кричат, над головой жаворонки — как будто и войны никакой. Доел остатки колбасы, винтовку на плечо — и пошел. От встречных раненых — Ленька с уважением смотрел на этих усталых и совершенно серых от пыли людей, ковлявших по дороге, — узнал, что Богородичное на том берегу Донца, километрах в пяти или десяти, а может, и пятнадцати, но кто там — немцы или наши — никто толком не знал. О хозяйстве Петрова тоже не слышали — иди разберись, где там чье хозяйство. А вообще «идет дело помаленьку», просили закурить и шли дальше.

Часам к трем верхом на «катушинных» снарядах добрался наконец до Донца. Речушка так себе — желтенькая, мутная, один берег пологий, другой — в гору. Лозняк вдоль дороги и у моста забит машинами, повозками. На обочине сидят бойцы, покуривают. Красные, потные лейтенанты бегают от одного к другому и загоняют в кусты. Бойцы неохотно поднимаются, делают шагов десять и опять усаживаются. У самого понтонного моста молодой парень в танкистском шлеме, с красным флажком в руке, поочередно пропускает на мост то транспорт, то пехоту. Пыльно. Жарко.

Ленька пересек железную дорогу, примазался к какой-то части, прошел с ней мост и только подумал: «А что, вдруг фриц сейчас налетит?», как откуда-то посыпались бомбы. Очнулся Ленька под мостом, по горло в воде. Как он туда попал — один бог знает. Трясло всего, с головы до ног. Кое-как вылез на берег, волоча за собой винтовку, перелез через перевернутую пушку, упал, встал, опять упал, опять встал. Кто-то кричал визгливым голосом: «Рятуйте, рятуйте!» Билась на дороге лошадь, вытянув морду. Промчалась мимо никем не управляемая повозка, теряя какие-то ящики.

Ленька побежал. Бежал, ни на кого не глядя, ничего не слыша, ничего не видя, все вверх и вверх по дороге, подальше от моста, будь он трижды проклят, этот мост. Выбился из сил у опушки какой-то роши. Сел. Пилотки нет, все мокрое, в ботинках хлюпает. Шагах в двухстах от него какие-то бойцы варят что-то на костре. Ленька подошел, спросил, не знают ли они, где хозяйство Петрова. Нет, не знают, сами недавно пришли.

Пошел дальше. При звуке самолета сворачивал с дороги и шел прямо через кустарник. Опять стала слышна стрельба орудий. По дороге один за другим, подымая клубы пыли, пронесились здоровенные «студебекеры» с боеприпасами. А Ленька все шел, спрашивая всех встречных, но никто толком не мог объяснить. Одни не знали, другие чесали затылки и говорили, что «кажется, за той рощей какой-то штаб стоит», третьи просто ничего не отвечали.

Наконец напоролся на раненого, попросившего закурить. Оказалось, слава тебе господи, из петровской дивизии.

— Тебе какой полк нужен? — спросил раненый.

— Не полк, а штаб дивизии.

— Это не знаю, — устало ответил раненый и принялся перематывать черный от пыли бинт на ногу.

— А ты с какого? — спросил Ленька.

— С тридцать третьего.

— Далеко отсюда?

— Да как сказать... Километров так... В общем... Топай по дороге во-он до того столба — видишь, на проводах висит? Налево овраг будет. Вот по оврагу и двигай, дойдешь.

Ленька присел — сбилась портянка.

— А фронт где? Далеко?

Раненый посмотрел на простецкую круглую Ленькину морду и улыбнулся одними губами.

— А вот он и есть — фронт-то...

— Как так?

— А вот так. Лесочек видишь? Так там уже фриц.

— Почему ж не стреляет? — удивился Ленька.

— Ужинает, потому и не стреляет.

Помолчали. Потом Ленька спросил:

— Ну, а вообще как? Драпает фриц?

— Да не очень. «Ванюши» подтянул. И минометов до хрена. Хорошо еще, авиации пока нет.

Ленька удивился — как же нет, когда он сам под бомбежку попал.

— Да разве это бомбежка? Ты, брат, бомбежск, значит, не видал... — И раненый устало, но с подробностями стал рассказывать обычную историю о бомбежках, о том, как рядом с ним «ну вот так, как отсюда до того дерева», упала бомба и всех убила, а его даже осколком не задела. Рассказал, встал, посмотрел на темнеющее уже небо, поблагодарил за махорку и двинулся, прихрамывая, в сторону реки. Отойдя шагов двадцать, обернулся и крикнул вдогонку: — Где развилка оврага будет, направо валяй, а не налево, а то к фрицам попадешь!

Ленька миновал столб, свернул с дороги и пошел по дну оврага. Быстро темнело. Где-то слева застрочил пулемет. Потом справа, совсем близко. Стало как-то не по себе. Ленька вынул из мешка патроны, рассовал по карманам, проверил затвор — все в порядке. Дошел до развилки, свернул вправо. Еще полкилометра, и — что за черт! — овраг кончился. Полез по откосу, добрался до края, высунул голову. Пусто. Впереди темнеет роща. Только сделал шагов десять — выстрел: один, другой, третий, и над самой головой засвистело. Ленька назад, куба-

рем на дно оврага. Что за чертовщина? Куда же это его занесло? И куда идти? Вперед, назад? Решил — назад. Стало совсем темно — ни черта не видно. Дошел опять до развилки. Остановился. Откуда-то слева донеслись голоса. Ленька почувствовал, как под мышками у него потекли ручейки. Прижался к земле. С левого берега оврага один за другим спускались какие-то люди. Слышно было, как у них из-под ног сыпалась земля и как тяжело они дышали. «Наши», — подумал Ленька, и в этот момент кто-то совсем рядом с ним вполголоса выругался. Ленька приподнялся.

— Эй, друг...

Щелкнул затвор.

— Кто там?

— Да свой, свой... Не с тридцать третьего?

Человек приблизил свое лицо вплотную к Ленькиному.

— Нет, не с тридцать третьего. А зачем он тебе?

— Как зачем? Надо.

— Пулю тебе в лоб надо, вот что... Шляешься тут в темноте, а твой командир с ног сбился, ищет...

Кто-то впереди позвал громким, сдавленным шепотом:

— Кравченко... Кравченко...

— Да тут я... — таким же шепотом ответил боец и скрылся в темноте. Некоторое время было слышно еще, как сыплется на дно оврага земля, потом опять стало тихо.

Ленька посидел еще немного, потом решил вылезти из оврага и пойти в ту сторону, откуда пришли бойцы. Заметить сейчас его уже никто не мог. Небо заволокло тучами, и ни звезд, ни луны не было видно. Начал накрапывать дождик. Время от времени где-то совсем рядом взвивались ракеты. Ленька ложился на живот и ждал, пока они не погаснут. Ракеты бросали слева, и Ленька решил двигаться правее — там виднелись не то хаты, не то стога сена.

Прошел метров двести, как вдруг из-под самых ног кто-то:

— Майборода, ты?

Ленька вздрогнул.

— Какого лешего пропал? Нашел наших?

Ленька ударился обо что-то твердое. Заржала лошадь. Повозка, что ли?

— Чертова кобыла, — продолжал голос из темноты. — Ну, нашел, спрашиваю?

— А ты кого ищешь? — Ленька сел на корточки, стараясь рассмотреть говорившего. Голос доносился откуда-то снизу.

— Как кого? А ты кто?

— А ты?

— От нечиста сила! — выругался невидимка. — Подавиться им на том свете, всем этим фрицам и гитлерам. Холера им в бок! — И неожиданно перейдя на просительную интонацию: — Помогите, браток. Сволочь эта все воронки под колеса собирает... Ложись!

Взвилась ракета. При свете ее Ленька увидел накренившуюся набок груженую повозку, лошадь, спокойно шиплющую высокую траву, и бойца, уткнувшегося лицом в землю.

Ракета погасла.

— Подсоби, друг, — опять заговорил боец. — Может, вытянем как-нибудь. Майбороду только за смертью посылать. Говорил я ему — по дороге надо ехать.

— А что везете? — спросил Ленька.

— Да мины чертовы эти, кто их только придумал!

— Ну, давай...— Ленька обошел повозку и стал шупать колесо.— Э, друг, да оно сломалось у тебя.

Боец выругался длинно и заковыристо и стал объяснять, что капитан, мол, велел как можно скорее доставить мины и Майборода — вечно он чего-нибудь придумает — сказал, что так, мол, через поле, на добрый километр короче. Вот и докатились, тряся его матери. А тут еще Фриц из минометов каждые двадцать минут шпарит.

В это время явился откуда-то и сам Майборода.

— Копыця, где ты?

— Явился. Ты б еще три часа гулял.

— Нашёл. Метров триста отсюда.

— Спасибо тебе в шапочку. Колесо сломали.

— Ну?!

— Вот те и ну.

— Холера чертова... А капитан уже ругаются. Двести метров, говорит, осталось, а там ганки ихние уже гуркочат.

— «На километр короче, на километр короче...» — передразнил первый.— С этой шкапой только и сокращай. Сколько их там, в повозке?

— Штук шестьдесят, что ли.

— В десять ходок уложимся?

— По четыре за раз брать — уложимся,— ответил Майборода.

— Может, вот парень еще подмогнет. Где ты там?

Стали в темноте разбирать мины. Оказалось, что они не минометные, как решил сначала Ленька, а саперные — здоровенные деревянные ящики, килограммов этак по шесть-семь. Пришлось связывать их попарно проволокой, а чтобы не резало плечи — снять гимнастерку и подложить под проволоку. Возились долго — искали в повозке проволоку, обматывали мины. Наконец пошли: Майборода впереди, за ним Копыця, последним Ленька. Идти было трудно — грунт мягкий, много воронок, под ногами ни черта не видно, винтовка мешает, при каждой ракете садись на корточки. Ко всему Майборода в темноте, очевидно, сбился — триста метров давно уже позади остались.

То тут, то там наткнулись на окапывающихся бойцов — должно быть, пехота занимала оборону. Хорошо, с минометами еще повезло — немцы перенесли огонь левее, не пришлось пережидать.

Майборода вдруг остановился.

— Вот здесь, кажется.— И скинул мины наземь.— Кидай!

Ленька осторожно снял свои и положил рядом. От напряжения весь был мокрый, хотя шел без гимнастерки и даже без рубашки.

— Капитан... а, капитан! — сдавленным шепотом позвал Майборода. Никто не отвечал.— Товарищ капитан, где вы? Мы мины принесли.

— Они там...— донесся откуда-то со стороны слабый голос.— На минном поле.

— Кто это? Русинов? — спросил Майборода.

— Ага.

— Ранен, что ли?

— Да вроде как. А Кирилюка наповал. Так там и остался.

— Да где же ты? Чертова темнота эта...

— Тут, у лонат... А капитан там. Мины ставит... вместо меня.

— Далеко?

— Да нет. Метров пятьдесят. Правее туда.

— Доложить бы надо,— неуверенно сказал Майборода и кашлянул.— Противопехотных не ставили?

— Нет, не ставили. Валяй смело, не подорвешься... Водички нет, ребята?

— На повозке осталась. Подожди до следующей ходки.

Из темноты неожиданно появилась фигура.

— Сюда, сюда, товарищ капитан,— обрадовался Майборода.

Тот, кого называли капитаном, сел на корточки.

— Где пропадали, черти? Из-за вас... А это кто — третий?

— Боец один, мины подсобил тащить. Повозка-то сломалась.

Капитан выругался.

— А сколько привезли?

— Шестьдесят.

— Черт! Не везет просто. Двоих из строя вышибло, через час светать начнет.— Капитан в сердцах сплюнул.— Ну ладно. Так сделаем — Майборода с Копыцей за минами, чтоб через полчаса все были здесь. А ты... Как твоя фамилия?

— Богорад.

— Поможешь Русинову до расположения добраться. Он дорогу знает.

Раненый заворочался в темноте.

— Не надо, товарищ капитан. Я здесь, в окопчике, полежу. Пускай лучше мины таскает.

Капитан помолчал, потом посмотрел на часы со светящимся циферблатом.

— Два часа уже. Вот бежит время! — И встал.— Солдат, где ты?

— Здесь.

— Бери мины и за мной. Осторожно только.

Ленька отполз в сторону, разыскал мины, взвалил на плечи и, согнувшись, пошел за капитаном.

— Клади.

Ленька положил.

— Теперь слушай внимательно.— Капитан сел на корточки, взял Ленькину руку и стал шарить ею по земле.— Видишь, ямки вырыты? Рукой пощупай. Рядом с ней и клади мину. Через четыре метра будет другая, через четыре — еще одна. Потом второй ряд — то же самое. Понял? Вот это и будет твоя задача — все мины разнести по ямкам.

Капитан говорил шепотом, но так спокойно и неторопливо, что Леньке как-то легче даже стало. Он разложил принесенные четыре мины и пошел за другими. Когда уложил двенадцатую и вернулся назад, Майборода с Копыцей принесли уже следующую партию — на этот раз они обернулись довольно быстро.

Кругом было удивительно тихо. Шум моторов прекратился. Только где-то очень далеко пофыркивал пулемет. Дождик перестал, потом опять пошел — мелкий-мелкий, даже приятно разгоряченному телу. От темноты, от тишины, от того, что таскал эти мины, которые никогда в жизни не видал и от которых взрываются танки, было жутковато, но Ленька старался ни о чем не думать, а только таскать и укладывать, таскать и укладывать.

Один раз, когда среди мертвой тишины где-то вдруг заскрежетало и заныло и высоко над головой пронеслись огненные хвостатые снаряды, Ленька бросился на землю и прижался к кому-то, упавшему рядом с ним. «Страшно?» — услышал он над самым ухом и попытался перестать дрожать, но не смог. «Ничего, солдат, обвыкнешь!» — Ленька узнал голос капитана.— «А почему без рубашки? Может, потому и дрожишь?» Ленька ничего не ответил, поднял мины и пошел дальше.

Кончили, когда начало уже светать. Раза два немцы открывали огонь из минометов, но все обошлось благополучно. Собрали лопаты, ящики с оставшимися взрывателями и двинулись в расположение. Шли молча, один за другим, усталые, мокрые, тяжело шагая по размокшему черно-

зему. Двое бойцов вели раненого, двое несли убитого. Хотелось спать, больше ничего. Даже курить не хотелось. Когда пришли, Ленька камнем упал под первым кустом, так и не увидев в лицо тех, с кем провел свою первую боевую ночь.

3

— Эй ты, проснись... Орел!

Ленька вскочил и, ничего не понимая, захлопал глазами.

— Сколько спать можно? Ребята уже давно позавтракали.

Щупленький хитроглазый боец в выцветшей гимнастерке стоял перед ним и смеялся.

— А рубаха где твоя? Потерял с перепугу?

Ленька посмотрел по сторонам — действительно, в одних штанах, гимнастерки нет. Вот голова, забыл-таки там.

Боец подсел.

— Не узнаешь? Майборода.

— А-а... — неопределенно сказал Ленька и поежился: было довольно прохладно.

Майборода звонко шлепнул его по спине.

— Ну и здоров же ты, парень. Знал бы раньше, не отпустил бы, когда мины таскали! — Он критически осмотрел Леньку с ног до головы, тот до сих пор никак не мог проснуться. — Пойди хоть морду ополосни. Капитан уже спрашивал тебя. — И опять хлопнул его по спине. — Бычок, ей-богу. Да очухайся ты наконец! А я в повозке поищу — может, найду чего.

Через минуту он прибежал с майкой в руках — «валяй пока это, потом на складе поищем чего-нибудь более подходящего». Ленька с трудом натянул на себя узкую ярко-оранжевую майку.

— Пошли к капитану. Пилотку только надень.

Но капитана в палатке не оказалось. Сидевший у входа боец — ординарец должно быть, — не поворачиваясь, буркнул «сейчас придут» и продолжал чистить песком котелок. Майборода вытащил из кармана круглую коробку с махоркой и развалился у входа в палатку. Кругом был лесок — молоденький, свеженький, летали какие-то желтые бабочки, где-то над головой стучал дятел.

— Да-а... А Кирилюка вот и нет, — сказал Майборода и протянул Леньке коробку. — Закуривай. И двое пацанов осталось. — Он как-то боком посмотрел на Леньку. — Не женат?

— Не... — почему-то смутился Ленька.

— А у того двое пацанов. И ведь тоже молодой, с двадцать третьего года. Ты с какого?

— С двадцать пятого, — ответил Ленька.

— А он с двадцать третьего. На два года только старше тебя. Весь Сталинград сохранился, а тут... — Майборода как-то с присвистом вздохнул. — Вон под теми сосенками похоронили. Я утром посмотрел, аж страшно стало. Вот по сих пор, — он провел рукой над бровями, — снесло. Так мозги и вывалились...

Помолчали. Майборода повернулся к ординарцу.

— А далеко капитан пошел?

— А я хйба знаю, — не поворачиваясь, ответил парень. — Мне пока не докладывают.

— Командир батальона, что ли? — спросил Ленька.

— Ага, сейчас командир. Орлик его фамилия — чуднйя такая. Был замкомбатом, а как майора Селезнева на Донце кокнуло, стал командиром.

— Тоже сталинградский?

Майборода мотнул головой.

— Нет. Из новеньких. К концу Сталинграда только пришел. С госпиталя прямо. С палочкой еще долго ходил.

Из дальнейшей рассказа выяснилось, что капитан с майором были не в ладах. Майора в батальоне не любили — он был из тех командиров, которые на фронте тише воды, ниже травы, а в тылу расправляют плечи и без толку орут на подчиненных. С этого и начались раздоры.

— Ты про Ляшко, про лейтенанта, расскажи, — всучился в разговор ординарец, совсем еще молоденький паренек, тшкетно старавшийся придать своему детскому голосу солдатскую грубость. Он уже кончил чистку котелка и старался ввязаться в разговор, но так, чтобы не уронить своего достоинства. — Здорово его капитан отбрил тогда, а?

— Дай бог как, — усмехнулся Майборода и повернулся к Леньке. — Напился, понимаешь, майор раз пьяный и лейтенанта Ляшко, командира первой роты, матом при всех обложил. И перед строем. Лентяй, мол, бездельник, воевать не хочешь, туды тебя растуды. А капитан стоит, слушает, покраснел весь, и челюсти только ходуном ходят. А потом: «Стыдно мне, говорит, за вас перед бойцами, товарищ майор. Ляшко — лучший офицер батальона и. когда перед строем стоит, четвертинкой из кармана не светит». Хлопнул хлыстиком, повернулся и ушел. Ну, после этого как началось, как началось... И к подворотничку, и к сапогам брезентовым придирается стал, и рапорт, мол, не так написан, и так далее, и так далее... Пока война не началась. А началась — майор сразу шелковым стал. Капитан, тот всегда с людьми — и на походе и на переправе, а майор, тот нет, больше все на повозочке или: «на НП, к комдиву пойду, покомандуй тут, капитан, без меня». Ну вот на НП-то его и поймала шальная пуля. Жаль, ранение пустяковое, мускул на руке задело, в неделю заживет. — Майборода сокрушенно вздохнул. — Да... С капитаном веселее как-то, ей-богу! — И неожиданно вдруг рассмеялся, черные хитрые глазки его даже заблестели. — Ну а то, что бабы по нем ссхнут, так разве это он виноват? Сами липнут как мухи...

— Когда на формировке стояли в Червонотроицкой... — начал было ординарец, но Майборода его перебил:

— А ты не вмешивайся. Чисти свой котелок и помалкивай. Вон все дно черное.

— Черное... черное, — обиделся ординарец. — Расселся тут, как барин, окурки свои паршивые накидал. Вон капитан идет, покажет он тебе.

— Ты чего там уже рычишь? — издали еще крикнул капитан. — Хозяином почувствовал себя?

Высокий, статный, в сбитой на ухо синей пилотке с голубым кантом, в расстегнутой гимнастерке, в легоньких хромовых сапожках, он шел ленивой, слегка вразвалку, походкой, сбивая хлыстиком листья с кустов.

— Вот ты какой, значит, — сказал он, подойдя и хлопнув Леньку хлыстиком по груди. — Богорад, кажется?

— Богорад Леонид, — как можно бойче ответил Ленька, расправив плечи и прижав затые кисти рук по швам.

— А отчество?

— Семенович.

— Ну заходи, Леонид Семенович, потолкуем.

И, наклонившись, вошел в палатку. Ленька и Майборода — за ним. Капитан бросил хлыстик на кучу травы, прикрытую одеялом, повернулся, засунул руки глубоко в карманы и, слегка раскачиваясь, осмотрел Леньку с головы до ног. Ленька стоял, выпятив грудь, поджав живот, в ярко-рыжей, треснувшей уже под мышкой майке, набрав полные легкие воздуху, чтобы казаться еще здоровее.

Капитан улыбнулся.

— Да ты не тужься. И так вижу, что здоровый. Копать умеешь?

— А что же тут уметь, товарищ капитан?

— А ну, согни руку.

Ленька напряг мускул. Капитан пощупал.

— Дай бог. Тебе бы такие, Майборода, хоть польза какая была бы.

А то только языком и умеешь.

— Молодое, что вы хотите, товарищ капитан. А я уже старик, скоро тридцать. Языком-то легче, чем руками.

Ленька стоял красный от похвалы и не знал, что бы сделать такое, чтобы еще больше понравиться капитану.

— У вас гири нет, товарищ капитан? — спросил он.

— Какой гири?

— Обыкновенной. Пудовой, двухпудовой. Я одной рукой могу...

— Ладно,— перебил капитан.— У нас тут не цирк. У нас надо землю копать. По восемь, десять, пятнадцать часов. Пока орден заработаешь, не одно ведро поту потеряешь. Это тебе не пехота — в атаку ходить и «ура» кричать. Мины знаешь?

— Мины? — Ленька растерялся.

— Так точно, товарищ начальник. Те самые, что вчера таскал,— «ЯМ», «ПМД», «ПОМЗ». А? По глазам вижу, что и названия-то в первый раз слышишь. А «ТМБ»? Тоже не знаешь? — Капитан свистнул.— Плохо дело. А я-то думал...

Он сделал паузу и уголком глаза глянул на Леньку. Ленька стоял красный, растерянный. Ему до смерти хотелось понравиться капитану, но он не знал, как это сделать, и от беспомощности только краснел.

— У тебя что, направление есть какое-нибудь? — спросил капитан.

— Есть.

— А ну покажи.

Ленька полез в карман и вытащил мятый, замусоленный конверт. «Теперь все. В дивизию пошлет». Капитан прочел и вернул обратно.

— М-да... Так «ТМБ», значит, не знаешь?

— Не...— упавшим голосом ответил Ленька.

— Годен, не обучен?

— Почему не обучен? В запасном нас...

— Чучело кололи? Коротким коли, сверху прикладом бей?

— Не только чучело,— обиделся Ленька.— И гранату кидать, и «Дегтярева» собирать и разбирать, и винтовку чтоб назубок, и по-ползунски лазить...

— Как, как? — переспросил капитан.

— По-ползунски, говорю, лазить.

Капитан рассмеялся.

— По-ползунски, говоришь? Ну, а сапером хочешь быть?

— Хочу.

— За неделю берешься выучить все наши премудрости?

— Берусь, товарищ капитан.

— Вон он какой, смотри. Люди годами учат, а он за неделю...—

И повернувшись к Майбороде:— Отведи-ка его к Ляшко в первую. И гимнастерку подыщи. Поприличнее только. А теперь — кругом, шагом марш!

Ленька лихо козырнул, повернулся на каблуках и строевым зашагал из палатки.

Капитан ему понравился: молодой такой и уже орден, и красивый, как черт,— кудрявый, смуглый, брови черные,— и отчаянный, должно быть, по глазам видно. Да и вообще все складывалось хорошо. И Ленька пошел на кухню знакомиться с поваром.

Саперный батальон, в который попал Ленька, входил в состав весьма заслуженной гвардейской дивизии — «Сталинградской непромокаемой», как в шутку называли ее бойцы. Боевое крещение получила она летом сорок второго года под Касторной, потом выстояла весь Сталинград, от начала до конца, и в начале марта сорок третьего собралась на восток формироваться. Но тут немцы захватили вторично Харьков, и дивизию спешным порядком перебросили на Украину, решив, очевидно, пополнить на ходу. К моменту прибытия ее на фронт немцев сдержали, бои прекратились и началось «великое стояние», длившееся месяца три, если не больше.

Расположились в живописных украинских селах с тополями, ставками и прочими деревенскими прелестями и принялись за то, что на языке военных донесений называется «боевой подготовкой», на языке же бойцов — «припуханием», иными словами — набирались сил, получали пополнение, изучали материальную часть, уставы, занимались тактическими играми: «взвод, рота, батальон в наступлении, обороне, разведке», ну и — без этого никак уж нельзя — копали бесконечное количество окопов и ходов сообщения, всю землю вокруг сел изрыли.

Жили сперва в хатах, потом выстроили себе комфортабельные землянки, обзавелись подсобными хозяйствами, ели борщи из свежей зелени, пили молоко. Офицеры стали франтить: завели себе какие-то особенные кинжалы с пластмассовыми ручками, болтающиеся, как кортики, где-то у самых колен, шили новые гимнастерки и галифе, увлеклись только что полученными погонами — втискивали под подкладку куски жести и целлулоида, чтобы не мялись, — и мастерили из плащ-палаток легкие летние сапожки, крася их потом в черный цвет, чтобы не поймало начальство, запрещавшее использование плащ-палаток не по назначению.

Одним словом, отдохнули на славу, хотя, как это уж заведено, и ворчали, что нет хуже формировок: «То ли дело на фронте — никаких тебе конспектов, расписаний и занятий — войей, и только...»

Так прошел апрель, май, июнь.

Пятого июля над расположением дивизии целый день куда-то пролетали «кукурузники». На следующий день сводка сообщила, что начались бои в районе Курска. Вечером дивизия поднялась и двинулась на юг, а еще через несколько дней совместно с державшими оборону частями форсировала Донец и закрепилась на южном его берегу.

Саперный батальон в течение полутора суток обеспечивал переправу, к концу вторых суток с реки был снят и перекинут на передовую — минировать, разминировать и копать бесконечные НП и КП.

Вот в самом сжатом виде и вся история подразделения, рядовым бойцом первой роты которого стал Ленька Богорад. Выдали ему автомат, новую гимнастерку с погонами, негнувшиеся английские ботинки сорок первый номер, саперную лопату, на которой он сразу вырезал ножом «Л. Б.», и в очередном донесении дивинженеру цифру в графе «Личный состав батальона» увеличили на единицу, не вдаваясь в излишние подробности.

И сразу Ленька стал своим человеком. Во-первых, у него был веселый нрав, а уж одно это многого стоит, во-вторых, был он услужлив и покладист, в-третьих, любил работать — вернее, не любил бездельничать. Ко всему этому у него была славная морда — курносая, веселая, с кучей веснушек, разбросанных по всему лицу, вплоть до ушей.

Первое время над ним немножко подтрунивали, вспоминая, как он забыл на передовой свою гимнастерку, но Ленька так добродушно все

это принимал и сам так забавно рассказывал о впечатлениях той ночи — как тащили они втроем мины и как потом от «ванюши» испугался, — что все остроты отскакивали от него, как от брони. Когда же при копке котлована для опергруппы штаба он перекрыл вдвое все существующие в наставлении нормы земляных работ, оставив далеко за собой такого здоровилу, как Тугиев, даже ничему никогда не удивляющийся лейтенант Ляшко сказал: «Ого!»

На второй день крикливый и бранчливый повар Тимошка, у которого лишней ложки каши никогда не выклянчишь, подкидывал ему в котелок добавочный кусок мяса, начальник артснабжения разрешил разобрат и собрать трофейный «вальтер» и сделать даже парочку выстрелов, а пухленькая розовощекая Муся — писарша штаба, — жеманно складывая губки, говорила: «Вы очень, очень похожи на моего одного очень, очень хорошего знакомого» — и в меру своих возможностей загадочно улыбалась. Даже замполит, серьезный очкастый майор Курач, благоволил к Леньке, хотя в вопросах политики Ленька разбирался, пожалуй, не лучше, чем в высшей математике.

Одним словом, Леньку все полюбили, а он если иногда и злоупотреблял этим, то, во всяком случае, не часто и никому не во вред. Вообще же чувствовал себя со всеми хорошо и свободно и только черт его знает почему одного капитана Орлика стеснялся. Подойдет капитан, станет, глаза черные с золотистым отливом, слегка насмешливые, и эта сбита пилотка над чубом, засунет руки в карманы и спросит: «Ну как, Леонид Семенович, не надоело копать, может перекур устроим?» Сядет, закурит, ребята вокруг смеются, острят, а Ленька как воды в рот набрал. Или позовет к себе в палатку и по саперному делу начнет что-нибудь спрашивать, вроде экзаменует. А Ленька в два дня все мины и назубок выучил, и как заряжать, и как бикфордов шнур зажигать, а вот надо блеснуть перед капитаном — и все из рук валится, и спички ломаются, не зажигаются. Черт знает что!

Короче говоря, Ленька влюбился в капитана. Влюбился так, как влюбляются школьники в своих старших товарищей. Пытался даже подражать его манере курить и походке, но разве в этих бутсах пройдешь так легко! А капитан не замечал или делал вид, что не замечает, и Леньке оставалось только мечтать о том дне, когда он отличится в бою или, еще того лучше, рискуя собственной жизнью, спасет капитана от смерти. Вот тогда он увидит, на что Ленька способен. Но случай этот не подворачивался, батальон занимался теперь самым прозаическим на фронте занятием — рыл землянки и рубил лес для перекрытия, — и спасти капитана можно было разве только от штабных начальников: каждый из них требовал, чтобы именно его блиндаж был сделан в первую очередь и перекрыт не в два, а в четыре наката.

5

На южном берегу Донца, начиная от Изюма и дальше на восток, завязались бои. Несколько позднее в сводках Информбюро о них писалось: «Бои местного значения, имеющие тенденцию перерасти в бои крупного масштаба». Дивизия, в которую входил батальон, обогнув слева Богородичное, прошла с боем еще несколько километров, очутилась перед селом Голая Долина и там стала. Немцы окопались, подтянули технику и пытались даже перейти в контрнаступление, которое, правда, окончилось безуспешно, но на довольно долгое время задержало наше продвижение вперед.

В ходе боев одному из полков дивизии удалось захватить немецкую дальнобойную батарею — шесть громадных стопятидесятичетырехмил-

лиметровых гаубиц. Полк получил благодарность, но командир его, предчувствуя, что немцы попытаются отбить пушки обратно, затребовал роту саперного батальона — пускай заминируют батарею хотя бы против танков.

Первая рота как раз кончала маскировку землянок для опергруппы штаба, когда прибежал запыхавшийся Шелест — тот самый ординарец Орлика, который чистил котелок, — и сообщил, что «капитан велели к новой землянке не приступать, а сейчас же в расположение возвращаться».

По дороге Ленька подлтался к Шелесту.

— Наступать, что ли, будем?

— Не отступать же, — уклончиво ответил Шелест. Парень он был неплохой, но как человек, ближе других стоящий к начальству и раньше всех узнающий все, немного задирает нос.

— Говорят, двадцать седьмой батарею какую-то захватил?

— Говорят.

— Ну а капитан что говорит?

— Живот, говорит, болит.

— Ну тебя! Как человека ведь спрашиваю.

Шелесту самому до смерти хотелось рассказать последние новости, но надо ж набить себе цену, поэтому минут пять он еще пыжился, пока не сообщил наконец, что Богородичное наши взяли, но много народу потеряли, и что у фрица «ванюш» до черта и какие-то «тигры» и «фердинанды» появились, танки, что ли, новые. Говорят, ни один снаряд пробить их не может.

— А на минах рвутся?

— На минах? — Шелест этого не знал, но, не желая терять достоинства, отвечал, что на минах рвутся, только не так быстро. Что значит «не так быстро», он еще не придумал, но сама по себе эта деталь казалась ему вполне правдоподобной.

— Между прочим, капитан лейтенанту Ляшко говорил, чтоб внимание на тебя обратил.

— Как это — внимание? — Ленька насторожился.

— Ну, чтоб подзаялся с тобой. Парень, говорит, туповатый, так ты сам с ним позанимайся, а то скоро на задания пошлем, того и гляди подорвется на mine.

На самом деле разговор проходил в несколько других тонах, но почему в конце концов не подразнить парня?

— Так и сказал — туповатый?

— Так и сказал.

— Врешь!

— Нечего мне делать, как врать. Такой, говорит, медведь неотесанный, сегодня чуть-чуть мне голову, говорит, учебной гранатой не оттяпал.

— Так прямо лейтенанту и сказал?

— Так прямо и сказал. А лейтенант подумал-подумал и говорит... — Шелест на минутку остановился, чтобы придумать, что же ответил лейтенант.

— Ну?

— И говорит ему, значит: «А может, мы зря его к себе в батальон взяли?»

— А капитан?

— Да не перебивай ты, черт! «Может, говорит, отдадим его в стрелковый полк какой-нибудь, меньше хлопот будет?»

— Ну а капитан?

— А капитан похмыкал там чего-то и говорит: «Может, и отдадим. Попробуем, говорит, на первом задании, проверим, стоящий ли парень или так, дерьмо».

— Это ты уж трепешься — «дерьмо» не говорил.

— Может, и похуже сказал.

— А ну тебя к лешему! — Ленька обиделся и отошел. — Придумал все... — Но на душе стало горько и противно.

...Вот вернется он с первого своего задания, подорвет этот самый «тигр» или как его там и никому ничего не скажет. Вернется и спать ляжет. А на следующий день по батальону только и разговору — кто ж это «тигра» подорвал? А он молчит, ни звука. Тугиев? Нет. Сержант Кошубаров? Нет. Может, сам лейтенант Ляшко? Тоже нет. Кто же тогда? А все дело в том, что из батальонных никто и не видал, как он подорвал, видали стрелки только. Вот они и скажут своему командиру, а тот своему, и так далее, до самого верха, — боец, мол, Богорад из восьмидесяти восьмого «тигра» подорвал. И вот генерал вызывает его... Нет, из-за этого генерал не станет к себе вызывать, просто благодарность в батальон придет: «За то-то и за то-то объявляю, мол, благодарность бойцу Богораду Леониду Семеновичу». И капитан тут как покраснеет, хлыстиком начнет по сапогу бить и спросит: «Что же это ты молчал, Богорад?» И тут ему Ленька ответит: «А чего мне было говорить, когда меня из батальона отчислить хотят и дерьмом считают». А капитан ему...

В этом месте Ленька споткнулся обо что-то и со всего маху налетел на впередиидущего.

— Ты що, сказывся, чи що? Очи повилазили?

Ленька ничего не ответил, отошел в сторону, но нить рассказа была уже порвана, и что ответил ему капитан, так и осталось неизвестным.

В расположении успели только быстро, на ходу, поужинать и сразу двинулись в путь. До батареи было километра четыре или пять, и Ляшко надеялся до рассвета успеть заминировать хотя бы основные направления. Но на фронте не всегда получается так, как хочешь. Ляшко решил сэкономить во времени, и пошли не дорогой, а лесом — один из самых ненадежных способов, когда торопишься, — в результате к батарее пришли, когда стало совсем уже светло. Мины, отправленные на четырех повозках, давно уже ждали их на месте. Начальник штаба полка, рыжий, потный, вконец задерганный майор Сутырин, неистовствовал.

— Вы бы еще через неделю пришли, мать вашу за ногу! Разболовались там на своих КП и НП для начальства, а как на передовую — так калачом не заманишь.

Ляшко почесывал двумя пальцами небритый подбородок — этого человека трудно было вывести из себя, — спокойно слушал майора и, когда тот сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, спросил:

— Кто мне покажет танкоопасные направления?

Майор опять взвился:

— Ему еще направления показывай! Вот, вот, вот — везде направления! — Он тыкал пальцем во все стороны. — Они с минуты на минуту танки могут бросить! Что мы будем тогда делать? Я вас спрашиваю — что мы будем делать? Ну, чего же вы молчите?

Ляшко прекрасно понимал состояние майора. Сам он воевал с первого дня войны, побывал во всех возможных переделках, видал на своем веку не одного начальника, сейчас даже сочувствовал несчастному начальнику штаба — он его знал еще по Сталинграду — и спокойно, не вступая в ненужные споры, ждал, когда тот наконец изольет

свою душу. Но майор за пять минут до этого получил выговор от начальника штаба дивизии за поздно присланное донесение и еще долго носил бы и Ляшко, и его роту, и его батальон, и вообще всех саперов, если бы, на счастье Ляшко, не подошел к ним инженер полка Богаткин. Немолодой уже, с седеющими висками и перевязанной левой рукой, незаметно подошел и стал рядом, подмигнув Ляшко, — они тоже были старые знакомые. Майор сразу перекинулся на него.

— Вот, инженер, явились твои хваленые саперы! Что хочешь, то и делай с ними. Надоело мне все это. В лесу, видишь ли, прохлаждались, пока мы за пушки эти чертовы здесь воюем.

Инженер устало улыбнулся.

— К телефону тебя зовут. Сорок первый.

— Дежурного там, что ли, нет? Все Сутырин, за всех Сутырин.

— Ну ладно, ладно, иди уж.

Майор выругался и побежал в землянку.

Инженер опять улыбнулся.

— Замотали старика, ей-богу. А так — душа-парень. Ты сколько людей привел?

— Да всю роту. Приказали роту.

— Многовато, конечно, но ничего, скорей справимся. Где люди?

— Вон яблоки уже трясут.

— Запрети. Комендантский уже двух солдат из-за яблок потерял. Жара, воды не хватает, вот и трясут с утра до вечера.

— А это не из-за яблок? — кивнул на перевязанную руку Ляшко.

— Чепуха. Пулей задело. Снайперы у них неопытные, не сталинградские.

Где-то совсем недалеко раздался щелк миномета, и почти сразу же несколько мин разорвалось в саду. С деревьев посыпались яблоки. Бойцы бросились подбирать. Ленька инстинктивно прижался к земле, но, увидав, как солдаты, ни на что не обращая внимания, ползают по саду и собирают яблоки, тоже, чтобы не отстать от них и не показаться трусом, набил себе карманы мелкими, совершенно еще зелеными «кислищами», как их тут называли.

— Отставить яблоки! — крикнул издали Ляшко и направился к бойцам.

Вместе с ним шел инженер и еще какой-то сержант.

— Петренко, бери свой взвод и пойдешь вот с сержантом, — сказал Ляшко и, увидев Леньку, добавил: — Ну, Богорад, с праздником тебя святого крещения.

— Не подкачаем, товарищ лейтенант! — Ленька почувствовал, как у него начинает пересыхать во рту.

Ляшко вынул из бокового кармана громадные, как у паровозного машиниста, часы.

— К пяти ноль-ноль чтоб было все готово, Петренко. Ясно?

Надолго запомнилось Леньке это утро — раннее июльское утро с только-только выглянувшим из-за яблоневого сада краешком солнца, с дрожащими на травинках росинками, с пробежавшей у самых его ног полевой мышью, обернувшейся, посмотревшей на него и юркнувшей в только ей одной известную и больше никому на всем земном шаре норку. Запомнил и толстую яблоню, на которой уже кто-то вырезал ножом «Б. Р. С. июль 43», и как сержант скручивал последнюю, обязательную перед каждым заданием сигарку, и как у него слегка тряслись пальцы и он рассыпал махорку и стал подбирать ее с земли. Потом

просвистела над головой пуля, и Ленька наклонился, а сидевший рядом с ним боец Антонов засмеялся и сказал: «Рано кланяешься, Ленька». Свистнула не пуля, а птичка — есть такая сволочная птичка, которая свистит, как пуля. Потом Петренко сказал «подъем», и все, кряхтя и матерясь, поднялись и поїшли, и Касаткин забыл, конечно, свою лопату и с полдороги должен был за ней возвращаться. Шли сначала по саду, потом спустились в маленький овражек, или «ложок», как называли его бойцы-сибиряки, и довольно долго двигались по дну ложка. Впереди — Петренко, командир взвода, рослый, плечистый, с широким рябым лицом, за ним — Антонов обычной своей косолапой, медвежьей походкой, придерживая рукой приклад винтовки, чтобы не стучал о лопатку. За Антоновым — Ленька; шел и смотрел на его красный, свежеподстриженный затылок и удивлялся, когда он, холера, успел подстричься, вчера ведь еще лохматый ходил. Потом вышли из ложка и оказались в кустарнике. Прошли немного по кустарнику, дошли до его опушки, и Петренко сказал «ложись». Все легли: направо от Леньки — Антонов, налево — долговязый Сучков, который сразу же вынул из кармана хлеб и стал жевать.

«Хорошо, что Антонов рядом, — подумал Ленька, — он-то уж собаку на минах съел, парень стреляный-перестрелянный». А Антонов глянул уголком глаза на Леньку — тот чистил щепочкой винты на автомате — и в свою очередь подумал: «Пока ничего. не очень дрейфит». Потом Ленька засунул щепочку в пилотку и, подперев голову руками, от нечего делать стал рассматривать впередилежащую лужайку.

— На бинокль, — толкнул его в бок Антонов, — на фрицев посмотри. Ленька взял, вдавил в окуляры глаза и стал водить слева направо. Лесок, сосенки, лужайка, опять лесок, опять сосенки.

— Ну, нашел?

— Не...

— А ты прямо против себя смотри.

Ленька посмотрел прямо и увидел — черт, прямо перед самым носом! — двух бегущих солдат. Один отстал, сел на корточки, потом встал и побежал следом за первым. Даже винтовки видно, и что без гимнастерок оба, и что рукава засучены. Ленька стал еще водить и нашел еще одного. Он сидел на дереве, вроде как на площадке, и тоже смотрел в бинокль.

— О, смотри, смотри, наблюдатель!

— Чего орешь? Обрадовался... — Антонов отобрал бинокль.

Ленька посмотрел без бинокля и ничего не мог разобрать. Вот чертова штука! Сидит фриц на дереве и тоже, вероятно, видит Леньку. Вот скажет сейчас кому-нибудь, и по ним огонь откроют. Но тут же успокоился: солнце светило из-за спины, и фрицы не могли их рассмотреть.

Подполз Петренко. Показал ему, Антонову и Сучкову, куда вести первый ряд. Подтащили мины, стали копать ямки. Немцы не стреляли, грунт хороший, дело шло быстро. Ленька копал ямки — раз, два, три, и ямка готова, — Антонов клал мину, Сучков прикрывал ее дерном и присыпал ветками. «Давай, давай, Сучков, не отставай — пять штук только осталось».

И вдруг как началось... как стало рваться со всех сторон! И снаряды, и мины, и черт его знает что еще. Ленька еле успел отскочить в окопчик — хорошо еще, выкопал их здесь кто-то, — уткнулся мордой в землю, зажал коленями уши и так сидел, скрючившись, закрыв глаза, стиснув зубы, и считал только: раз, два, три, четыре, пять, шесть... Потом и считать перестал.

Очнулся Ленька оттого, что его кто-то сапогом тыкал в спину. Высвободив голову из колен, посмотрел вверх — над ним лицо Антонова, что-то кричит, а что — никак не поймешь. Вылез из окопчика. В двух шагах от него Сучков лежит, ноги раскинул, голову руками обхватил. И чего он так по-глупому лежит? Немного дальше Антонов, уже лежит, и спина у него дрожит. Повернулся на секунду, лицо красное, губы сжаты, рукой только махнул — ложись, мол, — и опять отвернулся. Ленька подбежал к Антонову, лег рядом с ним и только сейчас увидел, что тот стреляет. Впереди по полю прямо на них бежали немцы — человек десять или двадцать, а может, и больше. Ленька прижал автомат к щеке и пустил очередь, потом вторую, третью. Немцы бежали и кричали и, кажется, стреляли, потом стали падать, потом начали рваться мины, и они побежали назад.

— А-а-а! — закричал неожиданно для самого себя Ленька и вскочил.

Антонов больно ударил его прикладом «ППШ» по ноге.

— Ложись, дура!

Ленька плюхнулся на живот, а Антонов опять ударил его, на этот раз по голове, чуть выше уха.

— Чего дерешься? — огрызнулся Ленька.

— Молчи, пока живой. Патроны есть еще?

Ленька пощупал рукой висевший на поясе в мешочке запасной диск, снял его и положил рядом. Искоса посмотрел на Антонова, потом на Сучкова. Тот все так же лежал, раскинув ноги и обхватив голову руками. «Отвоевался», — мелькнуло в мозгу у Леньки, и он отвернулся. Откуда-то справа доносилась еще стрельба, потом и там утихло.

— Сорвалось пока. — Антонов отложил автомат и посмотрел на Леньку. — Ну как?

— Да ничего. — Ленька попытался улыбнуться.

Антонов состроил вдруг гримасу.

— Э, брат, да тебя уже того... Что это у тебя над ухом?

Ленька пощупал — липкое. Посмотрел на руку — красное. Кровь...

Но тут Петренко крикнул: «Кончай ряды, пока тихо», и они с Антоновым стали укладывать оставшиеся мины.

К шести утра рота успела поставить пять минных полей — на одно больше, чем хотел того начштаба Сутырин, из них два — взвод Петренко. Антонов с Ленькой были на первом месте — вдвоем они поставили шестьдесят четыре мины. Ленька чувствовал себя героем. Голова его была перевязана, и на вопросы бойцов он с пренебрежительным видом отвечал: «Да так, ерунда, царапина». Лейтенант Ляшко сказал ему: «Был бы у меня фотоаппарат, сфотографировал бы тебя — вид у тебя больно геройский». А инженер с седыми висками, узнав, что Ленька новичок и уже столько мин поставил, сказал: «Давай догоняй старичков, чтоб не зазнавались». И Ленька сиял и краснел и из скромности говорил, что это все Антонов — без него он все равно что нуль без палочки, — и жалел, ох как жалел, что не было тут капитана Орлика...

И только смерть Сучкова, молчаливого долговязого Сучкова, не дала ему насладиться триумфом. Они не были друзьями — он и Сучков, — более того, Сучков был единственный, с кем Ленька повздорил в батальоне, и Леньку всегда злило, что Сучков без конца жевал хлеб и на земляных работах каждые пять минут устраивал перекур, но это был первый — первый убитый немцами человек, которого он знал. Недавно еще только разговаривали, и Сучков у него еще газетки для курева попросил, и он ему дал, а тот сказал «хорошая, не рвется», а вот

сейчас лежит он, руки вытянул, глаза закрыл, и бойцы ему могилу копают. И когда на него, завернутого в плащ-палатку, упали первые комья земли, Ленька почувствовал, как к горлу его что-то подкатило, и он часто-часто заморгал глазами.

7

Задание было выполнено, минные поля поставлены, можно было идти домой. Но майор Сутырин, панически боявшийся танков, — а они все не шли и не шли, а он их все ждал и ждал — упросил Ляшко оставить один взвод до вечера.

— Ты понимаешь, — говорил он уже совсем другим тоном, чем утром, просительным, заискивающим, — дорога у меня тут одна паршивая еще есть. Если пустят танки, то обязательно по ней, вот увидишь. А сейчас светло, никак к ней не подступиться. Оставь ребят до вечера, они вмиг все сделают. А я им за это, — он щелкал себя пальцем по шее, — на сон грядущий выдам по маленькой.

Ляшко, как и утром, почесывал подбородок и, тяжело вздыхая, дразнил майора.

— Права не имею, товарищ майор. Все прекрасно понимаю, но не имею права. Приказано всем без исключения после выполнения задания в расположение вернуться.

Майор обнимал Ляшко за спину — он был на голову ниже его и до плеч не мог дотянуться — и не отставал.

— Ну, не мсти мне, не мсти мне, Ляшко. Я утром погорячился, сам понимаю, но надо же быть человеком. Я б и своих послал, да их, сам знаешь, как кот наплакал, и в разгоне все, по батальонам. А у тебя ж орлы, одно слово — орлы, повернуться не успеем, как все сделают. А я их и обедом и ужином накормлю, по две порции дам! — И он просительно заглядывал в глаза Ляшко. — Ну как? Договорились? А? Ну не мучь меня.

Кончилось тем, что майор уговорил-таки Ляшко, дав клятвенное обещание — «вот тебе крест святой», и он три раза истово перекрестилсь, — что к двадцати четверем первый взвод будет уже на месте.

Второй и третий взводы уже ушли. Первый расположился в немецких артиллерийских землянках и завалился спать. Один только Ленька, возбужденный происшествиями сегодняшнего дня, не мог заснуть. Приставал сначала к Антонову с различными вопросами, потом к Петренко, они что-то бурчали ему в ответ невразумительное, наконец просто обложили матом, и Ленька стал слоняться по батарее, шупая и ковыряя пушки, пока его и оттуда не погнажи. Забрался в сад, наелся кислых яблок до оскомины и бурчания в животе и прибился наконец к полковым разведчикам — удалым хлопцам в пестрых шароварах, расстегнутых гимнастерках и с кинжалами за поясом. Ночью они ходили в разведку, задержали на дороге заблудившийся немецкий грузовик, привели «языка» шофера и притащили два чемодана трофеев. Сейчас, устроившись в одной из землянок, дулись в очко на трофейные часы и прочее барахло. Ленька поставил единственную свою ценность, перочинный ножик с двенадцатью предметами, и через час выиграл двое часов — одни с черным, другие с желтеньким циферблатом, — самописку в зеленых разводах и бритвенный прибор в беленькой пластмассовой коробочке. Потом разведчики угостили его крепким как черт коньяком, и кончилось все тем, что он у них заснул, не заметив даже как.

Проснулся, когда стало уже темнеть. Разведчики ушли на какое-то свое задание, и в землянке был один только старшина, перебивавший

взводное имущество. Ленька с перепугу, что все проспал, побежал к своим, а там набросился на него Петренко:

— Где тебя носило? Всю батарею обыскали, весь сад, с ног сбились... И уже наклюкался где-то. А ну, дохни.

Ленька дохнул.

— Так и есть. Без году неделя в батальоне, а уже номера выкидывает. Это что тебе — запасной полк, что ли, или боевая единица? Капитан пришел, где Богорад, спрашивает, а что я ему отвечу?

Ленька стоял, вытянув руки по швам, и молчал. И нужно ж ему было к этим лихим разведчикам попадать — занесла нечистая сила! — как раз когда капитан пришел. Не везет, ну просто не везет!

— А, нашелся, бродяга, — раздалось вдруг у него за спиной. Ленька вздрогнул, узнав голос капитана. — Где пропал?

— Разведчики здесь рядом. К ним вот заскочил, — самым, каким только умел, невинным тоном ответил Ленька.

— Водку хлестал с ними, а?

Ленька почувствовал, что краснеет.

— Ну, чего стесняешься? Угощали водкой?

— Коньяком... — еле слышно ответил Ленька.

Землянка чуть не развалилась от хохота.

— Это что ж, чтоб голова не болела? — Капитан указал на Ленькин бинт и присел на снарядный ящик. — Напиться есть у кого? Только не коньяку.

Несколько рук протянулось к капитану.

— Яблочки вот хорошие, кисленькие.

Петренко хлопнул по одной из рук так, что яблоки разлетелись в разные стороны.

— Отставить! И выкинуть их все к чертовой матери! И так все желудки порасстраивали. Палкой из кустов не выгонишь. Майборода, принеси-ка воды, там, около пушки, бачок стоит.

Капитан встал.

— Ладно. Шутки в сторону. Сколько у тебя людей, Петренко?

— Со мной десять.

— Оставишь себе шестерых, хватит по уши, а мне дашь Антонова, Тугиева и... — капитан обвел глазами землянку, поочередно останавливаясь на каждом, — ну и... — остановился на Леньке. — Здорово тебе в голову заехало?

— Да какое там здорово... Просто...

— Ясно. Зрение хорошее?

— Ничего.

— И ночью хорошо видишь?

— Вижу...

— Значит, этих троих — Антонова, Тугиева, Богорада — я беру с собой. А остальных веди на задание. Ох, уж этот мне Сутырин — всю жизнь мечтал с ним воевать. Только чтоб к двенадцати все уже на месте были.

— А мы и за час управимся. — Петренко встал. — Дома еще ужинать будем.

— Ну, все. Собирай людей. А вы трое — за мной!

Капитан вылез из землянки, осмотрелся и направился к яблоням. Солнце уже село, и в воздухе пахло сыростью. Группа солдат, устроившись под пушкой, вполголоса пела какую-то украинскую песню. На пушке сохли кальсоны и рубашки. Откуда-то очень издалека доносилась гармошка.

— Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут... Садись, ребята. Закуривай.— Капитан сел под яблоню, ту самую, где было выцарапано «Б. Р. С.», и вытащил пачку «Казбека». Антонов даже языком щелкнул.

— Откуда это у вас, товарищ капитан?

— А ты не спрашивай, закуривай. Подарили люди добрые.

Антонов подмигнул Леньке — знаем, мол, что это за люди.

— А штуку эту придется тебе чем-нибудь замотать.— Капитан указал на Ленькин бинт.

— Можно и вообще скинуть.

— Не скинуть, а замотать, я сказал. В темноте, как фонарь, светит. К немцам сейчас пойдем. Прямо в логово ихнее. Ты вот вблизи их никогда не видал. Надо ж посмотреть, правда?

— Надо,— без особой уверенности ответил Ленька.

Капитан улыбнулся.

— Ну, не к самим немцам, но, в общем, поближе к ним. Завтра предполагается операция маленькая, ну и нам с вами надо на двух участках проверить, нету ли полей минных. И провернуться должны как можно быстрее, чтоб вторая рота успела сделать проходы. Бурлин придет сюда к двенадцати — значит, в нашем распоряжении три, максимум четыре часа. Ясно?

— Ясно,— ответил Антонов.— А далеко идти?

— Сейчас узнаешь. Возьмешь Тугиева, я — Богорада. Твой участок — дорога на Голую Долину, мой — левее, где разрыв между рощами. От передовой до немцев — метров триста: значит, до мин — метров двести — двести пятьдесят. За три часа должны успеть. Каждому взять по две гранаты «РГД» и проверить автоматы. Финки тоже с собой взять. На все это даю пятнадцать минут. Сбор здесь, у яблони. Шагом марш!

Все трое пошли в землянку.

— Ты за ним следи, за капитаном,— шепотом сказал Антонов.— Он знаешь какой? Обязательно во что-нибудь впутается.

— Как это впутается? — не понял Ленька.

— А уж придумает как. Языка захочет притащить или что-нибудь в этом роде. Так ты не давай. Время, говори, истекает, рота ждет.

— Да он же и сам знает, что ждет.

— Знать-то знает, но и я его знаю. Ты думаешь, из штаба приказали именно ему идти? Сказали — послать офицера, вот и все, а он возьми да и сам. Шило у него в одном месте торчит.

Когда вернулись к яблоне, капитан сидел в той же позе, только с картой на коленях, и что-то мерил на ней циркулем.

— Ну что, все готово?

— Все, товарищ капитан.

— Пошли тогда.

— Это вам.— Антонов протянул две гранаты.— Свеженькие, краской еще пахнут.

Капитан повесил гранаты на пояс, заправил гимнастерку и протянул руку Тугиеву, затем Антонову.

— Ни пуха ни пера.

— Вам того же,— улыбнулся Антонов. Тугиев, как всегда, молчал.— И помните, что Бурлин в двенадцать придет.

— Помню. А что?

— А ничего. Просто так.— Антонов опять улыбнулся и пожал Леньке руку.— Навалило на тебя сегодня, только держись.

Они расстались и пошли в разные стороны: Антонов с Тугиевым — мимо пушек по дороге, Ленька с капитаном — прямо через кустарник.

Почему Орлик выбрал Богорада, а не кого-либо из более опытных ребят, он и сам не знал. Когда шел из расположения батальона на передовую, он твердо решил — Антонова послать с Тугиевым, а Петрова с Вахрушевым. В разведке они бывали не один раз, ребята все опытные, бывалые, сталинградцы. Да и сам-то он вовсе не собирался идти — дивинженер так и сказал (Антонов был прав): «Пошлите кого-нибудь из командиров рот, или нет, даже из командиров взводов, только потолковее». А вот пришел в землянку, глянул на Богорада — стоит смущенный, мнется, и с коньяком этим самым умора, — как-то само собой в голову пришло: а почему не послать его? «Ей-богу, может, и неплохой разведчик получится — парень расторопный, сообразительный, как будто не трус, а с разведчиками сейчас как раз особенно туго стало, из солдат только Вахрушев и Тугиев остались. Надо и им смену готовить. Возьму да пошлю».

И тут же вдруг захотелось и самому пойти. «Прослежу-ка за Богорадом, как он там со всем этим делом справляется. Да и вообще осточертели все эти землянки да блиндажи для начальства, будь они трижды прокляты». Так и решил — с собой Богорада взять, а Антонова с Тугиевым послать.

Сейчас они шли через кустарник — до передовой было около километра, — и где-то, невидимые, заливались кузнечики, и над самой головой стремительно пронеслись ласточки.

— Мессера... — улыбнулся Ленька. — Может, и дождь будет, больно низко летают. — И, пройдя несколько шагов, добавил: — Давно дождя не было. Земля вишь как потрескалась.

Дождей действительно давно уже не было — с той ночи, пожалуй, когда Ленька попал в батальон. Трава совсем выгорела, стала сухой и желтой. Ленька наклонился, взял горсть земли и растер ее между пальцами.

— Вон и червяк похудел. Посмотри, какой стал. — Он протянул руку капитану и пересыпал ему в ладонь сухую, как порошок, землю. — Дать ему, что ли, напиток из фляжки?

Орлик посмотрел на часы.

— Присядем-ка. Подождем, пока совсем стемнеет. — Он почувствовал, что с Леньки соскочила его обычная скованность, и захотелось поговорить с ним.

— Что ж, подождем... — Ленька с готовностью согласился и сел под кустом, поджав ноги по-турецки.

Орлик сел рядом и, стянув сапог, стал перематывать портянку.

— Тихо как, а? — шепотом, очевидно чтобы не нарушить этой самой тишины, сказал Ленька, и тут же, как будто нарочно, совсем рядом щелкнул миномет и мина, просвистев над их головами, разорвалась где-то позади.

Капитан глянул уголком глаза на Леньку.

— Не боишься уже?

— Кого?

— Да мин.

— Мин? — Ленька пожал плечами, потом спросил: — А вы?

Капитан улыбнулся.

— Я с ними давно уже знаком. Вот здесь вот, — он хлопнул себя по ноге, чуть выше колена, — три осколка берегу... А первые недели на фронте кланялся довольно-таки усердно.

— А вы давно воюете?

— С самого начала. С июня сорок первого.

— И теперь совсем уже не боитесь?

— Чего?

— Ну вот идти сейчас на задание хотя бы...

Орлик опять улыбнулся.

— А ты хитер, я вижу, в контратаку перешел. Ну как тебе сказать? — Он стал подыскивать подходящее объяснение, но никак не мог найти. — И да и нет как-то...

— Вот и я так думаю. Шел вот и думал. Человек, ведь он не хочет умирать, правда? А раз не хочет, то это уж и значит, что боится. Правда?

— Ну, допустим, что так...

— А идти надо, вот как нам сейчас с вами. А может, нас убьют или покалечат, а мы все-таки идем. И вообще...

Ленька вдруг умолк, поймал муравья и стал его рассматривать.

— Что вообще?

— Ну так, вообще... Воюешь вот, воюешь, а с кем и не знаешь...

— То есть как это — не знаешь? — Орлик даже удивился. — Два года воюем, а ты и не знаешь?

— Ну, не то что не знаю... Знаю, конечно. Знаю, что есть Гитлер, фашисты, что они хотят всю Россию завоевать и весь мир... Но раньше, лет сто или двести назад, не так было, правда? Сойдутся два войска и дерутся. Он тебя, а ты его — кто кого. А теперь... — Ленька сдунул муравья с ладони и посмотрел, куда он упал. — Убило вот недавно у нас Сучкова. Когда минное поле ставили. Вы его знаете, высокий такой, с нашего взвода. Прилетела мина и убила. А он живого фрица ближе как за триста метров никогда и не видел. Да и я тоже...

— Ну, это счастье успеешь еще увидеть, — сказал Орлик и с силой всунул ногу в тонкий хромовый сапог, но тут же вытянул ее. — А ну, дай-ка мне свой ножик знаменитый, торчит там пакость какая-то, гвоздь, что ли...

Ленька вынул нож, открыл отвертку и протянул капитану.

— Этим лучше всего.

Капитан стал возиться с гвоздем, и Ленька умолк. А ему хотелось еще о многом поговорить. Ну что это за война? Все с воздуха прилетает. Вот сейчас хотя бы; кругом тишина, красота, ласточки летают, жучки разные ползают, и вдруг, откуда ни возьмись, прилетает кусок железа — и прямо в тебя. И даже неизвестно, кто выстрелил... Или минное поле... Прячешь в землю ящички с толом и старательно-старательно их маскируешь травой, веточками там разными, и все это, чтоб обмануть. А потом сами подрываемся, как в тридцать третьем полку было два дня назад... И вообще, кто это войну выдумал? И когда самая первая, самая-самая первая война произошла? Лет тысячу назад, или две, или больше? И из-за чего она началась? И еще хотелось Леньке сказать о другом. О том, что идет он вот сейчас вместе с ним, с капитаном, на свое первое задание и, конечно же, ему страшно, но пусть капитан не беспокоится, он выполнит любое его приказание, даже больше, а если они столкнутся вдруг с немцами... Пусть, пусть столкнутся, он даже хочет этого — он не подкачает, он с любым фрицем справится, он видел, когда шел на фронт, в одном селе повешенных немцами партизан, пять человек, и среди них девушка, совсем молоденькая девушка, лет семнадцати-восемнадцати, не больше... И еще о многом хотел сказать и спросить Ленька, именно здесь, в лесу, когда рядом никого нет, только они вдвоем с капитаном, но капитан не слушал его, старательно всовывал ногу в сапог, а потом встал и веселым своим голосом сказал:

— Ну что, философ, пошли, что ли? — И протянул ему нож, знаменитый нож с двенадцатью предметами. — Хорошее оружие. Где достал?

Ленька спрятал нож в карман.

— В Свердловске еще, на толкучке. На сахар выменял.

Несколько минут шли молча — Ленька впереди, капитан сзади. Он нарочно отстал. Ленька шел, тихо раздвигая кусты, придерживая правой рукой автомат, чтобы не стучал о запасной магазин. Вид у него уже был самый что ни на есть заправский — обмотки в самом низу, не доходя до икры, гимнастерка кургузая, ладони на полторы ниже пояса, ремень матросский с якорем на бляхе (у разведчиков выменял), пилотка крохотная на самом ухе и, несмотря на жару, суконная — тоже особый шик. «Еще бы парочку медалей, — подумал Орлик, — и кто бы сказал, что парень и месяца на фронте не провел».

Ленька повернулся и спросил вдруг:

— Можно вопрос задать, товарищ капитан?

— Чего ж нельзя? Задавай.

— Это правда, что вы водки не пьете?

— Вот те раз! — Капитан даже рассмеялся. — Откуда ты это взял?

— Бойцы говорят.

— Бойцы, бойцы... Что ж, по-твоему, я перед строем этим делом заниматься должен, так, что ли? И вообще, почему это тебя интересует?

— А так...

— То есть как это — так?

— Ну просто... — Ленька несколько замаялся. — Я не знаю, правда, может солдату и нельзя с офицером, но я вот, товарищ капитан, очень хотел бы с вами выпить... честное слово.

Капитан весело рассмеялся и обнял на ходу Леньку за плечи.

— А что, нельзя? — спросил Ленька.

— Почему нельзя? Все можно, гвардии рядовой. Дай только до Берлина дойти.

Где-то впереди и левее заскрежетал «ванюша», и в фиолетово-прозрачном еще на западе небе медленно, одна за другой, обгоняя друг друга, пролетели огненные кометы. Потом загромыхало где-то сзади.

— У-у... сволочи! — выругался Ленька и остановился. Кустарник кончился. — Теперь куда?

— Теперь финку в зубы, на живот — и за мной.

Ленька не мог вспомнить потом, сколько времени они проползли — час, два, а может, и всю ночь. Не мог вспомнить и о чем он думал тогда и было ли ему страшно. Полз, и все — капитан впереди, он сзади. Сердце только сильно стучало, и он все боялся, что капитан услышит и выругает его потом, и поэтому сдерживал зачем-то дыхание — может, меньше стучать будет, но сердце все стучало и стучало и в груди, и в голове, и в руках, и в ногах — везде... Один раз они попали в какое-то болотце, промокли, и капитан еле слышно сказал «лсвее», и они стали огибать его слева. Потом попали в лесок или рощицу — вероятно, ту самую, которую он рассматривал когда-то в бинокль.

«Ого, как далеко запёрли», — мелькнуло у Леньки в голове. Ползти было неудобно: с непривычки болели колени и локти, от финки сводило челюсти, мешали гранаты и запасной магазин. Но он все полз и полз, боясь отстать от капитана, перебирая руками и ногами, глотая слюну и прислушиваясь к окружающей тишине.

Наконец, слава богу, повернули назад.

Никаких мин нигде не обнаружили. И немцев тоже. Черт его знает, куда они делись, — даже ракет никаких.

Попали на знакомое болотце, обогнули его. Впереди, в темноте, наметились смутные очертания двух расщепленных снарядами груш —

до своих, значит, уже недалеко. И вдруг... Капитан остановился. Ленька чуть не ударился носом о его сапоги. Как был с протянутой вперед рукой, так и застыл. Где-то правее, шагах в двадцати, слышны были голоса. Кто-то говорил сдавленным шепотом, кто-то отвечал. Потом умолкли. Ленька впился в темноту так, что в глазах поплыли зеленые круги. Как будто курит кто-то. Мелькнул огонек и погас. Ленька почувствовал, как в нем все сжалось и напряглось. Сердце уже не стучало — оно тоже притаилось. Во рту пересохло. Он вынул изо рта финку, подтянул правую ногу, потом левую, беззвучно подполз к капитану. Тот, не поворачивая головы, нащупал Ленькину руку и крепко сжал ее. Ленька понял... Медленно, затаив дыхание, пополз в сторону огонька.

9

Ленька лежал на траве и смотрел широко раскрытыми глазами в небо — черное, без единой звездочки. Сильно болела шея. Большой палец на левой руке был вывихнут и распух. Гимнастерка и даже майка распороты ножом сверху донизу. Нож прошелся по груди и животу, но как-то странно, оставив только легкую, даже не кровоточащую царапину. Немец оказался очень сильным, и Ленька долго возился с ним, пока тот не притих окончательно.

Капитан ушел куда-то докладывать о результатах разведки. Кругом было тихо — чуть-чуть только шумели сосны над головой и откуда-то издалека доносилось ржание лошади. Лейтенант Ляшко с ребятами давно ушли. Ленька остался один. Полк был чужой; кроме разведчиков, он в нем никого не знал, да и вообще ему сейчас никого не хотелось видеть. Почему-то все время трясло мелкой противной дрожью. И шея болела. Трудно было голову повернуть.

Мимо прошел боец. Ленька окликнул его и попросил спичек. Тот дал. Ленька чиркнул и, заслонив огонек ладонями, еще раз внимательно осмотрел финку. Нет, крови на ней не было. Значит, когда он ударил немца, он попал в ранец или противогаз. И все-таки он ткнул несколько раз финку в землю, потом старательно обтер ее краем гимнастерки.

...Немец почти сразу же выбил у него из рук финку. Потом они долго молча катались по траве. Потом... Ленька опять задрожал. Он встал и, вскинув автомат на плечо, пошел по лесу. Шагов через двадцать столкнулся с капитаном. Было темно, но капитан сразу узнал его.

— Ты куда?

Ленька ничего не ответил.

— А я за тобой. Начальству доложено, Бурлина назад отправил с Антоновым и Тугиевым, а нам с тобой можно и передохнуть.— Капитан слегка толкнул Леньку в спину.— Пошли.

Ленька не спросил куда, решил, что в расположение, но, миновав дальнобойную батарею, капитан повернул не направо, а налево, к артиллерийским землянкам.

— Кто идет? — раздался в темноте хриплый голос.

— Ладно, ладно, свои.— Капитан даже не убавил шагу.— Темнота эта чертова... Какая тут инженерова землянка? Эта, что ли?

После лесной непроглядной тьмы в землянке казалось ослепительно светло. В глубине, за самодельным столиком, в расстегнутой гимнастерке сидел капитан Богаткин, листал журнал. В углу храпел связист.

— Вот он, наш герой,— весело сказал Орлик, входя.— Леонид Семенович Богорад. Прошу любить и жаловать.

— А мы уже знакомы.— Инженер устало улыбнулся и встал.— А вид действительно геройский.

Ленька только сейчас вспомнил, что гимнастерка на нем разорвана, и торопливо стал засовывать ее в штаны.

— Постой, постой, герой! — Инженер подошел к нему и провел пальцем по твердому, покрытому пушком Ленькиному животу. — Это что, раны боевые? Давай-ка мы их зеленкой. У нас тут все есть.

Он по всем правилам наматал на спичку вату, окунул ее в пузырек и нарисовал на Ленькином животе яркую зеленую полосу от ключицы до пупка.

— Повезло тебе, брат. Все внутренности сохранил. Пригодятся еще. А теперь застегивайся и садись.

Ленька запахнул гимнастерку, как халат, и вправил ее в штаны. Гранаты и запасной магазин снял с пояса и положил рядом с автоматом в углу.

— Ну чего ты там возишься? — окликнул его Орлик. — Иди-ка сюда. Покажу тебе нового твоего знакомого.

Ленька, продолжая вправлять гимнастерку, подошел к столу.

— Узнаешь? — Орлик протянул фотографию.

На маленькой карточке с неровными, точно оборванными, краями улыбался курносый, с вихорком на лбу, светлоглазый парень в расстегнутой белой рубашке. Орлик бросил на стол еще две карточки. На одной тот же парень, в одних трусах, на пляже, сидит, обхватив руками колени, рядом — девушка в купальном костюме и резиновой шапочке. На второй — старик в высоком воротничке, старушка и тот же парень и та же девушка: он в пиджаке и галстук, тщательно причесанный, без вихорка, она в светлом платье, с цветком в волосах.

Ленька поднял глаза на капитана. Тот весело смотрел на него и, собрав карточки, держал их сейчас веером в вытянутой руке.

— Иоганн-Амедей Гетцке. Обер-ефрейтор. Родился в городе Мангейме в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Убит на русском фронте в тысяча девятьсот сорок третьем году, в районе Голой Долины, в ночь на... Какое сегодня число, Богаткин?

— Двадцать пятое, — сказал инженер.

— В ночь на двадцать пятое июля убит советским солдатом Леонидом Богорадом... Узнаешь теперь, солдат?

Ленька, не отрываясь, смотрел на карточку, на улыбающееся, веселое, курносое лицо. Там, в поле, у разбитых снарядами груш, он не видел этого лица. Но эту шею, крепкую, круглую шею... Он отвернулся, он не мог на нее смотреть.

Орлик был весел и говорлив. После всего происшедшего он испытывал нервное возбуждение, и сейчас ему хотелось говорить, действовать, быть активным.

— А ну, хозяин, не жмись, не жмись. Вываливай на стол все свои богатства.

Он быстро и ловко очистил стол от бумаг и папок, покрыл его газетой.

— Тебе б такого ординарца, Богаткин, а? Возьми к себе, не пожалейшь.

Богаткин известен был на всю дивизию тем, что, как он сам говорил, не признавал «института денщиков», — сам подшивал себе подворотнички, стирал носки, носовые платки. Сейчас он деловито, по-хозяйски, вытер полотенцем граненый стакан, крышку от фляжки и стаканчик для бритья, потом достал из-под стола две бутылки коньяку и, тоже обтерев их полотенцем, поставил на стол. Орлик со знанием дела стал разглядывать этикетки.

— Неважные у тебя, брат, саперы. Могли бы и французский достать. Ну да хрен с ним, чего только не пили... — Двумя ловкими ударами он выбил пробки и понюхал горлышко. — Нет, ничего, жить можно. А закуска?

Богаткин положил на стол плитку шоколаду в коричневой с золотом обертке и плоскую баночку сардин. Орлик прищелкнул языком.

— Живем, Богорад. Тут у нас целый интернационал — коньяк венгерский, шоколад швейцарский, сардины португальские. Ел когда-нибудь сардины, сознайся? Пальчики оближешь. Да оторвись ты от этих карточек. На Гретхен златокудрую загляделся.

Ленька молча протянул фотографии.

— А бабка ничего, а? — Орлик, прищулив один глаз, посмотрел на фотографию. — У покойничка, видать, губа не дура была...

Ленька исподлобья глянул на капитана и опустил глаза.

— Не надо так, товарищ капитан...

Но капитан не расслышал или сделал вид, что не слышит, подошел к столу, взял стаканы и протянул один Леньке.

— За твое огневое крещение, Леонид Семенович! За вторую твою боевую ночь.

Ленька молча стоял, опустив голову.

— В первую ты познакомился с минами. И с нами. А во вторую — с этим самым, с Гетцке... Ну, чего приуныл? — Капитан взял его за подбородок. — Пей, развеселишься.

Ленька отрицательно мотнул головой.

— Ты что, болен? Богаткин, дай-ка градусник. Ей-богу, он заболел.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — очень тихо сказал Ленька.

— Куда? — Орлик стоял перед Ленькой, держа в одной руке бритвенный, в другой граненый стакан, оба полные до краев. — Куда идти?

— Никуда... Подожду вас снаружи.

— Но ты ж сам еще вечером, когда мы шли на задание...

Ленька поднял голову и посмотрел капитану в глаза.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — так же тихо, настойчиво повторил он.

Капитан круто повернулся, подошел к столу, поставил стаканы, постоял так несколько секунд, потом, не поворачиваясь, сказал «иди» и, когда Ленька вышел, залпом, не чокнувшись, выпил полный стакан.

Орлик долго стоял над спящим Ленькой. Свернувшись калачиком, он лежал под кустом, сжав коленями автомат и совсем по-детски подложив под щеку сложенные ладони. Во сне он шевелил губами, вздрагивал. И вокруг на траве, в кустах лежали такие же ребята, укрытые шинелями, телогрейками, по двое, по трое, прижавшись друг к другу, и всем им что-то снилось, и все они что-то бормотали, вздыхали во сне.

Был четвертый час, начинало уже светать, но птицы еще не пели, самолеты еще не появились. И хотя именно сейчас надо было идти к себе в батальон, Орлику жалко было будить этого спящего мальчика, так крепко сжавшего коленями автомат. А может, не только жаль, может быть, он просто оттягивал ту минуту, когда этот мальчик проснется, откроет глаза и посмотрит на него.

«Цвирик... цвирик... цвирик...» Проснулась первая птичка. «Цвирик... цвирик...»

Ленька поежился, почмокал, повернулся на спину, почесал голый живот, потом потер нос, зевнул и открыл глаза. И в глазах этих было сейчас только детство, только небо, только невероятное желание спать.

«Цвирик... цвирик... цвирик...»



Е. СТЮАРТ

★

Вы скажете, быть может: повод мелкий...
Но показалось очень важным мне,
Что здесь живут почти ручные белки,
Привыкшие к спокойной тишине,

К тому, что не разорвано снарядом
Вот это небо праздничной весны.
Им невдомек, что с тишиною рядом
Спят воины родной моей страны...

Они ей счастье принесли, солдаты,
Победой завершившие поход...
Одна у всех на памятниках дата:
«Май месяц. Сорок пятый год».

Но знаю я — народ здесь любит свято
Страну неповторимую мою.
Не меркнет память о ее солдатах,
Что и в земле — по-воински в строю.

Здесь люди знают, какова победы
Высокая и горькая цена.
Они-то помнят, как за нею следом
Пришла к живым такая тишина...

Свистят пичуги в чаще обновленной,
Не нарушая этой тишины,
И, приспустив зеленые знамена,
Стоят деревья, щебета полны.

И тени скрещиваются косые,
Их чуть колышет ветер небольшой...
Лежат рядами воины России
В чужой земле, что стала не чужой.

Они лежат,
по воинской присяге
Исполнив долг от Родины вдали,
И старые каштаны майской Праги
Над ними свечи белые зажгли...



ВАСИЛИЙ СУББОТИН

★

ДЕНЬ ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ДЕСЯТЫЙ

СЕРОЕ ЗДАНИЕ

Когда наступил рассвет, все, кто был в «доме Гимmlера», подошли к окнам, надеясь увидеть рейхстаг. Но ничего не увидели: мешало какое-то здание.

Неустроев тоже выглядывал из-за подоконника — окно в подвале было высоко. Он увидел немного. Справа — деревья парка, еще голые, темные. Тянет апрельской влагой, прошлогодним прелым листом. Слева виден ров. Еще не совсем рассеялся туман. С крыши капает... Неустроев увидел и это четырехугольное невысокое здание. Его прикрывали деревья. Здание ему показалось не очень большим. Правда, над ним купол и башни по бокам, но ничего особенного оно собою не представляет.

Бойцы, толпившиеся тут же, были озадачены. Там, где ждали увидеть рейхстаг, никакого рейхстага не было.

Но другой комбат — Давыдов — сказал, что из подвала плохо видно, и потащил наверх осмотреться. Оттуда яснее станет, как действовать дальше.

Они поднялись на два этажа и стояли, прячась за косяк. От Шпрее еще наполнил туман. Насквозь промокший парк был пуст. И было тихо. И тут вдруг увидели то, чего раньше не смогли рассмотреть, — увидели, что площадь вся изрыта траншеями... Увидели бронеколпаки на углах, танки. В глубине парка — самоходки. Еще какое-то сооружение, похожее на трансформаторную будку, тоже, вероятно, укрепленное. Кроме рва, был еще канал, заполненный водой. Да и это здание с башнями отсюда, с высоты, выглядело внушительнее, не то что из подвала, когда первый этаж его был скрыт...

Прибежал связной. Неустроева вызывали. Комдив Шатилов запрашивал, почему он не наступает.

— Товарищ «тридцать третий»! Мешает серое здание.

— Постой, постой... Какое здание?

— Прямо перед нами! Буду обходить справа.

Неустроев, лежавший у телефона в углу подвала, и комдив у себя на НП, в Моабите, оба склонились над картой...

Пришел командир полка. Зинченко. Он разместил свой штаб в другом крыле дома.

— Что тебе мешает? Давай карту. — Они вымеряли и прикидывали. Мост Мольтке... Шпрее... Дом Гимmlера...

— Неустроев! Да это — рейхстаг!

А ему и в голову не приходило, что это четырехугольное серое здание, этот дом перед окнами (до него так близко!), и есть рейхстаг, к которому они стремятся. А ему казалось, что до рейхстага еще надо идти.

Над ребристым его куполом была площадка, и на ней — шпиль. Перед фасадом — густые, готовые вот-вот распусться деревья, не обломанные и не обожженные...

Но видели это лишь немногие, и лишь этим ранним утром. Через час началась артподготовка, по рейхстагу ударили «катюши» и орудия — дальние и прямой наводки, — и он мгновенно стал таким, каким у нас его знают по снимкам, появившимся после войны.

НЕМНОГИЕ ЗНАЮТ...

Немногие знают, что, когда в рейхстаг уже ворвались и Знамя победы было поставлено на нем, бои за рейхстаг шли еще два дня и две ночи.

Полторы тысячи немцев, уже в дни штурма Берлина переброшенные сюда с Балтики, засели в подвалах рейхстага. Они забрасывали нас «фаустами». Этого сильного реактивного оружия в подвалах у них было много. Но когда стало ясно, что вернуть назад рейхстаг им не удастся, они подожгли его. А может, он и сам загорелся от тех же фаустпатронов.

Он горел так, как горит всякий дом, а гореть в рейхстаге было чему — горела мебель, краска стен, вспучивался и полыхал паркет; дым, а потом пламя показались из окон, из пробоин. Двести наших бойцов — горстка людей — сражались в горящем здании.

Но не только в этом был драматизм положения.

Утром первого мая — это был тысяча четыреста десятый день войны — сводка Совинформбюро сообщила, что нашими войсками в центре Берлина взято здание германского рейхстага и водружено Знамя победы. Об этом же было сказано Сталиным в его первомайском приказе.

В Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке служили молебны. В эфире — стоило включить рацию — слышался колокольный звон... А в это время в горящем здании рейхстага, в тесном коридоре, прижатые огнем к стене, рукавами закрывая глаза, стояли наши бойцы.

Комбату было передано, что он может вывести людей. «Выйдите из рейхстага, займите круговую оборону, а как только здание прогорит, станете брать его снова».

Но выходить уже было некуда. В одной узкой комнате задыхавшиеся от дыма бойцы, натянув противогазы — у немногих они оказались, — лежали на полу. Пламя уже врывалось сюда.

И что-то с треском рухнуло. Из провала в стене повалил желтоватый дым. Но это была, как они увидели, не новая опасность, это было спасение...

Через открывшийся пролом несколько успокоившиеся бойцы переместились в соседнее, уже выгоревшее помещение.

Немцы не смогли добиться своего. И знамя не сгорело, а осталось над рейхстагом — оно только немного закоптилось.

Когда огонь стал утихать, все выходы из подвалов были опять заблокированы.

Наступило утро второго мая.

МАЙСКИЙ СОН

Десять дней мы не спали. Десять дней и ночей.

Конечно, все мы устали. Держались уже на одном только напряжении да, пожалуй, на коньяке и спирте. Хорошо, что немцы оказались запасливыми.

Десять дней, не прекращаясь ни днем ни ночью, шли бои. Мы двигались к центру по загражденным улицам, пробивая стены, от здания к зданию — не через город, а сквозь него. Гимнастерки наши пропахли дымом. Все были грязны, измазаны мелом и осыпаны красной — кирпичной и белой — известковой пылью, совсем как каменщики, слезшие с лесов...

Десять дней никто не спал. Напряжение и усталость были так велики, что мы едва держались на ногах.

Потому в полдень, второго, когда Берлин пал, когда стало тихо, — ничего не осматривали, даже к Бранденбургским воротам не пошли — спали! Спали все — солдаты и командиры. Тут же, возле рейхстага. Спали вповалку. Прямо на площади. Голова к голове. Без просыпу — весь день.

КОГДА БОИ ЗАКОНЧИЛИСЬ

Ни одного звука из того грохота, который стоял здесь все последние дни. Кажется, уже сдались не только немцы в подвалах и верхних этажах рейхстага, но и вся берлинская группировка. Поговаривают о десанте, высаженном в тылу, но правда ли это? Да и где он сейчас, этот тыл?

Можно подумать, что война кончилась совсем, — столько пленных везде. Они сдают оружие. Его горы на улицах...

Немецкие солдаты и офицеры, бредущие под нашим конвоем через Бранденбургские ворота. Какова картина!

У здания рейхстага самая большая колонна пленных, разномастная, наполовину состоящая из фольксштурмистов.

Камни кое-где еще дымятся, да остывшую золу ворошит по-весеннему теплый ветер.

Командир батареи 674-го полка, солдатский поэт Володя Савицкий, написал об этом так:

Огромный дом на Кенигсплаце,
На крыше кони в белой пене.

Выходят немцы из подвалов
На пятна солнечного света.
Сержант считает их устало
Холодным взглядом пистолета.

Они швыряют в угол каски
И прячут в ноги злые взоры...

ЛУЧШАЯ НАДПИСЬ

За короткое время рейхстаг был исписан от пола до потолка, от крыши до фундамента. Каждый хотел что-нибудь написать.

Я читал эти лирические, героические, а чаще иронические надписи, и две мне захотелось перенести в свою записную книжку.

Одна — я отыскал ее в темном коридоре — вот эта: «Я удивлен, почему такой беспорядок в правительственном учреждении».

Но более всего мне запомнилась другая. С наружной стороны рейхстага, на высоте второго этажа, чем-то острым было выцарапано:

Вот когда война пройдет стороной
И действительную отслужу,
Я в Сибирь, в родную деревеньку,
На могилу к матери схожу.

ИЗ ПЕРВЫХ ВСТРЕЧ

Утром я вылез из подвала рейхстага, где ночевал весь наш гарнизон, и увидел много новых людей. Они разглядывали искромсанные колонны и разговаривали с участниками боя.

Я пошел на ту сторону здания, которая ближе к Шпрее. Здесь тоже былолюдно. На мостовой, широко расставив ноги, стоял крепкий невысокий человек. Почему-то я сразу понял, кто это.

Карманы его уже несколько потертого морского кителя были забиты блокнотами. В нагрудном кармане блестело несколько авторучек. Но блокноты и записные книжки торчали не только из карманов. Под мышкой с одного боку — небольшой фотоаппарат, с другого — опять-таки записная книжка.

Крепко прижимая локти, чтобы все это не вывалилось, он говорил с бойцом и сосредоточенно писал что-то в раскрытой книжке, которую держал в руке.

Вишневецкий!

Так я увидел его в первый раз.

ОЖИДАНИЕ

Целый день твердят о капитуляции Германии. Все разговоры об этом, и при встрече первый вопрос друг другу: «Ну как, ничего не слышно?»

Радио передало несколько приказов. Заняты последние немецкие города. Из сводок знаем, что наши за день берут в плен до полумиллиона солдат и офицеров...

Сказали, что было передано важное правительственное сообщение и, может быть, «об этом». Но слух на веру не принимают.

В комнату, где установлен приемник, врывается итальянская, болгарская, французская речь. Все языки, кроме немецкого...

Выше и выше по делениям забирается платиновая нить. И вот она останавливается — слышится церковное пение. Это Англия. Отрывистый, повелительный голос. Выступает премьер. Оказывается, они умеют и спешить! Служить молебны и благовестить они не опаздывают...

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Ночью в берлинских домах люди стали тормозить друг друга.

Быстрые шаги, стук в двери и топот на лестницах. Спотыкаясь в темноте, перебегаем улицу. Окна одно за другим освещаются.

В подъезде прерывающийся голос:

— Сейчас по радио, только что...

— Может быть, ошибка?

— Нет ошибки, сам слышал...— И говоривший убегает.

К приемнику не протолкаться. Дрожащими от волнения руками берусь за рычажок. И хотя в комнате и без того стоит тишина, кто-то не выдерживает, кричит: «Тише!»

Слышно, как стучит сердце — не только твое, но и соседа.

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны... девятого мая... праздником Победы...»

Пожилой боец медленно опускается на табурет. У окна стоит Наташка Кононова, девушка с полевой почты. Она отвернулась, чтобы не видеть ее лица. Слезинки скатываются по ее щекам, словно капли первого весеннего дождя по оконному стеклу...

САЛЮТ

«Вот война закончится...»

Старый солдат все еще не верит, что война кончилась. Сводки Совинформбюро еще передают, но это уже последние.

Мы сидим с Варениковым, вспоминаем свои семьи и свой дом. Вареников жестоко тоскует. «Вот, ей-богу, поставь сейчас передо мной два стакана воды, нашей и ихней, узнаю и выпью нашу».

Как мечтали мы собраться за столом, в тишине, так вот, как собрались сейчас...

Мы говорим о немце.

«Он пошарил биноклями по Москве, а мы пришли в Берлин».

И вдруг за окном забушевала канонада. Мы ничего не могли понять — окна выходили во двор. Встревоженные, бросились мы на улицу. Неторопливо, будто подтягиваемые на невидимых нитях, ввысь уплывали светящиеся снаряды. Били зенитки, охали орудия. Комки ракет поднимались над крышами и медленно снижались.

Это был салют — салют победы в Берлине. Мы, вскинув головы, стояли на тротуарах и не могли наглядеться на это исчерченное трассами небо...

ВСТРЕЧА

Немного утихло, и мы начали осваиваться в рейхстаге, разбираться в его бесконечных лестницах и переходах. В большом, как римский Колизей, уходящем под самый купол зале заседаний — светло. Купол пробит, и над ним ничего, кроме неба, нет... А внизу — навалы камня, кирпича и обвалившиеся балконы... Лазишь, как по холмам.

Потом по темному коридору, заставленному «чучелами» закованных в латы рыцарей, перехожу в другую, не тронутую огнем часть здания. Она лучше сохранилась, хотя и здесь те же пробитые стены и пахнет гарью. В сафьяновом пышном кресле, развалюсь, сидит здесь немолодой солдат. Пока успел лишь отоспаться, грязен и не побрит. Один только автомат, приставленный к креслу, чист. Но как он сидит!.. Во рту у него толстая, надолго свернутая самокрутка.

Не мог удержаться и спросил:

— Ну, как дела?..

— Сижу — в рейхстаге..

Он посмотрел на меня и усмехнулся, понимая сам значительность того, что он сидит в рейхстаге, и как он выглядит в своей просоленной пилотке и выгоревшем обмундировании в этом кресле.

— Сижу вот...— ответил он и опять, по-своему, таинственно, усмехнулся.

Я узнал этого бойца. Это же ротный писарь Гаркуша... Мой старый знакомый! Полтора года назад, зимой сорок четвертого — это было еще в Калининской области,— он участвовал в атаке и ворвался в блиндаж, полный немцев. Бывают такие писаря! И он, вижу, узнал меня... Да, это он, Гаркуша. Тот самый, Григорий Гаркуша...

Значит, и он в рейхстаге.

Я вышел на площадь. Было теплое, солнечное утро. Близко у входа стояли обломанные липки. Они оживали...

На рейхстаге — над куполом — развевалось знамя.

ВЫСОТА

Я долго тогда выспрашивал у них, как все это было и что они испытывали...

Но так и не смог занести в мою записную книжку ничего, кроме имен их да кратких биографий. Разве только, что на площади у канала они были впереди пехоты на тридцать метров, а в рейхстаге, когда разыскивали ход наверх, с ними был замкомбата Берест. И еще: поставили во столько-то часов. Подробности, по-видимому, казались им неуместными, вроде ненужными и как бы несовместимыми с торжественным актом установления Знамени победы.

Может быть, я смогу рассказать это за них.

Они были в здании, где еще сражались. И вверху, над ними, и внизу, на первом этаже, еще шел бой... Ориентироваться было трудно: окна замурованы. Темень! Нельзя понять, куда какой ход ведет. И куда ставить? Никто этого не сказал... Ведь надо не просто куда-нибудь, а повыше. Чтоб было видно.

Но вот лестница. Как раз то, что им нужно! Рядом, с площадки,— еще одна. Она выводит прямо на крышу. Как светло! Они думали, что уже ночь... Свистят осколки... Хорошо, что крыша плоская... Куда же ставить? Над карнизом — бронзовое изваяние. Всадник. Нет, над всадником нельзя. Получится, что он держит знамя... Опять застучали осколки. Надо поторапливаться! А что, если туда, на купол... Лестница шатается, она перебита и оторвана. Надо карабкаться по каркасу. Кантария — впереди, Егоров за ним. Знамя — у Егорова. Как редки эти железные ребра! И стекла все вылетели. Вниз лучше не смотреть. Там провал зала — висишь, как над ущельем. И непрочные, ржавые переплеты. Только холодок у сердца... И — что это? — вроде цел, не ранен, а из-под ног уходит крыша... С купола — на площадку. Еще лезть. Кружится голова (какие они верхолазы!). Вот и площадка. Только не смотреть вниз!.. Привязали. Притянули ремнем. Притянули чехлом. Все молча... Сразу оно забилося, будто живое. Теперь можно спуститься, пробраться к своим...

И не сказать никому, что было страшно,— об этом не говорят.

КАКОЙ РЕЙХСТАГ БРАТЬ

Что Неустроев не понял и не поверил тому, что перед ним рейхстаг, пожалуй, естественно: долга была дорога! Нечто подобное произошло и в батальоне другой дивизии — у Самсонова. Я узнал об этом от него уже в Москве. Он пришел в воинский клуб поделиться воспоминаниями, я — читать стихи.

Батальон Самсонова участвовал в боях под рейхстагом, и, как рассказывает Самсонов, два бойца его батальона — Еремин и Савенко — прикрепили свой флаг к углу рейхстага. Комбат рассказывал: чтоб быстрее пробиться к центру города, они обходили укрепленные очаги — чем ближе они были к цели, тем ожесточеннее было сопротивление.

— И вот перед нами рейхстаг. В первую минуту мы не поняли этого...

Если Неустроев, встретившись с рейхстагом, долго не хотел верить, что перед ним действительно рейхстаг, то Самсонов спрашивал себя: «Рейхстаг-то рейхстаг, да тот ли это?..» Пленные говорили — если он их верно понял, — что они не знают, какой рейхстаг нужен...

— Звоню полковнику Негоде, спрашиваю: «Говорят, есть еще один рейхстаг. Может, это не тот?.. Какой мне брать?» Комдив, помедлив немного, ответил: «Берите этот, а если окажется, что это не тот, — берите другой...»

Самсонов вызвал солдата Савенко и младшего сержанта Еремина, дал им флаг и сказал: «Поставьте, как возьмем рейхстаг». Когда началась общая атака, они действовали в боевых порядках. Одного из них — Еремина — ранило, но вместе с Савенко он все-таки воткнул флаг в пробоину в стене.

— Но нам повезло, — продолжал Самсонов, — этот рейхстаг оказался тем самым, какой нам был нужен...

О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

В Музее Советской Армии стоит Знамя победы. Это — реликвия наша. Оно задымлено и пробито осколками. Это знамя было поставлено на рейхстаге, над его куполом, тридцатого апреля сержантом Егоровым и младшим сержантом Кантарией.

Всем дивизиям перед штурмом Берлина, в его пригороде, — эта справка необходима — Военный совет вручил большие красные флаги. Их было девять, по числу дивизий в Третьей Ударной. Эти флаги, или знамена, как называли их, были занумерованы. На флаге, который выдали 150-й Идрицкой дивизии, был поставлен номер «5».

Именно этот флаг стал Знаменем победы.

Двадцать шестого апреля командир дивизии генерал Шатилов и начполитотдела Артюхов передали это знамя 756-му полку, который, как уже тогда предполагалось, должен был быть введен в действие на подступах к рейхстагу. Командовал им полковник Зинченко.

Бои обострялись... Знамя «ходило» по улицам Берлина. Его держали на НП полка. Носил его комсомолец Федоров.

Двадцать девятого апреля было взято здание Министерства внутренних дел — «дом Гиммлера», — и батальоны 150-й дивизии и один батальон соседней 171-й дивизии оказались перед рейхстагом.

Кантария и Егоров, разведчики, которым поручено было водрузить знамя, в бою за рейхстаг действовали с первым батальоном своего полка — батальоном капитана Неустроева. Тридцатого апреля Егоров и Кантария через главный вход проникли в рейхстаг, в котором начались бои. Они устанавливали знамя в разных пунктах здания, сами вели бой, пока не добрались до купола. В 22 часа 50 минут они доложили, что знамя над рейхстагом водружено...

Сначала на знамени не было никаких надписей. Только в верхнем углу, у древка его, был нарисован серп и молот. Позднее, когда знамя отправля-

лось на парад в Москву, на нем появилась надпись — наименование дивизии, затем к этой надписи добавлено было название корпуса, армии и фронта.

Сейчас, если развернуть это знамя — оно стоит под стеклянным куполом и обернулось вокруг древка, — на нем можно прочесть: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див. 79 с. к. ЗУ. а. I Б. ф.».

ЗАБЫТЫЙ СОЛДАТ

Среди имен людей, бойцов и офицеров, бравших рейхстаг, забыто имя Пятницкого. Петра Пятницкого.

Между тем именно он первым выпрыгнул из окна «дома Гиммлера», когда началась утренняя атака. Потом, когда у канала, под огнем, роты надолго залегли, встал солдат с красным полотнищем — только здесь он его развернул — и увлек за собой своих товарищей. Это был Петр Пятницкий.

Вскоре из дома увидели: наши солдаты показались у подъезда, взбѣжали на ступени, и опять вспыхнуло знамя, а потом человек со знаменем упал.

Это был он, Пятницкий.

Знамя его поставили на рейхстаге рядом с другими знаменами, а его... разные бывают судьбы, у него особая судьба.

Когда под вечер, после артиллерийской подготовки, атака была возобновлена и бойцы его батальона подбежали к рейхстагу, Пятницкий лежал перед подъездом с флагом в руках... И чтобы его не затоптали, его отнесли и положили у колонны... А потом о нем забыли. А когда хватилась — его уже похоронили где-то в братской общей могиле. Вероятно, в Тиргартене.

Петр Пятницкий — рядовой. Впрочем, насколько помнит это теперь его командир, комбат Неустроев, за два-три дня до броска к рейхстагу ему присвоили младшего сержанта. Он был связным у комбата.

Мы тогда написали о нем в дивизионной газете, но дальше «дивизионки» это не пошло. А после его имя стало реже называться.

Он погиб и ничего этого не знает... Но живут на Брянщине его жена и его теперь уже взрослый сын, и — как узнал я недавно — все эти пятнадцать лет они считают своего отца пропавшим без вести...

Он пришел к нам в дивизию незадолго до наступления на Висле... Это Пятницкий, когда выходила шнайдемюльская «группировка» и немцы отчаянно двигались по дороге вслед за танками, с прижатыми у бедра автоматами, это он ночью поставил пулемет на перекрестке и расстроил их плотную колонну... Об этом и о том, как поднимал он бойцов, залегших перед каналом на Кенигсплаце, можно было бы рассказать подробно. Но я пишу только о том, как он бежал по площади и как погиб, чтоб знали, кто был этот солдат, упавший с флагом перед подъездом рейхстага...

Не будем забывать мертвых, они делят славу с живыми.

Солдат, оставшийся в памяти всех, кто брал рейхстаг, дома считался пропавшим без вести.

Как это могло случиться!

С красным флагом в руках погиб он на подступах к рейхстагу... В горячке о нем забыли.

И мы пишем о нем эту, всегда одну и ту же фразу: «Первым выпрыгнул из окна «дома Гиммлера» и с флагом в руках упал на ступенях рейхстага». Для большинства тех, кто писал о нем, он просто Пятницкий. Даже имени его они не знают...

Он лежал на ступенях, его отнесли и положили у колонны...

Как видно, домой о нем не сообщили. И его числят «невернувшимся». Ведь перед этим он два года был в плену. А стоило только обратиться в штаб учета потерь Министерства обороны, как и сделали это мы, чтобы проверить, есть ли на него сведения, — и нам ответили: «Погибший 30 апреля 1945 года рядовой Пятницкий Петр Николаевич 1913 года рождения. Домашний адрес: Брянская область, Клетнянский район, деревня Северец. Жена Пятницкая Евдокия Аврамовна. Был в плену с августа 1942 года. 30 июля 1942 года был ранен».

О скольких схороненных в братских могилах могли бы рассказать оставшиеся в живых! Если бы газетчики, одни газетчики только, «расшифровали» свои фронтовые блокноты — сколько имен вернулось бы из небытия... О скольких таких «без вести» мы могли бы рассказать как о героях.

Этот парень, упавший там, на площади, солдат, оставшийся в памяти всех штурмовавших рейхстаг, считается без вести пропавшим.

Мне не дает покоя эта судьба...

С ФЛАГОМ

Знамя победы на куполе рейхстага водружено Егоровым и Кантарией.

Но и другие были флажки и знамена. И я хочу, хотя я тогда же написал об этом, рассказать еще о двух смельчаках — уже не из батальона Неустроева, где действовали разведчики Кантария и Егоров, а из батальона Василия Давыдова, — о флаге их, который они несли и который укрепили на рейхстаге.

Они остались вдвоем, огонь отсек остальных. Прикрытые невысоким берегом канала, они заползли под мост. До рейхстага было недалеко — отсюда им видны были массивные колонны и ступени парадного входа, — но ближе не подступиться. Завернутое в темную бумагу (сорвали светомаскировку с окна) красное знамя было спрятано под фуфайкой на груди у Кошкарбаева. Головы нельзя было поднять. Немцы били с верхних этажей рейхстага, расстреливали наших солдат, укрывавшихся в ровиках и за глыбами вывернутого асфальта. Снаряды рвали камни площади, пули чертили булыжник. За спиной горели дома. Маленький, немного испуганный, совсем еще мальчик — гимнастерка сидела на нем мешковато и была чуть длинна, пилоточка тоже ему была велика, — Гриша Булатов крутился где-то под мышкой у лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева, черноволосого и тоже еще юного человека, и, доверчиво заглядывая ему в глаза, спрашивал:

— Что мы будем делать, товарищ лейтенант?..

Кошкарбаев — командир взвода, Булатов — солдат его взвода. Кошкарбаев — казах, Булатов — русский, вятч.

— А мы сейчас «подпишем» наше знамя, — ответил Кошкарбаев, — и, если дойдем, поставим хоть на первой ступени.

Они говорили «знамя», хотя у них в руках был просто «штурмовой» флаг, который, как и флаг, водруженный Кантарией — Егоровым, был пока простым полотнищем, куском плотной грубоватой материи (в разрушенном доме, торопясь, разорвали немецкую перину).

Теперь на этом полотнище они химическим карандашом наспех вывели свои фамилии, а ниже поставили «674» — номер полка — и номер своего подразделения.

Ближе к вечеру, когда уже стало темнеть и когда удалось организовать новую атаку, когда к атаке выдвинувшейся вперед роты Сьянова присоединились солдаты двух других батальонов (первая атака, возглавленная Пятницким, как говорилось уже, не была успешной, и группа эта погибла), Кошкарбаев с Булатовым выскочили из своего укрытия и кинулись к подъезду. Вот стена и слепые, заложенные кирпичами окна. Тут, у подъезда, к ним присоединились другие...

Булатов и Кошкарбаев прикрепили свой флаг сначала к средней колонне, а когда была очищена левая часть здания, они высунули свой флаг из окна второго этажа.

Это знамя их потом поставили на крыше, но оно стояло не над куполом, как знамя, что поставлено было Егоровым и Кантарией, а над карнизом, возле одной из башен.

В ТИРГАРТЕНЕ

Долго бродил по Тиргартену. Под ногами мокрая прошлогодняя листва. Кое-где в воронках ее лежит снег. Среди деревьев — брошенное, уже начинающее ржаветь оружие.

Вышел на главную аллею, на которой больше всего памятников. Вот Мольтке, вот Шлиффен. Отдельно — монументальный памятник Бисмарку. Железный канцлер поднят высоко, он в длинном сюртуке, в надвинутой на лоб фуражке. Пред ним на пьедестале какие-то огромные лиры, бронзовые страницы книг, амур с колчаном стрел — все как полагается.

Обошел этот широкий пьедестал, и вот — в тени — передо мной обнаженная фигура. Это, должно быть, Зигфрид. Он кует меч...

Когда уходил с этой аллеи, я услышал, как один наш младший лейтенант говорил своим бойцам:

— А в т и х а р я они готовились к войнам.

ФРАУ ЗИГ

После войны мы некоторое время еще оставались в Берлине. Ходить по незнакомому, чужому городу нам было трудно. Все улицы казались одинаковыми. Не говорю уже о том, что мы вообще отвыкли от городов, столько мотаясь по лесам и степным дорогам.

Нам было бы еще труднее, если бы нам не помогала крылатая, поднятая на высокую колонну посреди Шарлоттенбургского шоссе статуя. «Баба с крыльями» — называли ее бойцы. Эта летящая позолоченная Виктория служила нам ориентиром.

На второй или третий день я отправился к ней. От Бранденбургских ворот казалось, что статуя эта совсем близко, но, пока дошел, я сбил себе ноги...

Побродил вокруг, осмотрел на цоколе барельефы и стал подниматься. Внутри колонны было темно и глухо, а лестница так крута, что, пока я вышел на смотровую площадку, у меня зашло сердце. Отсюда я увидел все — и рейхстаг, и Бранденбургские, и то, что за ними,—

вплоть до аэродромов. Сама статуя была где-то надо мной. Я задираю голову, но видел только ее голые ступни и вытянутую вперед руку.

С тех пор я возле нее не бывал. Но один мой попутчик, когда мы возвращались с целины, сказал, что в Берлине он был уже в конце мая. Нарочно отпросился из части, чтобы посмотреть город.

Я спросил, был ли он в рейхстаге и что он видел.

— Уж очень все побито. Камни одни да бумага. Много было бумаги... Но вы знаете, я видел фрау Зиг.

Я, разумеется, ничего не понял.

— Помните статую в Тиргартене? Золотую женщину с крыльями?.. Я сказал ему, что монумент этот называют колонной победы.

— Когда я пришел туда, мне сказали, что она еще жива...

Теперь я понимал еще меньше.

— Мне сказали, где она живет, дали ее адрес. Ее так и звали — «Frau des Sieges».

И он рассказал, как поехал к той, с которой лепили эту скульптуру. Это оказалось недалеко, но он долго искал...

Ей было много лет... Он вошел в узкую длинную комнату... Она лежала в постели и уже не поднималась. В окно видна была та, раззолоченная «победа» со своим венком в руке...

(Я представил себе эту гигантскую бронзовую женщину. Тогда, с площадки, мне видны были только ее босые ноги.)

Прикрытая периной, старуха смотрела на нее. Но теперь в крыле Виктории зияла дыра.

Он очень быстро ушел. Разговаривать было как-то не о чем.

Через неделю она умерла.

СТАРЫЙ ПАРИКМАХЕР

К тому времени, как закончились бои, мы все стали страшными бородачами. Не до бритья было. Последний раз я брился, когда мы только еще входили в город, — на Миллерштрассе. Мы устроили ночлег в доме, вблизи которого стояла батарея, и единственное в комнате окно нам приходилось заклеивать по нескольку раз на день.

Старик парикмахер, вызванный из ближнего бункера, долго приводил в порядок мои разросшиеся волосы, потом взялся за бритву. Я устал сидеть, но терпел и ничего не говорил ему: видел — он не мог бы не сделать все, что должен.

Он умело вел разговор: ни разу не коснулся происходившего — того, что мы пришли в Берлин. Он говорил о добрых давних временах — «Гитлер тогда еще на горшке не сидел...» — и господах, которых он называл настоящими.

Был он очень полный и очень старый, но держался бодро, только всякий раз, когда батарея давала залп, он резко вздрагивал.

Он еще долго топтался вокруг, неловко переступая через домашнее тряпье, сваленное на пол и засыпанное штукатуркой. Но вот подчеркнуто последним движением он снес мне щетину с подбородка, я встал и поблагодарил. Тут «фризёр» мой не выдержал и сказал мне:

— В свое время, господин обер-лейтенант, — он поклонился, — я брил графа фон Шлиффена.

И еще раз поклонился.

Признание это не произвело на меня того впечатления, которого, как видно, ждал старик. И он удивился, когда я невнятное что-то пробормотал в ответ.

КАК КОНЧАЮТСЯ ВОЙНЫ

Нам все хотелось представить, как это: война, война и вдруг — нет войны.

Раз на переднем крае бойцы спрашивали об этом своего старшину. Он еще на финской воевал.

— А вот мы взяли Выборг,— сказал старшина.— Я какое-то задание выполнял. Иду, а навстречу мне боец. «Куда ты?» — спросил он меня. Я остановился. «Война окончена. Мир». — «Врешь...» Не поверил я; рассердился, закричал: «Чего ты треплешься, не слышишь, какая стрельба идет?» — «Это до двенадцати часов, а после двенадцати — прекратить!» Но в одиннадцать сорок пять меня контузило. Пришел в себя. Тихо! Понял — конец войне...

«Эта война кончится как-то иначе, по-другому», — говорил я себе, думая об этом разговоре. И представил себе: я иду в полк, иду через поле или по лесной дороге и, как всегда, один. Навстречу мне, размахивая руками и чему-то улыбаясь, бежит боец...

То, что случится это вдруг и неожиданно, разумелось как-то само собой. И конечно же, очень скоро. Если бы кто сказал нам, что война продлится четыре года, мы не поверили бы. Но прошел год, и два, и три. Мы уже вытеснили их из пределов родины, а война шла. Она шла и четвертый год. И тогда, когда мы взяли Берлин.

Она кончилась, когда мы поднялись уже на развалины их «парламента». И при всем этом она кончилась для нас неожиданно.

ДО СИХ ПОР

Один мой друг, с которым я встретился недавно, сказал мне, что он был в Германии. Был он в туристской поездке, пробыл там целых две недели. Побывал и в Берлине. «Как! — удивился я и спросил, волнуясь уже оттого, что задаю такой вопрос: — Ты и рейхстаг видел?..»

Он тоже фронтовик, но ему не пришлось быть там в сорок пятом. «Да,— сказал он,— только не так близко — от Бранденбургских ворот...»

От Бранденбургских ворот!.. А я его увидел во сне.

Сон такой снился мне еще недавно. Впрочем, он мне снился уже несколько раз. Снилось, что из-под рейхстага, из-под глухой стены его, прет молодая сильная зелень — трава и кусты. И еще — растут из-под него подсолнухи. Много-много золотых подсолнухов.

Так ярко все это приснилось, что я и сейчас вижу сожженную руину рейхстага и эти цветущие подсолнухи. И я ухожу, стараясь запомнить этот хотя и разбитый — одни стены без крыши, — но не сразу узнанный мною дом.

Позднее мой друг, как и обещал, прислал мне сделанные в поездке снимки. Я стал рассматривать, не очень понимая, что на них. И вдруг — эти башни... Да это — рейхстаг! Его выщербленные стены — мы его в то время иначе не называли, как «осиное гнездо», — ступени, колонны... Но где же купол? Его я не вижу. Видно, он так проржавел, что его сплелили.

И я опять восстанавливаю в памяти уже забытые его очертания..

Постоять бы рядом, потрогать рукою стену (она еще горячая — жжется!), чтобы убедиться, что не приснилось все это мне. И что цветут подсолнухи возле рейхстага...

ЧАСЫ

А может, мне следует рассказать о часах, что у меня на руке?

Да, пожалуй, я расскажу.

Они теперь уже порядочно потускнели: никелировка во многих местах сошла, из-под нее проглядывает бронза. Только на черном циферблате все еще светится фосфор. Часы идут, но того и жди — станут.

Эти часы — из рейхстага. В тот наипамятнейший день мне дал их Коля Беляев — комсорг 756-го. Он и его друзья нашли эти часы в сейфе, в одной из комнат рейхстага. Нашли сразу целую коробку, большую, перевязанную лентой, на которой была надпись: «Präsente für Deutsche Generale» — подарки немецким генералам...

Подарок Коли оказался таким же прочным, как его дружба. Часы эти — вот уже пятнадцать лет они у меня — не только светятся в темноте, но и водонепроницаемы, так что они скорее даже адмиральские, чем генеральские.

В какие только переделки не попадали за эти годы мои часы! Я ронял их — в бане! — на цементный пол, — и они шли. Не сняв с руки, я однажды бросился с ними в море, а в другой раз влез в ванну, — и все-таки они шли.

Но, видно, всего этого было еще недостаточно для моих часов — тогда я вскипятил на них чайник.

Это случилось в ту послевоенную зиму, когда я на месяц приехал в Москву. Студенты Литературного института (я числился заочником этого института) уехали на каникулы, и мне разрешили занять комнату в общежитии. Так я очутился на даче, принадлежавшей раньше Треневу, в одной комнате с молодым адыгейским поэтом Исхаком Машбашевым. Исхак писал какую-то поэму и донимал меня расспросами о личной жизни поэтов. Дача, на которой мы жили, была летней, и поэтому кирпичная печь, как часто мы ее ни топили, грела мало, и мы очень мерзли. На ночь окна плотно закрывались шторами — это помогало удерживать тепло. Утром, ничего не разбирая в темноте, Исхак поставил чайник на тумбочку возле моей кровати и включил чайник в сеть. На эту самую тумбочку я и клал на ночь свои часы.

Когда чайник вскипел и был снят, мои часы дымилась. Я схватил их и тут же бросил, так они были раскалены. Когда рассеялся дым и они немного остыли, я смог наконец рассмотреть то, что осталось от них. Ремешок обгорел, стекло выгорело. Ничего нельзя было разобрать. Еще не веря тому, что часы окончательно пропали, я приложил их к уху — они преспокойно шли.

Пришлось заменить стекло, купить для них новый ремешок.

Скоро я заметил: часы стали идти быстрее. Сейчас я время от времени должен переводить стрелку, возвращая их назад.

На этом, пожалуй, можно и закончить рассказ о моих часах из рейхстага. Они потеряли свой прежний элегантный вид и изрядно уже потемнели, но, как видите, еще идут. Еще идут, но в любую минуту — только и жди этого — могут остановиться...

НАШИ ДЕТИ

В центре Берлина, рядом с рейхстагом, стоят Бранденбургские ворота. Над ними вздыблена четверка коней.

Я написал тогда:

У надменных державных коней
Перебиты железные ноги.

Но и перебитых не было. Не было вообще никаких ног. И коней не было. Был бесформенный ком металла. Расшатанная колесница свалилась. Ехать было некуда. И сами ворота разбиты и покривились.

И, видно, ходко катит время, если моя дочка, девочка военного сорок четвертого года рождения, стала совсем большая. В девятом классе уже. Девушка.

Но она на глазах, и это не так заметно.

Но вчера я слышал, как она читала из учебника по немецкому. И что же я узнаю! Наш мальчик Виктор едет в Берлин к такому же, как он, мальчику Отто. И этот немецкий мальчик показывает своему другу город. С Александерплац они до центра едут в метро. (Мы тогда ходили пешком и считали, что это близко.) И Отто ведет своего гостя по широкой Унтер ден Линден. Потом друзья направились к Бранденбургер Тор. Это — эмблема немецкой столицы...

— А ну-ка, покажи, что ты читаешь, — сказал я и взял книжку в руки. — Где ты читала?

Но искать мне не пришлось. На той же странице были Бранденбургские ворота. Белые, отремонтированные. Шесть колонн и пять пролетов. И кони! Это же кони на них! Их несущаяся вперед квадрига...

Я читаю дальше. И узнаю удивительные вещи! Появились новые площади и улицы. Где были пустыри и руины, там строят дома... И кони снова скачут над Бранденбургскими воротами.

И вот немецкие дети и наши встречаются. Не так, как мы встречались! И этот Отто — в пионерском галстуке — водит всюду нашего Виктора, показывая ему свой город... Они идут вместе по Унтер ден Линден.

Наверно, это очень хорошо.

В Берлине, в двух шагах от рейхстага, стоят старые Бранденбургские ворота. На них — бешено скачущие кони. Теперь это просто отличная из бронзы четверка коней...



МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

★

ГОЛОСЕЕВСКАЯ ОСЕНЬ

(С украинского)

Поэзия Максима Рыльского пятьдесят лет. В 1910 году в Киеве вышел первый сборник его стихов — «На белых островах». Юный автор встречал в тот год свою пятнадцатую весну... Кстати, совсем еще молодое, неокрепшее дарование поэта было тогда уже замечено, в частности, такой авторитетной ценительницей, как Леся Украинка.

Понадобилось время, чтобы его поэзия спустилась с «белых островов» — под которыми в тогдашнем словоупотреблении поэта подразумевались тучки небесные, дали нездешние — на беспокойную землю. Но когда это произошло, литература социалистического реализма обрела в лице Рыльского художника такого щедрого и мудрого жизнелюбия, такой органической слиянности с думами и чувствами современников, что он по праву стал в ряд крупнейших певцов советской эпохи.

Трудно в краткой заметке сказать о Рыльском. Полувековой творческий путь, около тридцати книг стихов, опубликованных за это время, десятки тысяч строк стихотворных переводов, достойных специального изучения как поучительное достижение современного переводческого искусства, неустанные труды Рыльского — литературоведа, критика, фольклориста, знатока искусства, его плодотворная общественная деятельность, его жадный юношеский интерес к жизни, людям, к близким и дальним краям на земле — обо всем этом писалось и, вероятно, еще будет написано много.

В творческой биографии Рыльского есть периоды особенно плодоносные, периоды замечательных душевных и поэтических взлетов. Едва ли не самый могучий из них приходится на годы Великой Отечественной войны, когда слово большого украинского поэта зазвучало с дотоле почти неведомой ему силой боли, гнева и пламенной патриотической страсти; художник щедрой жизненной полноты, художник, столь чуткий к прелести молодого мира, к радости труда, творчества, духовного общения со всем прекрасным, созданным человеческой культурой, он в эти годы стал трибуном, певцом борьбы и веры в победу. Такие стихи Рыльского, как «Слово о матери-родине» и «Я — сын Страны Советов», наверное, никогда не будут забыты.

В последние годы поэзия Рыльского переживает свое «третье цветение». Свидетельство этого — его книги 1957—1959 годов: «Розы и виноград», «Далекие небосклоны», «Голосеевская осень», удостоенные ныне Ленинской премии. Есть в них одна большая сквозная тема, о которой хочется сказать особо. Возможно, ключом к ней могут быть афористические слова поэта о розах и винограде как своеобразных символах большого поэтического значения:

У счастья нашего есть равных два крыла:
Цвет роз и виноград, прекрасное с полезным.

Идут споры о духовном облике современника, о месте науки и искусства в век атома, космических ракет и кибернетики. На эти споры, иногда естественные, иногда надуманные, Рыльский отвечает подлинно поэтическими, давно вызревшими в нем раздумьями о гуманистической сути нашей советской жизни, в которой блага материальные и духовные, полезное и прекрасное, труд и поэзия — поистине два «равных крыла» человеческого счастья. По существу это глубинная тема почти всей поэзии Рыльского, в которой горячая влюбленность в живую, трепетную красоту окружающего мира с давних пор сочеталась с пафосом большой культуры, со славою разуму и его неустанному творчеству на благо человека («І тільки Фавстова реторта не розіб'ється, не плавно, що рід людський од бога й чорта у лазуровий степ веде»).

Но каким новым, актуальным, подлинно народным идейным содержанием наполнились все эти мотивы и раздумья поэта в наше время!

Рыльский утверждает свои любимые мысли прежде всего замечательной человеческой полнотой своей поэзии. Высокое и будничное, историческое и интимное свободно и органически совмещаются в ней; произведения на большие общественные темы —

рядом с лирическими видениями далекой молодости или стихотворными рассказами о природе, о рыбалке, о ничем, казалось бы, не примечательных встречах; поэтические раздумья о дружбе наций и их культур, о вечных спутниках — Пушкине, Шевченко, Мицкевиче, Толстом, Франко, Бетховене — в соседстве с выразительными зарисовками наших рядовых современников, будь то любознательный школяр из-под Борисполя или «бог веселый винограда, кончивший советский вуз». Это не просто широта тем и материала, это особенность художественного подхода, стремящегося вместить на поэтической палитре все многообразие красок жизни, все, что интересно и дорого человеку, живущему полнокровной общественной и личной жизнью.

И еще одно важное свойство новых стихов поэта — их обаятельная, сердечная открытость, глубоко симпатичная доверительность по отношению к читателю. Почитай-те «Голосеевскую осень» — эти своеобразные странички из лирического дневника, — и вы как бы воочию увидите, из каких тончайших, сокровеннейших душевных движений складывается то общее целое, которое мы называем жизнеутверждающим гуманистическим мироощущением советского человека.

Леонид Нозиченко.

ЛЕС, ПОВИТЫЙ СЕРЕБРИСТОЙ ДЫМКОЙ...

Лес, повитый серебристой дымкой,
В сини, в золоте и пятнах ржи.
Словно осень кистью-невидимкой
Расписала в небе витражи.

Как обнова, что пришла позднее
В сад, где стынь пороши хороша,
Укусное дерево краснеет,
Как смешной рисунок малыша.

Я жене привез его когда-то,
Посадил, росточком, за крыльцом
И люблюсь, грустью дум объятый,
Той листвы наивным багрецом.

Не услышу в тишине глубокой
Голос твой из дали прошлых дней.
Память сердца болью жжет жестокой,
Только без нее — еще больней.

Краков.

ЕСТЬ ТАКИЕ СТРОКИ

Есть такие строки у Верлена,
Где поэт, беседа с собой,
С горечью клянет себя: «Презренный!
Что ты сделал со своей судьбой?»

Только бы не с горьким тем вопросом
Сумерки вечерние пришли
В час, когда светлеет тучка косо
Островком у берега земли,

Холодеют воды, сизоваты,
Стекла в окнах синевой сквозят
В час, когда потемки возле хаты
Что-то тихо шепчут с грустью в лад.

Городская жизнь шумит, нетленна.
 Полыхает клен над головой.
 Нет, строкою горькою Верлена
 Не хочу я встретить вечер свой!

Перевел Ал. Сурков.

КАК ЗАБЫТЬ...

Как забыть мне снег пахучий, талый,
 Годы молодые, дни утех,
 Городские светлые кварталы,
 Воркованье, щебетанье, смех.

И какой-то щепочки круженье,
 Брошенной ребенком в ручеек,
 Сердца замиранье и томленье
 И любимой легкий каблучок.

Неужель с недоброю душою
 Я теперь бывшее вспомяну,
 С завистью взгляну на молодое,
 Что несет нам юность и весну?

Нам всегда бывает жаль былого,
 Но и настоящее уйдет..
 Пусть же совесть упрекнет любого,
 Кто весну зимою проклянет!

Москва.

* * *

*Висне небо сине,
 Сине та не те...*

Я. Щеголев.

Почернели заводы в озерах,
 И покой их сразу стал глубок.
 Падающих листьев нежный шорох
 В утренний вплетается дымок.

В окна вставлены вторые рамы,
 Вата и калина между рам,
 Дети снова стали школярами,
 И звонит синица школярам.

Словно на гравюре Хокусаи,
 Каждый граб в одежде золотой,
 Синевую небо нависает
 Щеголевской — «синей, да не той».

Мы в букет последний ветки свяжем,
 Снежниками их мы назовем..
 То, что можно рассказать пейзажем,
 Слов тому порою не найдем.

Киев.

Перевела Мария Комиссарова.

МЫ СИДЕЛИ В ГДАНЬСКЕ...

*Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире как впотьмах...*

Тютчев.

Мы сидели в Гданьске в ресторане,
Близ широкого, как мир, окна,
Об искусстве пламенно и рьяно
Говорили речи — без вина.

За окном лежало в дымке море,
А над морем — слышите, над ним! —
Стая птиц на ветровом просторе
Закружилась колесом живым.

Мой сосед на них не бросил взгляда,
Зря я крепко локоть сжал ему! —
...На концерт глухих скликать не надо,
А слепым картины ни к чему.

Может, тут архаика таится,
Атавизм, дикарство, примитив,
А меня сегодня вот синица
Обновила, душу окрылив.

Варшава.

Перевел Ал. Сурков.

* * *

Ночь, и ветер вербы нагибает,
В снах тревожных мечется земля...
Ой, тому не сладко, кто шагает
В эту ночь один через поля!

Знаю я: ему блеснет из мрака
Огонек приветливый в окне...
Но не собираюсь я, однако,
Лгать, что весело сегодня мне!

Я друзей утрату вспоминаю,
Луч, который навсегда погас...
Потому и дверь я открываю
Для печали в этот поздний час.

Что ж, подруга робкая, давайте,
Мы закурим с вами, посидим...
Утром вам откланяюсь я, знайте,
И — надолго!.. Сядьте, помолчим.

..*

*...Я люблю, когда в доме есть дети
И когда по ночам они плачут.*

Ин. Анненский.

Комната во мраке утопает,
Спать пора уже давно ребенку...
Но отца лукаво окликает
Он, смеясь залиvisto и звонко.

— Разгулялся! Что ж это такое! —
Мать ворчит и сердится немного.
А отец, заботясь о покое,
Им заснуть приказывает строго.

Но малыш проказы продолжает,
Не дает покоя и сестрице,
И она смеяться начинает,
Хоть пора уже уgomониться.

Перевитый тенью, месяц светит,
Тучи за окном по небу вьются...
Я люблю, когда есть в доме дети
И когда в ночи они смеются.

Перевела Мария Комиссарова.

КОЛЬ ИДЕШЬ ТЫ..

Коль идешь ты белою тропую,
Коль проглянет солнце в ранний час
И над белизною снеговою
За алмазом проблеснет алмаз,

Коль людские речи безотчетно
Хлынут в душу, сердце полоня,
Коль блеснет улыбкой мимолетной
Юный взор твой,— вспомни про меня!

Седина меня учила строго —
Каждый светлый миг, как счастья, жди.
Думаешь, их в жизни будет много,—
Ой, гляди, впросак не попади!

Что запало в сердце молодому,
Все потом в своей душе найдешь,
Если в старость, как к родному дому,
Как к желанной пристани, придешь.

Краков.

Перевел Ал. Сурков.

* * *

Сердце верит иногда приметам
 Вопреки рассудку и теперь,
 И не надо, может быть, запрета...
 Если веришь, на здоровье — верь!

Впереди дорога расстелилась.
 Сколько пробежало здесь машин!
 Сколько в них сердец горячих билось
 Из-за тех или иных причин!

Кто бы ни был — со своей судьбою,
 Цветом глаз и голосом своим,
 Словом, интонацией любую
 Здесь потоком двигались живым.

Велика людей семья большая,
 Хорошо у них идут дела:
 Им с ведром, наполненным до края,
 Девушка дорогу перешла ¹.

Перевела Мария Комиссарова.

* * *

*25.VI.1909 г. Блерио на аппарате,
 что сконструировал он сам, перелетел
 Ла-Маниц.*

Из старой газеты.

Полстолетья — как мгновенье, скоро —
 С той поры успело пролететь.
 Раскаленный слепок метеора
 Не успел еще в пути сгореть.

Ну хотя б об этом всем поэты
 Спели современникам своим,
 Чтоб полет космической ракеты
 Предварить эпитафией таким.

Чтобы вспомнить, как крутые дуги
 Устремленных в звездный мир путей
 На песке вычерчивал в Калуге
 Циолковский в вешей глухоте.

Бэ-Эс-Э моей смиренной музе
 Версии иной соткала нить —
 Блерио, там сказано, в Союзе
 Дней своих закат хотел прожить ².

Перевел Ал. Сурков.

¹ Если кто-либо с полными ведрами перейдет дорогу, это считается хорошей приметой для путешественников, охотников, рыбаков.

² См. Большая Советская Энциклопедия, 2-е изд., т. V, стр. 294.

В. ЛИПАТОВ
★
ГЛУХАЯ МЯТА

Повесть

Документы

Приказ № 156

по Зачулымскому леспромхозу комбината «Томлес»

Ввиду того, что вредитель-шелкопряд поразил древесные насаждения в девятом квартале, называемом «Глухая Мята», и того, что этот массив может быть поражен летом этого года, чем государству будет нанесен огромный ущерб, приказываю:

1. В девятом квартале рубку начать немедленно. Направить в Глухую Мяту бригаду лесозаготовителей в количестве десяти человек.

2. Бригадиром назначить Г. Г. Семенова.

3. Бригаде выделить:

- а) два трактора КТ-12 на газотопливе;
- б) передвижную электростанцию ПЭС-12-200;
- в) запас горючего на два месяца для нее и для заводки тракторов;
- г) портативную радиостанцию;
- д) передвижную библиотечку;
- е) передвижную аптечку и
- ж) другое необходимое оборудование.

Примечание. Предполагая, что бригада не закончит рубку до разлива Оби, приказываю: работы не прекращать и выезд из Глухой Мяты осуществить сплавными средствами, то есть дожидаться сплавщиков и с ними эвакуироваться из девятого квартала. Связь по радио с леспромхозом приказываю держать по пятницам каждой недели, а также передавать в эти сроки сводку о выполнении плана.

Плановое задание будет доведено до бригады плановым отделом особым приказом.

Оплата — сдельно-прогрессивная.

Директор леспромхоза Н. Сутурмин.

Приложение к приказу:

Список лесозаготовителей, выделенных на работу в девятый квартал

1. Семенов Г. Г. — бригадир
2. Изюмин В. С. — механик станции
3. Раков Г. Ф. — тракторист
4. Титов Ф. П. — тракторист
5. Силантьев М. М. — разнорабочий
6. Борцев Н. Ф. — разнорабочий
7. Удочкин П. А. — разнорабочий
8. Гав В. В. — моторист электропилы
9. Бережков Б. Р. — моторист электропилы
10. Скороход Д. В. — повар-уборщица.

Радиограмма,

принятая на слух, записанная радисткой леспромхоза:

Ранен механик Изюмин тчк Рубку продолжаем тчк Самочувствие механика сравнительно хорошее тчк Бригадир Семенов,

* * *

Из милицейского протокола, составленного о нарушении порядка гр-ном Силантьевым во время судебного разбирательства:

«...Гр-н Силантьев не только обругал, но и толкнул дежурного милиционера при исполнении последних служебных обязанностей. До этого гр-н Силантьев на весь зал крикнул, что судьи и особенно прокурор ничего не понимают... По его мнению, нужно было судить не гр-на Титова, а потерпевшего гр-на Изюмина...»

Глава первая

1

Дует мартовский ветер. Меж крутыми берегами Оби он свистит, как в трубе. По затвердевшему насту, шурша, позвякивая, катятся тонкие, прозрачные льдинки. Унынием, холодом веет от реки, небо висит серое, с остановившимися облаками. Кое-где из грязного снега торчат глыбы льда, обдутые ветром до сияния. На яру обнажилась твердая, звенящая под ударом каблука земля.

За поселком Синий Яр разбитая тракторами санная дорога поворачивает направо, петляет меж тальников, кедрочей. Шестьдесят километров она бежит по болотам, через речушки и озера, покрытые снегом, и, поднявшись на возвышенность, вдруг обрывается. Глухая Мята — так называется сосновый бор.

Глухая мята — мелкая, дурнопьянисто пахнущая трава; ее кладут для запаха в букеты, от нее кружится голова; засушенная травка пахнет долго.

В Глухую Мята ведет одна дорога.

Летом под крылом рейсового самолета, летящего из Томска в Колпашево, причудливо мешается голубое и рыжее — вода и щетина болот. К августу синь озер постепенно затягивается ряской. Ржавая, корявистая земля несколько часов, укачивая, плывет под крылом самолета.

Приречные болота и голубые озерца рождены Обью.

Ветреным апрелем, редко в начале мая, Обь выходит из берегов. Неторопливо гонит она волну за волной, заливая тальники, острыми языками взлизывается в овраги. На пологих коричневых волнах качается неяркое нарымское солнце. Морем становится Обь, трудно найти русло реки, но это не смущает обских капитанов — в горячке первых дней навигации буксиры, сминая сырые ветки, шпарят прямо по тальникам, а пароход «Советская Россия», тот, что развозит по реке бакены и зарплату, забирается в тальниковый океан километра на полтора от фарватера. Когда наступает вечер, капитан Василий Васильевич посылает матроса Сережку на крышу рубки: «Глянь, любезный, где, леший ее дери, Обь?» Сережка поднимается, скидывает фуражку, чтобы не мешала, и мрачно оглядывается — ничего не видать! Куда ни глянешь — мыльная вода, редкие осоки, торчащие великанами среди кустарника. Не видит Сережка Обь, но, чтобы не опозориться перед капитаном, небрежно машет с рубки. «Право руля! Право ворочай!» Буксир катится вправо, иногда влево и через полчаса выходит на реку. Куда ни крути руль, буксир все равно повстречается с Обью.

Долго — месяц, а то и больше — кочевряжится Обь, не хочет уходить с берегов. Она стоит морем до тех пор, пока не поддадутся береговые льды в Северном Ледовитом океане. Тогда Обь съезживается, неохотно укладывается в фарватер, оставляя на берегах миллионы коряжин, горы ила, лес, речушки, болота и озерца.

В ином озерце — прорва рыбы. Приреченские ребяташки, выждав, когда оно замелеет, ловят рыбу рубахами — длинных щук, ленивых карасей, мальков. Пробираясь к озерам, ребята порой находят четырехлапый якорь — потерял его в непогодь буксирный пароход.

В марте Обь еще мертва.

Приобье — по пояс в снегу. Ночью ветви сосен звенят. Иногда, позванивая, падают на землю льдинки...

На рассвете к реке выходят лоси. Подняв морды, стоят на берегу и глядят вдаль, неподвижные, точно высеченные из камня. Они не боятся человека. Затем лоси поворачиваются, уходят — река еще не вскрылась...

* * *

В обшитом досками бараке раньше жили рабочие химлесхоза — на соснах, растущих окрест, еще сохранились следы подсочки. На фасадной стене барака из конца в конец буквы: «Мы здесь жили»; и помельче: «Не дай бог еще жить!» Последняя фраза накрест перечеркнута мелом.

Снежная поляна возле барака покрыта пятнами мазута. Позади барака растет сосна; она навалилась на него, обняв ветвями, и сверху, с птичьего полета, барак, наверное, не виден. В четырех маленьких окнах желтеет огонь, квадраты света косо падают на поляну.

Это и есть Глухая Мята...

В одной из комнат барака — самой большой — тускло горит керосиновая лампа, на ребристых оштукатуренных стенах покачиваются человеческие тени. В бараке не спят. У стены, на широкой лавке, закинув руки за голову, лежит человек. Лица не видно, торчат острые локти.

— ...С Колымы на Сахалин подался, — задумчиво рассказывает лежащий. — Город там есть, Чехов называется... Ничего городишко! Ресторан, каждый день играет оркестр, заработки хорошие. На строительстве я по две тысячи огребал. Хорошо жил — без водки обедать не садился.

Он замолкает. Весело, как костяшки на счетах, потрескивают дрова в печке. В комнате тепло, дремно. Слушатели неподвижны.

— В Чехове год прокантовался, на консервный завод перешел. Тоже ничего жил — правда, водки здесь не было, спирт пили. Зато девок, баб на этом самом консервном заводе — миллион! И половина незамужних! — Он привстает, жестикулирует рукой с самокруткой и заливается икающим, здоровым хохотом. — Половина незамужних, хотите верьте, хотите нет!

Теперь хорошо видно его лицо — круглое, розовое, тугое, точно резиновый мяч. Глаза у него светлые, волосы — тоже.

— Будьте уверочки, я им не давал спуску! — заливается он и крутит в воздухе пальцем. — Как приглядел — так моя! Хорошие попадались бабоньки! — Он делает движение, словно солит кончик пальца. — На ять бабоньки!

Один из сидящих за столом — борода его раздвигается ухватом — удивленно прищипывает языком:

— Вот ведь, как поворится... Ведь ты скажи, какое дело!

Это рабочий Никита Федорович Боршев.

За столом улыбаются. Рядом с Никитой Федоровичем примостился на краешке табуретки худой и длинновязый парень — Петр Удочкин. Изредка поматывая вялым чубом, он чертит на столе черешком ложки однообразную завитушку и внимательно слушает Силантьева.

Силантьев снова укладывается на лавку.

— Полгода проработал на заводе — кончилась лафа! Новые расценки пришли, то да се, пятое-десятое... Спирту — и того не стало! По-

думал я, пораскинул мозгой и решил податься на Амур, на прииска... Вот тут и нарвался — ни заработков, ни шиша! Уехал! — отрезает Силантьев.

В печке потрескивают дрова, временами кряхтит, оседая, старый барак. Кроме пощелкивания дров да треска бревен — ни звука в комнате.

— Это так, как говорится! — произносит Никита Федорович. — Тут, конечным делом, чтобы не ошибиться, самому пощупать надо!

Он медленно оглаживает бороду, значительно помаргивает белесыми ресничками. Петр Удочкин понятиливо кивает. Третий человек за столом не обращает внимания на бородача, сидит прямо, надменно прищурившись, выпятив плоский подбородок.

Тракторист Георгий Раков всегда держит себя так, словно находится перед объективом фотоаппарата, который вот-вот должен щелкнуть.

Раков неохотно разлепляет бледные губы, раздельно — так диктуют ученикам второго класса — произносит:

— Ладно, ладно! Ты, Силантьев, рассказывай...

Петр Удочкин придвигается к Ракову, трижды кивает головой — правильно, продолжай!

— После Амура взял курс на Сибирь... Сначала посетил Красноярский край...

Раздается бухающий удар. Стены барака вздрагивают, язык пламени в лампе лижет стекло. Затем снова удар, и уж тогда широко открывается дверь: в комнату входят еще двое. Они в синих лыжных костюмах, в вязаных шапочках, у обоих под куртками одинаковыми узлами — тонкими, модными — завязаны галстуки.

— Добрый вечер! — здороваются Виктор Гав и Борис Бережков — вальщики леса, мотористы электропил, двадцатилетние парни, два года назад окончившие десятилетку. Разгоряченные лыжами, морозом, они откровенно сияют молодостью. Шелковые рубашки плотно облегают их мускулистые тела, на лицах, несмотря на март, ровный летний загар. Парни коротко острижены, шею их, вопреки моде, выбриты. Ребята несколько минут отдыхают, отдыхают по всем правилам, по-спортсменски — дышат глубоко, полной грудью, руки на поясе, головы закинута назад.

Тракторист Георгий Раков смотрит на них вызывающе, а когда парни переглядываются, он передергивает плечами: «Модничают. Лыжи, эка невидаль!» Затем демонстративно отворачивается. Зато Никита Федорович Борщев приветлив, доволен приходом ребят и щурится на них так значительно, словно хочет сказать ребятам что-то очень важное.

— Лыжи, они конечно... — говорит Никита Федорович. — Палки к тому же — лишний груз. Поневоле запаришься!.. Вот так, как говорится, — добавляет он.

В щелях крыши шарит ветер, просачивается в оконные переплеты. Огонек лампы опять помигивает.

— Страсть! — поеживается Петр Удочкин.

От следующего порыва ветра барак пошатывается, и из-за этого не слышно, как в дверь входят еще трое лесозаготовителей; и лишь когда ветер, отгрохотав чердачными досками, стихает, слышно тяжелое дыхание, стук обледенелых сапог. Из второй комнаты барака выходит худенькая, тонкая в талии женщина лет двадцати пяти — повар-уборщица Дарья Скороход.

— Ой, мамочка, уже пришли! — Она всплескивает узкими ладошками.

На голос Дарьи приподнимается с лавки Михаил Силантьев. Он неотрывно следит за ней, туго надувает щеки, а когда она мельком оглядывается на него, подмигивает Никите Федоровичу: «Видал? А ничего себе бабонька!»

Трое проходят в комнату.

2

Первый из них силен и высок.

Рост бригадира Григория Григорьевича Семенова — сто девяносто сантиметров, вес — девяносто пять килограммов. Сапоги сорок пятого размера малы бригадире, но зато шапка пятьдесят шестого размера свободно вертится на маленькой голове. Лет до четырнадцати, до того времени, пока свинцом не налились пудовые кулаки, страдал Гришка Семенов от обидного прозвища «Кенгуру»; не счесть драк, в которых участвовал он, пока подростки еще осмеливались вспоминать при нем это заморское животное.

Под Григорием Семеновым гнутся половицы — скинув пропотевший ватник, он проходит в комнату, садится на скамейку, вынув расческу, приглаживает короткие жесткие волосы. Обстоятельно причесывается бригадир.

— Ужин как? — спрашивает он.

— К девяти будет! — отзывается Боршев.

В комнату проходят еще двое.

По тому, как молча они вошли в барак, как долго возились у двери, и по тому, как смотрят на Семенова, чувствуется — что-то случилось, хотя один из пришедших, красивый, стройный человек, посидев немного, достает из кармана книгу и приваливается к стенке. У второго рыжеватые волосы, кривые ноги. В комнату он не входит, а вкатывается, на скамейку не садится, а бросается. Это тракторист Федор Титов.

— В первой деляне сколько кубометров было по валке? — обращается бригадир Семенов к вальщикам Виктору Гаву и Борису Бережкову.

Парни переглядываются, неслышно обмениваются словами и, точно по команде, поворачиваются к рыжеватому трактористу. В этот момент они очень похожи друг на друга, похожи не лицами, не фигурами — один тонкий и высокий, второй ниже и полнее, — а позами, одинаковым отношением к Федору Титову: «Опять что-нибудь натворил! Ну, и морока же с этим человеком!» Парни раздумывают, видимо пытаются установить связь проступка Титова с вопросом бригадира, и, поняв, в чем дело, одновременно отворачиваются от тракториста.

— Блокнот у тебя, Витя?

— У меня, Боря, — отвечает Гав, вынимая из заднего кармана лыжных брюк аккуратный, перетянутый резинкой блокнот. Он читает: — Сто восемьдесят шесть!

— Ну вот! — говорит Семенов. — Вопрос ясен!

Федор Титов срывается со скамейки; он словно кипит, подвижный и быстрый. Пробегает по комнате, круто завернув у стены, и — застывает.

— Что ты скажешь на это? — негромко спрашивает Семенов.

— К черту! — Голос Титова срывается на крик. — Ничего не хочу говорить! Это же мелочь! Ты понимаешь, мелочь!

Его крик странен, непонятен людям, и потому бригадир Семенов, затолкнув расческу в целлулоидовый футлярчик, поясняет:

— Титов опять не выбрал в деляне тонкомерные хлысты... Это третий случай! Деньги за трелевку не оплачу.

Лесозаготовитель с красивым лицом — механик Валентин Семенович Изюмин — половиной лица высовывается из-за книги, но затем снова

принимается за чтение. Лежащий на скамейке Михаил Силантьев потягивается, зевает. Поведение Федора Титова неинтересно ему, как неинтересен и бригадир Семенов. Зевнув, он ковыряет стенку босой ногой, закручивает новую самокрутку, а после слов Семенова скучающе замечает:

— Действительно, мелочь! Подумаешь, десять хлыстов не выбрал! В Глухой Мяте леса на всю матушку Расею хватит!.. Ты, бригадир, лучше об ужине позаботься. Кишка кишке протокол пишет.

Ободренный поддержкой Силантьева, молчанием Гава и Бережкова, запрятанной за книгу улыбкой механика Изюмина, Федор Титов потрясает руками.

— Придираешься зря к человеку, Семенов! Кирюху из себя выламываешь! Не пройдет этот номер! Деньги ты мне уплатишь!

— Деньги не уплачу!— спокойно отвечает бригадир.

— А уплатишь!— звонко произносит Силантьев, рывком сбрасывая ноги на пол.— Мы, бригадир, рабочие права знаем... Походили по белу свету, не таких начальников видали!— с издевкой продолжает он.— Всяких начальников видели, разных калибров... Ты не по карману должен Титова бить, а воспитывать.

— Это так, как говорится...— изумленно полуоткрывает рот Никита Федорович.

— Уплатишь, уплатишь!— грозит Федор Титов, все еще бегая по комнате, и вдруг натывается на Георгия Ракова.

— Сядь, Федор!— коротко приказывает Раков.— Сядь, охолопись немножко!

Федор послушно садится.

— Устал, наверное! Отдохни! Деньги с тебя вычтем. Григорий Григорьевич прав — тонкомерные хлысты надо выбирать. Ты не бригадир, — государство обворовываешь!

Раков говорит ровно, монотонно, в каждом слове — уверенность в своей правоте, убежденность в том, что выслушают его внимательно и сделают так, как скажет он, Георгий Раков.

— Ты, Федор, у государства воруешь!

Федор Титов съезживается, линияет под прицелом раковских холодных глаз, мнет пальцами распахнувшийся на груди ворот сатиновой рубахи.

— Я бы собрал, если бы он сказал по-человечески... А он, кирюха, сразу нотацию читать начал...

— Вот ты опять не прав... Семенов тебе никакой не кирюха, а бригадир! Ты думай, Федор, о чем говоришь. Тебе на этот случай голова выдана!

— Это правильно, это так!— с довольным видом восклицает Никита Федорович и упоенно вертит бородой — наслаждается разговором.

Механик Валентин Изюмин кладет книгу на стол. Сцепив пальцы замком, он внимательно слушает Ракова — верхняя губа механика немного приподнята, и видны ровные, плотные, хорошо чищенные зубы. Изюмин слушает разговор напряженно, чутко. Виктор Гав и Борис Бережков переглядываются, они разом поднимаются и легким, спортивным шагом, раскачивая руками, мягко ступая на носки, уходят в соседнюю комнату. Стройные, сильные, чистенькие и какие-то не вяжущиеся с темным бароком, коптящим светом лампешки и всем, что происходит в нем.

— Десятиклассники пошли долбать науку!— хохочет вслед им Михаил Силантьев.

Поднимается и бригадир Григорий Григорьевич Семенов. Он задумчив; поперек его морщин легла глубокая вертикальная складка.

— Утром хлысты должны быть подтрелеваны!— бросает бригадир Титову.

— Хорошо, я выберу хлысты,— отвечает тракторист под прицелом глаз Георгия Ракова.

— Правильно!— радуется Петр Удочкин.

Лицо Удочкина — зеркало: смотрит на него сердитый человек, лицо Петра сердится, смотрит веселый — веселится, грустный — печалится. Собственное выражение лица Удочкина одно — ожидание от людей интересного, необычного.

— Жрать хочется — смерть!— жалуется Силантьев и тоже уходит в соседнюю комнату.

У двери возится с кастрюлями Дарья Скороход. Силантьев на цыпочках подходит сзади, продевает руки под мышки Дарьи и кладет их на груди женщины, крепко сжав пальцы. От неожиданности она замирает, втягивает голову.

— Варим-парим! — похохатывает Силантьев, не отпуская.

Дарья вырывается, ныряя головой в расставленные руки Силантьева.

— Ловко, молодец!— одобрительно подмигивает он.

Лицо женщины полыхает румянцем, и Силантьев непонятно, то ли она покраснела, то ли ее щеки разрумянились от жаркой печки.

— Ой, что ты!— запоздало вскрикивает Дарья.

— Вари, вари!— покровительственно разрешает он и пробегает ее взглядом с ног до головы.

3

На ночь лампу в бараке не тушат, привертывают немного фитиль. До рассвета льется желтый свет. За окнами порывами дует ветер.

Люди храпят, ворочаются во сне. Изредка кто-нибудь просыпается, зевает, шлепая босыми ногами, пробирается к двери, открывает ее. Тогда по полу струятся холодные потоки воздуха... Потом опять шлепоток ног.

Тепло, домовито в ночном бараке.

Федор Титов спит на полу, рядом с механиком электростанции Валентином Изюминым... Федор не может заснуть сегодня, томится. Перебивая друг друга, громоздятся, путаются мысли, такие же горячие, как подушка под щекой. На потолке, среди теней, мерещится всякая чепуха — то вроде плывут облака, то дыбятся на подъеме дизельный трактор, то прыгает диковинный, нездешний зверь — кенгуру.

До боли в стиснутых скулах ненавидит Федор бригадира Григория Семенова. Месяц носит в себе, затаив от других, воспоминание о том, как перед выездом в Глухую Мятку директор леспромхоза Сутурмин, не стесняясь Федора, сказал Семенову: «Вот тебе, Григорий Григорьевич, Федор Титов! Тракторист он хороший, знающий, а человек нелегкий, с кандибобером... Может такое отчебучить, что только руками разведешь!.. Ничего, ничего! Не обижайся, Федор,— на серьезное дело посылаем тебя, сейчас не до самолюбия!»

Бригадирство Семенова непереносимо для Федора. Для него Григорий Семенов не бригадир, а Гришка Кенгуру, такой же деревенский мальчишка, каким был сам Федор. Вместе они ходили в школу, вместе воровали огурцы с чужих огородов, вместе собирали орехи недалеко от Глухой Мятки. И вот — Семенов бригадир, начальник Титова!.. Сегодня, обойдя лесосеки, он нагнал Федора на трелевочном волоке, ссутулился от гнева. «Собери хлысты! Ты против коллектива! Прошу тебя по-дружески, собери! Это ведь третий раз!»

Федору не спится, не может он прогнать навязчивую мысль: как так случилось, за какие такие заслуги дали Семенову право командовать людьми? Чем взял он? Откуда у него такое право?.. И чем больше думает Федор об этом, тем меньше видит оснований у Семенова быть бригади-

ром. День за днем перебирает он в уме дни работы в Глухой Мяте и не находит ничего бригадирского в поступках Григория, а в делах товарищей — признания его власти. Михаил Силантьев на приказы бригадира отвечает шутками, анекдотами, выполняет их с таким видом, точно делает одолжение; парни-десятиклассники в разговоры с бригадиром не вступают, а механик Валентин Изюмин затаенно посмеивается над суровой сосредоточенностью бригадира. Нет настоящей, авторитетной власти у Григория Семенова в Глухой Мяте!..

Федор ворочается, нанизывает в тесную цепочку гневные слова, которые скажет бригадиру, если тот снова понапрасну придерется к нему. Он лежит лицом к Изюмину. «Вот это человек!» — думает Федор и весь переполняется симпатией к спящему механику. Изюмин спит спокойно, дышит ровно, и лицо у него даже во сне красивое, энергичное... Интересен Валентин Семенович — такого человека, как он, Федор еще не встречал. Красив, силен, строен — и культурный, вежливый. Неспешлив, аккуратен, умеет слушать других и сам говорит гладко. Десятиклассников он сразу взял под свою власть... На третий день жизни в Глухой Мяте парни сели за шахматы. Целый вечер сражались они, окруженные уважительными лесозаготовителями, а Никита Федорович шипел: «Тише! Серьезное дело, как говорится...» И только Валентин Семенович сидел в сторонке, читал книгу, но, когда Виктор победил, Изюмин оторвался от книги, чуть приметно улыбнулся и попросил Бориса показать запись партий.

— Партию, Виктор, а? — предложил механик, пробежав запись.

Гав согласился, и вот тут-то случилось удивительное — механик играл с Виктором, не глядя на шахматную доску.

— Представь себе, я помню расположение фигур, — ответил он вежливо на ошеломленный возглас Борщева.

Оттого и не совсем понятен Федору механик Изюмин. Как ни размышляй, а механик есть механик — такой же рабочий, как Федор, как все другие в Глухой Мяте, но Валентин Семенович иной, совсем иной, иногда до странного он кажется похожим на бывшего директора Зачулымского леспромхоза Виктора Викторовича Болотина: вдруг становится начальственным, суровым. И говорит в такие минуты по-болотински — книжными, слепыми, словно нерусскими словами. Такие словечки Федор частенько находит на страницах областной газеты: «конкретно», «объективно оценивая положение в настоящее время». Бывают минуты, что и походкой Валентин Семенович смахивает на бывшего директора Болотина — один идет по лесосеке, в руках ничего нет, а кажется, что под мышкой зажат пузатый, ярко-желтой кожи, портфель.

На этом, пожалуй, сходство механика Изюмина с Болотиным кончается. Валентин Семенович неплохой механик, дело свое знает.

Федор уже давно заметил, что Валентин Семенович охотнее и чаще, чем с другими, беседует с ним. Как-то ночью Федор разоткровенничался с механиком... Теперь, вспоминая этот разговор, путанный, взбалмошный, Федор удивляется — откуда что бралось! Раньше, заполняя автобиографический листок, он уже на половине первого листа ставил размашистую крючковатую подпись, а в ту ночь ему казалось, что всего и не расскажешь.

— ...Представьте, Валентин Семенович, приходите вы в кино, садитесь на свое место, свет гаснет, и вдруг из-под лавки вылезает мальчишка, что пришел без билета... Так вот этот мальчишка и есть я! Сроду у меня маленького двадцати копеек на билет не было. Безотцовщина!.. Или возьмите еще такое. Вот будто идете вы по улице, смотрите — лежит рублевка. Ну, вы, конечно, нагибаетесь, думаете взять ее, а рублевка вдруг уползает... В чем дело? Привязана за ниточку, которую пацан

держит. Так вот этот пацан и есть я! А вот еще... Приходите вы на огород, осматриваете грядку с огурцами — все в порядке! Огурцы на месте. Вы, конечно, срываете — и что? Чудо! Второй половинки нет у огурца — отрезана! Так вот это тоже я!.. Зимой, Валентин Семенович, совсем дикие дела творились. Растапливают, это, соседи печку, все чин чинном, а вдруг — бах, тарарах! К чертовой матери летит печка! А это я полено взял, просверлил центровкой и начинил порохом... Да, Валентин Семенович, совсем я избаловался с малолетства. В школу немного походил, пять групп кончил — и не хочу больше учиться. Вот и вырос кирюхой! В войну, конечно, голодал, а за всякое художества, ну вроде дров в печке, случалось и колотили меня... Всякое бывало!

Хорошо, человечно слушал Изюмин; курил папиросу за папиросой, задумчиво жевал мундштук, и поэтому Федор говорил откровенно, выворачивал накопленное внутри за двадцать семь лет, глубоко заглядывал в себя и находил неожиданно самому себе не известное. Сейчас Федору немного стыдно за таинственный, задыхающийся шепот, за то, что он словно обнажился перед механиком, а тогда в груди щекотал приятный холодок, горела голова и было такое чувство, как будто под внимательным взглядом Изюмина он становился другим человеком — хорошим, душевным. «Смотрите, Валентин Семенович! Вот он я, Федька Титов, какой я есть!»

— ...С бабами начал валандаться с шестнадцати лет. Много тогда голодных баб было — осиротила война... Да, многое повидал я... Жизнь в иных местах меня трактором переехала!

И пожалел, что сказал эту жалостливую фразу, она показалась неискренней, точно вычитанной из книги. Подумал: «Разве один я такой? Много людей покалечила война!»

— ...Товарищи мои далеко пошли, Валентин Семенович... Сашка Егоров инженером работает, Костя Находкин — врачом, а ведь нукудышный мальчишка был. Сопливый!

Механик слушал Федора целый час и, когда тот кончил, закурил новую папиросу, задумчиво, для самого себя, проговорил:

— Так и следовало полагать... Все правильно!

Подумал еще немного и, зачем-то оглянувшись по сторонам, на спящих, сказал другим голосом — поучительным, словно заученным:

— Картина ясная! Не так по жизни идешь, Федор! Ее надо брать полной горстью! — И показал, как надо брать — сперва растопырил пальцы, а потом разом сжал в кулак. — Я за тобой давно наблюдаю, делаю выводы... Одним криком да нажимом не возьмешь! Много другое надо...

Потом Валентин Семенович долго расспрашивал Федора о бригадире. Все интересовало его: каково образование бригадира, кем работал раньше, и когда Федор подробно рассказал о Гришке Кенгуру, механик ухватил его пальцами за локоть, крепко сжал, проговорил весело и как будто облегченно:

— Не горюй, Федор, со мной не пропадешь!

Чем-то не понравился этот разговор Федору, и, все равно как железку к магниту, тянет его к Валентину Семеновичу. Титову кажется, что у механика есть все то, чего не хватает ему, Федору, — воля, настойчивость, выдержка, знания. И оттого, что механик дружен с Федором, выделяет его, особенно обидны придирки Семенова. Каждый раз, когда Семенов выговаривает ему, Федор ловит на себе не то жалеющий, не то насмешливый взгляд Изюмина; однажды он понял механика — вздернув губу, обнажив белые, ровные зубы, Изюмин точно приказал: «А ну,

ответь ему как следует! Покажи себя, Федор! Ведь ты начинал порохом поленья!»

Федор ворочается, мается. Засыпает он только в третьем часу. Снится Федору тротуар, на нем — рублевка; он хочет взять ее, но не может: рублевка, извиваясь, как змея, уползает, а из-за городьбы выглядывает ухмыляющаяся физиономия Семенова: «Получил, кирюха!» Потом лицо Семенова становится лицом Изюмина, и механик говорит: «Это не рублевка, это просто бумажка!» Федору делается весело, он идет дальше, ласково попрощавшись с Изюминым... По обе стороны улицы громоздятся высокие, красивые дома, мелькают скверы; он идет все быстрее и быстрее и слышит за спиной голос Изюмина: «Осторожнее, Федор, воздух нагреется от скорости, и ты сгоришь...» Но Федору тепло, уютно, и он не обращает внимания на предостережение механика.

4

— Федор, а Федор, вставай! Просыпайся, Федор!

Над Титовым стоит бригадир Семенов. Снизу голова бригадира кажется совсем маленькой, а руки длинными, точно плети.

— Вставай, Титов! — сумрачно говорит Семенов и отходит от Федора.

Лесозаготовители готовятся к выходу в лес, они сосредоточены, деловиты; строго соблюдая очередь, подходят к умывальнику, фыркают, крепко трут лица, плечи, волосатые груди. Пока мужчины моются, Дарья накрывает на стол. Она поднялась в пять часов утра, наварила чугуна борща, поджарила картошки, достала из подполья соленые грибы, огурцы, помидоры. Весело бренчат алюминиевые чашки.

Причесавшись перед осколочком зеркала, лесозаготовители чинно садятся за стол и здесь тоже соблюдают порядок, очередность: бригадир садится на край, впереди всех, рядом с ним — механик электростанции, чуть подальше — трактористы, затем — место Виктора Гава и Бориса Бережкова. Но парней нет в комнате — голые по пояс, они выбежали во двор делать зарядку, умываться колким, скрипучим снегом, бросать гири. После зарядки вальщики десять раз обегают барак, потом обходят его шагом, для отдыха. Только после этого они возвращаются...

Так и сегодня — ребята садятся за стол последними. Бригадир Семенов хмуро молчит — он недоволен их опозданием, но они не обращают на это внимания, посмеиваются, переглядываются.

После завтрака лесозаготовители сразу же выходят на работу. Идут в кирзовых сапогах, промасленных телогрейках, высоких зимних шапках из собачины. Со спины только по росту можно отличить одного от другого, даже походка одинаковая — медвежья, вразвалочку, плечи опущены под грузом топоров и пил, шаг не быстрый, но широкий, «биркий», как говорят нарымчане.

Хорошее слово — биркий. Так говорят о ягоде, крупной, удобной для сбора — биркая ягода; так говорят о хорошо отточенном топоре — биркий, берет много; о скаредном, прижимистом человеке — биркий, все в дом тянет. Говорят нарымчане плавно, неторопливо, порой непонятно для пришлых людей.

Бирко идут лесозаготовители.

Солнце еще не встало, но по верхотинам сосен бегут наперегонки желтые блики, предвещая ясный восход... Она все-таки берет свое, поздняя и холодная нарымская весна! Ничего, что после двух теплых дней бушевали метели, падал сухой снег, ничего, что пуржило по-зимнему, — черный глазок обнажившейся земли с ожиданием смотрит в небо. Весна

всюду оставила след — на соснах, на снегу, на осевших взгорках. И уж не может зима перебить солодкий, настоявшийся на разогревшемся иглопаде дух весны — он поднимается от земли, кружит голову.

Машины стоят на заснеженной поляне, печально сутулятся. Одиночки машины — ждут не дождутся прихода людей, чтобы ожить, потеплеть, и люди ускоряют шаги, на ходу скидывают телогрейки, спешат к тракторам. Но только двух человек машины подпускают близко — Ракова и Титова. От этого трактористы важничают, суровеют. Машины охотно открывают перед ними двери кабин, капоты — знаем вас, помним! Гулко раздаются первые такты, тайга торопливо повторяет их, дробит, но потом как-то сразу приносит издали ровный, облегченный гул — машины работают на полном ходу. Проверив моторы на больших оборотах, трактористы убавляют газ, и по тайге накатом разносится веселый лязг тракторных гусениц. Круто повернувшись на месте, машины рвутся в лесосеку. Радостно ревут. Тракторам отвечает мотор передвижной электростанции.

Проходит еще несколько секунд, наполненных перекликом моторов, как вдруг электростанция сникает, захлебывается — это включают свои пилы Виктор Гав и Борис Бережков. Без нагрузки пилы кричат истошно; склонив головы, парни бестрепетно прислушиваются к их истерическому вою, крепкими руками сдерживают их — проверяют на звук, — потом одновременно щелкают выключателями, и сразу легче становится дышать мотору станции Валентина Изюмина. Кинув пилы за спину, парни быстро уходят на лесосеку. За ними вьется, шуршит кабель.

Подпрыгнув на пеньке, взревев напоследок, уходит в лес трактор Федора Титова. Георгий Раков высовывается из кабины, следит за Федором. Свою машину он трогает осторожно, берет с места без рывка, точно не мотором, а упершимся в трактор плечом.

На именных часах бригадира Григория Семенова восемь часов. Рабочий день в Глухой Мяте начался.

5

Выходя из барака, лесозаготовители не заметили, что Силантьев замешкался в дверях, попридержался, остановившись на пороге и пробормотав вроде как бы растерянно: «Ах, черт возьми! Забыл!» Но Петру Удочкину, обернувшись к нему, что именно он забыл, не сказал, а только подтолкнул Петра вперед — иди, разберусь без тебя! Петр поспешил за товарищами, оглянулся еще раз, но задерживаться не стал. Силантьев стоял на пороге в той же позе — забыл ведь! Вот, черт ее дери, забыл!

Выждав немного, Силантьев на цыпочках по шатким половицам проходит сени, тихо открывает дверь. Непривычная тишина. Дарья Скороход, проводив рабочих, возится у плиты, гремит ухватами, сковородниками. Она маленькая, тоненькая, позади торчит коса — светлая и пушистая; лицо у Дарьи как кора молодой березки, а вместо точек на ней — неяркие веснушки.

Силантьев замирает на пороге, лицо его лоснится от пота, туловище наклонено вперед. Дарья не видит Силантьева — грохочет посудой, напевает под нос веселое, утреннее; покачивается в такт песне, руки ее обнажены по локоть и тоже, как кора молодой березки, розово-белы и веснушчаты. Хороша фигура у Дарьи — в талии тонка, ноги длинные, темная короткая юбка сидит на ней ловко, без складок, а кирзовые маленькие сапоги, как влитые, обнимают выпуклые икры.

Силантьев стоит неподвижно, приподнявшись на носки, острым кончиком языка облизывает пересохшие губы, потом, видимо обдумав, делает шаг вперед.

— Ой, кто там? — Дарья резко оборачивается.

— Наше величество! — смешливо отвечает Силантьев, ничуть не смутившись.

— Ты чего вернулся, Миша? — вскидывает она ресницы и вдруг понимает все. Она медленно поднимает руки к груди, стискивает пальцы, садится на табуретку. Обреченный, грустный вид у женщины. Кажется, что она не в состоянии ни пошевелиться, ни встать.

— Тепло в бараке! — небрежно замечает Силантьев и подходит к Дарье.

Она поднимает голову, исподлобья смотрит на него, руки ее по-прежнему стиснуты на груди. «Вот, опять! О господи, когда это все кончится!» — говорит поза Дарьи. Но Силантьев вдруг стремительно наклоняется к ней, встает на колени, чтобы лицо женщины было на уровне его лица, и прижимает ее к себе. Она не отбивается, а только еще раз судорожно вздыхает.

— Вот так-то! — удовлетворенно шепчет Силантьев и прикивает к губам Дарьи. Они сухи, растресканы. — Вот так-то, в таком разрезе! — оторвавшись от ее губ, весело говорит он.

Силантьев стоит на коленях, она сидит на табуретке, тонкая в кости, как девчонка. Рука Силантьева медленно скользит с плеча Дарьи, останавливается на груди, и в это время их взгляды встречаются.

— Ты чего, Дарья? — недоуменно спрашивает он.

Светлые, вблизи совсем голубые, глаза женщины смотрят на него понимающе и в то же время сочувственно, словно ей до боли жалко Силантьева. В глазах ее — бабья тоска, умудренность и еще что-то непонятное, но тоже печальное, кричащее.

— Ты чего это? — вскидывается Силантьев и невольно расслабляет руки.

Она съеживается, увядает, морщинки на лице лежат сеткой — она даже постарела, ей можно дать за тридцать, хотя всего двадцать четыре.

— Ой, Миша, Миша! — еле слышно произносит она.

— Чего ты!

— Ой, Миша, Миша!

— Да брось ты! — Силантьев снова обнимает ее рукой за талию и хочет привлечь к себе, но чувствует, что от его прикосновения она так сильно вздрагивает, точно рука у него ледяная, а вздрогнув, съеживается в комочек и с тем же обреченным видом, как и раньше, ждет дальнейшего.

— Вот черт! — сердится Силантьев, отшатываясь от нее.

Глаза Дарьи по-прежнему жалеют, печалются.

— Все вы, мужики, одинаковые! — кому-то, не Силантьеву, а другому человеку говорит Дарья. — Ах, Миша, Миша!

Он насмешливо хмыкает, но ничего не говорит, взгляд Дарьи связывает его.

— Ой, Миша, Миша! — вздыхает Дарья и вдруг кладет руку на его голову и нежно, осторожно перебирает жесткие, суховатые волосы. — Не надо, Миша, обижать меня... Одна я, одинокая! Не надо, Миша!

У нее легкая, точно воздушная рука, но Силантьев почему-то пригибается под ее тяжестью, втягивает шею.

— Не надо... Если бы промеж нас была любовь, тогда другое дело... А ведь нет любви, Миша... — Она наклоняется к нему, гладит по голове, и, когда их глаза опять встречаются, невозможная мысль пронзает его: «У нее глаза ровно у матери!» Он замирает, прислушивается к тому, что делается в груди, и опять приходит мысль: «Ровно мать она!»

— Да брось ты! — неожиданно для себя вскрикивает Силантьев. — Чего ты меня, как телка, гладишь!

— Ой, что ты, Миша! — отдергивая руку, пугается Дарья.

— Чумная ты какая-то! — говорит ей Силантьев и встает, а она все еще испуганно глядит на него.

Силантьев не знает, что делать, и, чтобы прошла сковывающая неловкость, гулко хлопает себя по карманам, отыскивая спички. Папироса уже торчит во рту, хотя он не заметил, когда достал ее.

— Я пойду! — прикурив, решает он и выходит из барака. Лицо его горит. Силантьев сжимает щеки руками, чтобы отхлынула кровь. Он долго стоит на месте, словно забыл, куда идти — направо или налево.

6

Георгий Раков — знатный человек.

Четыре года назад на первой странице областной газеты появился большой портрет Ракова, ниже — рассказ о нем, а позднее была выпущена массовым тиражом листовка, и в ней тоже портрет, рассказ о Ракове, внизу призыв: «Товарищи лесозаготовители, равняйтесь на передовика лесозаготовки, знатного тракториста нашей области Георгия Филимоновича Ракова!» Говорилось в листовке о том, что Георгий Раков в четыре раза перекрыл межремонтный пробег машины, обучил специальности тракториста девять человек, за время работы в Зачулымском леспрохозе вывез столько леса, что его хватило бы на постройку небольшого города, а за одиннадцать лет ни разу не опоздал в лесосеку.

Слава Георгия Ракова распространилась по всей области: в конторах леспрохоза, в будках передвижных электростанций, просто на соснах и заборах — везде висели голубые плакаты с его портретом; заходил ли Георгий в контору, отдыхал ли на лесосеке, шел ли по поселку, танцевал ли в клубе — всюду видел свое лицо. От души постарался фотограф — на плакате Раков вышел писаным красавцем с гордо поднятым подбородком и орлиным, надменным взглядом, похожий на знаменитого артиста с рекламной фотографии.

Наедине с собой Раков удивился волшебству фотокорреспондента — куда исчезли рыжая щетина, торчащие уши? Как удалось сделать их маленькими и аккуратными, словно у девицы? Глядел на свой портрет Георгий Раков, и сомнение брало — да он ли это? Не ошибка ли?

Удивлялся он и тогда, когда читал листовки. Не напутал ли корреспондент? За одиннадцать лет работы Раков ни разу не опоздал в лесосеку, писал товарищ, а Георгий точно помнил, что в 1956 году на полчаса задержался; корреспондент называл цифру — девять человек обучил Георгий, а он думал — не меньше ли, так как точно не помнил... Сомнение брало тракториста: подрисовали и дела его, как портрет на синем плакате. Спервоначала он не мог смотреть в глаза людям — ему казалось, что они думают то же самое, что и он, а когда выбирали в президиум, забивался в уголок, подальше от плаката, чтобы не могли люди сравнивать Ракова и его фотографию.

Потом Георгий стал бриться через день, чтобы хоть немножко походить на синий портрет; завел толстую общую тетрадь, автоматическую ручку и спал записывать, сколько отработал на машине без ремонта, сколько подтрелевал леса, сколько ребят обучил сложному мастерству, и со временем убедился, что не набрехал корреспондент — он действительно работал хорошо. Это принесло успокоение — при встрече с товарищами он не избегал прямого взгляда, не смущался обилием синих портретов. Стремление походить на того Ракова, что глядел со стен, не прошло даром — стал походить на портрет: так же высоко и гордо задирал подбородок, покровительственно, надменно щурил глаза. Уши теперь не торчали — Раков пополнил лицом.

Совсем таким же, как на портрете, стал он.

На втором году славы Георгий женился и тоже долго не верил, что это случилось, — неприступной красавицей слыла Лена Стамесова, самая завидная невеста в поселке. И хотя Лена пошла за него с охотой, стала верной, домовитой женой и хозяйкой, он все-таки иногда косился на нее — да так ли это? Брало сомнение — действительно ли похож на тот синий портрет? Успокоение пришло вместе с маленьким писклявым комочком — сыном Мишкой, а год спустя — дочерью Надей. Осчастливил Раков, стал верить в правильность своей жизни; стал чаще думать о жизни, о товарищах, о той перемене, которая произошла в нем. Он понимал, что славу, жену-красавицу, дом под железной крышей, десять тысяч на книжке дал ему немудреный, старенький трактор «КТ-12». И пуше прежнего холил машину, обхаживал и берег ее.

Но гордая поза стала привычной Ракову, как ватник и-кирзовые сапоги...

Георгий ведет машину по коцкастому узкому волоку. Ругается — плохо вычищен волок, из-за этого машина металлически крикает, жалуется на дорогу. Впереди, в рассветной тайге, качается сигнальный огонек титовского трактора — то припадет вниз на метр, то взлетит выше тонких елок; зло гонит машину Федор, рывками, словно пинает ее ногой, нажимающей акселератор.

Георгий вылезает из кабины, выбирая тропочку получше среди кочек и пней, заметенных снегом, вразвалку идет к машине Титова.

— Почему рвешь машину? — спрашивает Раков.

Титов молчит. Из-под его высокой шапки крендельками лезут вьющиеся рыжие волосы, папираса переломлена в губах.

— Почему рвешь машину?

— Больше не буду, Гриша!

— Вернись, выбери тонкомерные хлысты!

— Ладно! — кивает Титов и прячется в кабину.

Мотор чуть напрягается, позади бьется дымок выхлопа — трактор плавно трогается с места, но в это время по лесосеке разносится басовитый голос:

— Стой, Титов!

Из расщелины трелевочного волока выходит Семенов, спешит на встречу Титову. Их пути пересекутся на повороте волока в первую лесосеку, где Федор оставил вчера тонкомерные хлысты, но Семенов, видимо, думает, что трактор раньше него проскочит поворот, и поэтому бежит.

— Стой!

Машина замирает.

«Сейчас схлестнутся!» — думает Раков и бежит к ним.

— Говоришь, хлысты надо выбрать! — Федор перекатывает папиросу из угла в угол губ, ухмыляется. — А если не схочу, тогда как?

— Выбери тонкомер, Титов!

— погоди, Григорий Григорьевич! — торопливо говорит Раков. — Ты, Федор, поезжай своей дорогой!

Титов лязгает рычагами, сцеплением — машина рывком поворачивается, дергается, ошалело задрав мотор, точно с высокой горы, кидается вперед. Не по волоку, а по целине, по пням и сухостойным сосенкам ведет трактор Титов.

— Федор! — кричит Раков, но Титов не слышит его и все жмет и жмет ногой на газ, хрустит шестернями передач. Стонет двигатель, загнанный злой рукой Федора. Раков срывается с места, через пни, по глубокому снегу бежит к трактору, остановившись, поворачивается к нему лицом. Машина на предельной скорости приближается к нему; она сейчас катится под гору, гусеницы уже слились в сплошную снежную полосу, сухой,

жесткий треск, вой мотора — трактор ломает старые деревья, небольшие пни. Георгий стоит неподвижно, высоко вскинув голову. Титов затормаживает в метре от него.

— Убавь газ, выключи сцепление!

Раков открывает дверь кабины, следит за тем, как Федор снимает ногу с акселератора, и только после этого говорит:

— Жалко, что нечем заменить! Тебя нужно снять с машины! Предупреждаю — если еще повторится это, сам поговорю с директором по радио!

Федор по-прежнему молчит, но замечает, что к машине торопливо идет Семенов, и просит Ракова:

— Пусти, Георгий!

Трактор уползает на волок. Раков и Семенов сходятся на повороте, останавливаются и долго смотрят на уходящую машину. Бригадир курит жадно, глубоко затягивается дымом. Раков недовольно косится на него.

— Куришь! Не выдержал!

— Курю, Георгий!

— Слабак! — усмехается тракторист...

Лучи солнца просеиваются сквозь сосны; зеленой, яркой становится тайга, а снег на ветках, голубой снизу, синий посередине, розовый сверху, напитывается запахом весны.

По тайге несется протяжный, зычный крик: «Бой-ся!» Кричащий тянет последние буквы, оборвав, начинает опять и поет еще протяжнее. Это кричит вальщик Борис Бережков. Солнцу, тайге, всему миру с вызовом кричит юноша: «Бойся!», предупреждая, что через мгновение вздрогнет земля от тяжелого и хрусткого удара подрезанной Борисом сосны.

— Бойся!..

Юноша кричит, и в крике — предупреждение: бойся, тайга, Бориса Бережкова! Крепки его мускулы, остры глаза, сердце, как мотор, быстро гонит кровь по артериям, напитывает каждую клеточку тела здоровьем, энергией, силой!

— Бойся!..

Нежно, как к щеке ребенка, прикасается Георгий Раков к рычагам машины, выжимает сцепление, и от этого прикосновения трактор мягко трогается, и Георгий испытывает такое чувство, точно машина передает ему свою силу.

Трактор ворчит сыто, добродушно.

Из переплетения густых ветвей выскакивает Борис — канатоходцем, балансируя руками, бежит он по сосновому стволу, повисшему высоко над землей; сияет, хохочет, машет руками. Совсем молод он, мальчишка мальчишкой.

— Молодец, Борис! — весело кричит ему Раков.

Не только Бориса хвалит он за силу и ловкость, за улыбку, а и себя, счастливого погожим утром, работой, солнцем. Слышится в крике тракториста: «Молодец, Борис! И я тоже молодец! Разве не видишь, как я ловко выбрался из кабины, как бросился к соснам, как проворен и силен!»

— Чокеруем!

Сильными руками в брезентовых рукавицах они распутывают склубившийся колкий трос, потом, приглядевшись к неразберихе веток, стволов, пней, ныряют в колючие иглы, накидывают петли. Чокеровка тракторного воза сложна, неопытный человек и за час не разберется, где и за что цеплять тросы, но Борис Бережков и Георгий Раков понаторели — пяти минут не проходит, как они обмениваются:

— Готов?

— Готов!

Раков вскакивает в кабину; звенят тросы, вырываясь со свистом из веток, грохочет барабан тракторной лебедки — машина, не двигаясь, наваливает воз на горбатину погрузочного щита. Сосны крепко держатся за землю, цепляются растопыренными ветвями за бугорки, за подрост, за каждую яминку. С болью отрываются они от родного места, тягостно долго лезут хлысты на пологую площадку щита, трещат, но вдруг раздаётся металлический удар — щит падает на упоры. Со стороны трактор похож на человека, забросившего за спину связку хвороста. Присмиревшие, с обломанными ветвями, лежат сосны. Позади машины пустота — перемешанный снег, изорванная, искореженная земля.

— Тяни! — Борис машет рукавицей.

Трактор пробирается по широкому, обрызганному солнечными пятнами волоку, гусеницы швыряют ошметок снега.

— Принимай! — кричит Раков Михаилу Силантьеву.

И опять в голосе радость.

Знатный человек — Георгий Раков.

7

Силантьев в очередь с Никитой Федоровичем раскряжевывает хлысты — день он, день старик. Обязанность раскряжевщика несложна: распилить хлысты, измерив их длинной палкой с зарубками, чтобы получились бревна разных сортов. В Глухой Мяте заготавливают пиловочник, стройлес, шпальник, рудничную стойку и самую ценную древесину — судострой.

Судострой — выгодный сортимент для предприятия и для раскряжевщика: моторист пилы получает зарплату с выработки, но главное для него — дать хорошую древесину. Он получит больше денег, если из хлыста выберет дорогие сортименты.

Раскряжевщик должен быть знатоком древесины.

Силантьев хорошо знает сортименты, но в тот день, когда работает Никита Федорович, судострой как будто попадаетея чаще, и в штабель по покатам то и дело катятся ровные, прямослойные бревна. Никита Федорович иногда на десять, а то и на пятнадцать рублей зарабатывает больше, чем Михаил.

Силантьев любит и умеет зарабатывать деньги, ревнив к тем, кто получает больше. «Деньги не грибы — растут и зимой!» — говорит он бригадиру и ежедневно требует, чтобы Семенов подсчитывал выработку. Самая дорогая — с золотым обрезаем, мраморной обложкой — записная книжка в Глухой Мяте принадлежит Силантьеву, и в нее он записывает заработок. Он не скрывает этого, говорит откровенно: «Меня не обманешь! Ночью разбуди — скажу, сколько заработал!»

Суммы меньше ста рублей Михаил считает на бутылки водки, а меньше двадцати пяти рублей — на граммы. «Сегодня почти на две банки закалымил!» — хвалится он, подразумевая, что ему причитается получить не меньше пятидесяти рублей, на два пол-литра водки. «Это разве деньги, на «спг» с прицепом не хватит!» — презрительно бросает он, и товарищи понимают, что у Силантьева нет и десятки, ибо «спг» — сто пятьдесят граммов водки. Суммы больше ста рублей Силантьев считает на железнодорожные билеты: «Хреновина, а не деньги, до Омска не доедешь!» Железнодорожные тарифы он знает наизусть и помнит, сколько стоит билет от Владивостока до Хабаровска или от Новосибирска до мало кому известной станции Сковородино.

Силантьева давно берет досада, что Никита Федорович за тот же труд получает больше, чем он. Поэтому Михаил два вечера подряд читал книжку «Деловые сортименты», выпрошенную у бригадира, записывал

в блокнот стандарты и ругался на чем свет стоит — автор книгу написал так, что язык скручивался фитилем, когда Силантьев читал вслух. Однако книжонка помогла мало; на третий день, работая по ее рекомендации, Силантьев отстал от Борщева на двенадцать рублей. Он вернул «Деловые сортаменты» бригадиру, сказав: «Без штанов останешься с этой штукой!»

Кроме денег, Силантьев любит кино.

Прежде чем наниматься на работу, он дотошно выспрашивает, сколько раз в месяц и новые ли демонстрируются картины, хороший ли звук и не получится ли так, как было на амурских промыслах, — картины гнали раз в месяц и до того старые, что он знал наизусть все, что говорили артисты. В Томской области Силантьеву предлагали три леспромхоза, но он выбрал Зачулымский — в поселке была стационарная киноустановка. Михаил особенно любит три фильма: «Веселые ребята», «Волга-Волга» и «Карнавальная ночь». Он готов смотреть их сто раз.

Когда Силантьева назначили в Глухую Мятю, он заявил: «Не поеду!», а на вопрос почему — не ответил: не признаваться же было, что ждет фильм «Верные друзья», который из-за переездов еще не посмотрел! Но директор Сутурмин, знающий Силантьева, прищурив один глаз, сказал: «Две с половиной тысячи обеспечены! Впрочем, вы свободны, найдем другого человека!»

Две с половиной тысячи — даже для Силантьева хороший заработок! Он примирительно улыбнулся Сутурмину, а Сутурмин — ему, и они так и расстались с понимающей, сочувственной улыбкой, и уже в дверях Михаил сказал:

— Не к лицу нам, директор, такую деньги отдавать дяде!

И вот теперь Силантьев кряжует хлысты в Глухой Мяте.

Привязанный кабелем к проволоке, висящей над эстакадой, он ходит по бревнам и то прикладывает мерную палку к хлыстам, то звенит пилой.

Вот два хлыста. Из первого он вырезает руддолготье, дрова, а вот второй посложнее — в ровной звонкой стволине не меньше двадцати метров, а сучки начинаются высоко, чуть ли не у самой макушки, и Силантьев думает, что может выйти два бревна судостроя. Он накладывает мерку — так и есть! Он может выпилить два толстых, дорогих бревна, если комель свеж, если на нем нет напенной гнили — опасного порока древесины.

Взяв пилу, как автомат, на изготовку, Силантьев обходит хлыст со стороны комля, нагибается и видит желтую крестообразную трещину, а вокруг нее — вялую, податливую на ощупь мякоть. Напенная гниль! Он шепотом ругается, но духа не теряет: от комля можно отвалить еще порядочный кусок дерева, не нарушив размеры бревен судостроя, можно сделать так называемую откомлевку. Щелкнув выключателем, он прижимает визжащую пилу к дереву, волнообразными движениями водит ее, и через полминуты комель отваливается. Силантьев взглядывает на срез — гниль проникла далеко.

— Сволочь! — тихо ругает он сосну и настороженно смотрит на бригадира, работающего рядом электросучкорезкой.

Семенов увлечен, быстро переходит от хлыста к хлысту, инструмент в его руках поет почти без передыха, по проводу с воем и скрежетом катается кольцо, к которому привязан кабель сучкорезки. Ему некогда наблюдать за Силантьевым.

— Сволочь! — опять шепчет Силантьев, затем торопливо подходит к хлысту, кряжует его на два бревна судостроя и скатывает вниз, к Петру Удочкину.

Лицом, фигурой и движениями Силантьев похож сейчас на мальчишку, ворующего за спиной матери конфеты из сахарницы. Он катит бревно,

а сам ногой прикрывает торец, чтобы Петр не заметил крестообразных полос. Силантьев норовит положить бревно так, чтобы оно уперлось гнилым концом в соседний штабель. Если это удастся, то на другом конце он поставит свое клеймо — три палочки, — и бригадир вечером сосчитает лишние кубометры судостроя, дорогого сорта.

— Хочу помочь! — говорит Силантьев Удочкину. — Тяжелое бревно, тебе одному не взять! — И радуется, что не Борщев, а Петр, доверчивый и простоватый, работает сейчас на штабелевке; будь на его месте Никита Федорович, обман раскрылся бы еще до того, как старик увидел торец: бородастый черт гниль узнает нюхом, не заглядывая, как он говорит, под хвост бревну.

— Спасибо! — благодарит обрадованный вниманием Удочкин, помогая Силантьеву положить бревна так, как надо, — комлем к соседнему штабелю.

— Тебе спасибо! — с усмешкой отвечает Силантьев, и его лицо теперь снова похоже на лицо мальчишки, который уже вытащил руку из сахарницы, конфеты сунул в карман и старательно-честными глазами смотрит на мать, которая, удивившись равнодушию сына при виде конфет, решает вознаграждать выдержку: «Возьми, мой мальчик, несколько конфеток! Ты сегодня хорошо ведешь себя!»

Вернувшись на эстакаду, Силантьев сам себе подмигивает. Он очень доволен собой.

8

От распределительного щитка передвижной электростанции в тайгу и на эстакаду тянутся черные змеи-кабели. Грозные смертельной силой электрического тока, они впиваются муфтами в пилы, в сучкорезки, вьются к осветительным лампочкам. Кабели, точно паутина, опутывают лесосеку.

Двенадцать киловатт дает передвижная электростанция, вращает пильные цепи, диски сучкорезок, пилоточный станок, освещает ночью эстакаду. Без станции механика Изюмина в тайге люди немощны, как младенцы; остановится она, и они вернутся на много лет назад — к топору, лучковой пиле.

Механик Валентин Семенович Изюмин вот уже час сидит возле станции, согнув широкие плечи, читает книгу. Временами он отрывается, внимательно оглядывает эстакаду, прислушиваясь к тому, как на разные голоса — меняется нагрузка — поет мотор.

Гремит эстакада.

Бригадир Семенов держит в руках электросучкорезку — инструмент большой тяжести. Точно игрушечную лопаточку вскидывает ее Семенов, подбрасывает жестом фокусника и на лету щелкает выключателем. Станция Изюмина напрягается, мотор тяжело гудит, но рычажск автоматического регулятора шире открывает подачу горючего, и мотор работает по-прежнему четко. Семенов срезает большой, мосластый сук, веером летят опилки, тонко поет дерево.

Механик наблюдает за бригадиром. Смотрит пристально, с непонятной, легкой усмешкой; чем-то сейчас похож он на человека, рассматривающего хорошо знакомую машину. Все ясно ему — какая шестеренка за какую цепляется, как сопряжено движение рычагов, как снуют руки-поршни. До глубинных тонкостей, до последнего винтика понимает человек машину и снисходительно улыбается непонятливости других; для них машина — лабиринт, тайна.

Бригадир Семенов в глазах механика Изюмина словно просвечен рентгеном. Никакой сложности не оказалось в нем, ничего неожиданного для Валентина Семеновича, который прожил на белом свете тридцать

девять лет и считает, что хорошо изучил людей. Легко и просто объясняет механик бригадира, внутреннее содержание которого, по его мнению, состоит из трех долек — чувства долга, непоколебимой уверенности в праве на бригадирскую власть и довольства жизнью. Прост, как грабли, бригадир Григорий Григорьевич Семенов. Стоит Изюмину секунду понаблюдать за ним, как готово решение, написан рецепт. Вот бригадир, отказавшись от привилегий, работает вместе со всеми. Ясно: чувство долга. Семенов приказывает Титову выбрать хлысты — самоуверенность. Умение быть счастливым от малого: Семенов по-мальчишески улыбается оттого, что до обеденного перерыва лесозаготовители пять лишних кубометров заштабелевали. «Мало же тебе надо от жизни!» — думает о бригадире механик и улыбается.

Нетрудны для понимания и другие лесозаготовители. Изюмин легко объясняет их поступки, слова, взгляды, чувства и тоже не находит ничего неожиданного, любопытного не видит. Про бригадира он думает: «Делает карьеру. Надоело ходить в трактористах!»; ребят-десятиклассников механик хвалит: «Молодцы! Эти своего добьются! За бумажку-справку наизнанку вывернуты»; о Федоре Титове рассуждает так: «Открытый!»; о Ракове думает со злостью: «Самодовольный!»

Мартовский погожий день стоит в Глухой Мяте. В безветрии застекленел воздух — ни марева, ни струйки не поднимается от неподвижной тайги, на снегу лежат резкие тени сосен. В стороне от трелевочных волоков снег глубок, тверд. Трудно идти в марте по снежной целине.

Механик Изюмин приближается к комариному, заунывному визгу пил вальщиков; сделав еще шаг, замирает. Пила поет облегченно — сейчас сосна провиснет, наклонится и пойдет к земле. И действительно, слышится крик: «Бойся!», доносится треск, стон, гулко ударяется дерево о мерзлую землю. Дрожат вершины соседних деревьев. Катится стоголосое эхо.

— Будущему инженеру — салют! — шутливо приветствует механик Бережкова.

— Соответственно! — широко улыбается Борис.

Между парнями-десятиклассниками и механиком незаметно установились несколько легкомысленные отношения вышучивания, дружеского розыгрыша, подтрунивания друг над другом. Это нравится ребятам.

— Добываете диплом? — с той же веселой, располагающей шутливостью продолжает Изюмин. — Ну что ж — ни пуха ни пера! Желаем вашему волку нашего теля съесть!

Борис бросает работу; прислонив к дереву пилу, усаживается рядом с Изюминым, берет протянутую папиросу «Казбек» — механик курит дорогие папиросы.

— Спасибо! — говорит Борис и немного искоса глядит на Валентина Семеновича, чтобы понять, есть ли хоть доля серьезности в его словах, но, видимо, не находит ее и поэтому весело отвечает: — Пусть будет по-вашему! А дипломы мы все равно получим! Своего добьемся — не беспокойтесь...

— А я и не беспокоюсь, — быстро отзывается Валентин Семенович. — Народ вы боевой! Я вами очень доволен! Вы у меня находитесь постоянно в поле зрения.

Бережков хохочет. Смешны не слова механика, а тон, которым произносятся они, и вид Изюмина — поджатые губы, вздернутые вверх брови, собранные на лбу морщины; в голосе начальственная хрипкость, назидательность.

— Знаете что, — говорит Борис, — вы сейчас здорово похожи на бывшего директора нашего леспромхоза Болотина.

— Да ну? — удивляется механик. — Мне кто-то уже говорил об этом.

— Похожи, похожи,— все еще подрагивает от смеха Борис.— А в общем-то, вы другой...

— Спасибо и на том,— шутливо кланяется механик. И задумывается. С его красивого, гладкокожего лица улыбка исчезает мгновенно, словно он ловким движением сменил маску. Пуская ровные колечки дыма, он курит, и Борису теперь хорошо виден его четкий, словно вырезанный, профиль с выпуклостью над бровями.

После долгого молчания Изюмин говорит:

— Не понимаю! Почему вчера никто не поддержал Семенова?

— В чем?

— Как в чем? — удивляется механик.— Против Титова... Приведись до меня — я бы на месте бригадира превратил Федора в порошок.

— В порошок? — в свою очередь удивленно вскидывается Борис, стараясь заглянуть в лицо Изюмину, но тот уже отвернулся от него, и Борис не видит лица, а только профиль, по-прежнему бесстрастный.— Федор — парень чудной. Всю жизнь бузотерит! А вообще он человек добрый, душевный...

— Ясно, ясно! — отвечает механик и снова поворачивается к Борису, и тот только сейчас понимает, что Валентин Семенович шутит. Изюмин ловким щелчком выбрасывает папиросу, встает, потом, сняв шапку, машет ею и уходит. Он красив, ловок в движениях, одежду носит умело, кирзовые сапоги сидят на его ногах без складок. Борис провожает его взглядом, забыв стереть с лица шутливую улыбку. Бережков молод, открыт душой людям, всему радостному, что могут дать они. Ему хорошо, бездумно-весело с механиком Изюминым.

9

— Я, как говорится, каждой дырке затычка! — говорит о себе Никита Федорович Борщев, признавая, что нет в Глухой Мяте дел, которые не касались бы его. Никита Федорович в непрерывном движении. Он вянет, становится молчаливым и раздраженным, когда нечего делать; оживляется, веселеет, как только прикасается к работе. Борщев — мастер на все руки. В Глухой Мяте он выполняет обязанности и плотника, и моториста сучкорезки, и вальщика леса, и раскряжевщика, и штабелевщика, а когда заболел Изюмин, то два дня работал механиком электростанции. Не было случая, чтобы старик сплоховал, подвел. У него умные, ловкие руки, молодые глаза, хотя Никите Федоровичу двадцать шестого марта стукнуло семьдесят лет... В Глухой Мяте об этом узнали вечером, когда заработала портативная радиостанция и в динамике раздался голос старшей дочери Борщева, поздравившей отца с днем рождения.

Семенов огорчился.

— Вы почему же не сказали, Никита Федорович?

— Без надобности! — отмахнулся Борщев.— В моем возрасте, парень, в день рождения надо не радоваться, а волком выть!

Однако «выть волком» не стал, а когда связь с леспрохозом внезапно прервалась, тут же рассказал о нескольких случаях из жизни, как вот так же прерывалась связь и какие от этого приключались невероятные вещи. Он умненько шурился, сучил шершавыми пальцами, оглушительно хлопал себя руками по коленкам — был таким, как всегда. Потом Виктор и Борис заявили, что связи больше не будет, и Никита Федорович подсел к радиостанции, запрятав руки за спину, чтобы невзначай не прикоснуться к чему-нибудь, долго разглядывал ее, стараясь вникнуть в устройство. На лице старика было написано жгучее, детское любопытство.

— Не кумекаю! — наконец сдался он.— Ум не проникает!

Зато в дела Глухой Мяты ум Никиты Федоровича проникает. Так сложилось, что бригадир в серьезных случаях обязательно советуется с Борщевым. Сегодня он предлагает ему:

— Пройдемтесь, Никита Федорович. Хочу семенник выбрать...

И вот они шагают вдоль лесосеки, высокий бригадир — впереди, Борщев катышком — чуть сзади. Оба сосредоточенно считают шаги.

— Сто сорок! — Семенов останавливается.

— У меня, парнишка, сто шестьдесят, но дело не в этом, дело в другом — команда, что ли, была семенник оставлять или сам выдумал?

— Сам!

— Это, как говорится, правильно. Хоть и болящий лес, а ты похозяйски. — Никита Федорович одобрительно помахивает светлыми ресничками. — Поворачивай! Видишь сосну? Она и есть. Лучшего семенника сроду не найти. Шагай, Григорьевич!

Они идут к высокой молодой сосне — широкая в корню, ветвистая посередине, тонкая вершинкой, высится она посреди небольшой поляны. Крепкие, мосластые корни — в две мужские руки — мощно и широко уходят в землю. До кроны дерево покрыто свежей корой — ни старческой черноты, ни трещин на ней; тонкая, как папиросная бумага, пленка покрывает ствол. Прижмешься к ней щекой — ласково-гладкая. У комля дерева уютно и чуть сумрачно.

Даже в июльский жаркий день, когда ни ветерка, ни струйки марева над тайгой, легко и плавно колеблются ветки сосен.

И сейчас сосна чуть слышно шелестит иглами. Никита Федорович прислушивается к ееговору, плохо гнушейся ладонью ласково проводит по гладкой стволине.

— Знатный семенник будет, Григорьевич!

Сосна гудит задорно, шумливо, точно понимает, что люди пощадили ее, оставили стоять на поляне... Через день-два дойдут до нее вальщики леса, Виктор Гав и Борис Бережков, шагнут к сосне и остановятся, увидев на нижней ветке белую тряпочку, привязанную Семеновым. Белая тряпочка словно заколдует жадные зубья электрических пил — вальщик щелкнет выключателем, пила смолкнет.

→ Семенник! — скажет Виктор.

— Семенник! — ответит Борис.

И обойдут сосну стороной.

С шумом будут падать на землю ее соседки. Просторный, но чужой мир откроется сосне. Покажется холм, совсем незнакомый, полузабытый, увиденный давным-давно, когда была маленькой; откроется ручей, веселый, журчащий, и за ним — березовая роща, нарядная среди черных пней, и, может быть, совсем уж незнакомое высмотрит сосна — деревянную коробку барака.

Пройдет немного дней, и сосна станет одинокой; несколько долгих месяцев будет томиться, пока не придет время плодоносить. И полетят тогда на землю семена. Будут их обмывать дожди, укутывать снега, носить метели, но жизнь возьмет свое — и нежный чистый подрост забархатится вокруг, буйные, молодые побеги поднимутся окрест.

— Расти! — говорит сосне Никита Федорович Борщев.

К часу дня Дарья Скороход привозит на лесосеку обед.

На санках — горшки, кастрюли, стопки чашек, и все это накрыто брезентом и двумя тулупами. Едва завидев в просвете заброшенного волока фигуру Дарьи, лесозаготовители дружно бросают работу, стряхивают усталость. Лесосека глохнет — стихают моторы, прерывает-

ся сырой, глуховатый стук бревен. Еще у волока, метрах в тридцати от навеса, Дарья кричит:

— Обед приехал!

Лесозаготовители бегут к навесу, шумно рассаживаются, Федор Титов покрикивает:

— Гляди, ребята, Дарья сегодня веселая! Уж не по радио ли привет получила?

— Получила, получила! — отзывается Дарья. — Усаживайтесь теснее... Суп наваристый! Крупинка за крупинкой гоняется с хворостинкой! — сама над собой шутит она.

Лесозаготовители окружают разостланный Дарьей брезент, повосточному садятся на корточки, последними из лесосеки прибегают Виктор и Борис; немногим раньше приходит Михаил Силантьев; покосившись на Дарью, выбирает место подальше от нее. Дарья мельком оглядывает Силантьева, морщит нос и еще больше веселеет.

— Суп — щи, мясо не ищи!

Странной, неправдоподобной кажется группа людей, обедающих в холодный мартовский день среди снежной поляны, под легким навесом из березовой коры.

Но лесозаготовители совсем не думают об этом, они едят весело, аппетитно.

Никита Федорович, прежде чем опустить ложку в густые щи, незаметно пошевелил пальцами вставную челюсть, проверил, готова ли, а убедившись, что готова, глубоко запустил ложку в щи и поддел сколько мог. Причмокнул губами — хорошо! — и снова потянулся к тарелке. Всевидящий Петр Удочкин, заметив, как Борщев пробовал челюсть, запламенел лицом, раздул щеки и замер в истоме, ожидая взрыва смеха, но поборол себя и осторожно, частями, выдохнул воздух.

Федор Титов ест торопливо, нервно. Если Никита Федорович щи начал хлестать с края тарелки, то Федор сразу полез в гущу, хватил мясо крепкими зубами, обжегся. Пока Федор кривился от боли, Борщев съел еще ложки три. Горький опыт ничему не научил Титова: сызнава сунулся в гущу и сызнава обжегся.

— К дьяволу! — обозлился Федор. — Вечно у тебя, Дарья, суп горячий!

Вяло, неохотно ест Петр Удочкин — то и дело останавливается, задумывается, разглядывает товарищей. Обед для него — самое скучное, неинтересное время. Люди молчат, уставились в тарелки, на лицах никакого выражения, кроме голода, — неинтересны, нелюбопытны они во время обеда. Потому и скучает Удочкин. Поднесет ложку ко рту, поморщившись, проглотит щи, оглянется — на черноталине сидит сорока, качается вместе с веткой. «Голодная, наверное!» — соображает Удочкин, стараясь вспомнить, чем питается зимой птица, но вспомнить не может и забывает о ней. Опять нехотя черпает суп, оглядывается — на него смотрит Дарья. Петр отвечает кивком головы: «Питаюсь! Такое уж время обеденное, что надо питаться!» Дарья тоже кивает: «Ешь на здоровье, Петя!» Удочкин продолжает размышлять тихонько: «Веселая сегодня Дарья. С чего бы?»

Бригадир Григорий Семенов ест опрятно, солидно. Самую чуточку, малость себя отдает он еде, а большую часть вкладывает в мысли, в раздумывание о делах. Как и для Петра Удочкина, обед для него — потерянное время, но совсем по другим причинам. Даже себе не признается Григорий Григорьевич, что боится. Вот уж месяц, с тех пор как пришли в Глухую Мяту, бригадира терзает страх. Он боится метелей, раннего разлива маленьких речушек, резкой оттепели, неисправности

машин; опасается, что до весноводья лесозаготовители не выберут Глухую Мяту.

Прошлой ночью, в тревожном забытьи ему приснилось, что в лесосеку пришла мутная волна, журчала в сосняке. Злобно копошилась небольшая речушка Коло-Юл, грозная и широкая во время разлива. Вода подползала к тракторам, лизала доски электростанции; не успел оглянуться — разливанное море вокруг. Из воды торчат опустевшие кабины машин, а на сосне сидит Федор Титов, скалится, паясничает: «Обделался, бригадир, опозорился!..» В холодном поту проснулся бригадир, ошалело замотал головой и — теперь не помнит, во сне, наяву ли, — увидел злое, перекошенное гримасой лицо Титова. Так и не разобрал, а поутру, вспоминая сон, еще пуще беспокоился, раз десять на день хватал записную книжку, принимался подсчитывать кубометры.

Григорий Семенов с трудом сдерживает нетерпение — хочется вскочить, бросить со звоном ложку, почувствовать тяжесть сучкорезки, да нельзя: на часах пятнадцать минут второго. Обед!

Рядом с бригадиром — Федор Титов. Он отстал от товарищей и теперь наворачивает — толкает в рот большие куски мяса, картошки, пережевывает крепкими зубами.

Семенов отворачивается, пытается сдержаться, но не может.

— Не чавкай! — сердито говорит он.

Разнобойный стук ложек стихает.

Плоское лицо Федора Титова перекашивается от обиды, он бросает ложку и вскрикивает:

— Ты нам дышать запрети!

— Вот тебе и пожалуйста! — Никита Федорович растерянно разводит руками.

— А чего! — хохочет Силантьев. — Он подумает-подумает да и запретит дышать. Скажет — благодаря моему чуткому руководству. прошу не дышать!

— Вы, пожалуй, перегнули палку, — вежливо говорит бригадиру Изюмин. — Это не входит в обязанности бригадира. Если не верите, взгляните на досуге в Положение мастера и бригадира на лесозаготовках.

И тогда раздается звонкий женский голос:

— Ой да бросьте, ребята, спориться! Ешьте, второе будет! — Маленькая, хрупкая Дарья сжимается в комочек. Она до ужаса боится ссор, крупных разговоров. — Ешьте, голубчики!

Семенов круто распрямляется. Он по-прежнему смущен, но уже спокоен.

— Я неправ, Федор, — говорит он Титову. — Ты прости меня! Сам знаешь — бригадирствую впервые, а приходится туго. Извини!

— Вот это правильно! — восторженно крикает Никита Федорович. — По-нашенски! Правильно, Григорьевич!

А с Федором Титовым происходит необычное для него — краснеет; пришла его очередь смутиться.

— Да ладно, — бормочет он. — Чего извиняться... Бывает...

— Налей-ка, Дарья, супу! — раздается вдруг требовательно и властно.

Дарья всплескивает руками:

— Ой, батюшки, забыла!

Впрочем, не одна Дарья забыла, что за столом нет Георгия Ракова, — засуматошились, заторопились и забыли о трактористе, но он, по видимому, нисколько не обижен: неторопливо усаживается на брезент, вытягивает из-за голенища алюминиевую ложку, обдувает ее и, ни на кого не обращая внимания, принимается хлебать суп.

— В первой деляне был...— говорит Раков, делая уверенную паузу для того, чтобы лучше оценили, внимательнее прислушались к его словам.— Говорю, в первой деляне был. Не выбрал тонкомерные хлысты Титов!— Он поворачивается к Дарье, протягивает тарелку.— Лини-ка еще, Дарья! Ты мне мяса много не вали— у меня желудок не железный! Да, не выбрал Федор хлысты... Обманул! Мелочь оставил.

Он не смотрит на Титова, невозмутимый, уверенный в себе.

— Второе сегодня что? Котлеты? Отлично!.. Трактор, говорю, в первый квартал гонять больше не будем. Пусть Титов на руках вытаскивает тонкомер.

Федор молчит.

Георгий Раков — единственный человек в Глухой Мяте, который может говорить Титову все, что угодно, не боясь нарваться на грубость.

II

После обеда Дарья Скороход остается в лесосеке. Семенов дает ей березовый стяжок с крюком на конце, которым штабелюют бревна.

Напарник Дарьи — Петр Удочкин. Раньше она работала с Силантьевым, потом с Борщевым, но ей больше всего нравится катать бревна с Петром — в работе Удочкин оживлен, нетороплив, вечно напевает одно и то же: «Ах вы, ночи, матросские ночи...» Под эту песню работается хорошо, весело, порой кажется, что голос парня журчит со всех сторон.

На Петре высокая шапка из собачины, коротенькая телогрейка, на руках рукавицы с раструбами. Когда Дарья подходит к штабелю, Удочкин шутит: «Лакированные туфли будем зарабатывать!» Затем протягивает ей брезентовые рукавицы с такими же раструбами, как у него, указывает место.

У покатов громоздятся тяжелые мерзлые бревна. Удочкин и Дарья зацепляют их крючьями, движением на себя катят на высокий штабель, стоящий на льду Коло-Юла. Весной лед на реке набухнет, поднимется, тронется на север, и вместе с ним пойдет штабель. Лес поплывет по зигзагам Коло-Юла и на второй день пути достигнет устья реки, грозный в стремлении прорваться на вольный плес Оби. Но сплавщики наготове: крутой запанью они перегородили реку, бдительно ждут прихода моля — так называется лес, свободно плывущий по реке. Как выстрел, прогремит крик бригадира: «Моль идет!» Притихнет крутая излучина запани, а начальник сплавного участка вдруг вспотеет, скинет теплую шапку и затаит дыхание — не раз бывало на Оби и такое, когда тяжелый моль прорывал запань. И вот запань наполнится бревнами; поскрипывают тросы, но бережно, крепко держат лес, и тогда наденет шапку успокоенный начальник, смахнет пот с лица и пойдет с дружками-товарищами распивать бутылку спирта, не смущаясь тем, что рабочее время, что двенадцатый час на дворе. И никто, даже молодой и ретивый инструктор райкома партии, не осудит его — после поимки моля полагается пить спирт, петь песни и отбивать коваными броднями «подгорную».

Моль будет тихонько стоять в запани, ждать, когда сплавщики рассортируют бревна, погрузят их на палубы огромных барж, чтобы поднять по Оби до Томска. И вот тут-то увидят они сосновое бревно с крупными буквами: «Г. Раков. Глухая Мята».

Тракторист любит вырезывать свое имя на сосновых бревнах — лестно ему, что и в Черемошниках, и в Томске, и в целинном совхозе, и на шахте Кузбасса, и на стройке Новосибирской ГЭС прочтут его фамилию и, может быть, подумают: «Молодец, Г. Раков!». Поэтому

он не ленится, а в свободную минуту вытаскивает из кармана ножик и быстренько вырезывает буквы.

Дарья Скороход на бревнах фамилии не ставит. Она по своей воле стала помогать лесозаготовителям, ей хочется, чтобы бригадир Семенов лучше спал ночами, не беспокоился за Глухую Мяту, не бормотал тревожно во сне, как вчера: «Не справился я, Ульяна... Опозорился... Кто стучит?.. Никто не стучит!..»

Катятся, гремят бревна. Дарья привыкает к их монотонному, убаюкивающему мельканию, к тяжелому стуку. Ей представляется, что сосновые стволы катятся давно, и она теряет ощущение времени. Чудесную вещь продельвает время с Дарьей. Пожелает она — время бежит быстро, пожелает — медленно; но как бы ни текло время, оно делает добро для Дарьи: в работе забывается то, что произошло утром... Непрерывающееся движение бревен застилает в памяти картину сегодняшнего утра: идущего на цыпочках Силантьева, его придушенный волнением голос и то странное и почему-то радостное, что произошло с Михаилом потом.

Над бревнами улыбается длинное, смешное лицо Петра Удочкина, слышится певучее: «Ах вы, ночи, матросские ночи...» Нескончаемым потоком плывут бревна, но ни усталости, ни скуки нет у Дарьи; может работать долго, без отдыха.

— Перекур с дремотой! — подмигивает Удочкин.

Дарья смотрит на ручные часики и охает — проработали час, а ей кажется, что только прикоснулась руками к первому бревну.

Они отдыхают за штабелем. От штабеля падает на снег синяя густая тень, залегает в ямки. Синий цвет чист и прозрачен. Обочь штабеля разрослись маленькие березки. За штабелем уютно, безветренно, сюда едва доносится визг электропил, усталое — так всегда бывает к вечеру — тарактение тракторов. Петр Удочкин приваливается спиной к дереву, и на его лицо, как и на снег, ложится прозрачная синяя тень. От этого светлые глаза парня кажутся голубыми. Дарья молчит, ковыряет пальцем прилипшую к рукаву телогрейки смолу.

— Вырезал, Петя? Покажи! — просит Дарья, отколупнув смолу.

— Вырезал! — заговорщически шепчет Удочкин. Затаенно посмеиваясь, он достает из внутреннего кармана пиджака небольшой кусок дерева — старый березовый корень, перевитый, скорченный. — Гляди-ка! — шепчет он.

Из тугих завитушек корня, постепенно становясь четкими, вырисовываются человеческая шея, подбородок, лицо. Дарья взглядывает на корень и, словно от страха, широко открывает глаза, ойкает, затем, откинувшись, начинает навзрыд хохотать. Надув тугие, как будто резиновые щеки, из перевитой березовины смотрит на нее Михаил Силантьев. Так и кажется, что сейчас прищелкнет языком, вскинет бровь и скажет: «Хорошо жил! Без водки обедать не садился!»

— Ой, ой! — стонет Дарья. — Он ведь живой, Петя!

— Ты не говори ему! — просит Удочкин. — Не люблю я людей обижать! Не говори, Дарья!

Она прижимает руки к груди.

— Ой, да я разве, Петя... Я разве... — пытается что-то выговорить Дарья; ей вспоминается утреннее, грустное, и хочется горячо сказать Удочкину: «Разве я скажу кому про тебя, Петя? Ни в жизнь!», но вместо этого Дарья спрашивает: — Ножичком резал, а, Петя?

— Ножичком и маленькой стамесочкой. Проснусь утром пораньше, когда все спят, и вырезаю. За два дня вырезал.

Удочкин поворачивает к себе деревянного Силантьева, пристально

глядит на него, и с лицом Петра происходит то же самое, что с силантьевским,— надуваются щеки, обвисает подбородок.

— Ой, какой ты, Петя... интересный! — снова ойкает от восторга Дарья.

— Ты не говори Силантьеву! — завертывая корень в платок и бережно укладывая в карман, еще раз напоминает Петр.— Зачем человека обижать! Я не люблю этого...

Дарья молчит, склонив голову, думает; ей кажется, что тоненькая, но прочная ниточка понимания, тихой ласковости и приязни связывает ее и Петра в этот момент. Дарья тоже ласкова, привязчива к людям, прощает им несправедливость, обиды, и ей радостно, что Петр таков же. Дарья хочется сказать Петру приятное, доброе, и она говорит:

— Хороший ты, Петя!

— Ты хорошая! — отзывается он.

— Была хорошая! — тихонько вздыхает Дарья.

Глава вторая

1

Слова «белогвардейцы», «кулак», «обрез», «пристав» для лесозаготовителей Глухой Мяты так же стары, как та сосна, что облапила ветвями барак. Девятнадцатилетним Виктору и Борису слова эти вообще мало что говорят.

Слова «губчека», «продразверстка», «наган», «тачанка» говорят больше, но скорее не уму, а сердцу. В представлении Виктора и Бориса они не связываются с будничным чередованием дня и ночи, не облакаются в плоть повседневного, а вызывают праздничное воспоминание — жесткий разлет чапаевской бурки, алые знамена, клинок блестящей сабли. Ребята бесчисленное количество раз смотрели «Чапаева» и свирепо завидовали — вот были времена!

Виктор и Борис не поверили бы, что небо тогда было таким же, как и сейчас, — плыли по нему облака, шли дожди из черных туч, и грязь была такой же — жидкой и холодной; они сочли бы за кошунство, если бы кто-нибудь серьезно утверждал, что в те времена люди спали, ели, отдыхали и томились от серых дождей чаще, чем неслись в атаку.

Виктору и Борису кажется, что в те героические времена небо было другим, хлеб — не таким, как сейчас, да и сами люди — другими: они не пили, не ели, совсем не спали, а только воевали и ходили в развевающихся бурках. Дымкой книжной романтики и мальчишеской фантазии затянута те времена.

Рассказы Никиты Федоровича о годах партизанщины у Виктора и Бориса вызывают досаду и разочарование — в этих рассказах люди много спят, едят, ссорятся из-за пустяков, приударяют за вдовами и мало воюют. Между боями, судя по рассказам старика, такие большие промежутки, что и не верится — была ли война?

В устах Никиты Федоровича партизаны чем-то похожи на людей из Глухой Мяты — так же, как и они, жили в лесу, спали на полу старой заимки, варили похлебку и так же буднично, как лесозаготовители на работу, выходили на встречу с колчаковцами. Возвращаясь, вспоминали не о стычке, а о том, как Васька порвал о сук штаны, Сидор словчился спереть у попадьи колоду с медом, а Николай прямо из боя подался к бабе-самогонщице, живущей на выселках.

Тускнела романтика тех времен в повествованиях старика, а однажды случилось и такое... Рассказывая о своем дружбе — храбром и преданном Сергее Долгушине, — Никита Федорович не мог сразу найти

сравнения, чтобы ребята поняли, каким человеком был Долгушин, немного подумал и сказал:

— Характером он смахивал на Григория Семенова. Такой же правильной жизни был человек! Такой же геройский!.. Ведь, как говорится, геройство не в лихости, а в правильности человека.

Ребята переглянулись, улыбнулись друг другу — не приняли они сравнения Долгушина с Семеновым, а жизнь партизан от слов старика совсем уж стала походить на жизнь в Глухой Мяте.

— Как же можно сравнивать, Никита Федорович?! — Виктор досадливо сморщился.

— Ничего, ничего! — Старик замерцал светленькими ресничками. — Очень даже можно!

Неинтересны рассказы Никиты Федоровича ребятам, даже чем-то неприятны, но он охотно и только при них вспоминает былое... Вот и сейчас Никита Федорович идет рядом, забегая вперед и суетясь от того, что могут не услышать, и рассказывает о колчаковщине. Одет старик удобно и тепло — вместо сапог у него валенки, запущенные головками в резиновые чуни, шапка не из собачины, как у всех, а из овчины, на плечах не телогрейка, а перетянутый ремнем полушубок, и вместо хлопчатобумажных брюк — стеганые.

В тайге вечер. Солнце уже заслонилось сосняком, низовина деревьев темна, облита чернью, и только вершина сосны-семенника светлеет, словно в маковке, скрытая иглами, горит лампочка.

— Допрежь Колчака мы с чехами схватились! — рассказывает Никита Федорович. — Отчаянной лихости народ! Умело воевали, а насчет боеприпасу и всего прочего — здорово были снаряжены. Я после боя у них салфетку стащил, так, не поверите, три года заместо портянок на вертывал. Не было ей износа, вот до чего крепкая попалась!.. — мечтательно вспоминает он. — Ну, а схватились мы с ними еще крепче! Серьезный был бой, как говорится, но мы их обратали. Хотя, скажу вам, под деревней Сухояминой от нас и от чехов самая малость осталась! Однако мы их к сосняку прижали и, как говорится, вытеснили.. Богатая была деревня! Нам бабы от радости столько провианту натащили, что страсть! Особливо суп из баранины был вкусный! — сообщает он и крутит головой, облизывая губы.

Парни насмешливо улыбаются, но Никита Федорович не замечает этого. Он умиляется от благодарности к далеким женщинам, принесшим еду усталым партизанам, а оттого, что припоминается запах баранины, близкими становятся и тот день, и то серое небо, и краснощекая молодка, что накормила его, и Никита Федорович не может не сказать о ней.

— Меня, парни, знатная краля присмотрела! Кормит супом, а сама глазами так и зыркает! — говорит он, мягко улыбаясь. — Вид у меня, конечным делом, был взрачный! Папаха это, красная лента, наган на боку...

И снова не замечает Никита Федорович, как переглядываются парни, как понимающе обмениваются взглядом, точно говорят меж собой: «Эх, старик! И ничего-то ты не запомнил! Один суп из баранины помнишь!» Они идут чуть позади Борщева. и поэтому могут неслышно для него обменяться несколькими словами. Пользуясь этим, Виктор быстро шепчет Борису: «Послушай, что сейчас будет!»

— Никита Федорович, — приблизившись, спрашивает Виктор, — сколько человек с той и другой стороны принимало участие в бою?

— Сколько? — рассеянно прищуривается старик, все еще занятый воспоминаниями и поэтому не сразу понявший вопрос. Но и потом, когда ему уже ясно, о чем спросил Виктор, Никита Федорович отвечает не

сразу — многое заплыло в памяти так густо, как заплывает соком рана на дереве.

Чтобы ответить на вопрос, Никите Федоровичу нужно опять вспомнить о супе, затем о том, что до выхода из леса у партизан неделю не было хлеба, и что командир разделил остатки собственноручно, и что молодому и сильному тогда Никите Борщеву пришлось граммов пятьдесят.

— Нас было сорок два человека! — отвечает Никита Федорович, вспомнив, что командир разделил хлеб на сорок две части.

— А чехов? — добивается своего Виктор и дергает Бориса за руку. — Слушай, не пропускай ничего, самое интересное начинается!

— Чехов я, как говорится, не считал! Их тоже много было...

— Примерно! Хотя примерно, Никита Федорович!

— Человек полтора года было... — натужно отвечает старик, вспоминая, как катилась по обочине сопки зеленая шумная волна чехов, как пулеметчик Сергей Долгушин вышел из боя целеньким, но с перевязанной рукой — обжег о кожух пулемета. — Самое меньшее сто пятьдесят! — уверенно повторяет он...

Виктор и Борис молоды. И невдомек им, что стариковская память устроена не так, как у них: что было вчера или позавчера, Никита Федорович может начисто забыть, но зато хорошо помнится ему, что у станového пристава цепочка на пузе была наполовину золотая, наполовину медная, а трофейная салфетка — вышита васильками. Чудесное явление стариковская память! Яркими хранит она цветные фотографии минувшего, но недолговечны они: уйдет с теплой земли Никита Федорович — и погаснут краски. Не одно тело Никиты Федоровича пологат люди в глинистую нарымскую землю, а целый мир погребут, ибо, уходя из жизни, человек уносит с собой увиденное. И не вернуть его. Каждый человек по-разному видит землю, и нет на ней двух запечатлевших одинаково голубое небо, зеленую траву, сиреневую воду. Наверное, только стрекозы видят жизнь равнозначными шестигранниками через сетчатые глаза.

— Интересные были времена! — задумчиво говорит Виктор Гав. Неравный бой партизан с чехами под деревней Сухояминой представился ему в привычных картинах: туго надутые ветром бурки, алые знамена. И он завистливо вздыхает, жалеет о том, что не привелось быть на месте Никиты Федоровича.

А старик задумывается, опускает голову, бредет впереди, как-то вдруг обессилевший, обмякший, в теплой, удобной одежде. Он уже не размахивает руками, не суетится по-стариковски.

— Теперь тоже времена интересные! — тихо говорит старик.

И ребята вдруг соображают, что сейчас старик думал о прошлом, сравнивал его с настоящим и затосковал оттого, что ему семьдесят лет, что жизнь, собственно, прожита и совсем немного дней и ночей осталось ему быть на земле.

Неслышно ступает ночь по Глухой Мяте.

— Хоть сто лет живи — помирать не хочется! — грустно говорит Никита Федорович.

Виктор и Борис молоды, не прошагали по земле и четверти дороги Никиты Федоровича Борщева, но тут и до них доходит острая тоска старика. Не сговариваясь и не переглядываясь, как обычно, они осторожно подхватывают Никиту Федоровича под руки.

— Пришли! — говорит Виктор, широко открывая дверь перед стариком. — Пришли!

— Спасибо! — отвечает Никита Федорович и первым проходит в ба-

рак, высоко подняв голову; видит комнату, людей и сразу же забывает о печали.

— Снедать собираются! — радуется он тому, что Дарья уже накрывает на стол...

Чудесна стариковская память!

2

Лоси ходят по Глухой Мяте, как коровы за деревенской околицей. Вечером один появился на дороге, ступая балериной, прошелся по накатанному снегу. Возле барака остановился, закинув назад рога, долго смотрел на желтые окна. Стоял, наверное, полчаса, потом вильнул обрубком хвоста, повернулся на месте и зашагал обратно, сзади похожий на корову — такой же медлительный, задумчивый. На полпути от барака к эстакаде встретился с Семеновым, замер, напружинил тонкие ноги, а рога змеиным движением шеи нагнул к земле. Человек тоже приготовился к рывку, но не остановился. Шаг за шагом ступал Григорий, громко хрумжал снегом, но лось стоял в той же позе — стремительный, натянутый...

«Хрум! Хрум!» — мнут снег бродни Григория. Позади лося висит луна, от ветвистых рогов на дороге черная, резкая тень. Григорий идет к ней и, чем ближе подходит к лосю, тем отчетливее чувствует злую, молчаливую терпеливость зверя.

«Еще три шага и свистну!» — решает Григорий, но не успевает шагнуть, как лось прыгает — видны распластанные ноги, словно он парит в воздухе, да кинутые на спину рога, обтекаемое туловище. Вот и все — больше ничего, и только слышен треск веток, цокоток быстрых копыт, да на дороге курится снежный дым. Если бы не было следов, Григорий сам себе не поверил бы, что видел лося: таким стремительным было его исчезновение, такой скульптурной, рисованной — поза на дороге.

Следы животного ведут к бараку. Проследив их ровную двойную строчку, Григорий затаенно улыбается — ему понятен приход лосей на дорогу: рогатого зверя тревожат запах дыма, переклики моторов, человеческие голоса. Уже много дней подряд ходит обеспокоенный самец вокруг барака и эстакады, оставляя следы, коричневые кучки навоза на снегу и клочки сизой шерсти на ветках. Потревожили его люди. Лось кружит вокруг людей, привязанный любопытством, тревогой и злостью. Не хочется зверю уходить из Глухой Мяты.

Двойной стезок лосиных следов через сто метров снова раздваивается. Если внимательно приглядеться к ним, то можно заметить, как непохоже шел зверь: от барака — медленно, задумчиво, туда — настороженно, тихими, как падение осенних листьев, шагами.

Интересна цепочка следов от барака. Почему задумался лось? Что увидел за желтым окном? Неужели понял, что не страшны ему люди, если светит огонь, если замолкли тракторы? И не потому ли не испугался Григория?

Любопытен рогатый зверь. Григорию рассказывали, что много лет назад, когда запретили охоту на лосей, два лося пришли после опубликования указа в поселок Зачулымский и спокойно протопали через него, миновав площадь, центральную улицу и доску, на которой висел указ. Дивились на них зачулымцы, а дед Кожевников сказал: «Узнали лоси, что указ выписан. Намедни тоже встретил одного, ходил он по вырубкам, на меня фыркнул. Здоровый! Он, поди, и разнес молву — при мне ведь ружжо было, а не стрелял!»

Один-одинешенек шагает Семенов по дороге к бараку. Торопиться некуда.

Григорий думает о лосе, припоминает прочитанное; он то размахивает руками, то склоняет голову, то выпрямляется, то останавливается.

Ребачится Григорий — подняв с земли хворостинку, машет ею, идет неровно: то быстро, то тихо. Все нравится ему — длинная тень от ноги, рукавица, почему-то вдруг напоминающая свернувшегося котенка, хворостина, похожая на саблю, а оттого, что лосиные следы у барака обрываются, ему становится совсем весело. «Понял, рогатый, кто здесь живет!»

На пятачке снега возла барака лежат полосатые тени. Поглядев на полосы, Григорий отступает назад и теперь старается ставить ноги только на лунные просветы. Он идет и считает шаги.

— Раз, два, три... — медленно считает он, — четы...

...«Рс» он не произносит: луна скрывается за облаками, и темные дорожки сливаются с лунными. Он осуждающе качает головой.

Облако невелико, всего на несколько минут скрывает оно луну, но звезды пользуются этим: горят ярко, словно обрадовались тому, что луна спряталась за облако. Ярче других горит разноцветный Сириус. «Ишь, какой важный!» — дивится на него Григорий и замечает, что чуть левее Сириуса и чуть ниже вдруг вспыхивает розовенький огонек.

«Ракета-носитель!» — проносится в голове, и от этой мысли Григорий весь тянется к небу.

...На маленькой звездочке вспыхивает отблеск солнца, потом тухнет, и становится страшно, вспыхнет ли опять. Но она вспыхивает, она опять вспыхивает, уверенная и веселая звездочка. Она плывет, торжествуя, и Григорию Семенову кажется, что земля под его ногами медленно начинает двигаться назад, в сторону, противоположную полету теплой человеческой звездочки.

Плывет в темном небе живая звезда. Пробежав небо, прочертив его пунктирами вспышек, ракета-носитель сваливается за горизонт, и тогда из-за тучи выглядывает луна.

Григорий забрасывает хворостинку и быстро идет к бараку.

(Окончание следует)



ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

(С сербохорватского)

Десанка Максимович — народный поэт Югославии. Уже сорок лет ее лирические стихи печатаются в журналах, хрестоматиях, издаются отдельными книгами. Произведения Десанки Максимович, собранные в сборниках «Стихи», «Сад детства», «Зеленый витязь», «Поэт и отечество», «Запах земли» и других, пользуются большой популярностью в стране. Они обращены к народу — к «пассажирам третьего класса», к тем, кто защищал страну в годы народно-освободительной борьбы с фашизмом, к молодому поколению; рассказывают о красоте родного края, об отваге его защитников, о людях труда, об их радостях и горестях.

Я — РОДИНА. Я — ЗДЕСЬ

Бледнеет небо, птица бьет крылом.
Деревья в предрассветном серебре.
Старушка причитает во дворе.
Старик пастух шляпенку снял рывком —
Отчизна! Люди!

Замолкни, утро! Стихни, тишина!
Пусть вся земля застынет на мгновенье,
Чтоб выстрелы слышала она
И каждый звук и слог в последнем пенье:
«Отчизна! Люди!»

Ты, солнце, выглянь из-за облаков
И освети разверстую могилу,
Чтоб веселей и легче сделать было
Последние десятки их шагов.

Благоухай, осенняя трава,
Последнее их ложе окаймляя,
Чаруя, потрясая, умиляя.
Пускай у них кружится голова
От запахов родного края.

Последний крик, последний их привет
Ты, ветер, унеси в леса и горы,
Чтобы узнали родины просторы,
Кто вспомнил их в последний свой рассвет.

«Отчизна! Родина!» — кричит гора горе,
 «Отчизна!» — подхватила вся округа,
 Перекрывая эхом пулеметы.
 А издали, как будто голос друга:
 «Я — родина!
 Я — здесь!»

ПЕСНЯ О ПОРАБОЩЕННОМ ХЛЕБЕ

Стучит украдкой жернов,
 Шуршит мука по ситам,
 Зерно тихонько мелют
 Во тьме, во мраке черном,
 По деревням несытым.

Тот хлеб посеян в рабстве,
 В безвыходной печали,
 И убран тоже в рабстве —
 Глубокими ночами.
 Хоть печи жаром дышат,
 А хлеб тоскою пышет.

Он вырос в неволе,
 Он зрел под наши стоны,
 И вот его смололи
 На мельнице замшелой,
 Обросшей паутиной,
 Слезами орошенной.

Он рос во тьме кромешной
 И выпечен ночами,
 Таинственно, поспешно,
 Украдкой и в молчанье,
 Когда никто не слышит,
 Как хлеб жарю пышет.

Большущими кусками
 Тот рабский хлеб кусают —
 Покуда не забрали,
 Пока никто не знает,
 Что под полночным небом
 Сидит крестьянин с хлебом.

Перевел Б. Слуцкий.

РЕЛИГИЯ ОПЕЧАЛЕННЫХ

Нежность твоя
 И оттуда ко мне приходит,
 Меня обнимая и сердце грея.
 Все хорошее, светлое,
 Что я в жизни встречаю,
 Для меня отмечено
 Любовью твоею.

Верю, что ты
Улыбкой доброй
Для меня озаряешь хорошие лица —
И ищешь, ищешь пути-тропинки,
Чтобы тебя ко мне привели
Через неведомую
Границу.

Верю: это ты
Ко мне посылаешь
Чуткие души и светлые дни удачи.
Верю: глаза людей,
Что ко мне добры,
Лучатся твоею
Любовью горячей.

И если меня приласкают
Или осенят благословением
Теплые руки чьи-то,
Верю: всегда за ними
Твои
Любимые руки скрыты.

Верю: в твоих неподкупных пальцах
Всей моей жизни
Сходятся нити.
Без воли твоей со мной ничего не случится.
Без ведома твоего
Нет для меня заката,
Нет для меня восхода,
Ни желаний нет, ни встреч, ни событий.

Перевел М. Ваксмахер.

..*

Когда промчится ваша юность, птицы,
что делаете вы, дрозды, овсянки и синицы?
Ты, жаворонок, что устал бороться с вышиной?
Что зяблик делает под августовским светом,
когда приходит срок прощаться с летом
и пенье птиц заглушено поющей тишиной?

Почуяв аромат снегов, дыхание мороза,
услышав осени шаги, что делают леса?
Что делаете, тополя, что делаешь, береза,
когда минует лето, и слышен ветра свист,
и по ветру кружится ваш первый желтый лист,
и облака над вами плывут, как паруса?

Когда в хрустальной синеве летают паутинки,
что делаете вы, поля, луга, покосы,
когда колючий иней все одел,
когда в железную броню закованы травинки,
и стали искристым ледком сверкающие росы,
и в изгороди ломонос внезапно поседел?

Когда от северных высот за южные отроги
 подует ветер ледяной, что делает вода,
 когда стихают подо льдом порывы и тревоги,
 когда потока синева
 внезапно вянет, как трава,
 и цепенеет пульс, и плеск смолкает навсегда?

Перевела М. Алигер.

ДЕТСКАЯ КОСИЧКА В ОСВЕНЦИМЕ

Осень сменяет лето, пятый раз сменяет,
 А тонкая, словно ящерка, девочкина косичка
 Лежит в Освенцимском музее — живет и не
 умирает.

Мамины пальцы сгорели, но все-таки ясно видно,
 Как девочку в путь-дорогу пальцы те собирают,
 То они цепенеют, то беспомощно виснут,
 То черную ленту предчувствий в тонкую косу
 вплетают.

Туго коса закручена, не расплетется до вечера.
 Слезные змейки стелются — мама горько плачет.
 Девочка улыбается ласково и доверчиво,
 Девочка не понимает, что эти слезы значат.

Вот палачи ледяные — банды их ясно вижу —
 Волосы человеческие мечут в стога большие.
 Легкие детские локоны ветер уносит выше,
 В грузные копны сложены женские косы густые.

Словно шерсть настриженную, словно руно
 овечье,
 В кучи их кто-то сваливает и примаинает ногами.
 Вижу — пылают яростью большие глаза человечьи,
 Вижу старух испуганных рядом со стариками.

То, что словами не выскажешь, тоже вижу ясно:
 Пламя пышет из топки и палачей озаряет,
 Длинные их лопаты — от детской крови красные,
 Стылые детские трупы в топку они швыряют.

Вижу седины бедные, все в серебристом инее,
 А рядом — как ящерка — тонкую
 девочкину косичку,
 Вижу глазенки детские — большие, синие, синие...

Перевел Б. Слуцкий.

СНЕГА ДЕТСТВА

Снег детства моего, ты все во мне живешь,
 ты греешь сердце мне сугробами своими;
 как подо льдом река, журчит оно под ними
 и дышит и в мороз живою теплотой.
 Все, что ты некогда ласкал своей рукою

и мельницы своей осыпал серебром,
все стало красотой моей, моим добром.
Шипы боярышника сделал ты лучами,
предметам темным светлую дал тень,
грязь на дорогах серебром сковал,
в воловий след кусок опала вправил,
крик ворона стал звуком бубенцов,
а завыванье волка — колыбельной.
Упавший на сугроб холодный лунный свет
ты превратил в рассвет голубоватый.
Мне родина в твоей обложке светлой
как в полночь зимнюю рассказанная сказка.

Вы, зимы детства, словно белый пчельник,
лесная пасека, где в старых дуплах соты.
Я до сих пор припоминаю запах
тех ледяных цветов на утреннем окне.
Еще я помню синий мак луны,
в час сумерек цветущий на сугробе.
Еще я помню снежные сирени,
засыпавшие дальние вершины,
поляну, белую от анемонов,
и аромат, с утра напоминавший
о первоцветах, скрытых под снегами,
и, как печаль, горчачее немного
февральских папоротников дыханье.
А соты в ульях все еще белеют
и золотом отблескивают глухо.

Ты, детства моего зима, в плаще зеленом,
с луной в груди, стучащей вместо сердца,
ты — поцелуй мороза и тумана,
ты — облака томленье по березе,
объятья рек и северных ветров,
крик журавля, бросающийся в даль
с забвением живого человека.
Ты — белая смущенная снежинка,
роняешь ты серебряные слезы,
колотится луна в твоей груди,
и потому-то падаешь ты наземь.
Ты — радуга, ты из семи цветов.
Ты, детства моего зима, ты — тройка снов.
Ты пронеслась по санному пути,
тебя в туманах больше не найти.

Зима, старейшая из чародеек,
склоненная над старым очагом,
облитым синим пеплом лунной ночи.
Доныне слышу, как ты в час рассвета
мешаешь догоревший снежный уголь.
Чем больше будет в старом очаге
хрустального и ледяного жара,
тем больше снов, которых и весне
невмочь распутать и смотать в клубки,
тем больше звезд в источнике студеном
и золотых монет на дне колодца.

Чем больше искр летит из очага,
тем больше пламени в груди поэта,
тем больше сильных крыльев райской птицы,
тем шире мира вечного границы.
Ты до сих пор, когда я прохожу
через твои белейшие просторы,
утихший жар души моей мешаешь
и будишь в ней охапку искр и звезд
и дремлющую горлицу печали.

Ты, детства моего зима,— колдунья,
ты спишь ночами на косматых тучах,
ты за собою водишь стаи волчьи
и с белыми медведями играешь,
как будто это смирные ягнята;
ты оглашаешься в одну минуту
собачьим лаем, щебетом синиц;
ты щедро сыплешь с неба наземь манну
для птах земных и для души поэта,
и держишь ты в одной и той же клетке
и воронье и стаи голубей.
Одной рукой ты водишь корабли,
груженные прозрачной тишиною,
другой рукою — расписные санки
с крыжовником поющих бубенцов.
Цветы из льда растишь ты в лунном свете,
так преврати же сумрак в праздник снов —
пусть вновь меня засыпят их пушинки,—
затеpli снова под стрехой сосульки
и маленькие тусклые окошки
вновь сделай лебедиными крылами.

Перевела М. Алигер.



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ИВАН ВИННИЧЕНКО

★

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР ГИТАЛОВ

Вы заметили? В последнее время имя Александра Гиталова, дважды Героя Социалистического Труда, почти не сходит со страниц печати. И неспроста.

Кто не знает о том, как много хлопот доставляет обычно колхозам «королева полей» — кукуруза! Ее приходится и прорывать, и полоть, и... чуть ли не на руках носить.

Гиталов первым сказал: хватит! Что у нас, нет техники? Отныне мы до тебя, голубонька, ясновельможная «королева», не будем дотрагиваться даже пальцем!

С этого все и началось. Украинского механизатора тотчас же поддержал его русский коллега Мануковский. К нему присоединились еще два-три смельчака. Потом еще многие и многие...

В 1958 году на декабрьском Пленуме ЦК КПСС Гиталов и Мануковский рассказали о первых своих победах.

Никита Сергеевич Хрущев говорил потом:

— Здесь выступили товарищи Мануковский и Гиталов. Когда их слушаешь, чувствуешь, что силы прибавляются, крылья растут. Почему? Потому, что их опыт открывает большие возможности для повышения производительности труда.

Вскоре после этого Александр Васильевич Гиталов выступил на внеочередном XXI съезде партии. И с тех пор, какую ни возьмешь газету, — очерки, корреспонденции, статьи о Гиталове, статьи самого Гиталова...

Появились брошюры об опыте бригады Гиталова, о «школе Гиталова». Вышел документальный фильм о Гиталове.

Но вот что интересно! Имя талантливого советского механизатора стало известно не только у нас в СССР, но и за океаном, в Соединенных Штатах Америки.

Дело в том, что летом 1958 года бригадир тракторной бригады колхоза имени XX съезда КПСС, Ново-Украинского района, Кировоградской области, Александр Гиталов более трех месяцев проработал в Кун-Рапидсе, штат Айова, на ферме известного американского кукурузовода Росуэлла Гарста, побывавшего незадолго перед тем в Советском Союзе.

— Русский инженер Гиталов, — так представлял гостям мистер Гарст своего необычного работника.

Вряд ли он, конечно, знал, что этот «русский инженер» не имел почти никакого школьного образования и только недавно экстерном сдал

экзамен на аттестат зрелости. Но какое это имело значение? Как можно было иначе назвать человека, который так великолепно разбирался в самых сложных механизмах и с такой поразительной, прямо-таки молниеносной быстротой осваивал любую незнакомую ему машину, хотя иной раз она являлась технической новинкой даже для американских специалистов? Что же касается использования машин, то... Этот русский парень приехал в Соединенные Штаты, чтобы изучить здесь опыт комплексной механизации сельского хозяйства. Но, право же, многому можно поучиться и у него!

Гарст привозил любопытных соседей-фермеров в поле и не без гордости показывал им один из участков, на котором росла особенно роскошная и чистая кукуруза.

— Видите этот участок? — говорил он. — Так вот: его от начала до конца обработал мистер Гиталов. О, это очень способный и деловой человек! — И, понизив голос, добавлял, кивая на широкую спину поглощенного работой «мистера Гиталова»: — Если у них все такие парни, как этот, то будьте покойны — они нас обязательно перегонят!..

Читая обо всем этом в газетах и журналах, я испытывал смешанное чувство гордости, восхищения и зависти. Да, да, я не оговорился: именно зависти. Не к Гиталову, разумеется, а...

Ведь я тоже писал о нем в свое время, и немало. А вы представляете, что это значит?..

Меня так и подмывало бросить все дела и махнуть на Кировоградщину, чтобы встретиться с ним опять. Но обстоятельства складывались так, что я долго не мог этого сделать.

И вот... Ну не обидно ли? Получилось так, что, выбравшись наконец к Гиталову — это было осенью 1959 года, — я разминулся с ним. Он уехал на курорт, в Ялту.

* * *

О том, что Гиталов поехал отдыхать, я узнал сразу же, как только попал в районный центр, и у меня тут же возникло решение — податься вслед за ним. Но мог ли я повернуть обратно, так и не побывав у него в бригаде, не поговорив с его хлопцами, не увидев собственными глазами всего того, что произошло за последнее время в Камышеватом, в колхозе имени XX съезда партии, в самой бригаде?..

«Подбросить» меня туда взялся один из работников райкома.

С чего начинают обычно разговор незнакомые люди? В городе — с погоды, на селе — с урожая.

— Да, не повезло нам в этом году, — говорил мне попутчик. — Такая засуха хватила!.. Совсем не то получилось, чего ожидали.

— Центнеров по двадцать все же собрали?

— Да, примерно... Около этого...

— А кукуруза как?

— С кукурузой совсем плохо. Весна выдалась ранняя, а потом заглодало. Почти всюду пришлось пересевать.

— Насколько мне помнится, — заметил я, — Гиталов пообещал собрать в этом году по пятьдесят центнеров зерна и по четыреста центнеров зеленой массы...

Попутчик покачал головой.

— Не знаю... Вряд ли ему удастся выполнить свое обещание. Ничего не поделаешь — стихия! Хотя надо сказать, что кукуруза у него куда лучше, чем в других колхозах.

— А вообще как у него дела?

— В бригаде или в колхозе?

— А разве это не единое целое?

— Да как вам сказать... Вот приедете, увидите!..

В бригаду Гиталова — она расположена по пути из Ново-Украинки в Камышеватое, не доезжая километра два до села, — мы попали как раз к обеду.

«Бригада» — это, собственно, центральный полевой стан бригады. Но так уж привыкли его называть.

Полтора года назад, когда я был здесь в последний раз, Гиталов специально привозил меня сюда, чтобы показать гордость бригады — этот образцовый, недавно построенный для нее колхозом постоянный полевой стан.

...В центре небольшого огороженного участка, под сенью заиндевевшей лесной полосы, стоял веселый, тогда еще не обжитый каменный домик с верандой. Мы осмотрели сверкавшие чистотой, уютные спальни общежития с никелированными кроватями и тюлевыми занавесками на окнах, заглянули в кухню, в столовую, посидели немного, беседуя, в просторной, хорошо обставленной комнате отдыха. Потом вышли во двор. Гиталов показал мне расположенную поодаль полевую, прекрасно оборудованную мастерскую, гараж, навес, припорошенную первым снежком, еще пустовавшую площадку для машин. Я обратил внимание на разбитый вокруг домика юный фруктовый садик, на расставленные повсюду садовые скамейки.

— А как же! — сказал Гиталов. — Надо сделать так, чтобы не только машины, но и люди чувствовали себя здесь, как в санатории...

Теперь я увидел все это хозяйство, как говорится, в действии. Вряд ли оно напоминало санаторий.

У крыльца общежития стояли грязные, запыленные и, казалось, еще не успевшие отдышаться велосипеды и мотоциклы. Их хозяева — такие же грязные и запыленные — толпились во дворе, у передвижного вагончика сельпо, и, поблескивая зубами, оживленно переговаривались с молодой продавщицей. От мастерской доносились ритмические выхлопы движка, тянуло дымком. Эти милые каждому механизатору «индустриальные» звуки и запахи смешивались с веселым перестуком бильярдных шаров, с дразнящим ароматом доброго украинского борща со свиной, который подавали на веранде проголодавшимся шумливым механизаторам проворные девушки-поварихи. Горластый репродуктор изо всех сил старался создать атмосферу безмятежного отдыха, рассыпая сладкое треньканье бандуры. Но его то и дело заглушали пронесившиеся мимо стана, вздымавшие тучи пыли неугомонные грузовики и самосвалы...

Из бригадного «начальства» я застал на полевом стане только старшего учетчика Александра Макаровича Письменко.

Он посоветовал мне пообедать, пока столовая открыта, а потом пойти как следует отдохнуть с дороги, потому что сегодня все равно со мной вряд ли кто сможет заняться: самого Гиталова, как мне, вероятно, известно, сейчас нет в бригаде — он на отдыхе, а его первый помощник Михаил Сергеевич Ткаченко («Да вы ж его знаете!»), к несчастью, вот уже несколько дней по семейным обстоятельствам на работу не ходит. Может быть, только завтра, если все будет благополучно, удастся с ним о делах поговорить, а сейчас ему, по правде сказать, не до них...

— А что с ним стряслось? — спросил я.

Письменко вздохнул.

— Дочь замуж выдает. Ну и пришлось отпуск взять. Вот уже неделю гуляет...

— Но ведь его, наверно, кто-то замещает?

— А как же! Есть еще один помощник — Петр Петрович Перчун. Да он, по правде сказать, и руководит всей бригадой. Золотой работник! А только... не знаю, станет ли он с вами заниматься. Да вот, кстати, и он сам!

В контору вошел небольшого роста, коренастый человек и не особенно приветливо поздоровался. Я напомнил ему о нашей предыдущей встрече в январе прошлого года и выразил надежду, что он поможет мне выяснить все интересующие меня вопросы. Но он буркнул в ответ что-то невнятное и, перекинувшись с учетчиком двумя-тремя словами о каком-то деле, поспешно вышел, даже не попрощавшись.

Письменко сочувственно развел руками: дескать, что поделаешь, я ведь говорил!

— А это кто такой? — спросил я, заметив подходящего к конторе твердой начальственной походкой пожилого плечистого мужчину в синем замасленном комбинезоне с разбухшими от блокнотов карманами.

— Это Весна.

— Весна?!

— Ну да ж, Весна Николай Митрофанович, научный сотрудник Института механизации, из Киева. Очень деловой человек! Он здесь постоянно сидит, опорным пунктом заведует...

Я обрадовался: на ловца и зверь! Уж кто-кто, а он-то лучше всех сможет мне помочь разобраться не только в том, что делается здесь, в бригаде Гиталова, но и вообще в проблемах комплексной механизации сельского хозяйства.

Однако радость моя оказалась преждевременной. Весна поздоровался со мной довольно приветливо, даже сам напомнил мне о том, что мы уже виделись как-то на Одессине. Но стоило мне только высказать желание побеседовать на интересующую меня тему, как он сразу же нахмурился.

— Не знаю, — сказал он гордо. — Может быть, как-нибудь вечером, после работы... Я ведь здесь делом занимаюсь!

И ушел так же поспешно, как и Перчун.

Что за черт! Почему все шарахаются от меня, как от прокаженного? Или это мне так показалось?

Письменко, занимаясь своими делами, хитровато поглядывал на меня.

Я попросил его позвонить в правление колхоза и связать меня с Обиходовым.

— С Обиходовым?! Да вы что? — Письменко как будто даже обиделся. — Его давно уже нет. Как говорится, и след простыл...

— Кто ж у вас теперь председатель?

— А вы не знаете? Зайченко Василий Григорьевич.

— Бывший директор Мало-Помошнянской МТС?

— Он самый!

— Так он же, наверно, не хуже Гиталова разбирается в вопросах механизации!

— А то как же? Конечно!

— Так звоните ж ему скорей!

Учетчик с готовностью выполнил мою просьбу и, переговорив с председателем, не без ехидства сообщил мне, что и у Зайченко, к сожалению, тоже нет времени со мной разговаривать и что он просит позвонить завтра: может быть, он к вечеру освободится...

Только завтра?! К вечеру?!

Возможно, в другой раз я и не придал бы этому никакого значения. Мало ли какие важные дела могли быть у председателя колхоза! Но

теперь... Нет, здесь вырисовывалась какая-то закономерность! В чем же тут дело?

Письменко достал из ящика стола довольно толстую тетрадь и, положив ее передо мной, стал перелистывать. Она была густо исписана вся до конца.

— Видите? — сказал он. — Это список делегаций, что побывали у нас в бригаде только за последние полгода. Верите ли — что ни день, то новая делегация, а то и две-три зараз! Откуда только к нам не приезжали! И свои, с Кировоградщины, и соседи с Одесщины, и с Кубани, и с Поволжья... Украинцы, русские, латыши, молдаване... Да со всего Советского Союза! И из стран народной демократии тоже были... Большеинство, конечно, приезжает механизаторов. Ну, эти-то хоть за делом! А то и школьники, и студенты, и... я уж не знаю кто!.. А сколько всяких представителей перебывало! Из Министерства сельского хозяйства Украины, из союзного министерства, из ЦК партии, из разных научных институтов... Тех мы и в список не заносили. Ну, а что касается корреспондентов, так, ей-богу же, не в обиду будь вам сказано, прямо как саранча. Ох, и достается ж им от Александра Васильевича! На что уж спокойный человек, а и он не выдерживает. Иной раз так шуганет, аж перья из них сыплются! А не то увидит какого издали (он вашего брата по нюху чувствует), на машину и — ходу! Да это ж и понятно: прославили человека, можно сказать, на весь мир. И за что же? За хорошую работу! А работать не дают... То в Москву, то в Киев, то в область, то в Америку, будь она неладна!.. Приедет домой, и тут нет покоя — то делегации без конца, то представители всякие... А тут еще корреспонденты! Да если хотите знать, так Александр Васильевич и в Ялту сбежал от писак! У него из-за них старый фронтной радикулит на нервной почве разыгрался...

— А знаете, — сказал я, смеясь, — у меня ведь думка — махнуть отсюда прямо к Александру Васильевичу в Ялту!

Письменко замахал на меня руками.

— Боже вас сохрани, и не думайте! Выгонит! Ей-богу, выгонит! Он так и сказал перед отъездом: «Ох, боюсь, и там меня найдут! Ну, нехай только сунется какой-нибудь — выгоню к черту, да еще и в ЦК пожалуюсь!» Да это ж хотя бы и вам: раз в жизни выбрался человек отдохнуть по-настоящему, подлечиться, а ему и там покоя не дают... Неужели вы этого не понимаете?

— Да нет, это я как раз понимаю! — сказал я. — А вот почему от меня бегут, как черт от ладана, другие товарищи — этого я никак не могу понять. Им ведь не так часто приходится с корреспондентами дело иметь?

— Да как же не часто! Вот, скажем, вы... Приехали, а Гиталов в отъезде. У кого взять материал? Ясное дело, у помощника бригадира, у механизаторов, у председателя колхоза. А какая им от этого радость? Разве они не понимают, что для вас главное — Гиталов? А они сами — так, с боку припеку... Понимаете, какая ситуация?

— Да, ситуация сложная!.. Что же делать?

— А вы не расстраивайтесь! — Письменко участливо дотронулся до моего рукава. — Вот, может, Ткаченко денька через два выйдет на работу — вы и поговорите. Это ж вам не Гиталов! Он, знаете, любит пыль в глаза корреспондентам пустить. Такого наговорит, только записывайте!.. Ну, а если вам понадобится какой-нибудь фактический материал, то, может, и я смогу вам немного подсобрать. Я ж полностью в курсе дела! В случае чего, прямо с моих слов и шпарьте. Если хотите, и фамилию можете указать — не возражаю!

— Что ж, спасибо! — сказал я. — А сейчас, говорите, надо идти обедать?

— Правильно! — одобрил Письменко. — Идите обедайте, отдыхайте... Чего вам волноваться? Харч у нас добрый, воздух — как на курорте. И в Ялту не надо ехать... Погодите, я сейчас разыщу нашу хозяйку, чтобы она вам чистое белье постелила... Клара! Клара!.. — И ушел, оставив меня одного — полного самых противоречивых мыслей и чувств.

* * *

Как выяснилось позже, колхозу имени XX съезда партии закрыли счет в банке, и председателю действительно было не до меня. Он сам сообщил мне об этом по телефону, прося извинения за то, что никак не может встретиться со мной.

Что ж, нет худа без добра! Дожидаясь, пока освободится председатель, я провел в бригаде несколько дней. И не без пользы...

В конце концов мне удалось поговорить и с Петром Петровичем Перчуном, который оказался не таким уж нелюдимым, как это могло показаться вначале, и с агрономом колхоза — очень энергичной и толковой девушкой, которую все называют здесь просто Люсей, и даже с гордым Весной, который также оказался на поверку не таким уж гордым.

Очень много интересного рассказал мне и Александр Макарович Письменко.

В результате у меня сложилось довольно ясное представление не только о том, как обстояли здесь дела с комплексной механизацией возделывания кукурузы и других пропашных культур, но также и о том, как складывались эти дела, как, какими путями, гиталовская бригада пришла к тем замечательным достижениям, о которых уже довольно много писалось на страницах газет и журналов.

Постараюсь рассказать об этом как можно короче.

Ну, прежде всего о «королеве полей» — кукурузе...

Судя по тем вопросам, которые задавали мне, после того как я вернулся от Гиталова, у многих создалось убеждение, что всеми своими успехами в области комплексной механизации возделывания кукурузы он обязан прежде всего поездке в Америку. Ничего подобного! Слов нет, практическое изучение американского опыта значительно расширило технический кругозор «русского инженера» Гиталова, и это, несомненно, сказывается уже сейчас на всей его деятельности. Но давайте сопоставим даты: из Соединенных Штатов Америки Гиталов вернулся в сентябре 1958 года, а через два месяца он уже докладывал Центральному Комитету о первых и весьма разительных успехах, которые были достигнуты его бригадой именно в области комплексной механизации возделывания кукурузы. Могла ли сказаться на этих успехах хоть в какой-то степени его поездка в Америку? Разумеется, нет! Не поездка в Америку способствовала его успехам, а как раз наоборот, именно успехи этого талантливого механизатора и забросили его за океан. Когда обсуждался вопрос о том, кого же послать к известному американскому кукурузоводу Гарсту для изучения накопленного там ценного опыта, то выбор пал на Гиталова. И это произошло не только потому, что он являлся одним из наиболее талантливых наших механизаторов, способных как следует изучить зарубежный опыт, но также и потому, что к этому времени он и сам уже располагал довольно интересным опытом. Он ехал к Гарсту не как зеленый юноша, еще не знающий жизни, но как зрелый муж, как специалист к специалисту...

Если говорить о том, что дало первый толчок успехам Гиталова, так это выступление Никиты Сергеевича Хрущева на январском Плену-

ме ЦК КПСС 1955 года, когда он впервые обратил внимание работников сельского хозяйства на «королеву полей» — кукурузу, которая способна при соответствующем к ней подходе произвести подлинную революцию в животноводстве, а стало быть, и во всей экономике колхозного производства.

Обратимся к фактам. Если в 1953 году в нынешнем колхозе имени XX съезда партии площадь посевов кукурузы составляла всего лишь триста пять гектаров, то в 1955 году, после Пленума ЦК КПСС, она увеличилась более чем в два раза. В 1958 году под кукурузой было уже семьсот сорок гектаров, а на следующий год ее посеяли уже более чем на тысяче гектаров. Еще более стремительно росла урожайность этой ценной культуры: она сразу же подскочила с семи и четырех десятых до двадцати девяти центнеров с гектара, а в последние годы достигла сорока центнеров. В то же время затраты человеческого труда на каждый гектар уменьшились почти втрое.

Как же это произошло?

Вначале выращивание кукурузы было необычайно тяжелым и трудоемким делом. Так, в 1955 году, например, механизировалась только предпосевная обработка почвы. Сеяли тогда кукурузу малопродуктивными сеялками «СКТ-6», требовавшими больших затрат труда на переноску мерной проволоки. Посевной агрегат обслуживало, как правило, человек семь-восемь. Еще больше ручного труда затрачивалось на прорывку растений. Особенно же тяжелой была уборка кукурузы. Она производилась исключительно вручную и затягивалась обычно до поздней осени. Но потом стали появляться все новые и новые машины, которые и дали возможность механизировать один процесс за другим.

Появились прицепные сеялки «СКТК-6В», приспособленные для механического диагонального перенесения мерной проволоки, еще более совершенные навесные квадратно-гнездовые сеялки «СКГН-6», навесные культиваторы «КРН-4,2», универсальные культиваторы «КУТС-4,2», силосные комбайны «СК-2,6», кукурузоуборочные комбайны «КУ-2» и «КУ-2А», новые марки тракторов, самоходные шасси «ДСШ-14» и «ДСШ-20», саморазгружающиеся тракторные прицепы «ПТС-3,5» и, наконец, новый, наиболее совершенный кукурузоуборочный комбайн херсонского завода «ККХ-3»...

Я заранее прошу прощения у специалистов за возможные ошибки в названиях перечисленных выше машин. Но пусть они пеняют лучше на их создателей — конструкторов, которые окрестили свои детища такими скрежещущими именами. Нет, в самом деле, ну можно ли так измываться над ни в чем не повинными творениями человеческого разума, а еще больше над теми, кому они предназначены! Право же, когда я услышал впервые все эти названия, они никак не ассоциировались у меня с теми остроумными и, в сущности, симпатичными машинами, которые так помогают людям в их труде. И только после того, как мне пришлось понаблюдать самому за работой «ККХ-3» в сочетании с «ДСШ-20» и «ПТС-3,5», я стал проникаться уважением даже к их неуклюжим именам. Этим, вероятно, и объясняется появление в очерке всего предыдущего абзаца. И все же поручиться трудно, что я там ничего не искажил и не перепутал. Да это и не мудро было сделать! Попробуйте-ка прочесть одним духом «СКГН-6» или «СКТК-6В», а потом закройте глаза и постарайтесь произнести эти слова правильно наизусть. Вряд ли это вам удастся! А каково же механизаторам?

А может быть, для них басурманские названия машин звучат, как райская музыка? Не знаю... Петр Петрович Перчун, во всяком случае, произносил их очень лихо, без всякой запинки и с явным удовольствием. Но ведь к чему не привыкает человек! Еще в детстве я слышал от деда

такую притчу. Когда один из его соседей узнал, что в наказание за чрезмерное потребление горилки черти на том свете будут поить его растопленной смолой, он сам растопил смолу, отхлебнул ее и, почмокав, сказал: «А що ж, як втягнётся чоловік, то й це буде пыты!» Примерно то же самое произошло, как видно, и здесь...

Но я чуточку отвлекся.

Итак, одним из решающих условий внедрения комплексной механизации возделывания кукурузы явилось насыщение бригады новой первоклассной техникой. Но техника, разумеется, сама по себе не могла решить дела. Необходимо было не только овладеть этой новой техникой, но и продумать новую, более рациональную организацию работ и увязать ее с требованиями агротехники, с биологическими особенностями кукурузы, словом, разработать, по сути дела, совершенно новую технологию производства и, наконец, — что, пожалуй, не менее важно, чем и все предыдущее, — сломить ту косность, ту силу инерции, которая все еще царила в умах некоторых руководящих работников колхоза и даже в умах некоторых механизаторов, заставляя их цепляться за старое, вызывая неверие в то, что комплексная механизация такой капризной и трудоемкой культуры, как кукуруза, совершенно исключит необходимость применения какого бы то ни было ручного труда.

Летом 1958 года, в период первой междурядной обработки кукурузы, как раз накануне отъезда Гиталова в Америку, подобному неверию был нанесен последний удар.

Кукуруза в том году сеялась совершенными квадратно-гнездовыми сеялками «СКГН-6», с точной дозировкой семян, и никакой прорывки не требовала — междурядную обработку ее вполне можно было осуществить исключительно машинным способом (трактором «КДП-35» с двумя культиваторами «КУТС-4,2»). Но случилось так, что в третьей полеводческой бригаде (в колхозе их было всего семь) высвободилась рабочая сила, ее и бросили на прорывку кукурузы.

Гиталову и раньше приходилось слышать ходившие по селу скептические суждения о том, что, дескать, при любой механизации кукуруза без девчат не вырастет. Теперь этот воинствующий скептицизм становился поперек его пути уже не на словах, а на деле.

В общем, ситуация приобретала принципиальное значение, и Гиталов решил использовать ее для того, чтобы навсегда покончить с маловерами. Он согласился на то, чтобы в третьей бригаде девчата приступили к прорывке кукурузы, но потребовал, чтобы специально созданная комиссия проверила их работу и установила, нужна эта работа или нет.

И вот, выехав в поле, комиссия увидела классическую, в сущности, картину, способную привести в восхищение любого журналиста. Вдоль геометрически строгих рядков кукурузы двигались цветистые цепочки девчат, сильными молодыми голосами распевавших «Галю». Работа у них шла споро и весело. В непрорванных гнездах — по два-три растения. Подойдет к такому гнезду красавица, тяпнет разок тяпкой и идет себе дальше...

Комиссия прерывает «концерт», спрашивает:

— Ну как, девчата, нужна здесь прорывка или нет? Или, может, вы зря тут губите свои таланты?

Девчата повели вначале некоторую «дипломатию» — как видно, не легко им было отказаться от такой веселой и не очень-то пыльной работы. Но потом пришлось все же сознаться, что делать им здесь действительно нечего. Да это было видно и так.

Осенью, когда Гиталов вернулся из Америки, комиссия имела возможность сравнить кукурузу, выросшую под звуки «Гали», с той, что произрастала «без девчат», под жесткий аккомпанемент культиваторов

«КУТС-4,2». Первая дала по тридцати восьми центнеров зерна с гектара, а вторая — на пять центнеров больше..

Это было в 1958 году. А на следующий, 1959 год гиталовская бригада отказалась от применения ручного труда не только на междурядной обработке, но и на уборке и даже на силосовании кукурузы. Теперь они действительно не притрагиваются к ней, голубоньке, даже пальцем!

Примерно так же обстояло дело и с подсолнечником. А вот сахарная свекла по-прежнему доставляет немало еще хлопот...

Вот и все, что мне удалось выяснить, так сказать, заочно. А вот что я увидел сам воочию.

В один из первых дней моего пребывания в бригаде началась несколько запоздавшая уборка пересейной кукурузы на силос, и я, узнав об этом, сразу же отправился в поле.

Кукуруза и в самом деле была здесь намного лучше, чем та, которую мы видели с моим попутчиком на полях других колхозов по дороге в Камышевато. Обкошенная кругом, она стояла стеной — свежая, зеленая, густая, высокая... И все же, по предварительным подсчетам, как мне сказали в конторе, силоса здесь более трехсот центнеров не собрать. Это вместе с початками... Да, ничего не поделаешь — стихия!..

Убирал кукурузу один из двух экспериментальных комбайнов «ККХ-3», испытывавшихся заводом на полях колхоза в производственных условиях. Я слышал о нем разговор еще в столовой. По мнению механизаторов, это очень хорошая машина, гораздо лучше «КУ-2» и «КУ-2А». Работала она настолько хорошо, что приехавшей сюда ремонтной бригаде завода почти нечего было делать.

Рядом с комбайном шла грузовая машина, и в нее, как из рога изобилия, непрерывно сыпались початки. Сзади был приторочен прицеп («вероятно, «ПТС-4,5», — догадался я), куда сыпалась измельченная зеленая масса. Как только прицеп наполнился до краев, к нему тотчас же подъехало самоходное шасси «ДСШ-20» с таким же пустым прицепом. (Продолжительность рейсов его была, очевидно, рассчитана очень точно!) Произшла минутная остановка для смены прицепов, и комбайн двинулся дальше, а самоходное шасси с нагруженным прицепом повернуло в обратный рейс.

Я подъехал к силосной траншее.

Вам приходилось видеть когда-нибудь, как силосуют кукурузу? Обычно в траншее на разгрузке машин и на закладке зеленой массы стоит человек пятнадцать — двадцать. Здесь, добродушно ворча и попыхивая, по-медвежьи топтался лишь одинокий гусеничный трактор. Когда подъехавший прицеп опрокинул в траншею свой зеленый груз, он с неожиданной резвостью ринулся на возникший холм, мигом разровнял его и, слегка переваливаясь с боку на бок, стал деловито подминать под себя пружинившую рыхлую сечку, уплотняя ее...

«Вот где подлинно комплексная механизация! — подумалось мне. — Ведь механизаторы обычно считают, что их задача по выращиванию той или иной культуры заканчивается уборкой урожая. Гиталов расширил эту задачу. Он механизировал все этапы возделывания кукурузы, даже силосование. Какая экономия сил и средств! Какое облегчение в труде!..»

Этими мыслями я поделился с остановившимся на перекур трактористом — молодым, красивым парнем, судя по военной фуражке, недавно демобилизованным из армии.

Он улыбнулся. Потом, помолчав, сказал:

— А вы знаете, сколько еще будет хлопот с этим силосом? Да его же теперь зубами не выгрызешь из траншеи, после того как мы потоптались на нем со своим «Белорусом»! Тут уже не вилы, а экскаватор нужен! А где он у нас? Правда, Александр Васильевич что-то там мудру-

ет — хочет на тракторе соорудить какое-то приспособление, вроде грейфера... Тогда, конечно, будет легче. А сейчас... Знаете, сколько раз придется перебрасывать руками этот силос? Раз пять, не меньше! Из траншеи выгрузить надо? Надо. Потом сгрузить возле коровника. Потом нагрузить в тележку подвесной дороги... Вот и пошла насмарку вся наша механизация! Нет, тут еще есть над чем покумекать...

Вечером мне сказали, что на следующий день с утра бригада начинает уборку сахарной свеклы. Зная о том, что гиталовцы выезжают обычно в поле, как «на старт», в строго установленное время, я решил встать пораньше, чтобы попасть на свекловичную плантацию к началу работы. Но это мне не удалось. Несмотря на то, что плантация была, что называется, под самым носом, как раз напротив полевого стана, я попал туда только к девяти часам утра. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что работу здесь еще и не начинали!

На краю поля стоял в полной боевой готовности свеклоуборочный комбайн, а около него, окружив какого-то худощавого нахмуренного мужчину, толпилось, крича и размахивая руками, не менее двадцати женщин-колхозниц. Мужчине приходилось, как видно, довольно туго, но тракторист и комбайнер даже и не думали подать ему руку помощи — они сидели на своих местах и терпеливо ждали, пока закончится это жаркое и, видимо, затянувшееся «производственное совещание», чтобы тотчас же двинуться в путь. Несколько групп женщин расположилось прямо на земле; громко переговариваясь между собой, они время от времени подавали реплики отбивавшемуся изо всех сил от их товаров худощавому нахмуренному мужчине.

Долгое время я не улавливал причину спора. Наконец понял. Свекловичная плантация была разбита на делянки между определенными звеньями. Поэтому комбайн должен был двигаться поперек делянок, чтобы звенья, рассыпавшись по ходу комбайна, могли очищать свеклу каждое на своей делянке. Но, для того чтобы начать уборку поперек делянок, комбайну надо было сначала отбить полосу вдоль дороги, убирая свеклу лишь на одной из делянок. Возник вопрос: кто же должен очищать эту свеклу? Если только то звено, которому она принадлежит, то неизвестно, что же делать в это время остальным звеньям; если же всем, то неизвестно, как же делить тогда между ними свеклу, выращенную определенным звеном. Обсуждение этого сложного организационного вопроса с бригадиром полеводческой бригады и заняло у женщин-колхозниц все утро, а комбайн — ни с места!

Мне припомнилась последняя моя беседа с Гиталовым в начале 1958 года, накануне февральского Пленума ЦК КПСС.

— Вы ж только подумайте, что оно получается! — говорил он. — Пока работает механизатор там, где производственный процесс не связан с ручным трудом, — скажем, на вспашке или на культивации паров, — он может и график соблюдать и все другое, что требуется для культуры производства, а как только доходит дело до «содружества» с полеводческой бригадой, так и летит к чертовой матери вся наша культура. Почему? Да потому, что нарушается единый производственный процесс... Вы были когда-нибудь на заводе? Так вот представьте себе, что конвейер обслуживает с одного боку заводская бригада, а с другого боку — какая-нибудь кустарная артель. Ясное дело, толку от такого «содружества» — все равно что у конного с пешим! То же самое получается и у нас...

«Это — то самое «содружество конного с пешим», о котором говорил мне тогда Гиталов! — отметил я про себя, глядя на бездействующий комбайн и разбушевавшихся колхозниц. — Но тогда, полтора года назад, на колхозном поле было еще два хозяина, и Гиталов именно в этом

видел главную причину такого «содружества». Теперь вся техника принадлежит одному хозяину. И тем не менее...»

...Наконец полевод и звеньевые как-то договорились, комбайн двинулся, как это и необходимо было, вдоль дороги, и женщины, недовольно ворча и перебраниваясь, разбрелись группами очищать, или, вернее, «доочищать», извлеченную комбайном из почвы свеклу.

Я подошел к одной из таких групп. Женщины продолжали ворчать, но уже по другому поводу. Комбайн очищал свеклу очень неровно: только редкие корни попадались совсем без ботвы, большая часть их была очищена лишь напополам, а попадалась и совсем не очищенная свекла.

— Та що ж цэ воно за «доочистка»,— говорила мне с возмущением разбитная молодка-звеньевая, ловко орудуя остро отточенным ножом,— якшо мэни всэ одно трэба каждый буряк в руки брать! Тилько й полегкість, що нэ збираеш його до кучи. А трудоднів выпсыують в полтора раза меньше...

На плантации показался Весна и с ним какой-то высокий седоватый мужчина в темном костюме и в шляпе. Это был, как выяснилось, руководитель Весны — заведующий отделом эксплуатации машинно-тракторного парка Украинского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства, профессор Василий Варфоломеевич Заморский, только сейчас приехавший сюда из Киева.

Я спросил его, неужели нельзя сконструировать такой комбайн, который не только извлекал бы свеклу из почвы, но и полностью очищал ее от ботвы. Он спокойно ответил:

— Отчего же нельзя? Можно. В Германии, например, уже есть такие комбайны. Но... видите ли, в чем дело,— вместе с ботвой они срезают и верхушки корней. Немцы говорят: процентное содержание сахара в этих верхушках очень низко, а кроме того, они идут на корм скоту... По их мнению, никаких потерь здесь, в сущности, нет. Наши авторитеты придерживаются иного мнения. По-видимому, у нас эта проблема будет решена не так, гораздо более...

— Вы говорите: «будет»,— перебил я его.— А вот когда?.. В этом-то все и дело!

Профессор снисходительно улыбнулся.

— Все это, знаете, не так-то просто. У нас ведь многие проблемы еще ждут своего разрешения. Возьмите посев сахарной свеклы... Сколько ручного труда затрачивается на прорывку растений! Еще больше, пожалуй, чем на доочистку. Этого, разумеется, вполне можно было бы избежать при наличии специальных квадратно-гнездовых сеялок. Но что поделаешь? Их пока что у нас еще нет...

— И вы говорите об этом так спокойно?

— Позвольте! Но я не вижу никаких оснований и для особых волнений. Ведь в последнее время наше сельскохозяйственное машиностроение...

— Не спорю,— перебил я профессора,— успехи его огромны! У нас в последнее время действительно появилось уже немало хороших машин, которые совершили подлинную революцию в сельскохозяйственном производстве. Но в то же время... Вот недавно был у меня разговор с одним крупным специалистом в области механизации сельского хозяйства — да вы, наверно, знаете его лучше, чем я,— с академиком Желиговским. Он рассказывал потрясающие вещи. Оказывается, мы пашем до сих пор со скоростью лошади, идущей шагом, только потому, что рабочая поверхность плуга, эмпирически найденная сто лет назад для конной тяги, осталась неизменной и по сей день. У меня даже формула где-то записана... В нее, насколько я помню, скорость движения плуга входит в третьей степени. И поэтому стоит увеличить эту ско-

рость, допустим, втрое, как бесполезная затрата тяговых усилий возрастет в двадцать семь раз. То же самое получается и с очисткой зерна. Ведь наши «вимы»...

— Н-да,— усмехнулся профессор,— я, конечно, очень уважаю Владислава Александровича, но то, что он вам рассказал... Здесь же нет никакого открытия! Это известно всем...

— Да ведь в этом-то все и дело! — продолжал я возмущаться.— Все мы знаем об этом и в то же время... Мы создаем невиданные в истории техники сверхскоростные космические снаряды и в то же время пашем, как сотни лет назад, чуть ли не на волах. Мы выпускаем на поля остроумнейшую машину, заменяющую сотню рабочих рук, и в то же время эта машина не может работать, если мы не приставим к ней полсотни баб, вооруженных кухонными ножами. Наши талантливейшие механизаторы, такие, как Гиталов, как Мануковский, прилагают все усилия к тому, чтобы внедрить комплексную механизацию, чтобы облегчить труд в сельском хозяйстве, чтобы сделать его разновидностью индустриального труда, но вдруг выясняется, что у нас нет каких-то паршивых механических вилок для раздачи силоса, и все их усилия, все достижения идут насмарку... Ну скажите, можно ли дальше терпеть все это?..

Профессор красноречиво развел руками, как бы говоря: да, мол, все это так, но что я могу сделать? И рада б душа в рай, да грехи не пускают...

* * *

Перед отъездом из Москвы мне пришлось беседовать с известным экономистом Владимиром Григорьевичем Венжером. Он вернулся как раз с Кубани и привез очень любопытные данные. Из его расчетов получалось, что при обычном уровне механизации возделывания кукурузы выращивать ее на зерно гораздо менее выгодно, чем сеять на той же площади такие культуры, как ячмень или даже пшеница, и скормливать их скоту.

Напутствуя меня, он советовал:

— Обязательно поинтересуйтесь, как обстоит там дело с себестоимостью кукурузы. Вероятно, у Гиталова, при комплексной механизации, совсем иная картина. Обязательно поинтересуйтесь! Это ведь очень важно...

И вот на второй или третий день моего пребывания в бригаде, еще до встречи с председателем, я отправился в правление колхоза, чтобы поговорить с бухгалтером.

Выйдя за ворота полевого стана, я прошел километра полтора вдоль поля, окаймленного густой, уже тронутой слегка осенним багрянцем полезательной лесной полосой, завернул за угол и увидел Камышеватое...

Мне припомнилась еще одна беседа с Гиталовым.

Это было в тот самый пасмурный январский день 1958 года, когда он повез меня в только что отстроенный полевой стан.

Помните, осмотрев его, мы сели в «Победу», проехали километра полтора по этой же полевой дороге, повернули в сторону и точно так же увидели село. Оно раскинулось перед нами — огромное, безалаберное, хмурое, как темная осенняя туча. Но тут выглянуло солнце, и село заискрилось вдруг, заиграло россыпью беленьких хат.

— А хорошо здесь, видно, весной! — промолвил я.— Помните, как у Шевченко: «Цвितуть сады, билиють хаты...» Поэзия!

Гиталов как-то неопределенно хмыкнул.

— Да, поэзия! — сказал он, помолчав.— Этого у нас хватает, да только... Не знаю кто как, а я охотно променял бы всю эту селянскую поэ-

зию — и «садок вишневый коло хаты», и «тыхи вербы над ставом» — на добрые тротуары, чтобы не месить грязь в непогоду, да на благоустроенные дома с ваннами, с водопроводом, с канализацией... Вот мы боремся за культуру сельского хозяйства, а давайте говорить по совести: ну можно ли добиться настоящей производственной культуры, если мы не возьмемся как следует за культуру всего колхозного села, за культуру домашнего обихода? Это же связано одно с другим! Надо, чтобы человек приучался к чистоте и порядку с детства. А так ли у нас ладно с этим делом? Та я ж человека не могу пригласить к себе в хату! Семья большая, тесно... Вот и приходится в полевой стан приглашать!.. Конечно, и так наше село не сравнить с тем, что было когда-то в старину. Вот электростанцию поставили, радио провели, кое-какие общественные здания построили... Но всего этого мало, мало!.. — И вздохнул: — Эх, разбогатеть бы нам хоть грошки, силы набраться!..

Пройдя в село, я не заметил здесь почти никаких изменений. Те же старинные, довольно убогие украинские хатки с подслеповатыми окнами и серыми неуклюжими шапками соломенных крыш. Тот же сельунивермаг — единственное, пожалуй, приличное здание, не считая школы. То же невзрачное здание правления колхоза, построенное кое-как еще в 1957 году. Тот же крохотный Дом культуры...

Ну, а новый председатель Зайченко, что же он?..

Ага, вот и новое! Вдоль улицы, сразу же за правлением, рассыпалось в ряд с десятком только что отстроенных, еще не оштукатуренных и не заселенных стандартных шлакобетонных домиков... И это все?

— Как это все! — обиделся бухгалтер колхоза Василий Данилович Марченко, с которым я познакомился несколько минут спустя. — А два механизированных коровника, а птичник, а овчарня!.. Вот новую механическую мастерскую начали строить. Видели? У Гиталова... Деревобделочную мастерскую построили, пилораму... Насосную станцию... Водопровод провели на фермы... Электрифицируем вот одну из дальних бригад. Автовесы в двух бригадах поставили. Знаете, какую они экономию нам дают? Потом... Дайте вспомнить! Что же еще?..

— Но ведь это все производственные постройки! — заметил я. — А культурно-бытовые?

— Пожалуйста! Жилые дома видели? Это раз. Двое детских яслей — это два... Столовую начали строить, комбинат бытового обслуживания... Да ведь это только начало! Знаете, какие у нас планы? Погодите, сейчас я вам покажу. Пойдемте!

Мы зашли в кабинет председателя, и Марченко, порывшись в шкафу, положил передо мной кипу синек. Потом развернул одну из них. Это был генеральный план реконструкции и застройки села Камышеватого, составленный по заказу колхоза Кировоградским облпроектком. Такой же генеральный план, вычерченный на ватмане и раскрашенный акварелью, висел на стене кабинета.

— Видите? — продолжал с увлечением бухгалтер. — Вот здесь, в центре села, будет Дом культуры со зрительным залом на четыреста мест, а вокруг — парк... Даже место для бюста Гиталова предусмотрено! Тут же, неподалеку, — новое здание правления, сельсовет, колхозная гостиница, комбинат бытового обслуживания (он уже строится), столовая (тоже строится), баня... Здесь — новый промтоварный универмаг, почта, больница, аптека, детсад, родильное отделение... Чуть дальше — стадион... А это все жилые кварталы. Ну и, понятное дело, всюду профилированные дороги, тротуары, водоразборные колонки... Здорово, а? — спрашивал он, сверкая глазами; потом вдруг сник, тяжело вздохнул. — А только... когда это все будет?.. Эх, нам бы силенок чуть побольше!

Я с интересом разглядывал его. Молодой, красивый, горячий, он как-то не укладывался в рамки обычных представлений о колхозном бухгалтере. Нет, он положительно нравился мне, этот энтузиаст сельского строительства!

«Уж он-то, наверно, еще больше «в курсе дела», чем Письменко!» — подумалось мне. А он продолжал:

— Вот были мы недавно целой делегацией у Макара Анисимовича Посмитного, в колхозе имени Двадцать первого съезда партии...

— Вы хотите сказать — имени Буденного?

— Да его ж переименовали недавно! Мы еще шутовали между собой: в названии только на единичку отстали — у нас «имени Двадцатого съезда», а у них «имени Двадцать первого»... Но как нам далеко еще до них на деле! Они и хутор Гладкий тоже переименовали. Теперь это уже не хутор, а село Расцвет. Вот уж действительно расцвет! То, что у нас только еще, можно сказать, в мечтах, там давно уже наяву. А какая забота о людях! Вы давно там были? В прошлом году? Так вы ж, наверно, видели, как организовано там снабжение колхозников молоком? Они ж всех своих коров продали колхозу, и теперь... У каждого по два бидончика с номерами и набор жетонов. Надо хозяйке, скажем, два литра молока — она бросает жетон с цифрой «2» в бидончик и выставляет его за ворота, а утром подъезжает «москвичок», подбирает этот пустой бидончик в кузов и ставит вместо него полный, с молоком... Красота! А видели у них новый автоматизированный хлебозавод? В полмиллиона обошелся колхозу! Как зашли мы туда, прямо глазам не поверили, что такое может быть на селе: девчата в белых халатиках, как в лаборатории, ходят, только кнопки нажимают... Мне не раз приходилось слышать, что Посмитный — «великий коммерсант», все только ради выгоды делает. Ну, думаю, наживется теперь колхоз на этой автоматике! Он же, наверно, всю округу хлебом снабжает... Подхожу к Макару Анисимовичу и спрашиваю: дескать, большой доход от завода? А он как глянет на меня так это сердито! «Тут, — говорит, — барыша нет!» Мне даже неловко как-то стало... Ну, так они ж могут себе это позволить, у них колхоз по земельной площади почти вдвое меньше, чем у нас, а доходы — почти в пять раз больше. И на трудовень у них выдают почти по двадцать рублей...

— А у вас? — спросил я.

— Прошлый год был у нас наиболее урожайный, и мы сумели выплатить на трудовень по два килограмма хлеба и по пять рублей деньгами. В этом году наместили по килограмму и по шесть рублей, но до шести рублей вряд ли удастся дотянуть. И урожай в нынешнем году намного хуже, да и строиться ведь нужно!.. Нет, по сравнению с такими передовыми колхозами, как у Посмитного, мы еще бедняки. Как говорится, далеко куцому до зайца!..

— Чем же все это объяснить? — продолжал допытываться я. — Природные условия у вас такие же, как и на Одешине: и там чернозем — и здесь, и там засушливая степная зона — и здесь... Правда, там виноград выращивает. Но ведь у вас же Гиталов, лучшая в Советском Союзе тракторная бригада!.. Я не раз бывал у Посмитного и знаю, что механизаторы там работают неплохо и бригадир Юрий Дымов у них тоже парень хоть куда, но и сам Дымов мне говорил, что до Гиталова ему еще далеко. Да так оно и есть! Ведь то, что делает у вас Гиталов... Или, может быть, вся эта комплексная механизация нерентабельна?

— Как это нерентабельна? — снова обиделся бухгалтер. — Вот пойдемте, я вам сейчас покажу!..

Мы снова вернулись в бухгалтерию, и он, порывисто отворив дверку шкафа, стал выкладывать на стол пухлые папки годовых отчетов.

— Смотрите! — говорил он. — В 1956 году — это еще без комплексной механизации — один центнер кукурузы в зерне обходился нам в 83 рубля, а в 1958 году — только в 14,8 рубля. Небывалое дело: себестоимость центнера такой трудоемкой культуры, как кукуруза, почти втрое меньше себестоимости пшеницы! И урожайность у нас — не только кукурузы, но и всех других зерновых культур — дай бог каждому, не хуже, чем у Посмитного!

— Но тогда... в чем же дело?

— Да в том, что... Вам никогда не приходилось заглядывать в годовые отчеты Посмитного? Так вы ж, наверно, заметили, какая там структура доходов: от животноводства доход намного больше, чем от полеводства. И это нормально. Так и должно быть в каждом культурном многоотраслевом хозяйстве. А у нас?.. Смотрите, что получается! Вот, скажем, в 1957 году: доход от полеводства составил миллион шестьсот шестьдесят три тысячи, а от животноводства только шестьсот с лишним тысяч. В 1958 году в связи с повышением цен, да и по другим причинам — все ж таки жизнь идет вперед, и хозяйство из года в год развивается — общий доход колхоза вырос более чем в два раза, но соотношение между суммами доходов от полеводства и животноводства осталось примерно такое же: полеводство дало три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи, а животноводство только миллион двести шестьдесят пять тысяч. В нынешнем году это соотношение немного изменилось к лучшему. Но и это еще далеко не то, что нужно. Животноводство наше все еще отстает от полеводства. Ох, как отстает!..

— Но почему? В чем главная причина?

— Да в чем же!.. Тут ведь своего рода диалектика: животноводство отстает потому, что слабые доходы — не хватает средств на строительство новых животноводческих помещений, на покупку высокопородного скота, — а слабые доходы потому, что отстает животноводство...

— Но ведь в итоге...

— А в итоге получается, что все наши достижения — и высокие урожаи, которые выращивает нам гиталовская бригада, и комплексная механизация, — все летит, можно сказать, коровам под хвост!

— Позвольте, так что же это выходит? — спросил я, не будучи в состоянии переварить еще как следует возникшую внезапно мысль. — Выходит, что бригада Гиталова работает вхолостую?

— А что вы думаете? Так оно и есть!

Марченко сердито отодвинул от себя кипу годовых отчетов. С минуту помолчал, закусив губу. Потом снова заговорил:

— Я не хочу сказать, что наш колхоз такой уж слабый. В последнее время он уже довольно крепко встал на ноги. Особенно после прихода к руководству нового председателя. Но давайте говорить прямо... Да вы ж видите это и сами! И наши доходы, и заработки колхозников, и благоустройство нашего села... Да разве ж соответствует все это тем большим делам, что творятся у нас на полях? На гиталовскую бригаду, весь Украиня смотрит, весь Советский Союз! Даже до Америки слава о ней докатилась. А у нас... Вот я рассказывал, что мы ездили на Одещину, к Посмитному. Так ведь и оттуда к нам тоже приезжали! Ну, пока ходили по полям, осматривали там бригадный стан — все было хорошо, а как пришли в село... Ей-богу же, прямо-таки стыдно стало за нашу бедность! А ведь сколько приезжают к нам со всех концов Советского Союза набираться опыта!.. Что ж, поучиться у нас есть чему... В смысле механизации, конечно. Ну, так вы ж сами понимаете: разве она нужна кому-нибудь сама по себе, эта механизация? И потому каждый вправе сказать: «Да чем же вы хвалитесь, если до сих пор по пяти рублей на трудодень платить не можете, а сами в дедовских хатах живете?»

Вон в других колхозах и нет комплексной механизации, а посмотрите, как там люди живут!» И нечего им ответить. Обидно! Ох, как обидно!..

— Ну, а механизаторы... Что же они сами думают об этом?

— А механизаторам что!.. Их, конечно, тоже все это задевает. Но, сказать по правде... Знаете, как они у нас зарабатывают? Бригадир тракторной бригады получает почти столько же, сколько и председатель колхоза, учетчик — больше бухгалтера, а уж о трактористах и говорить нечего — каждый из них зарабатывает в несколько раз больше любого колхозника. Главное же то, что их оплата почти совсем не зависит от конечных результатов производства. Для них ведь до сих пор сохранены все прежние привилегии... Посмитный, между прочим, давно уже все это поломал. У него в колхозе совсем иная система оплаты труда механизаторов...

— Да разве дело только в оплате?

Я уже упоминал своего деда. Теперь мне вспомнилась еще одна рассказанная им когда-то притча.

...Едет как-то в степи мудрец. Видит — косят люди сено. Останавливается он, спрашивает: «На чьей земле косите?» — «На господской». — «А сколько получаете?» — «По гривне в день». — «Вот что, — говорит мудрец, — я буду платить вам по пять гривен, только вы не косите, а просто так водите косами, по воздуху!» Косари согласились. Еще бы! И плата добрая, и работа не в пример легче. Но прошло полдня, и косари побросали косы наземь. «Нет, — сказали они, — лучше даром работать, да знать, что ты делаешь какое-то полезное дело!»

— Так то ж они на чужой земле косили! — говорил мне, хитровато улыбаясь, дед. — А если бы на своей?..

«Конечно, — думал я, — механизаторы находятся здесь в гораздо лучших условиях, чем остальные колхозники. Но неужели их не беспокоит то положение, которое создалось в колхозе? Неужели им не больно, не обидно, что их труд (и какой труд!) не дает в конечном счете тех результатов, какие он мог бы дать? Да не может этого быть!..»

* * *

Наконец мы встретились с председателем. Он заехал за мной на левой стан, сидя за рулем молоковоза, — его «Победа», как выяснилось, была в ремонте; и, право же, если б у нас в цистерне действительно было молоко, так оно бы, наверно, очень быстро превратилось в масло — настолько стремительно носились мы с ним потом по ухабиستم проселкам, осматривая разбросанное хозяйство колхоза, и настолько горячо обсуждали, сидя в тряской кабине, сложные колхозные дела.

Василий Григорьевич Зайченко — агроном по образованию, работавший какое-то время, после реорганизации МТС, начальником райсельхозинспекции и только недавно избранный на пост председателя колхоза, — был охвачен пылом созидания. Он с гордостью показывал мне все законченные и еще не законченные строительством «объекты»: и новый коровник, построенный по совету Гиталова таким образом, чтобы в него могли заезжать малогабаритные тракторы с прицепами, груженными кормом для скота, и другой, менее замечательный коровник, и овчарню, и птичник, и детские ясли. Но за этой гордостью, за неподдельным оживлением увлеченного своим делом энтузиаста ясно были видны и предельная усталость человека, навалившего на свои плечи непомерно тяжкий груз, и некоторая неловкость за выпирающую отовсюду острыми углами бедность и неблагоустроенность (особенно в отдаленных хуторах и селах колхоза, выглядевших еще более убого, чем Камышеватое), и явная тревога за дальнейшую судьбу вверенного ему большого, несомненно растущего, но еще недостаточно окрепшего хозяйства.

Я коснулся своего разговора с бухгалтером, и Василий Григорьевич сразу же согласился с тем, что действительно общий уровень экономики колхоза и благосостояния колхозников никак не соответствует тем большим, государственной важности делам, которые творит на полях этого же колхоза передовая бригада механизаторов.

— А вот как ликвидировать это несоответствие,— говорил он,— прямо ума не приложишь...

Председатель колхоза стал жаловаться на «диспропорцию», как он выразился, между промышленностью и сельским хозяйством (вечная тема разговоров со всеми председателями!), на отсутствие планового снабжения колхозов строительными материалами и оборудованием, на осужденное партией, но сохранившееся еще и до сих пор предвзятое отношение к колхозам как к представителям «низшей» формы социалистического хозяйства, на мелочную опеку над колхозами со стороны районных руководителей, на опеку, которая сковывает подчас творческую инициативу колхозов, не дает им работать самостоятельно, и, наконец, на тот экономический и организационный ущерб, который причиняют в последнее время колхозам РТС — эти осколки прежней, уже отброшенной жизнью системы материально-технического обслуживания колхозов через машинно-тракторные станции.

— Знаете, во что нам влетает теперь обслуживание техники? — говорил бывший директор МТС.— Особенно когда дело доходит до капитального ремонта. Получишь иной раз счет... Ей-богу, выгоднее новую машину купить! С текущим ремонтом немного легче. Мы ведь сами почти все стараемся делать. Но и тут, прямо сказать, обдираловка... Запчасти теперь чуть не в три раза дороже стоят, а потом еще накладные расходы РТС. Да и времени-то, времени сколько тратится впустую на всякие формальности! Эх, не так бы это дело надо поставить!..

— А РТС ваша где,— спросил я,— на месте бывшей Мало-Помошмянской МТС?

— Да нет, тут только филиал. Вы ведь бывали у нас в МТС? Помните, какие там мастерские! И вот почти не используются...

— А почему бы вам не прибрать их к рукам, эти мастерские? Василий Григорьевич удивленно посмотрел на меня.

— То есть как это «прибрать к рукам»?

— Да попросту купить!

Он рассмеялся.

— Что вы! Да разве нам это под силу?

— А если кооперироваться с другими колхозами? Или сделать так, как делают теперь многие... Вы не знали случайно своего коллегу, бывшего директора знаменитой Деминской МТС Прокофия Захаровича Гвоздкова?

— Пойдите, Деминская МТС... Это в Сталинградской области? Как же! Помню, помню...

— Так знаете, какая произошла с ним история?

И я рассказал эту историю, казавшуюся мне весьма примечательной.

В конце 1957 года, когда на страницах печати разгорелась дискуссия о проблеме взаимоотношений между МТС и колхозами, Гвоздков выступил как яркий противник идеи реорганизации МТС и продажи техники колхозам. Он призывал и дальше укреплять МТС как незыблемую основу колхозного строя. И вот произошла реорганизация... Гвоздков почувствовал себя чуть ли не погибшим человеком. Ведь в МТС он вырос, стал Героем Труда, в МТС была вся его жизнь! Но тут дело обернулось совершенно неожиданным образом. Пять колхозов, входивших прежде в зону Деминской МТС, решили объединиться в одно хозяйство, с тем

чтобы купить не только технику МТС, но и самую МТС с мастерскими и всеми прочими постройками. Председателем объединенного колхоза был избран Гвоздков. И что же? В прошлом году у него на борту пиджака появилась вторая звездочка Героя...

— Вы знаете, как хорошо пошли у них дела? — рассказывал я. — Да они почти совсем не испытывают всех тех неудобств, какие причиняют РТС другим колхозам. Ведь у них же теперь своя собственная техническая база! Главное же то, что, объединившись вокруг этой мощной технической базы, они получили огромные возможности для нового экономического взлета. Вы понимаете?

— Что ж, и не удивительно! Но знаете...

Зайченко круто повернул «баранку», чтобы объехать какой-то овраг, и наш молоковоз гулко загромыхал, как пущенная под откос пустая железная бочка.

— Но знаете, — продолжал он, — чтобы окончательно ликвидировать такое положение, когда отдельные хозяйства, вот вроде колхоза имени Двадцать первого съезда партии на Одешине, чуть ли не в коммунизм уже вступают, а другие, вроде нас, несмотря на все старания, никак не могут выбиться в передовые, — для этого, мне кажется, нужны какие-то коренные меры в масштабах всей страны.

— А что вы скажете об идее колхозсоюзов? — спросил я. — Не кажется ли вам, что создание межколхозных кооперативных объединений и могло бы как раз разрешить ту самую проблему, о которой вы говорите?

— Возможно...

— Посмотрите, что получается при укрупнении колхозов, — продолжал я. — К сильному колхозу присоединяются два-три слабых, происходит перераспределение средств, появляется возможность специализации отдельных хозяйств, все силы концентрируются под единым руководством, и все объединенное хозяйство сразу же поднимается на новую ступень экономического развития. А если распространить такой же принцип кооперирования колхозов на весь район, на всю область, а то и дальше?..

— Да ведь к этому, как видно, все уже идет! Вот, например, у нас на Кировоградщине, в Александрийском районе... Вы не слыхали, что там творится?

Да, я уже слышал об этом. Как мне говорили, там уже фактически произошло кооперативное объединение колхозов в масштабах всего района. В районе создали межколхозный совет, в распоряжении которого уже сейчас около десятка самых различных межколхозных организаций: предприятия по производству строительных материалов, несколько прорабских участков, откормочные пункты для скота, плодопитомник и даже профессиональный ансамбль песни и пляски, выросший из колхозной самодеятельности. Сейчас райколхозсовет строит мощный консервный завод, а в дальнейшем собирается «прибрать к рукам» и РТС и все районные снабженческо-сбытовые конторы. Кооперативное объединение колхозов дало возможность создать межколхозный гарантийный фонд заработной платы, и теперь все колхозы района перешли на денежную систему оплаты труда...

— Да, говорят, неплохо пошли там дела! — говорил мне Зайченко. — Что ж, как видно, такой путь подсказывается самой жизнью...

— Ну, а что вы скажете о моем предложении? — спросил я.

— Чтобы объединиться и купить мастерские бызшей Мало-Помошнрянской МТС? — Зайченко помолчал. — Да что ж тут сказать... Лично мне эта идея нравится. Вот приедет Александр Васильевич, обсудим!..

* * *

Вначале я рассчитывал после встречи с председателем колхоза сразу же двинуться дальше. Но у меня из головы не шла притча о косарях, и я решил во что бы то ни стало поговорить с механизаторами.

Долгое время, однако, это никак не удавалось.

Помог случай. Как-то во второй половине рабочего дня, когда я совсем уже было собрался уезжать, внезапно полил довольно сильный дождь, и механизаторы собрались на полевом стане. Молодежь столпилась вокруг бильярда. Старики сидели, покуривая, на крылечке.

— Я извиняюсь,— обратился ко мне один из них,— вы уже как будто бывали у нас в бригаде? То-то, я бачу, мне ваша личность вроде знакомая...

— Да и мне ваша тоже,— сказал я.— Вы, если не ошибаюсь, Петро Коршенко?

— Он и есть! А вы кто ж будете?

Мы разговорились. Зашла речь о делах бригады, о Гиталове.

— А что Гиталов! — сдержанно сказал широкоплечий, богатырского сложения механизатор, под стать самому Гиталову, по фамилии Танцюра.— Он человек известный, ему теперь не до нас...

Да... Что-то без особого энтузиазма отзывались теперь гиталовцы о своем бригадире, не то что прежде!

В чем же дело?

Механизаторы стали сетовать на то, что в последнее время они почти и в глаза не видят своего Сашка. Он, конечно, руководит бригадой. Да кто же, как не он, и заварил всю эту кашу с комплексной механизацией! Это ведь всем известно. Его твердая рука чувствуется даже и тогда, когда он в отъезде. А придет, так, верите ли, даже как будто и тракторы начинают веселее гудеть. Ничего не скажешь, Александр Васильевич в своем деле стратег. Настоящий руководитель! Но только... Раньше, бывало, он не только каждый свой трактор различал по голосу, но и мысли каждого тракториста угадывал на расстоянии, душу его насквозь видел. Все дела решались дружно, сообща. А теперь...

— Когда у нас, Петро, было последнее совещание в бригаде? — повернулся к Коршенко Танцюра.

Начали вспоминать, да так и не вспомнили.

— А поговорить есть о чем. Ох, сколько всего накопилось!

И механизаторы, волнуясь и перебивая друг друга, начали выкладывать мне примерно то же самое, что я уже слышал от колхозного бухгалтера. Вспомнили и о поездке на Одещину к Посмитному и о приезде товарищей оттуда, с Одесщины...

Что ж, нечего греха таить, зарабатывают они здесь, конечно, дай бог каждому, и, может, прав в какой-то мере Макар Анисимович, когда он попрекает Гиталова за то, что его бригада дороговато обходится колхозу. Но разве у них самих, колхозных механизаторов, не болит душа за колхоз? Разве им самим не обидно, что их труд, который и в самом деле не так уж дешево стоит колхозу, идет порой прахом, не дает того, что мог бы дать?..

Вяснилось, что механизаторы не только глубоко переживали то положение, которое создалось в колхозе, но и чувствовали ответственность за это положение. А как же! Что там ни говорите, а механизаторы — это ж теперь основная сила в колхозном производстве. Так они понимают...

Я рассказал о своем разговоре с Зайченком относительно того, чтобы объединиться колхозу с соседями и купить мастерские и вообще все постройки бывшей Мало-Помошнянской МТС.

Механизаторы помолчали, поразмыслили немного, перекинулись между собой двумя-тремя фразами и пришли к единодушному мнению, что

это было бы, пожалуй, неплохо. А что, на самом деле! До каких пор валандаться с этой РТС? И так уж невольно... Да и то верно, что мастерские бывшей Мало-Помошнянской МТС в колхозных руках больше пользы будут давать. Что же касается объединения с другими колхозами, то надо, конечно, все это еще обмозговать как следует, но ведь известное дело — гуртом, как говорится, и батька легче бить!..

* * *

Несколько дней спустя, погожим сентябрьским утром, я уже тряся в автобусе по пути из Ялты в Мисхор, близ которого, в санатории «Днепр», отдыхал Гиталов.

А вот и «Днепр»! Здесь все было наполнено атмосферой солнечного, безмятежного отдыха и бездумного безделья. На скамейках главной аллеи парка сидели отдыхающие. Одни читали, другие весело болтали, перебрасывались шутками. Где-то бухал волейбольный мяч..

Гиталова я нашел в глубине парка за карточным столом. Он сидел в мужской компании. «Гуляли» — так говорят на Украине, — по-видимому, в дурня, и он, весело переговариваясь с партнерами, с силой шлепал потрепанными картами о стол.

Как же подступиться к нему с деловым разговором?

Я подошел к самому столу — никакого впечатления. Зашел с другой стороны — тот же результат.

Может быть, он не узнает меня?

Я подождал, пока закончится очередной круг, и тронул его за рукав.

— Здравствуйте, Александр Васильевич! Узнаете?

Он глянул на меня исподлобья, покрутил головой, вздохнул.

— Та узнаю!..

Мы пожали друг другу руки. В это время один из партнеров поднялся из-за стола. Гиталов кивнул на освободившееся место.

— Садитесь пятым! Мы каждый за себя, без союзников..

Пришлось сесть.

Ну, вы можете представить себе, что это была для меня за игра. Мы «сгуляли», наверно, раз двадцать, и я не менее десяти раз остался дурнем. Гиталов — ни разу.

Подошло обеденное время, да и дождик стал накрапывать. Прервав игру, все двинулись к столовой.

Гиталов шел впереди, оживленно обсуждая результаты состязания с кем-то из партнеров и не обращая на меня ни малейшего внимания. Я догнал его.

— Александр Васильевич! Я к вам, собственно, по делу..

Он остановился, нахмурился.

— Та я чувствую. А только ничего у нас с вами не выйдет. Я здесь отдыхаю. И..

— Александр Васильевич!..

Я почувствовал в своих интонациях жалкие, заискивающие нотки, и это ожесточило меня. Подумаешь, «отдыхаю»!.. Но я вовремя сдержал себя.

— Александр Васильевич, давайте не ссориться. Мы ведь знакомы не первый год. Я много писал о вас и..

— Знаю. И ничего против вас не имею. Ну так всему ж свое время! Вот кончится отпуск — пожалуйста, приезжайте в колхоз и..

— Да ведь я там был, Александр Васильевич!.. В том-то и дело! Поймите, у меня обязательство перед журналом.. Это ж не моя прихоть!..

— Понимаю. Так поймите ж и вы меня, Иванэ Федоровичу! За много лет я впервые выбрался отдохнуть, подлечиться.. Ну, скажите, распространяется на меня Конституция или нет?..

Самое неприятное и трудное для нас обоих было в том, что мы действительно очень хорошо понимали друг друга и по-человечески сочувствовали друг другу. Но недаром оба мы принадлежали к одному и тому же племени упрямцев. Тут, как говорят у нас на Украине, нашла коса на камень.

— Вы меня извините, Александр Васильевич, мне очень неловко, что я нарушаю ваш покой, но раз уж я приехал...

— Нет, Иванэ Федоровичу, вы не обижайтесь на меня, что я вас так принимаю, но раз уж я сказал...

Дождь припускал все сильнее. Катастрофически приближалась столовая.

— Ну что ж,— сказал я в отчаянии,— так тому и быть. Я уеду. Но имейте в виду: не поговорив с вами — а откладывать беседу мне никак нельзя — обо всем, что мне пришлось увидеть у вас в колхозе, я вынужден буду писать по своему собственному разумению, так, как совесть подсказывает. А это, может быть, и не очень-то вам понравится! Жалко, конечно, но что поделаешь...

Гиталов остановился:

— Погодите, а что ж вы там такое увидели?

— Так вы ж отдыхаете?..

— Ну нет, раз уж начали, так выкладывайте!

Я начал выкладывать...

Когда Гиталова окликнули из столовой (он опаздывал на обед), мы уже довольно изрядно промокли, но даже и не заметили этого.

Условились встретиться завтра как можно раньше.

* * *

На следующий день утром, приехав в санаторий и зайдя к Гиталову в комнату, я увидел несколько неожиданную картину. На диване лежал раскрытый элегантный чемодан явно американского происхождения. Всюду были разложены свежевыглаженные сорочки, галстуки, носовые платки, носки... А сам Гиталов сидел в шелковой пижаме и пришивал к брюкам пуговицу.

— Профилактическим ремонтом занимаюсь,— пояснил он смущенно и, пригласив сесть, стал извиняться за вчерашнее: уж очень допекли его всякие корреспонденты!

— Да мне рассказывали,— заметил я,— сколько их перебывало у вас в колхозе.

— Не приведи господь! А приедешь в Москву, и там такая же история. Ни в театр, ни в кино не успеваешь пойти. И у всех что-то срочное, и всем я что-то должен рассказывать... И ведь никто ни разу так и не заинтересовался, обедал ли я сегодня. Верите ли, даже ночью по телефону будили! Так я уж в последнее время так делал: официально числюсь в одном номере, а живу в другом, у приятеля...

Наблюдая за тем, как споро орудовал он крохотной иглой, едва приметной в его огромных ручищах, я вспомнил характеристику, которую дал в свое время Гиталову бывший секретарь Ново-Украинского райкома партии, ныне уже покойный, Александр Савельевич Муцынов.

— О нем рассказать невозможно!— заявил тогда Муцынов и тут же начал рассказывать.— Высокий, плечистый, грузный, он как будто самой природой предназначен для тяжелого физического труда, а ведь вся его жизнь, весь смысл его жизни и состоит именно в том, чтобы избавиться и самого себя и других от изнурительной мускульной работы. Это настоящий богатырь и в то же время настоящий механизатор — вы понимаете?—

механизатор по призванию, по убеждению — смелый, талантливый, изобретательный...

Это и в самом деле был настоящий богатырь. Его массивная, чуть сутулая фигура с наклоненной вперед, как у борца, головой свидетельствовала не только о физической, но и о большой духовной, внутренней силе, а открытое, мужественное лицо с высоким лбом, небольшими, внимательными, иронически прищуренными глазами и широкий, несколько тяжеловатый подбородок вызвали невольную симпатию. В нем угадывались и сметливый природный ум, и большое чуткое сердце, и добродушный, чисто украинский юмор, и твердый, непреклонный характер...

— ...А думаете, тут, в санатории, вы первый? — продолжал Гиталов. — Только на днях одного вашего коллегу проводил. И ничего не сделаешь — нужное дело! Он хотел, понимаете, взять у меня интервью в связи с пребыванием Никиты Сергеевича Хрущева у моего «хозяина», мистера Гарста. А я предложил написать открытое письмо самому Гарсту. Так и сделали. Да вы, наверно, читали в газете!

— А что за человек Гарст? — спросил я. — Он действительно хорошо к нам относится?

— Да как вам сказать? — Гиталов откусил нитку, помолчал. — Он же типичный бизнесмен — он ко всему подходит практически, по-деловому, с точки зрения выгоды. Был такой случай. Захожу я как-то к нему в контору. А у него сын, Дэвид, сидит. Он как раз вернулся из Югославии и рассказывает старику о своих впечатлениях. «Никакого прогресса там, — говорит, — нет, сельское хозяйство в упадке, так что никакого особого бизнеса в этой стране не предвидится». Старик как разволнуется — а он человек горячий! — и ко мне с укором: «Послушайте, мистер Гиталов, почему вы не посоветуете югославам, чтобы они и у себя организовали колхозы?» Ну что ему сказать? «Да ведь мы, — говорю, — мистер Гарст, никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран!» — «Позвольте, — возражает Гарст, — неужели вы не можете им втолковать, что только через крупное хозяйство лежит путь к прогрессу?» Ну, думаю, вот уж и капиталисты признают преимущество колхозов... Но потом мне пришлось трешки разочароваться. Нажимает он кнопку и вызывает своего клерка. «Вот, — говорит, — этот человек сам был фермером, но хозяйство у него было такое мелкое, что не давало ему никакого дохода. Я купил его ферму, теперь он работает на меня, и у него есть доход». Чуешь, как дело повернул? Что ж, нормально — капиталист!.. А так он, конечно, хороший человек — прямой, честный. Политических разговоров он вообще не любит. А вот другой кукурузный магнат, с которым мне пришлось иметь дело, мистер Финли, — так того и бифштексом не корми, только дай подискутировать о политике. Ну я, правда, не очень-то вдавался с ним в дискуссии. Джон Кристалл, мой напарник, часто мне советовал: «Брось, не трать понапрасну слов, его все равно не переубедишь!» И верно...

— А кстати, как вы там объяснялись? — спросил я. — У вас что — переводчик был?

— А как же! Была там дивчина из Москвы... Но потом я освоился немало и без переводчицы обходился. У меня в кармане русско-английский словарь, а у Джона — англо-русский... Ну и руки, конечно, помогали. А руки и у него такие же, как у меня, — с мозолями... Хороший он хлопец. Этот Джон! Вы бы видели, как мы с ним прощались!..

Гиталов помолчал немного, тепло улыбаясь, и вдруг сказал по-украински, что всегда бывало с ним, когда его охватывало волнение:

— Вин плакав, як мала дытына, той Джон!..

Закончив «профилактический ремонт», он начал складывать свои пожитки в чемодан.

Я выжидательно посматривал на него, прекрасно понимая, что весь этот разговор — и о корреспондентах и об Америке — был, так сказать, только разгоном к тому большому и важному разговору, ради которого мы, собственно, и встретились.

Гиталов положил чемодан в шкаф и сел напротив меня.

— Ну, бог с ней, с той Америкой! — сказал он, поймав мой выжидательный взгляд. — Побалакаем лучше про наши дела. Так вот. Насчет вашей идеи... Она мне, можно сказать, целую ночь не давала спать. Все обдумывал...

— Это о том, чтобы объединиться с другими колхозами и купить мастерские бывшей Мало-Помошнянской МТС?

— Да, и об этом. А только знаете, что я вам скажу? — Гиталов глянул на меня в упор. — Что-то в последнее время дуже богато появилось людей, которые выдвигают всякие идеи. А как только доходит дело до того, чтобы претворить эти самые идеи в жизнь, так их и днем с электрической лампочкой не найдешь...

— Это что же, в мой огород камушек?

— А хотя бы и в ваш! Вот я слушал вас вчера, когда вы доказывали мне все выгоды создания крупного объединенного хозяйства... Что ж, толково! Ничего не могу сказать против. Ну, так вот и возьмитесь же за это дело, раз вы так за него ратуете! Вам и карты в руки. Давайте поедем прямо отсюда к нам, на Кировоградщину, — создадим крупный объединенный колхоз, купим мастерские РТС, все, как вы и предлагаете, и выберем вас председателем, я вашу кандидатуру подержу, а в крайнем случае заместителем к вам пойду... Что, улыбаетесь? Вот то-то же и оно! Да я заранее знаю, что вы мне скажете в ответ: я, мол, журналист, литератор, мое дело только вскрыть те или иные недостатки, выдвинуть правильную идею, а ваше — устранять недостатки, претворять эту идею в жизнь. Каждому, дескать, свое. Я, дескать, должен заниматься тем, что хорошо знаю, к чему у меня талант, а председатель колхоза из меня может и не получиться... Цэ ж воно так, правда? И правильно! Так почему же я не могу то же самое сказать?.. Надо объединиться с другими колхозами? Давайте объединяться! Надо купить мастерские? Давайте купим! Надо, чтобы я возглавил не одну, а три бригады? Хорошо, давайте возглавлю! А что я могу еще сделать? Я ж механизатор! Чуєте? Механизатор! В этом моя жизнь, мой талант! Мое дило мирошныцькэ, пидкруты та й сядь. Но я должен подкрутить так, чтобы вся моя мельница ходуном ходила, чтобы каждая хозяйка сказала мне спасибо за мою муку, чтобы на опаре из той муки все наше село взошло, как белая пшеничная паляница в печке. Так вот же в чем моя миссия! Цэ ж воно так, правда?

Я молчал.

— Вам, наверно, рассказывали, — продолжал он, — как честил меня мой друг Макар Анисимович Посмитный за то, что наши механизаторы, на его думку, «даром грóши получают», что они зарабатывают много больше любого колхозника? Рассказывали? Ну, ясное дело! Что ж, может, в какой-то мере он и прав. Ничего не скажешь, тут есть какая-то несправедливость, и мы должны ее ликвидировать. Ну, так к этому ж делу можно подойти с двух концов. Можно сделать так, как советует Посмитный: снизить оплату механизаторов и подогнать ее к зарплаткам всех остальных колхозников. Спрашивается, кому от этого будет польза? Так не лучше ли наоборот, поднять зарплатки всех остальных колхозников до уровня оплаты механизаторов? А для этого надо сделать так, чтобы все колхозники стали механизаторами.

— Позвольте, но разве это возможно? — изумился я.

— Ага, вот видите! Вы этого не понимаете. И Макар Анисимович не понимает, хотя он и опытный председатель колхоза. А я понимаю и собираюсь это сделать, потому что я механизатор! Да что ж вы думаете, даром меня партия посылала в Америку набираться опыта, если уж на то пошло?.. А теперь давайте посмотрим, что ж оно делается в той Америке. У Гарста две тысячи триста гектаров земли, полторы тысячи голов рогатого скота, сто свиноматок с приплодом да еще комбикормовый завод. И все это хозяйство обслуживают одиннадцать человек. Когда рассказываешь об этом у нас, никто не верит. А на самом деле ничего тут хитрого нет. Я сам в этом хозяйстве более трех месяцев обрабатывал сто гектаров кукурузы и кормил каждый день восемьсот голов скота. Так неужели ж мы не можем сделать этого и у себя? Правда, для такой работы нужны и соответствующие машины. Но дело не только в машинах. Вы, наверно, знаете о том, что мы купили в Америке оборудование для нескольких кукурузных комбикормовых заводов и построили их на Кубани. Так вот, это оборудование было куплено как раз у того самого мистера Финли, о котором я говорил. А он, этот мистер Финли, кинолюбитель. Когда заводы вступили уже в строй, он побывал в Советском Союзе и снял их работу на пленку, а потом, уже в Америке, не раз показывал свой фильм в моем присутствии. Американцы смотрят и поражаются масштабами нашего производства. Они ж никогда не видели таких массивов кукурузы, такого потока машин с зерном! А я, глядя на тот фильм, прямо зубами скрипел от злости. Вы понимаете? Заводом управляет один человек, там все автоматизировано, а подъезжают машины с зерном, и на них сразу же набрасывается целая армия баб с лопатами... Та вы ж и сами видели примерно такую же картину у нас в колхозе на уборке сахарной свеклы! Вот и получается: один с плоской, а семеро с ложкой... В последнее время мне часто приходится бывать на заводах сельскохозяйственного машиностроения и беседовать с конструкторами. Вот и недавно на одном заводе показали мне новые машины, предназначенные для комплексной механизации возделывания пшпашных культур, а я посмотрел на них и говорю: «Что ж, машины хорошие, а только не видать им комплексной механизации, как сове солнца». Конструкторы обиделись. «Почему?» — спрашивают. «А потому, — говорю, — что к каждой вашей машине нужна еще подсобная рабочая сила. Надо думать не только о создании машин для основных трудоемких процессов, но и о механизации всех подсобных работ, о механизации всего технологического процесса». Вы понимаете, в чем тут суть?

— Понимаю, — сказал я. — Но как же все-таки добиться того, чтобы каждый колхозник стал механизатором? Ведь мало же иметь набор машин для комплексной механизации всего производственного процесса, надо еще и овладеть этими машинами. А это не так просто даже для механизаторов, не только для рядовых колхозников...

— Очень правильный вопрос! — Гиталов помолчал. Потом иронически улыбнулся. — Знаете, как называл меня Гарст? «Русский инженер Гиталов», хотя и знал о том, что я такой же простой тракторист, как и его племянник Джон Кристалл. Его удивляло то, что я не только мог работать на любой машине, но и запросто ремонтировал эту машину, когда случалась та или иная неполадка. У нас много писали об этом в газетах и ставили мне в заслугу то, что я на все руки мастер — и механизатор и механик. А на самом деле здесь нет никакой заслуги. Вы думаете, почему Джон Кристалл не занимается ремонтом машин? Да потому, что он не механик, а только механизатор. Если бы он был механиком, то Гарсту пришлось бы и платить ему побольше, как механику, а

это ему невыгодно. Вы понимаете, в чем тут суть? А у нас каждый механизатор вынужден быть механиком. Чуете? Вынужден! Если б он надеялся только на РТС, то не мог бы работать. Цэ ж воно так, правда? Так вот слушайте ж дальше, что оно получается! А получается то, что и это дело надо решать с двух концов. С одной стороны, надо сделать так, чтобы каждый механизатор стал универсалом. А то ведь как у нас бывает? Допустим, я комбайнер. Так я ж поработал месяца два в сезон, заработал на целый год и лежу себе, поплеываю в потолок. А разве это дело? Каждый механизатор должен уметь управлять и трактором, и комбайном, и всей механизацией на животноводческой ферме. Но, с другой стороны, его надо освободить от ремонта машин, от обязанности быть и механиком. Вот тогда и сможет с легкостью обучиться нашему делу любой колхозник. Согласны?

— Хорошо, согласен,— сказал я,— допустим, все произойдет, как вы говорите. Но ведь в этом случае...

Гиталов покрутил головой.

— Ох, мне это ваше «но»! Прямо всю душу переворачивает...

— Нет, вы послушайте!

— Да я слушаю...

— Ведь в этом случае,— продолжал я,— производительность труда в сельском хозяйстве возрастет буквально во сто крат. Спрашивается, куда же девать освободившуюся рабочую силу?

— Ага,— обрадовался Гиталов,— вот тут-то мы и подошли с вами к самому главному! Вы читали в газетах постановление Совета Министров СССР и ЦК нашей партии о порядке перевода рабочих и служащих на сокращенный рабочий день? Ну конечно же читали! И конечно же порадовались всей душой за людей! И я радовался. Но сказать по правде, оно до сих пор занозой у меня в сердце сидит, это постановление. Ведь там о колхозниках — ни слова! И это не упущение. Ну как ты переведешь нашего брата на сокращенный рабочий день? А обидно! Помните, мы как-то говорили с вами о культуре колхозного села, о культуре быта... Так вот и думаешь иной раз: та что ж мы, у бога теленка съели? До каких же пор мы будем так жить? Да, это верно — механизаторы наши зарабатывают не хуже любого заводского рабочего. А посмотрите, в каких халупах они живут, как ходят — обтрепанные, замурзанные, как черти. Что ж, у них, думаете, нет денег, чтобы построить себе дома, чтобы купить хорошие комбинезоны?.. Все дело в том, что они и работают, как черти, по восемнадцать—двадцать часов в сутки, им во время полевых работ, бывает, и в гору некогда глянуть, не то что подумать о жилье или об одежде. А разве это дело? Ведь все идет к лучшему, у нас же совсем иная должна быть жизнь! Так вот. В этом деле и должна решающую роль сыграть комплексная механизация. Я уже говорил: каждый колхозник должен стать механизатором и, если уж на то пошло, в какой-то мере инженером, потому что в нашей дальнейшей жизни без техники, без машин мы не сможем делать ни шагу. И пора уже позаботиться о том, чтобы он мог думать не только о механизации да о кукурузе! Нужно, чтобы нашлось у него время и для души. Нужно, чтобы он стал настоящим инженером своего и общего счастья! Цэ ж воно так, правда?

Что я мог ему сказать?

Ну конечно же правда!



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

М. СТУРУА

★

ВЕСНА 1960 ГОДА

Совершено в Богоре

Богор. Огромный парк, обнесенный высокой железной решеткой. В центре парка — белый одноэтажный дворец. Когда голландские колонизаторы захватили Индонезию, они сделали Богор своей резиденцией. Расположенный у подножия главного хребта Явы, он отличается здоровым климатом. Здесь можно было уберечься от беспощадной тропической лихорадки. И даже ежедневные ливни и грозы, постоянный туман, окутывающий дремлющий вулкан Салак, не омрачали пейзажа Богора. «Бейтензорг», то есть «Без забот», — так называли непрошенные голландские гости древний Богор.

Но забот у колонизаторов оказалось более чем достаточно. И от них нельзя было укрыться, как от тропической лихорадки, за стенами Богорского дворца. И наконец настал день, когда они лишились и Богора и Индонезии. Народы этой сказочно прекрасной страны сами стали ее хозяевами.

...Во дворце идут последние приготовления к подписанию документов, которым надлежит открыть новую страницу в истории советско-индонезийских отношений.

Стрелки часов приближаются к семи. Зал уже заполнен до отказа. Государственные деятели, дипломаты, журналисты располагаются согласно строгому индонезийскому протоколу. В зал входят Н. С. Хрущев и президент Сукарно.

— Добрый вечер, — приветствует собравшихся Никита Сергеевич.

Два выдающихся государственных деятеля скрепляют своими подписями документы, в основе которых лежит великая, благородная идея равенства, братской помощи и дружественного сотрудничества. Совместное советско-индонезийское заявление, Генеральное соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве, Соглашение о культурном сотрудничестве. Видели ли когда-нибудь стены Богорского дворца нечто подобное!

Щедрый и бескорыстный советский брат взял на себя ныне торжественное обязательство делом помочь народу Индонезии: кредит в 250 миллионов долларов, долгосрочный и льготный, строительство предприятий черной металлургии и химической промышленности, поставка атомного реактора для проведения научно-исследовательских работ, долгосрочное торговое соглашение, госпиталь для Джакарты, библиотека для Джокьярты, технологический институт для Амбона — вот дары, принесенные советскими людьми на священный алтарь дружбы!

«Совершено в Богоре» — этими словами начинаются последние абзацы подписанных соглашений. Протокольная формальность? Нет! То, что было совершено в Богоре 28 февраля 1960 года, навеки войдет в историю советско-индонезийских отношений как незабываемая веха, как немеркнущий пример помощи социалистических стран странам пробудившегося Востока.

— Положено хорошее начало, — сказал Никита Сергеевич, поставив последнюю подпись.

И это почувствовал и прочувствовал каждый, кто находился в этот момент в сводчатом зале Богорского дворца.

...Богорский дворец окружают всемирно известные ботанические сады. Ныне здесь пустило ростки новое могучее дерево — дерево советско-индонезийской дружбы.

То, что было совершено в Богоре, было совершено также в Дели, Рангуне, Кабуле. Дерево дружбы было посажено на ферме в Суратгархе — это было мандариновое дерево. Дерево дружбы было посажено и на строительной площадке технологического института в Рангуне — это было дерево манго. И хоть деревца эти еще очень молоды, им самим и тому, что они олицетворяют, предстоит бурный рост. Ведь их питает чистый родник интернационализма — чувство, которым столь щедро наделен наш народ. «Образно говоря, именно из этого источника получают свежую родниковую воду народы, которые освобождаются из-под колониального рабства,— сказал Никита Сергеевич Хрущев на митинге в Москве 5 марта 1960 года.— Получая бескорыстную помощь, эти народы никогда не забудут о ней, как не забудет путешественник тот чистый родник, из которого он утолил жажду. А этот родник неиссякаем, как неиссякаемы воля, энергия и разум человечества, стремящегося к лучшему будущему».

От Гибралтарского пролива через Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, Индийский океан, прорезая Южно-Китайское и Японское моря, пролегла еще совсем недавно линия, по одну сторону которой лежали страны и жили народы, ставшие добычей колониализма. Сейчас за этой линией все усиливается борьба колониальных народов за свою свободу и независимость — борьба справедливая и победоносная.

«Как раскованный Прометей, расправляют свои могучие плечи народы Азии, приступая к строительству новой жизни», — говорил Н. С. Хрущев в одной из своих речей, произнесенной во время поездки по странам Юго-Восточной Азии. Образ Прометея — один из наиболее впечатляющих образов греческой мифологии. Но был еще один мифический герой, который помог Прометею избавиться от оков. Это был непобедимый Геракл. Раскованный Прометей Востока и социалистический Геракл подали друг другу руку дружбы, и это рукопожатие никому не разорвать. Исторический визит главы Советского правительства в Индию, Бирму, Индонезию, Афганистан вновь продемонстрировал это всему миру.

Возвратясь домой, глава Советского правительства скромно и деловито отчитался перед своим народом. Он сказал: «После длительной поездки с визитом дружбы в страны Юго-Восточной Азии сегодня мы возвратились на Родину, в дорогую нам Москву, и рады доложить вам, что задание партии и правительства выполнено».

А задание это было не из легких. Империалисты делают все для того, чтобы помешать развитию дружбы и сотрудничества между молодыми независимыми государствами Востока и странами социалистического лагеря.

Но эти происки не увенчиваются успехом. На своем собственном опыте народы Востока видят, что социалистические страны не имеют каких-либо корыстных целей, что они на деле готовы помогать и помогают всем странам, ставшим на путь независимого развития, в укреплении их национальной государственности, в подъеме их экономики и культуры. Выдающееся значение визита Н. С. Хрущева в страны Юго-Восточной Азии состоит в том, что этот визит нанес еще один сокрушительный удар по врагам дружбы между народами пробудившегося Востока и миром социализма, что этот визит заложил новый камень в фундамент здания экономической независимости ряда восточных стран. Значение этого факта трудно переоценить. Как указывает Н. С. Хрущев: «Теперь, когда главное для народов Востока в борьбе за укрепление независимости состоит в развитии национальной экономики и прежде всего в создании отечественной промышленности, дальнейшее расширение равноправного и взаимовыгодного экономического сотрудничества между социалистическими странами и странами Азии, Африки и Латинской Америки является одним из решающих условий превращения ранее отсталых колониальных стран в передовые, индустриально развитые державы. И как бы ни противодействовали колонизаторы и капиталистические монополии этому прогрессивному процессу, им не удастся повернуть колесо истории вспять и вновь восстановить прогнившую колониальную систему».

Да, колониализму нанесен смертельный удар. «Время колониализма закончилось! Пришло время уйти ему на покой. В гроб его и в могилу» — эти слова Н. С. Хрущев произнес на митинге в индонезийском городе Бандунге, городе, который обессмертил свое имя, став родиной принципов афро-азиатской солидарности, принципов мирного сосуществования — «панча шила». Пять лет назад в этом городе состоялась первая в истории Международная конференция представителей азиатских и африканских государств. Невольно вспоминаются слова одного западного деятеля, сказанные им перед открытием Бандунгской конференции: «Мы превратим ее в послеобеденное чаепитие». Но господа колонизаторы ошиблись.

История вынесла смертный приговор колониализму. Его времена, проклятые человечеством, уходят в прошлое. Но как все старое, отживающее, колониализм не уходит из жизни добровольно. Как образно сказал Никита Сергеевич, корни колониализма выдернуты, но корешки колониализма кое-где еще остались.

Вот почему народы, освободившиеся от колониального ига, должны быть бдительными. «Колонизаторов никогда нельзя прогнать молитвами. Как нельзя научить тигра питаться травой, так невозможно колонизаторов отучить от грабежа. Только в борьбе можно завоевать свою свободу, только в борьбе можно укрепить свое государство и его независимость», — говорил Н. С. Хрущев в Бандунге, и слова его были исполнены неустрашимым «духом Бандунга».

Поездка главы Советского правительства по странам Юго-Восточной Азии вылилась в грандиозную манифестацию дружбы народов Советского Союза и пробудившего Востока. Миллионы и миллионы людей выходили на улицы, собирались на площадях, чтобы приветствовать посланца первого в мире рабоче-крестьянского государства. Представители западной печати, которые сопровождали Н. С. Хрущева в этой поездке, ревниво сравнивали прием, оказываемый ему, с приемом, оказанным президенту США. И каждый раз они вынуждены были признать, что сравнение было далеко не в пользу второго.

Почему?

Один американский журналист объяснял это следующим образом. Видите ли, говорил он, в Индии глава вашего правительства приветствовал народ словом «намасте» и складывал руки в традиционном знаке. В Афганистане мистер Хрущев обращался к народу со словами «зиндабад» и «салам»...

Такое объяснение и наивно и знаменательно в одно и то же время. Наивно оно потому, что основывается на вере в магию одного слова. Знаменательно потому, что только наши государственные деятели способны вложить в эти приветствия подлинно братские чувства. Слова у них не расходятся с делом, и потому им верили и верят миллионы простых людей освобожденного и освобождающегося Востока.

...У русского народа есть поговорка: «Солнце согревает воздух, а дружба — душу». Солнце в тропиках не любит шутки шутить, но даже и его жар не шел ни в какое сравнение с энтузиазмом многотысячных масс, которые горячо приветствовали Никиту Сергеевича, когда он заключал в дружеские объятия своих гостеприимных хозяев. И глядя на бескрайние дороги Юго-Восточной Азии, по обочинам которых стояли миллионы людей, сбросивших цепи рабства, каждый из нас вспоминал пророческие слова великого Ленина о том, что рано или поздно народы Востока проснутся и, выйдя на столбовую дорогу развития истории, станут равноправными вершителями своих судеб, судеб человечества.

И это пророчество воплощается в жизнь.

Путь к миру в Европе

Буквально с того же дня, как воздушный корабль с Н. С. Хрущевым на борту коснулся своими колесами бетонированной дорожки парижского аэродрома Орли, центр внимания мировой печати, радио, телевидения, дипломатов, деловых людей и — что самое важное — народов всех стран переместился во французскую столицу.

Весь мир, затаив дыхание, следил за первым в истории визитом главы Советского правительства во Францию. И это не случайно. Миссия мира и дружбы, с которой глава нашего правительства отправился от берегов Москвы-реки к берегам Сены, выходила по своему значению далеко за рамки только советско-французских отношений. Этот факт с особой силой был подчеркнут уже в одном из первых выступлений Н. С. Хрущева в Париже. Выступая на завтраке, данном в его честь премьер-министром Франции Дебре, Никита Сергеевич сказал: «...путь к миру в Европе лежит через союз и дружбу Советского Союза и Франции. Будет такой союз — не будет войны в Европе. Не будет такого союза, и возможности для подстрекательских действий разного рода авантюристов сохранятся в большей мере, чем при наличии советско-французского сотрудничества во имя мира».

Многовековая история отношений между нашими странами, равно как и политическая летопись нынешних дней, убедительно свидетельствует о справедливости и мудрости этих слов. Неизменно, когда Россия и Франция — эти две крупнейшие континентальные державы Европы — выступали вместе как союзники, их противники были вынуждены или скрепя сердце умерять свой захватнический аппетит, или же испытывать горечь поражения.

Это в первую очередь относится к германскому милитаризму — злейшему врагу народов Европы, закоренелому нарушителю европейской безопасности. Не углубляясь в даль веков, вспомним, что только на протяжении семидесяти пяти лет землю Франции, ее сады и виноградники, камни ее городов трижды топтали кованый немецкий сапог.

Но Франция помнит и другое. Она помнит, как знаменитый прорыв русских войск Юго-Западного фронта в 1916 году стал прологом верденского поражения немцев и как залпы сталинградской победы возвестили о начале освобождения и возрождения ее величия.

Обо всем этом и многом другом рассказала выставка «Советский Союз и Франция в документах советских и французских архивов», которая открылась в Париже в здании французского Монетного двора в присутствии Н. С. Хрущева. Об этом же свидетельствует в буквальном смысле слова панический страх, который испытывали и продолжают испытывать германские милитаристы перед лицом советско-французской дружбы и союза этих стран. Все они мучились и продолжают мучиться, говоря словами их духовного отца канцлера Бисмарка, «кошмаром русско-французской коалиции». Но то, что было кошмаром для агрессоров, являлось благом для народов наших стран, для всех стран европейского континента.

Все дальновидные руководители внешней политики Франции повторяли, что союзником Франции в первую очередь должна быть Россия. Более того, они справедливо считали, что без России, а позднее без Советского Союза не может быть подлинного мира в Европе. Так, Лун Барту, который любил утверждать, что он единственный французский министр, прочитавший в оригинале книгу Гитлера «Моя борьба» и извлекший из нее полезный опыт, говорил: «Советский Союз представляет силу мирового значения, и только в сотрудничестве с ним может быть обеспечена международная безопасность в Европе».

Тенденция дружбы и сотрудничества, преобладавшая в отношениях между нашими странами, еще более укрепилась в годы второй мировой войны, когда Советский Союз и сражающаяся Франция выступали плечом к плечу против общего врага — германского фашизма, скрепив свою дружбу кровью своих лучших сынов, братством на поле боя. Немецкие войска, находившиеся в Париже под командованием генералов Штюльпнагеля и Шпейделя, еще не думали, что им придется бесславно капитулировать перед восставшими парижанами, когда Советское правительство на весь мир и во весь голос заявило о своей решимости способствовать полному «восстановлению независимости и величия Франции».

Поездка главы Советского правительства во Францию убедительно показала, что у нас в этой стране тысячи и тысячи друзей.

Ныне, как никогда раньше, народы Европы, народы всего мира заинтересованы в нашей взаимной дружбе, в ее дальнейшем развитии и закреплении. Вспоминаются

слова президента Франции генерала де Голля о том, что франко-советское согласие является «категорическим велением географии, опыта и здравого смысла», что франко-советский союз является «необходимостью, которую доказывает каждый решающий поворот истории». Сейчас человечество стоит перед одним из наиболее решающих поворотов своей истории. Куда пойдет оно — к войне или миру? От ответа на этот вопрос зависит, быть ли нашей планете строительной площадкой мирного созидания или ареной разрушительной ядерно-ракетной войны.

Излишне говорить, сколь важно решение таких насущных проблем современности, как разоружение и германская проблема, для того чтобы ответ на этот вопрос звучал: «Мир!» Излишне говорить и о том, сколь важно для решения этих проблем плодотворное советско-французское сотрудничество.

Франция, так же как и Советский Союз, кровно заинтересована в их решении. Достаточно сказать, что гонка вооружений поглощает одну треть ее государственного бюджета, что наличие иностранных военных баз на ее территории делает эту страну потенциальным театром атомно-ракетной войны.

А возрождение реваншистского бундесвера? Французский народ всегда отличался здравым смыслом, и он не может пропустить мимо ушей заявления, подобные тому, которые сделал ныне покойный боннский министр Кайзер, сказавший, что у него «сжимается сердце», когда он слышит слово «Страсбург». Французский народ не может пропустить мимо ушей провокационные требования «вновь поставить Францию на колени», с которыми выступают на своих слетах недобитые эсэсовцы.

Да, западногерманские реваншисты великолепно знают дорогу и на Запад. Весьма красноречивой иллюстрацией справедливости этих слов служит инцидент, разыгравшийся осенью 1958 года в ходе маневров бундесвера. Подводя итоги маневрам, генерал Хойзингер многозначительно заметил, что перед бундесвером 1958 года стоят те же задачи, что и перед вермахтом 1939 года. Это заявление вызвало переполох среди английских и французских наблюдателей. Как не без ехидства писала газета «Ди вельт», они озабоченно гадали, куда двинется возрожденный бундесвер — на восток или на запад от Рейна?

Что ж, вопрос далеко не праздный. Когда боннская пропаганда цинично провозглашает необходимость держать кулак перед носом соседей боннского государства, то она имеет в виду не только Польшу, но и Францию, не только Чехословакию, но и Австрию. Недаром западногерманский министр Штраус заявил недавно: «Через Париж ведет дорога на Восток».

Серьезные и полезные беседы между главой Советского правительства и генералом де Голлем способствовали лучшему представлению и пониманию позиций каждой из сторон. Было установлено, что имеется основа для выработки согласованных платформ по ряду важных международных вопросов. В том числе и то, что последовательное урегулирование вопросов, относящихся к Германии, на согласованной основе путем переговоров имело бы важное значение для поддержания и укрепления мира и безопасности в Европе и во всем мире. Руководящие государственные деятели Советского Союза и Франции единодушно пришли к тому выводу, что развитие отношений между СССР и Францией в духе дружбы и сотрудничества и установление лучшего взаимопонимания между ними будут содействовать дальнейшему смягчению международной напряженности и укреплению мира в Европе и во всем мире.

Этот вывод разделяется всеми здравомыслящими политическими деятелями Запада и трезво настроенными газетными обозревателями. Все они признают крупнейшее международное значение визита Н. С. Хрущева во Францию, видят в нем новое свидетельство торжества разума в международных отношениях.

Конечно, не всем пришелся по нутру этот визит. Реакционеры не сидели сложа руки, хотя и играли в заведомо проигрышную игру. Особое усердие в этом малопривлекательном деле проявили правящие круги Бонна. Они разразились клеветнической нотой в адрес Советского Союза, в которой попытались извратить его внешнюю политику, исказить выступления главы Советского правительства во Франции. Не в добрых целях боннские политики утверждали, будто Советский Союз хочет поссорить Францию с Западной Германией, настроить французов против немцев.

«Трудно придумать более нелепый вымысел»,— сказал по этому поводу Н. С. Хрущев. Те, кто пустил его в оборот, стремятся свалить вину с больной головы на здоровую.

Что касается Советского Союза, то, как подчеркнул Н. С. Хрущев в своей речи на митинге в Москве 4 апреля, наше государство «хочет дружить с Французской Республикой и тем самым улучшить наши отношения, добиваться сближения и дружбы с друзьями Франции».

О „духе Кэмп Дэвида“, „духе Рамбуйе“, дипломатии и совещании в верхах

Девятнадцатого марта 1959 года на пресс-конференции, которую давал в Кремле глава Советского правительства, корреспондент американского агентства Юнайтед Пресс Интернейшнл обратился к Н. С. Хрущеву с вопросом о том, какой магической силой, позволяющей решать спорные международные проблемы, обладали бы встречи между руководителями государств.

Под дружные аплодисменты журналистов Никита Сергеевич ответил:

— Вся магия в воле народов к миру.

Воля народов к миру! Поистине трудно найти в наши дни какую-либо другую силу, которая имела бы столь магическое влияние на ход международных событий. Эта воля зримо или незримо присутствует на совещаниях и встречах ответственных государственных деятелей, независимо от того, проходят ли они в обстановке гласности или за закрытыми дверями. Более того, магической силы воля народов диктует некоторым из этих государственных деятелей такие решения, которых они в иных обстоятельствах попытались бы избежать.

В этой связи я позволю себе привести высказывания двух западных газет, которые на первый взгляд как бы противоречат друг другу, но по существу говорят об одном и том же. Французская газета «Пари-журналь» считает, что сейчас в международной политике «общественное мнение заменило тонкую игру дипломатии». Обозреватель «Нью-Йорк геральд трибюн» Уолтер Липпман, наоборот, подчеркивает в качестве знаменья времени тот факт, что государственные деятели после многолетнего перерыва вновь обратились к дипломатии.

Но ведь одно вытекает из другого. Именно то обстоятельство, что в наше время, как никогда раньше, возросла роль мирового общественного мнения, когда уже больше невозможно игнорировать волю народов, заставляет правящие круги Запада пересматривать свои позиции и пересаживаться с загнанной клячи «холодной войны» на более современные средства передвижения. «Под свист реактивных моторов и жужжание вертолетов мир вступает в новую эру бесед о мире»,— пишет по этому поводу английская газета «Ньюс кроникл».

Народы требуют, чтобы в отношениях между государствами царили сотрудничество и взаимопонимание, чтобы разделяющие их спорные вопросы решались не силой оружия, а путем мирных переговоров. Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» вынуждена признать, что «ныне одно слово доминирует над всеми другими. Это слово — переговоры». Об этом же свидетельствуют результаты опроса, проведенного английской газетой «Дейли экспресс». Они показали, что подавляющее большинство англичан выступает за переговоры и в первую очередь за созыв совещания на высшем уровне.

Когда-то в беседе с корреспондентом журнала «Лук» покойный государственный секретарь США Даллес назвал идею совещания на высшем уровне «только мечтой, разукрашенной неосуществимыми желаниями». Ныне эта мечта, овладев всеми помыслами людей, стала реальностью, достижимой и осуществимой. Ныне любой школьник на вопрос о предстоящей встрече в верхах бойко ответит: «Она начнется шестнадцатого мая в Париже».

Исторический визит Н. С. Хрущева в США — незабываемые тринадцать дней, которые всколыхнули весь мир,— положил начало процессу ослабления международной

напряженности. «Эта вихреподобная кампания от побережья до побережья вписала потрясающую главу в историю дипломатии», — заявлял в те дни со страниц «Нью-Йорк таймс» лидер демократической партии США Эдлай Стивенсон. Именно в те памятные дни родилось выражение «дух Кэмп Дэвида». Ныне этот новый термин прочно вошел в наш политический словарь. Он то и дело мелькает на страницах газет и журналов, звучит на всех волнах в эфире, им обильно пересыпают свои выступления государственные и политические деятели.

Что же такое «дух Кэмп Дэвида»? Нам кажется, что наиболее концентрированное определение этого понятия дано в самом Советско-Американском коммюнике в том месте, где говорится: «Председатель Совета Министров СССР и Президент Соединенных Штатов согласились, что все неурегулированные международные вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мирными средствами путем переговоров».

Исходя из этого определения «духа Кэмп Дэвида», можно сказать, что он означает торжество государственного ума и человеческого разума в подходе к назревшим международным проблемам, признание того, что в наш век, когда люди успешно штурмуют космос и глубины атомного ядра, когда на нашей планете бок о бок живут две противоположные мировые общественные системы, нельзя успешно решать эти проблемы иначе, как на основе принципов мирного сосуществования.

И не случайно, что после того, как стали известны положения совместного Советско-Французского коммюнике, замок Рамбуйе, где оно разрабатывалось, получил название «французского Кэмп Дэвида», а журналисты заговорили о «духе Рамбуйе». Почему? Да потому, что и в этом документе вновь была признана и подтверждена жизненность и насущная необходимость принципов мирного сосуществования. «Председатель Совета Министров СССР и Президент Французской Республики согласились с тем, — говорится в коммюнике, — что все неурегулированные международные вопросы должны решаться не путем применения силы, а мирными средствами, путем переговоров».

Знакомые слова, не правда ли?! В них тот же «дух Кэмп Дэвида»!

Невозможно не вернуться вновь к вопросу о возрождении дипломатии. Липпман буквально на второй день после того, как весь мир облетело историческое Советско-Американское коммюнике, писал, что «дух Кэмп Дэвида» расчищает закупоренные и заржавевшие от долгого бездействия дипломатические каналы. В этих словах заключалась большая доля истины. Лед «холодной войны» и впрямь основательно заморозил дипломатические каналы. Как писал в своей книге «Америка победима» редактор иностранных отделов в журналах «Тайм» и «Лайф» Эммет Хьюз, в годы, когда госдепартамент возглавляли Ачесон и Даллес, там господствовало «глубокое недоверие к переговорам... И в течение всех этих лет, — признает Хьюз, — мы стремились употреблять дипломатию на то, чтобы отказываться или уклоняться от непосредственных переговоров с советским коммунизмом или затягивать их».

Потепление международной атмосферы вызвало оттаивание и в каналах дипломатии. На смену напряженности в международных отношениях пришла напряженность в графиках встреч руководящих государственных деятелей.

Мировая общественность, естественно, приветствует это оживление на дипломатическом фронте. Но люди судят о дипломатах не по тому, сколько тысяч километров они налетали, проплыли или проехали, а по тому, насколько они приблизили человечество ко всеобщему миру.

Три тысячи километров проделал Н. С. Хрущев по Франции, примерно в то же время сорок тысяч километров отмахал канцлер Аденауэр, совершая свой вояж в США и Японию. Главу Советского правительства встречали в Париже с красными флагами нашей Родины и трехцветными — французскими. Канцлера Аденауэра на токийском аэродроме встретили со знаменами, на которых была намалевана фашистская свастика. В результате визита Н. С. Хрущева во Францию заговорили о «духе Рамбуйе». В результате визита Аденауэра в Японию — о гальванизации агрессивной оси Берлин — Токио. Короче говоря, визиты визитам рознь, всякая бывает дипломатия. Представители одной летят на крыльях мира и дружбы, представители другой пытаются подрезать эти крылья.

«У меня часто болит голова в связи с предстоящим в Париже этой весной совещанием на высшем уровне», — сокрушался Конрад Аденауэр в одном из своих выступлений в США. А американским журналистам боннский канцлер доказывал, что «за последние месяцы политическое положение в мире ухудшилось», так как достигнута договоренность провести 16 мая в Париже совещание на высшем уровне.

Твердолобые североатлантические стратеги и политики также пытаются всеми правдами и неправдами вновь заморозить каналы дипломатических переговоров, чтобы по-прежнему испытывались ядерные бомбы и человеческое терпение. Фабриканты оружия и воинственные генералы ведут подкоп под женевские совещания — Комитета десяти, обсуждающего проблему всеобщего и полного разоружения, и совещания трех держав — СССР, США и Англии — по выработке договора о запрещении испытаний ядерного и термоядерного оружия.

Эти господа связаны между собой круговой порукой. Недаром Чарльз Вильсон, президент «Дженерал моторс» и бывший министр обороны США, заявил, что «ядерное оружие американских вооруженных сил обещает больше грома на затраченный доллар и больше долларов на затраченный гром».

Однако банкротство пресловутой политики «с позиции силы» — несомненный симптом нынешней весны и логическое следствие кардинальных сдвигов, которые меняют структуру современной международной жизни, жизни всего человечества. Теперь уже всем очевидно, что силы мира превосходят силы войны, что сама война перестала быть фатальной неизбежностью. «Иллюзия американского всемогущества, если она когда-либо существовала, — пишет английский журнал «Экономист» в статье «Перспективы 60-х годов», — превратилась сейчас в нечто очень похожее на разочарование дипломатическим бессилием, а ее апостол Даллес, возможно, выйдет в историю нашего периода в качестве Меттерниха XX века — то есть оплота старого порядка».

А старому порядку приходит конец. «Лозунги холодной войны, — пишет газета «Нью-Йорк пост», — полетели в мусорные ящики времени. Начался процесс возвращения мира к здравому смыслу».

Кое для кого это болезненный процесс, связанный с мучительной переоценкой ценностей, с признанием банкротства политики «с позиции силы», с признанием того, что на коньке «холодной войны» далеко не уедешь.

Да, выступать ныне с открытым забралом против идей мира и разоружения далеко не безопасно. Недаром в кругах демократической партии США, которые заняты выработкой стратегии и тактики на предстоящих президентских выборах 1960 года, царит озабоченность в связи с тем, что оппозиция Ачесона «попыткам Эйзенхауэра достигнуть согласия с Москвой» может отрицательно сказаться на шансах демократов. Как пишет «Нью-Йорк таймс», теперь уже «невозможно выступать на выборах, идя против мира». Другая газета — «Нью-Йорк пост» — в редакционной статье, озаглавленной «Голос Конрада, Фостера, Ачесона», резко замечает, что следовать Ачесону — это значит «идти по такому пути, который никуда не ведет». Эта газета совершенно права, когда считает, что «у человечества нет в запасе столько времени, чтобы оно могло позволить себе цепляться за догмы Даллеса».

Характерен в этом смысле доклад, озаглавленный «Основные цели внешней политики США» и подготовленный по просьбе сенатской комиссии по иностранным делам Советом по вопросам внешних сношений — нью-йоркской частной исследовательской организацией. Авторы доклада на основе реалистического анализа соотношения сил призывают покончить с гонкой вооружений и стать на путь переговоров с Советским Союзом. «Осознание характера атомной войны, — говорится в докладе, — привело к тому, что гонка вооружений с ее опасностью тотальной катастрофы стала предметом чрезвычайного беспокойства как для простых людей, так и для специалистов и государственных деятелей. Идея разоружения, несомненно, находит прямой путь к сердцам народов всего мира... Эти соображения, — говорится далее, — обязывают Соединенные Штаты провести серьезные переговоры о заключении международного соглашения по ограничению и сокращению вооружений и контролю над вооружением... Соединенные Штаты не могут позволить себе негативного или небрежного подхода к этому вопросу. Это скомпрометировало бы американцев за границей...»

Что касается Советского Союза, внешняя политика которого зиждется на незыблемых ленинских принципах мирного сосуществования, то он уже давно выдвинул лозунг честных и равноправных переговоров во имя мира и настойчиво претворяет его в жизнь. Поездки Н. С. Хрущева, которые в народе прозвали «миссиями мира и дружбы»,— блестящее тому доказательство. «Москва расточает добрую волю и дружбу быстрее, чем западный мир может воспринимать их,— пишет «Нью-Йорк таймс».— Вашингтон, Лондон и Париж явно захвачены врасплох. Дипломатическая инициатива этой весной находится в руках Москвы».

Да, теперь уже все признают, что Советский Союз является знаменосцем мира! ...Прекрасен месяц май. Но особенным обещает быть май нынешнего года, май, который принесет с собой долгожданную встречу в верхах. Выступая 4 апреля на митинге в Москве, Н. С. Хрущев говорил: «Нельзя допустить, чтобы заговорили пушки,— надо, чтобы в мире торжествовал голос разума. Ради этого Советское правительство, советский народ не пожалеют никаких усилий. У нас хватит сил, терпения, настойчивости, и мы докажем всем людям земного шара, что мир и счастье могут и должны торжествовать в наш век».



И. РАДВОЛИНА

★

К ДРУЗЬЯМ В ЧЕХОСЛОВАКИЮ!

Я бродила по Праге в эти дни не впервые. Я уже знала ее — весной и осенью, летом и зимой. Подобно многим пражанам, а также, конечно, приезжим, я оставалась перед средневековой ратушей и дожидалась, пока пройдут положенный круг двенадцать апостолов, столетиями равнодушно взирающих на дивящийся внизу люд. Легенда о создателе знаменитых пражских часов удивительно напоминает легенду о создателе храма Василия Блаженного в Москве: хозяева города тоже выкололи глаза мастеру, сотворившему это чудо, чтобы он — упаси бог! — не смог сделать такое же для кого-нибудь еще.

Я уже не раз бывала и в храме св. Вита и в Градчанских дворцах, не раз поднималась на стену Вышеграда. Но тогда, в предвоенные годы, меня доставляли в Прагу не поезд и не воздушный лайнер. Я добиралась сюда без визы и паспорта на ковре-самолете воображения, разбуженного рассказами двух молодых людей, по-рыцарски влюбленных в этот город и в буквальном смысле слова верных ему до гроба. Это были корреспондент чехословацкой коммунистической газеты «Руде право» Юлиус Фучик и его друг, югославский коммунист, получех, полухорват, бывший студент архитектурного факультета пражской «Техники» — Драган Озрин. С ними мне, тогда совсем молоденькой московской комсомолке, посчастливилось долго вместе работать. И дружить. Оба они впоследствии без оглядки отдали свои еще молодые жизни за то, чтобы Прага, Белград, Москва стали жить братской социалистической семьей. И оба они рассказывали о Праге так, как может это делать пылкий юноша — художник или поэт, — разлученный со своей любимой. Глубоко уверенные в ее исключительности, они говорили о ней не без трогательной сентиментальности, горячо и поэтому заражающе.

Примостившись где-нибудь в уголке после хлопотливого трудового дня, они могли часами вспоминать оттенки, контуры, линии средневековых домишек Златой улочки. Они словно всматривались с парапета Градчан — пражского кремля — в черты волнующего их своей красотой города. И я вместе с ними любовалась им. Вместе с ними торопливо шагала на рабочие собрания, не пропуская ни одного мало-мальски примечательного здания на широченном проспекте, именуемом Вацлавской площадью, или на набережной Влтавы. Вместе с ними останавливалась на углу, чтобы на ходу закутить «парками» — сосисками. А глубокой ночью, за крохотной чашечкой кофе, часами слушала споры о новой постановке театра Буриана, о последней книге Чапека, о судьбах революционного искусства...

Однажды вечером, в те далекие времена, когда опушенные инеем деревья и строения Москвы казались в густой морозной синеве сумерек особенно сказочными, Фучик, только что восторгался величественными очертаниями Красной площади, богатырской осанкой москвичей, облаченных в тулупы, шубы, валенки, ушанки, и даже скрипом снега под их ногами, вдруг воскликнул с каким-то ревнивым чувством:

— Подожди, вот мы победим — приедешь в Прагу. Я тебе покажу, какая она! Увидишь наших людей. Уехать не захочешь!

Эти слова и потом не раз приходилось слышать от него.

— Подождите, победим — я повезу вас в Пльзень, «Шкодовку» покажу. Еще соревноваться с ней будете,— говорил он в подмосковном доме отдыха завода «Фрезер».

— Подождите, победим — приедешь с женой к нам в Татры. Не работать, нет. На лыжах побегаем! — говорил он инженеру Магаршаку, строителю Памирского тракта на одном из перевалов Тянь-Шаня.

— Подождите, победим — приедете в Прагу, пойдем в мою «винарню». Там подают такой татарский бифштекс, о каком в вашей Казани слыхом не слыхали... — обещал он нам совершенно серьезно незадолго до отъезда и тут же сокрушенно вздыхал: — Эх, оставили бы меня еще на годик здесь. Ну, хоть бы просто рабочим на «Фрезере» или в Метрострое. Я бы такую книгу написал — во!

И он совсем по-московски оттопыривал большой палец левой руки, присыпал ображаемым перчиком, а в глазах его отражалась вся желанность и несбыточность этой мечты.

...Разгорелась и кончилась долгая и страшная вторая мировая война. Победы мы дождались. Прошло еще немало лет. И вот я собственными ногами меряю улицы Праги, Брно, Братиславы и Пльзени. Чехословацкая Народная Республика уже готовится отметить свое пятнадцатилетие. И старая «Шкодовка» — теперь мощный машиностроительный комбинат имени Ленина — действительно уже соревнуется если не с «Фрезером», то с Уралмашем, более близким ей по профилю. И сестра Юлиуса, которая живет теперь на улице Фучика, подвела ко мне свою дочку-пионерку, такую же смуглую и светлоглазую, как ее дядя. Только показывал мне Прагу и Пльзень не он, а его друзья. И они не забывали каждый раз напомнить: вот здесь Юлек жил; здесь учился; здесь работал; здесь скрывался; здесь его пытали... И эти же друзья то и дело указывали: вот здесь новый клуб, а тут новый завод, а там мы строим дома для рабочих... А здесь обычно гуляют влюбленные... А сюда заходят после театра... А сюда приходят регистрировать браки...

И мы с улыбкой смотрели на одну, другую, третью, четвертую пару, выходящую из старинной пражской ратуши, на торжественных родителей, на хорошеньких девушек в строгих костюмах и с веточкой флёрдоранжа в волосах, на посерьезневших юношей.

С башни пражской ратуши лучше всего впервые всмотреться в неповторимую красоту этого города. Удивительную красоту. Отсюда видно, как громоздятся, набегая друг на друга, красноватые, зеленые крутые скаты то чешуйчатых, то волнистых черепичных крыш, из-под которых поглядывают на мир любознательными глазами полукруглых окон тысячи и тысячи мансард. То тут, то там стремительно вонзаются в небо темные острия готических храмов. Дома здесь плотно прижимаются друг к другу. Смотришь и представляешь себе: именно так когда-то жался человек к человеку, чтобы выстоять перед угрозой вражеских набегов и стихийных бедствий. А по ущельям затененных, таинственных улочек Старого города энергично шагают люди. Совсем сегодняшние люди, с портфелями, сумками, детскими колясками.

Идешь по узорно выложенному мелким булыжником тротуару Старого города и, хотя дома здесь красивы каждый по-своему, улицу воспринимаешь как единое целое. Пятой она напоминает театральную декорацию. Особенно в сумерки. Но вот в одном, другом, третьем окне зажигается свет. и она оживает. Неожиданно раздается смех, и нас обгоняет гурьба молодежи — возвращаются из кино или тоже, как и мы, бродили, любовались городом.

Рано утром выхожу на набережную Влтавы. Отсюда особенно хорошо видно, как близко друг от друга пролегли над рекой прямые и легкие мосты — один, второй, третий, четвертый, соединяя, сближая людей дружелюбной, располагающей к человеческому общению Праги.

Потом до бесчувствия колесим по городу.

Наконец убеждаемся, что нам не наглядеться на монументальные аркады Тынского собора, сооруженного в тринадцатом веке, на своды и старинные лестницы, на

великолепные витражи и замысловатые решетки храмов, часовен, дворцов, парков. Уже отказываются служить ноги. Входим в маленький ресторанчик — «винарню» — за Карловым мостом. У дверей стоит старый-престарый газовый фонарь. Здесь под приглушенную, мягкую музыку скрытой где-то в глубине комнаты радиолы, в мягком, затененном свете, так располагающем к откровенному разговору, идет долгая беседа с пражскими друзьями.

О чем?

О последней книге словацкого писателя Владимира Минача, рассказывающей, как в испытаниях освободительной борьбы менялся характер словацкого интеллигента. О последнем спектакле молодого пражского театра, привлекающего публику своей заразительной веселостью и непримиримостью к пережиткам прошлого. Потом разговор заходит о книгах наших писателей — Анатолия Кузнецова, Владимира Тендрякова, Григория Бакланова. Наши друзья судят о них так, как судят обычно о своем: с взыскательной требовательностью, чему-то радуясь, с чем-то не соглашаясь.

Рядом за столиком четверо мужчин, сложив у стены пузатые портфели, вполголоса продолжают спор, который начался, должно быть, на работе или на собрании. Спор, конечно, о насущных делах, иначе бы эти люди не старались так убедить друг друга, не хватили бы один другого за руки и не дали бы остыть кофе, к которому они так и не притронулись за весь вечер. За столиком напротив — молодой человек берет у официантки букетик и протягивает круглолицей улыбающейся девушке. Чуть дальше две пожилые женщины о чем-то доверительно беседуют. Одна из них вяжет при этом. Никто не пришел сюда, чтобы себя показать или на других посмотреть. Здесь, как и на улицах, как и в трамвае, ощущаешь радующую тебя приветливость и непосредственность пражан. И совсем не чувствуешь себя на чужбине, наверное, еще и потому, что вокруг звучит родственная напевная речь.

В сумерки Прагу надо еще увидеть с холма Петржин, который высится посередине города.

Что и говорить, «цивилизованный» изувер — гестаповский следователь Бем — прекрасно знал, что делал, когда, не сумев сломить волю Фучика побоями, придумал изощреннейшую из своих пыток. По дорожке, уходящей в сумеречное небо, он привел сюда, на Петржин, влюбленного в Прагу Фучика. Усадил его на террасе кафе «Небозизек» (по-русски это значит «сверло») и дал ему возможность в полную меру — сознанием, чувством — вот отсюда впитать в себя всю расстилавшуюся перед ним красоту. В сиреновой мгле толпились дома, в которых жили, трудились, волновались друзья, — а ведь с ними необходимо было стоять сейчас рядом; там были еще и враги, которые надеялись на свою победу, — с ними следовало еще добороться. Бем дал ему насладиться далеким перезвоном трамваев, пробежавших к Нерудовой улице, дал наглядеться на Влтаву, которая повторяла эту красоту на своей серебристой глади. И, убедившись в предельном накале чувств влюбленного в Прагу Фучика, он предложил ему: «Предай — и получишь ее вновь, предай — и вернешь себе жизнь».

Искуситель был, конечно, по-своему умен. Но разве мог этот последний дряхлого, уходящего мира даже представить себе любовь молодости — щедрую, радостную, добрую, отдававшую себя целиком во имя освобождения своей любимой, во имя той Праги, которую я вижу сегодня?

* * *

Прага сегодня... Ее можно было бы назвать еще Прагой Шмерала, Готвальда, Запотоцкого. Прагой Швермы, Недведа. Прагой ныне живущих борцов за ее будущее — Новотного, Широкого, Копецкого и всех тех, кто отдал и отдает ей свои силы, свою сыновнюю любовь. Но для меня она еще была близким сердцу городом друзей моей комсомольской юности, городом их сбывшейся мечты. И еще — здесь был дом, где родился один, университет, где учился другой; здесь была почва, которая взрастила их обоих именно такими, какими они стали. Я написала об одном из них книгу и пишу роман, где будет рассказано о другом.

...Вот этот пожилой, с проседью, сдержанный человек — редактор «Литерарных новин» Йозеф Рыбак — работал в тридцатых годах, стол против стола, с Фучиком. Небольшая комната в самом конце коридора на третьем этаже старого серого дома, расположенного колодезем и зажатою с обоих боков такими же внешне малоприметными зданиями на Кралевской улице в рабочем районе Карлин.

Здесь в прошлом веке выросли первые заводы. И по Кралевской тесными рядами проходили демонстрации рабочих. Они бастовали, они требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Эта улица и этот дом по праву уже принадлежат истории, хотя музея здесь еще нет. И мемориальная доска еще не повешена. И старые типографские машины еще по-прежнему стучат. А в комнатах бывшей редакции «Руде право» и в бывших помещениях Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии теперь еще кто-то трудится, кто-то живет. Ведь те, кому в мае 1945 года было десять, двенадцать, пятнадцать лет, узнают обо всем, что здесь когда-то происходило, уже только из книг.

А отсюда, из этого дома, много лет руководили революционным движением страны, разъезжали на заводы Пльзени и Брно, на бастующие шахты севера, на предприятия Бати и вновь возвращались, окрыленные доверием пролетариев, их вожаки — Готвальд, Запотоцкий, Шверма, Копецкий и многие другие. Здесь работал один из основателей партии — Богумир Шмераль (на одном из его докладов сохранились пометки В. И. Ленина).

В этом доме в начале двадцатых годов первыми услышали призыв Ильича к рабочим всего мира помочь строительству молодой Советской республики. Услышали и побратски откликнулись, как положено откликаться пролетариям. Несколько тысяч квалифицированных рабочих — чехов и словаков — спокойно, с трезвой практичностью, свойственной этим народам, сложили скопленные про черный день кроны, закупили машин; с женами, с детьми поднялись со своих насиженных мест, собрали пожитки и отправились в нашу далеко не сытую в те годы страну — в пустынные предгорья Тянь-Шаня, в приволжские степи. Они знали о трудностях, которые их ждут. Но этим простым, умелым людям так хотелось строить заводы, совхозы, коммуны для первого в мире рабочего государства!

Осенью 1958 года я побывала в Киргизии, в городе Фрунзе. Там у ворот огромного завода сельскохозяйственных машин, у ворот текстильной фабрики, да и у других предприятий я видела мемориальные доски. Каждый прохожий мог прочитать на них, что начало всему этому положили в двадцатых годах чехословацкие рабочие, члены коммуны «Интергельпо». Можно было бы еще добавить, что закладывались эти предприятия на собственные средства чехословацких коммунаров.

Я встречалась с этими, теперь уже седыми, постаревшими мастерами на заводах и у них дома. Забывая о своих персональных пенсиях, они все еще заседают, волнуются, решают — в парткомах, завкомах, комиссиях — и ощущают братство рабочих, то, что называется обычно пролетарским интернационализмом, не как лозунг, а как повседневный живой двигатель собственной жизни, собственной неизбежной молодости.

Так вот, вдохновить этих очень разных людей на столь отважный шаг сумели тоже отсюда, с Кралевской улицы, из глубины двора этого незаметного дома, по старой, стертой лестнице которого в двадцатых, тридцатых годах, торопясь, сбегали вниз и расходились по заводам, институтам, шахтам молодые и пожилые, нередко очень одаренные люди. Они могли стать известными писателями, преуспевающими адвокатами, музыкантами, архитекторами, художниками. Они могли жить в достатке при лютых власти. Но они не искали спокойного, благополучного существования. Они отдали свои таланты борьбе рабочего класса за освобождение, борьбе за самую человечную, по-солдатски немногословную, истинно мужскую дружбу между нашими народами.

В один из дней моего пребывания в Пльзени — родном городе Юлиуса Фучика — я зашла к его младшей сестре Вере, светловолосой, оживленной и, как брат, сердечно открытой. Он когда-то много рассказывал о том, какая она левунья, сколько в ней жизнерадостности. Он очень любил Веру.

В последнее свидание с сестрой — конечно, в присутствии стражников — Юлиус, уже зная о предстоящей судьбе, скороговоркой, но очень разборчиво сказал ей:

— Если раздавят муравья — ничего не случится. Дело, которое делает муравей, будет закончено и без него. Когда меня не станет, дело, которое делают наши, будет доделано без меня. Крепитесь...

Эти слова записаны в моем блокноте по-чешски. Рукой самой Веры. Они предназначались, должно быть, не только ей. Вернее, даже не столько ей, сколько всем тем, кто должен был продолжать борьбу. И как велико было его преклонение перед величием этой борьбы, если он, человек, мечтавший писать романы, занимавший уже видное место среди журналистов и общественных деятелей своей страны, так просто успокаивая сестру и друзей, отводил себе место муравья в большом и многотрудном деле — построении коммунистического общества. Видимо, и эта черта чисто рабочей скромности зародилась тоже здесь, в строгом рабочем доме Карлина.

А напротив этого дома — через дорогу — расположилось то, что редко становится достоянием истории. Теперь здесь маленькая мясная лавка. Конечно, государственная. Прежде тут была харчевня «Кулинарство» Кржана. Как рассказывает Иосиф Рыбак, он с товарищами и, конечно, с Фучиком забегал сюда перекусить, выпить крепкого кофею (который Юлиус очень любил) или стаканчик сухого вина (от которого тоже он не отказывался). И после короткой передышки они снова с жаром принимались каждый за свое дело: кто за статью — о гитлеровских проделках в Сааре, или о последнем спектакле, или о новой книжке, а кто за очерк о таджикской колхознице, которую даже закоренелый поклонник древних обычаев — муж — признал наконец равноправной гражданкой.

И, может быть, именно здесь, за столиком этой харчевни, когда друзья уже затопились обратно в редакцию, Юлиус задержался, чтобы дописать письмо к нам.

«...Милая, далекая семья... в третий раз начинаю письмо к вам... Я опять стал редактором в Р. («Руде право».— И. Р.).

Результатами я еще, конечно, не доволен. Но убежден, что осенью все-таки удастся сделать газету такой, какой она должна быть. Пока мы достигли одного успеха... люди уже начинают писать положительные отзывы. Ну, поменьше дело идет. ...Состояние, в котором я живу, очень странное. Не все в порядке. Не все в Р. я хожу, и они (полиция.— И. Р.) об этом знают. Пока — без последствий. Теперь ситуация такова, что при ней все возможно. В этом направлении здесь очень многое изменилось. Но в остальном вот что на меня вначале больше всего здесь подействовало — вот эта улица выглядит так же, как и раньше, трамваи ходят так же, как ходили, жизнь здесь не изменилась... И это кажется совершенно невероятным человеку, который у вас привык к жизни, меняющейся ежедневно. Только знакомых стало меньше: Фрицек Фоейрштейн бросился в Влтаву, потому что у него уже долгие годы не было работы. Лонгина убил алкоголь. Старого Вайнера засыпало при обвале в дикой шахтенке. Вот видите — тоже жизнь! Еще многое у меня на душе, но уже сегодня выскажу не все, — машина ждет передовичку...

До свидания, родные, — хотя, наверное, не столь скорого, как мы предполагали.. И желаю вам много-много здоровья!..

Ваш Ю.».

...Это письмо было написано двадцать седьмого июля 1936 года. А вернулся Фучик в Прагу в середине мая. Он ждал ареста. Ведь поездка в Москву была — кроме всего прочего — вызвана еще и судебным преследованием. Власти не должны были знать о его возвращении. Но знали. И жил он на полуправильном положении. Играл с полицией в кошки-мышки. Если это можно было назвать игрой.

Последние слова письма написаны мелким, убористым почерком. Написав их, он, наверное, вышел, опустил его вот в этот старенький почтовый ящик, подождал, как и мы сейчас, пока прогромыхал трамвай, перебежал через вот эту тесную улицу, через маленький, залитый асфальтом дворик, перескакивая по обыкновению через две-три ступеньки, взлетел по этой лестнице на третий этаж и с ходу начал диктовать передовицу.

«Передовичка» — нежно называл он свою работу. К каждой работе он относился вот с такой заботливой нежностью. Нежное отношение к тому, что создают руки, ум,

сердце человека, пожалуй, первым и бросилось мне в глаза в сегодняшней Чехословакии. Я видела, как увлеченно, любовно люди отливают, охлаждают, поворачивают, разглядывают обычное оконное стекло на заводе в Дольном Вихнове, как брненские мастера режут, полируют, придают благородно простые формы дереву, превращая его в сверкающую гладь столов, шкафов, кресел, как ревниво проверяют на цвет и на вкус свое «пивечко» пльзенские пивовары.

Лишь сейчас мне понятно стало, сколько национального, традиционного и по-настоящему рабочего было в этом слове «передовичка», как характерно здесь это особенное, я бы сказала эстетическое, отношение к предмету своего труда, как сильно стремление сочетать удобство, полезность с красотой. Но об этом еще пойдет речь дальше.

А пока воспоминания, ассоциации, живые впечатления и мысли так и растекались ручейками и вновь встречались, в то время как молчаливый, немного угрюмый, иногда чуть смущенно улыбающийся товарищ Рыбак вел меня по этой улице, по этим комнатам и то жестом, то полусловом указывал:

— Здесь были рабочие комнаты товарища Готвальда и Швермы. А вот здесь печатались «Руде право» и «Творба»... А сюда мы забегали перекусить...

Вот так уже с первых дней начала оживать в моем представлении Прага далекой истории, с ее живописными Градчанами, с легендами о вездесущем Карле Четвертом, который построил один из первых в Европе университетов и первый попробовал воду карловарских источников, с ее народным рыцарем справедливости Яном Гусом. И тут же, рядом, переплетаясь с этой древностью, жила Прага Карлина, суровая Прага недавней истории: с ее Швейком, который сидел вот здесь в пивной и ни за что не желал воевать; с ее Гашеком, который сам, по своей воле, отправился сражаться на фронтах нашей гражданской войны. Тут была Прага с безработными, забастовками, демонстрациями, с тесными дымными предместьями и замкнутой отгороженной осянками аристократических кварталов, Прага героев Пуймановой и Отченашека. Прага с людьми, которые бросались в Влтаву, потому что не всегда догадывались, где надо искать выход, и с теми, кто отдавал все свои силы, чтобы этот выход подсказать, чтобы к этому выходу привести свой народ любой ценой. Тут был всегда солидарный с нами город пролетариев, та самая Прага, которая помогла Ленину собрать и сделать незаметной для полиции такую решающую в жизни нашей страны и международного коммунистического движения Пражскую конференцию.

Вот здесь, в этой узкой многооконной комнате под самой крышей, за длинным столом сидели Ленин, Орджоникидзе... А вот здесь, слева, на круглой железной вешалке, Владимир Ильич повесил, наверное, свое неказистое пальтецо. Может быть, то самое пальтецо, которое несколько лет спустя так старательно заштопала Надежда Константиновна после выстрела Каплан. Ведь у тех, кто создавал могучее социалистическое государство, часто не оказывалось лишней кроны, лишнего франка, лишнего рубля, когда дело касалось их собственных нужд.

И на каждом углу раскрывалась передо мной воочию борющаяся Прага времен второй мировой войны. Прага Панкраца и Печкарни. Вот они, эти каменные мешки-одиночки. Сюда заталкивали подвижного, размашистого, широко шагающего Фучика или могучего здоровяка Недведа. И лифт, непрерывно — клетушка за клетушкой — движущийся лифт. Он без устали поставлял пищу в необъятное чрево гестапо, в печально знаменитый, так называемый «кинотеатр». Здесь, в большой темной комнате, на деревянных скамьях, вразброс, подальше друг от друга, сидели в ожидании очных ставок Елинеки, Лида Плаха, Густа, все те, кого увековечил в памяти людей репортаж человека, который тоже занимал место на одной из этих скамей.

Из-за стола жандарм наблюдал, чтобы эти люди, не дай бог, не перекинулись словом. На стене в черной рамке висело выведенное черными готическими буквами грозное предупреждение: «Внимание! Заключенные, которые в этом помещении станут без разрешения разговаривать, будут наказаны трехдневным лишением еды и тремя днями стояния». Внизу, в комнате с железными решетками, еще сейчас находится специальное приспособление, с помощью которого, на основе новейших научных достижений, можно было совершенно точно определить, не отклонялся ли заключенный хоть на градус от вертикального положения. Здесь еще можно увидеть тяжелые наручники, железную

перекладину с кольцами, к которой подвешивали человека, электрический стул, стальные плети — длинные, гибкие. А в белой, выложенной кафелем передней над белым умывальником палач мыл руки, когда, устав от «рабогыз», уступал место сменщику. Он уходил завтракать, обедать, ужинать. И палачей обучали когда-то цивилизованные мамашы мыть руки перед едой. Они называли это чистоплотностью и культурой. Палач мыл руки, завтракал, обедал и возвращался допрашивать — при помощи электрического стула, современной дыбы, стальной плети.

Все это могло бы уже восприниматься только как печальные музейные экспонаты, и, возможно, не стоило бы сейчас, спустя семнадцать лет, столь подробно их описывать, если бы и сегодняшняя газета не приносила очередного сообщения о том, как нынешние сынки высокоцивилизованных мамаш аккуратненько умывают руки после рискованных забав с атомными бомбами и прочими орудиями уничтожения.

И здесь живым ощущаешь автора знаменитого «Репортажа». Уходя из жизни, он не снисходил до того, чтобы жалеть себя, жаловаться на судьбу. Он торопился использовать последние минуты для того, чтобы рассказать о моральной красоте тех, кто сражался рядом. Он высмеял ничтожество тех, кто только что избивал его до потери сознания, — избивал, а потом мыл руки. Весь в крови, он с трудом оторвал пальцы от каменного пола, чтобы предупредить нас, всех нас, кто так беспечно ходит сейчас по этим оживленным, жизнерадостным улицам:

— Люди, я любил вас! Будьте бдительны!

* * *

Новое здесь уже вросло и продолжает вращаться в обжитое, традиционное, как вырастает в почву молодой дуб — корнями поглубже, поближе к сокам земли.

Конечно, многое из того, что бросилось мне в глаза, для чехов уже перестало быть новым.

Когда-то в Москве Фучик не раз при случае мечтательно говорил:

— Эх, когда уже и у нас будет: «Моя милиция меня бережет»?!

Он очень не любил полицейских, которые не раз таскали его в участок. Зато в Москве он нарочно — о ужас! — улицу Горького переходил наискосок от тротуара к тротуару, с лукавым смирением протягивал штраф — три рубля — и начинал обстоятельный разговор о жизни с представителем оберегавшей его милиции.

После того как в пражском трамвае разгорелся спор, где бы мне лучше сойти, чтобы кратчайшим путем добраться до нашего посольства, после того как с числом озачоченных советчиков все возрастало и возрастало число возможных вариантов маршрута, я сошла и на всякий случай решила спросить еще совета у одного из милиционеров. Они стояли вдвоем на перекрестке. Старший из них был пожилым огромным дядькой с брюшком, с сурово-покровительственным взглядом немного выпуклых серых глаз на широком лице. Он показался мне важным, преисполненным чувства ответственности за порядок в доверенной ему округе. Я подошла с некоторым трепетом — все-таки милиция! Но, заметив, очевидно, растерянность на моем лице и услышав мое произношение и адрес, он заулыбался, нагнулся ко мне, положил свою огромную ручищу в белой перчатке на мое плечо и сказал:

— Пуйдем, тувариш!

« Я, конечно, пыталась' убедить его, что найду и сама, что мне совестно отвлекать его от дел, но рука в белой перчатке заботливо вела меня, квартал за кварталом, совсем по-отцовски указывая на камни, на спуски, чтобы мне не оступиться. И ее обладатель не без гордости рассказывал, что две его дочки уже прилично научились в школе читать и говорить по-русски, что они переписываются со школьниками Ленинграда и даже Новосибирска, что сам он еще не научился — все-таки возраст! — но хотел бы, конечно, как-нибудь объясняться. Вот он уже запомнил слова «общество», «туда-сюда», «тувариш»...

Последнее он произнес совсем как Фучик. И невольно, не без грусти, я подумала: «Вот теперь и твоя милиция меня бережет...»

Этой «новости» о милиции, которую мои друзья не должны были, как когда-то, обходить с опаской, тоже пятнадцать лет. И все уже привыкли к ней, как мы привыкли к своей. А вот возраста новости, которая обрадовала меня на Пшикопах, я не знаю. Металлические строительные леса вокруг одного из домов, очевидно ремонтируемого, были с внешней стороны обтянуты тонкой, оберегающей от ветра и дождя завесой из прозрачной пластмассы. Осеннему ветру не дозволялось здесь — властями или профсоюзом — проникать туда, где работает человек. Он строит дом для людей. Нужно обеспечить условия, чтобы он мог выполнить свое дело успешно.

В первый же день приезда я остановилась на одной из улиц Праги — не то на Народной, не то на Пшикопах или на Вацлавской площади, — остановилась и долго с удовольствием смотрела через стекло витрины, как, сидя на полу, выкладывает паркет грузный большеликий человек лет тридцати. Вот он взял одну дощечку, осмотрел со всех сторон, обмахнул ее щеткой, протер розовой губкой, сдул с нее пылинки, снова поглядел, плотно уложил рядом с той, что уже лежала, наклонил слегка голову набок, глянул еще раз, поправил и взял следующую. Он работал умело, спокойно и... быстро. И норму наверняка выполнял. Но его душе, именно душе, необходима была еще и красота в работе. Я уверена, что он называл выложенный им пол «паркетиком».

И еще. После долгого дня хождений, когда уже и глаза больше не глядели и ноги не держали, мы зашли в столовую — в первую попавшуюся из сотен разбросанных на старых и новых улицах города. Это даже была скорее небольшая кофейня, столиков на восемнадцать—двадцать. И тут успокаивающе тихо играла музыка. Мягкий свет располагал к отдыху, к душевному разговору. С приветливой улыбкой и вместе с тем с чувством собственного достоинства подошел один из двух молодых людей, обслуживающий правую половину столиков. Внимательно, опокойно спросил он, чего бы нам хотелось, что-то посоветовал, буквально через пять минут принес, подал счет и сказал еще нам «спасибо». Точно так же подошел он к столику рядом, где сидели две девушки и двое молодых мужчин. Они, очевидно, зашли в обеденный перерыв перекусить. Официант подходил и к тем, кто сидел дальше.

За рубежом обычно больше и внимательнее ко всему прислушиваешься и присматриваешься. Присматривались и мы. Право же, этот официант делал свое дело спокойно, быстро, с какой-то, я бы сказала, красивой приветливостью. Посетителю, который сидел у самой стены и писал что-то, отхлебывая из чашечки кофе, он принес чернила и газету. И когда кто-то из вновь вошедших направился было на свободное место рядом с пишущим, официант мягко, любезно, но настойчиво предложил ему другое.

В каждом его движении чувствовалось уважение к своему труду, к себе, к посетителю, ощущалось желание доставить удовольствие тому, кто его трудом воспользуется. Ему, наверно, хотелось бы, чтобы об этом обеде хорошо отозвались. И он хотел доставить радость себе и людям. Точно так же как и рабочий, который, выстилая паркет, старался доставить радость не только тем, кто по нему пройдет, но и себе тоже.

Такое же чувство заботы о будущем постояльце гостиницы, о студенте, о жильце заметила я и в работе мастеров, строивших, скажем, гостиницы в Праге и в Брно, общежитие студентов в Братиславе, квартиру в новом доме у моих пражских приятелей. Эти мастера прокладывали меж ослепительно белых кафельных плиток, которыми облицованы ванные комнаты, тоненькие ровные полоски темного цемента. Прокладывали так, чтобы вода внутрь не проникала и чтобы глаз людей, которые будут пользоваться ванной, радовался красивой работе. Чтобы глаз радовало само исполнение работы, а не роскошь мрамора, не блеск бронзы, не дорогие сорта дерева, не замысловатость формы.

Инджих Дворжак — главный инженер шахты «Пограничный страж», — отзываясь об одной сравнительно небольшой группе горняков, работающих у них на открытых карьерах, брезгливо отмахнулся рукой, поморщился и — не мне, а кому-то из своих товарищей — буркнул:

— Э! Они работают ради денег, а не ради социализма!

В буквальном переводе с чешского это прозвучало бы еще резче, еще презрительнее: они работают за деньги, а не за социализм!

Очевидно, жизнь в Соколове — городе шахтеров и стеклодувов, на самом рубеже с Западной Германией — очень наглядно, изо дня в день, подсказывает ему, как именно люди работают во имя социализма, а как — только ради денег.

Товарищ Индржих Дворжак уже несколько лет трудится здесь и, конечно, горд тем, что его коллектив получил в третьем квартале переходящее Красное знамя республики. Знамя это более тридцати лет назад, еще в 1928 году, подарили шахтерам Чехословакии шахтеры Советского Союза. Во время фашистской оккупации его, рискуя жизнью, прятали и сберегли. Теперь оно передается победителям трудового соревнования.

Индржих Дворжак — рослый, коренастый, средних лет человек. Он не кажется меньше даже рядом с огромными экскаваторами, которые на всей территории открытых разработок тысячами тонн выгребают породу и уголь. Недавно он побывал у нас, в СССР, и явно предпочитает всем советским городам Ленинград. Он, очевидно, как многие чехи, любит пошутить. Чуть насмешливо глянув на одного из наших спутников, который предпочел почему-то остаться в автобусе, он подмигнул, по-свойски улыбнулся, пробасил: «Привык, наверное, по паркетам ходить?!» — и повел нас вдоль верхнего яруса породы, высота которого — несколько десятков метров, повел по пласту уже расчищенного угля, залегающего здесь метров на тридцать вглубь. Людей почти не было видно. Машины, машины, машины. Вернее, люди выглядывали из кабин экскаватора и грузовика, из будки паровоза. А Индржих Дворжак говорил, что в 1962 году здесь уже все будет сплошь механизировано. И это, конечно, нас тоже очень радовало.

Но самым радостным было для меня его отвращение, его глубочайшее презрение вот к этому ползучему «работает только ради денег...». Тут уже отчетливо слышалось новое в самом понимании жизни и ее цели, во всем жизненном укладе.

Кто из москвичей не помнит веселого мастера Рудольфа Котала на выставке чехословацкого стекла в Москве, героя поистине фантастической поэмы о стекле. Я долго смотрела, как этот волшебник с тем же изяществом, на своем обычном, далеко не выставочном рабочем месте — у заводской печи, в которой бушевало синевато-оранжево-белое пламя, — рядом с другими мастерами колдовал над стеклом. Неторопливо вынимал он из огня длинными шипцами мягкий, бесформенный, раскаленный добела слиток, выдувал, опускал в воду, вытягивал, клал снова в огонь, пластично поводил округлыми движениями по воздуху — вверх, в сторону, вниз, — поворачивал, надрезал, зорко вглядывался, снова надрезал, доливал сбоку еще немного раскаленного жидкого стекла, и на глазах слиток превращался в произведение искусства, настоящего искусства.

И этот труд был не только ради денег, он доставлял удовольствие, радость тому, кто трудится, он был для людей, во имя удобства и красоты их жизни, во имя их естественного стремления к прекрасному. Труд во имя коммунизма. Тот самый, о котором мечтали друзья моей юности. И он теперь уже необходим не только инженеру Индржиху Дворжаку.

* * *

На шахте «Пограничный страж» в Соколове устроили торжественное собрание рабочего коллектива для вручения переходящего Красного знамени, как настоящее семейное празднество: в ярко освещенных залах огромного клуба; за сверкающими белизной скатертей накрытыми столами; с женами, с мужьями, с близкими. И веселились здесь поистине все вместе — машинисты и директор с главным инженером, экскаваторщики и только что подававшие ужин юные официанты, министр, подсобные рабочие, шоферы, руководители профсоюза, — очевидно, все, кого искренне волнует успех общего дела. Все вместе танцевали, подпевали оркестру. Перекидывались от стола к столу нередко солеными шутками. И никто, должно быть, не замечал вот

этого «все вместе». Ведь трудились сообща. И победы добивались сообща. И дело у них общее. И еще у них общая, очевидно с детства, привычка уважать умельца в любом труде, уважать любой труд. И во всех залах, сколько я ни присматривалась, мне трудно было отличить рабочих от тех, кому народ доверил руководить ими. Невозможно было отличить по одежде, по обращению, по всему внешнему облику.

* * *

— Нет, нет, тебе надо обязательно поехать в Пльзень, расскажешь там о Советском Союзе и о Фучике,— заявил один из руководителей чехословацких профсоюзов, вручавший знамя горнякам.

И я оказалась на таком же празднестве среди рабочих машиностроительного комбината имени Ленина— бывших заводов Шкоды.

Это огромное предприятие, одно из самых крупных в Европе. Оно изготавливает машины, прославившиеся на весь мир, и праздновало оно не только трехкратное в этом году получение знамени и полумиллионных премий, а еще и свое славное столетие. У рабочих этого предприятия три больших клуба, а по случаю праздника был снят еще и Пльзенский городской театр оперы, где в этот вечер ставили для юбиляров «Проданную невесту». Всюду— и в театре и во всех трех клубах— мой спутник обязательно хотел побывать.

Удивительно, как любят этого человека рабочие и как он раскрывается, становится естественнее, общительнее, по-родному непосредственнее именно здесь, в этой среде!

Оживленный, с озорным огоньком в глазах, входит он в зал. Едва он успевает появиться в дверях, как его тут же окружают, на радостях по-мужски тычат локтем в бок, потом то один, то другой, положив широкие ладони на плечо, отводит его в сторону, чтобы о чем-то с хохотом рассказать, что-то спросить. До самого утра его угощают, не отпускают с праздника. Какая уж тут официальная торжественность или почтительность к начальству! Хоть он-то как раз и есть профсоюзный руководитель и депутат от Пльзени в Национальном собрании.

Но прибыл он сюда вовсе не с официальной миссией. Нет. Приветствовать завод должен другой товарищ. А он попросту примчался на свое семейное торжество. К сожалению, жена заболела, иначе и она была бы вместе с ним и радовалась. Ведь он бывший шкодовец. Еще тридцать лет назад он работал здесь, как все эти люди, у станка. Был отличным мастером своего дела. И товарищи уважали его, как принято уважать,— не за слова, а за дела. Но он увлекся коммунизмом, тем самым конкретным, справедливым коммунизмом, который заставит работать всех и даст каждому, чего только душа его ни пожелает. Он научился увлекать этим коммунизмом своих друзей. И не раз становился поперек дороги бывшему хозяину завода.

Он, очевидно, был порядочным заводилой, этот мой спутник, что можно и сейчас представить себе по его молодой подвижности, по озорному и острому взгляду светлых, все время чем-то заинтересованных глаз. В 1930 году его избрали членом ЦК КПЧ. Это, очевидно, совсем уже вывело из себя хозяев. Его вызвали в дирекцию. Не кричали, нет. Решительно предупредили, что коммунистическая деятельность несовместима с работой на таком предприятии. Быть может, пытались напомнить о семье, о будущем. Но разве такого переубедишь? Он и по сей день бессменный член Центрального Комитета. В течение тридцати лет. А с завода тогда, в тридцатом, его выставили.

Хозяина можно понять. Зачем ему нужен был в цехах энергичный человек, который столь решительно намеревался отнять у него завод и, не интересуясь личными выгодами, попросту отдать его вот этим мастерам!

Да, хозяина можно было понять. Но еще больше можно было понять рабочих старой «Шкодовки», которые теперь уже окончательно поверили своему заводиле и крепко полюбили его.

О его жизни хотелось бы рассказать поподробнее: о его умении оставаться всегда «своим», отзывчивым, сердечным. О его изобретательности в страшные годы

фашистской оккупации, подполья — ведь он работал все время и не попался. О том, как после победы, став секретарем обкома, он вдруг понял: если до сих пор привычнее было воевать с хозяевами, ставить им палки в колеса, ломать их волю, то теперь следует научиться не только чувствовать себя хозяевами, но и быть ими. А это значит — себя, то есть рабочих, не давать в обиду и себя же, то есть хозяев, не только не обижать, но еще и обогащать.

Хотелось бы еще рассказать, как он один, а то и с женой, с дочкой, старается провести каждый свободный день среди своих избирателей, своих земляков. Чтобы выслушать просьбы, жалобы, чтобы сердечно поговорить и, конечно, помочь. Если надо — через профсоюзы. Если надо — через Национальное собрание. Обязательно помочь. И еще — просто отвести душу. А душа его, конечно, тянется в Пльзень.

И сейчас, на празднестве, до чего же приятно и ему и председателю завкома видеть радость на лице советской гостьи, особенно когда она слышит, что полтора миллиона крон премии пойдут на новое жилье для рабочих комбината, на новый дом отдыха для них же в Железной Руде, на новую заводскую больницу, на три стационарных пионерских лагеря. И недаром он так торопится пояснить, что семь стационарных лагерей для детей рабочих и служащих завод уже давно построил. И отличных лагерей. Он там бывал. И мало ли что может себе еще разрешить такой богатый хозяин, как «наши ленинцы»!

Нет, не зря так спешил сюда мой спутник. Стоило ему появиться в дверях одного, другого, третьего праздничного зала, как из-за десятков столиков почти в один голос раздавалось: «Вацлав, сюда!», «Вашек, сюда!», «Старина, сюда!» Каждая нотка его голоса, каждый мускул на его лице говорили, что он здесь среди своих. И веселился он, как веселится школьник или студент, когда на каникулы приезжает домой. И его неувядающая молодость тоже, вероятно, была отсюда.

Об этих людях радостно писать. Хочется передать всю теплоту, почти интимность их праздника, чтобы каждый увидел себя в этих пляшущих и поющих залах, уже порядком желто-сизых от дыма, чтобы видел, как тянутся и к нему руки с бокалами — за дружбу, конечно! — чтобы чувствовал себя немного смущенным от обилия тепла и внимания, которое все стараются выразить советскому человеку.

Ничего не поделаешь, такова уж участь любого из тех, кто приезжает сюда из нашей страны. В нем перестают видеть просто Иванова, Смирнова, Сидорова, а обязательно видят представителя нашей великой державы. Порой это порождает немало затруднительного. Иногда приводит к смешному. И главное — возлагает на тебя, ох, как много ответственности!

Хотелось бы, чтобы каждый у нас поближе узнал людей, которые сидели там рядом со мной, чтобы увидел, какие они на отдыхе и в труде. Может быть, завтра кто-то из них придет к нам, в Москву, в Новосибирск, в Братск. И чем-то нашим заинтересуется или что-то нам присоветует. Они нам не просто друзья, давние и настоящие. Они еще ближе. Когда во время торжественной части мне довелось от имени советских людей, прибывших с Поездом дружбы, произнести несколько приветственных слов, и среди них были сказаны отнюдь не блещущие новизной: «ваша гордость работой — это наша гордость; ваша радость победы — это наша радость...», видно было, как у многих, особенно у людей пожилых, заблестели на глазах слезы. А взрыв аплодисментов относился, конечно, ко всем нам, к советским людям.

И вот далеко за полночь, когда многие наши сотрапезники уже в который раз отплясывали и подпевали заводскому оркестру, мой второй сосед — человек сравнительно молодой, лет сорока или того меньше, — принялся весело рассказывать сидевшим о том, как ему удалось освоить руководство сложным хозяйством вверенного ему министерства. Меня его рассказ заинтересовал еще и потому, что отец этого человека был одним из первых «интергельповцев».

Во время торжественной части этот могучий, с крупными чертами лица, с громким голосом и рвущейся наружу энергией человекиче не удержался, конечно, в рамках благостного праздничного приветствия. Какое там! Он выкопал откуда-то у юбиляров грешки. Не без едкости показал, где можно было бы трудиться лучше. Но его слушали — и смеялись, и хлопали, и были довольны. Потом он сошел со сцены,

и оказалось, что в зале добрая половина людей обращалась к нему на ты. Добрая половина тех, кто трудился «для социализма», как сказал бы инженер Индржих Дворжак. Когда кто-то из глубины зала громко не то попросил, не то потребовал: «Говорят, здесь министр наш сидит. Пусть покажется!» — мой сосед, посмеиваясь, но весьма послушно встал, столь же послушно сказал: «Вот я!» — и продолжал рассказ.

Никаких тайн он, конечно, нам не открывал. И важны были в его словах не столько факты, сколько их подоплека. Он рассказывал о том, что назначили его на этот пост еще совсем молодым. И дело было трудное — планы не выполнялись. А он, конечно, знал, что его задача — обеспечить выполнение. И решил раз и навсегда покончить с этим позором. Как покончить? Приказом, конечно. Одним приказом, вторым, третьим. Что может быть яснее и проще? А на приказы подчиненные обычно отвечают: «Слушаюсь!» И вроде делают все, что требуется. Но получалось, как у Швейка: «Слушаюсь, пан полковник!» — и идет в обратную сторону. Тогда он подумал, поразмыслил и поехал сюда, к «ленинцам». Потом на другой завод, на третий. Созвал мастеров, инженеров. Рассказал, в чем задача, подробно, толково. Ведь делать-то им. Поделился трудностями. Попросил совета. Обсудили, договорились. И тут он снова подписал приказ. Но это уже был их собственный приказ. И они уже выполняли его вдумчиво, по-хозяйски, с удовольствием. А в таком удовольствии, очевидно, и заложена добрая половина тех самых процентов, которые так сухо звучат в отчетах и планах. С тех пор он и начал заботиться об этом удовольствии.

Теперь он сидел здесь, среди рабочих, тоже вместе со своей милой женой, тоже радостно волновался по поводу того, куда пойдут полтора миллиона премии. К нам еще подсел с бокалом пожилой дородный распорядитель бала — как мне сказали, мастер из кузнечного цеха, — чтобы еще раз перекинуться словом или просто взглядом. И чокнуться, конечно, как издавна принято.

— Работать так работать, а гулять так гулять!

* * *

Чудесные исторические легенды и народные сказания, собранные классиком чешской литературы Алоизом Ирасеком, начинаются рассказом о том, как «за Татрами... залежала с незапамятных времен... часть великой Славянской земли», как там «обитали многочисленные племена, родственные по языку, нравам и обычаям», как «начались между этими племенами кровавые распри за межи и уголья» и как «два брата из могущественного рода, Чех и Лех, сговорились покинуть родину... и поискать новых мест, где бы можно было спокойно жить и трудиться. Они издавна привыкли с любовью возделывать землю, засеивать ее различными злаками, ковать коней и разводить большие стада...»

В те легендарные времена еще можно было попросту уйти за дремучие леса и болота, найти там благодатные незаселенные края, где богатства природы, казалось, так и просили человека: приложи свои руки — не пожалеешь! Чешские легенды воспевают не воинственность, не ратные подвиги, а уход от распри за межи и уголья, уход туда, где можно спокойно трудиться. Народ, так долго и трудно отстаивавший свое право на независимое существование, даже в сказаниях воспекает не столько боевую славу, сколько труд пахаря и зодчего.

Пожалуй, лучше всего эту национальную черту выразил замечательный чешский поэт и прозаик прошлого века Сватоплук Чех. Он писал:

...Давил кулак державный год за годом
Бесправный люд,
Пока не грянул первый клич свободы:
Будь славен труд!

И что осталось от державной славы?
Лохмотья, плесень — вот ее плоды!
Но скромный труд, стирая пот кровавый,
Возделал пашни, вырастил сады,
Настроил города, где пред дворцами

Фонтаны бьют
И где кричит строенья каждый камень:
Будь славен труд!

...Будь славен труд, в поту творящий благо!
Бей молотом, направь на пашни плуг,
Вяжи снопы, бери перо, бумагу,
Ваяй, твори не покладая рук!
Ты победишь трусливых трутней касту,
И меч, и кнут.
В тебе равны кирка, перо и заступ.
Будь славен труд!

...Утихнет спор религий и сословий,
И успокоится вражда племен.
Умолкнет бой и бранные фанфары,
Мечи падут,
Но будет все звучать, как в песне старой:
Будь славен труд!..¹

И народный поэт Ян Неруда мечтал: «О, если бы мне получить десяток жизней, чтобы все их отдать на благо чешского труда и чешских мастеровых!..»

Характер каждого народа, как и характер человека, своеобразен. Особенно мало-го народа, вынужденного из века в век вести борьбу, отстаивать свой язык, свою культуру, свое право распоряжаться собственной судьбой.

Народ немногочисленный, но сильный духом, убежденный в своей конечной победе, сопротивляется, восстает. Но он избирает еще и такой путь борьбы: из поколения в поколение он совершенствует сноровку своих умельцев, искусство своих мастеров, он воспитывает в каждом своем сыне стремление — уметь, уметь и еще раз уметь. Именно умением вынуждает он не только своего порабитителя, но и весь мир понять и признать его достоинства. Он вроде и подчиняется, но, подобно гашековскому Швейку, делает все по-своему. С практической трезвостью он шаг за шагом, дружными усилиями людей труда добивается признания своей полноценности, нужности и самостоятельности в полном смысле этого слова. Он верит в труд. Он вроде и не прочь овладеть языком и всем ценным в культуре победителя, приобщить это к своим собственным накоплениям. Но каждый сельский учитель знает и из поколения в поколение передает: учи детей общей мудрости, но не забывай петь с ними народные песни; посвящай детей в откровения мирового опыта, но капля за каплей вливай в них обогащающие соки своих народных сказаний, своего народного творчества, сделай так, чтоб и Ян Гус и Ян Жижка повседневно жили рядом с ними. Лепи из ребенка Человека, прежде всего Человека, и это укрепит в нем чеха, словака, знающего и любящего историю своего народа, его традиции.

Сразу же после встречи с корректными чехословацкими пограничниками на станции Чierna над Тиссой первыми горячо приветствовали нас в каждом городе, на каждой остановке дети, пионеры. Они хлопали в ладоши, кричали что-то, пока наш поезд или автобус замедлял свой ход. Потом окружали вагоны, подбегали к каждому из нас, прикалывали значки, дарили открытки, сувениры, и начинался оживленнейший разговор.

Тут же выяснялось, кто в каком классе учится, кто собирает марки, а кто открытки, кому бы хотелось переписываться с нашими детьми, чей папа кем работает и кто кем хотел бы стать. Мы принимали их сувениры и дарили свои. До чего же радовались ребята разным безделушкам, наклейкам от спичечных коробок, маркам, значкам со спутником или с крохотным барельефом Ленина! Но вот в конце нашего путешествия, в Братиславе, к нам подошли на улице три мальчика. Они спросили, есть ли у нас значки. И когда мы с сожалением продемонстрировали, что карманы уже пусты, что все роздано, они с бескорыстной щедростью нацепили моему спутнику и мне на пальто по три своих значка и долго шарили у себя в карманах, отыскивая что-нибудь

¹ Перевод М. Павловой.

еще. Им явно казалось, что подарок далеко еще не выразил всей силы их симпатии к нам.

Пожалуй, половину моего чемодана заняли эти сувениры: брикет угля с зелено-бело-красной надписью «Пограничный страж», кувшинчик со скрещенной киркой и молотком и надписью «Соколов», куколки, открытки с адресами, значки. Одну из куколок, самодельную, крохотную, с растерянными глазенками и золотыми косичками, торчащими в разные стороны, подарила мне пионерка из Карловых Вар. Она смотрит и сейчас на меня с книжной полки. А открытки — их целая гора! Вид рабочего поселка и на обороте надпись: «Дольный Вихнов — и в нем — на память о Власте Маеровой. Здравствуйте! Соколов». (Слово «здравствуйте» здесь совершенно буквально понималось как пожелание быть здоровым.) Вот две цветные, яркие. Из города Оломоуц. Со множеством островерхих готических башен. И на них, на этих открытках, тоже: «На память дорогих друзей от пионерки Иржины Седловой. Моя адрес: «Оломоуц Лазеца 68». Или: «На память о встрече с Поездом дружбы. Наш адрес: «Сватова и Ростислав Долежиловы. Улица Веверкова 10. Оломоуц».

Сватова и Ростислав... Они мне хорошо запомнились. Сестра и брат. Ей лет четырнадцать-пятнадцать, а ему семь-восемь. Она подошла ко мне на перроне. Высокая, худенькая, мягковолосая, со вздернутым носиком. Смущенно познакомилась, сказала брату, чтобы тоже подал руку, порозовела от радости, когда услышала, что моя дочка, почти ее ровесница, с удовольствием познакомилась бы с ней. Потом она вошла в вагон, придерживая брата за руку, и раз десять переспросила: «Ваша дочка напишет мне первая? Правда, напишет?» За братишкой она все время наблюдала, как это делают взрослые. Рассказывала о своей школе, расспрашивала о том, какой язык учат в школе у дочки и у сына, и замечала, что надо поправить шарфик на шее у брата, застегнуть ему пуговицу, привести в порядок шнурок.

Я спросила Сватову, каковы ее обязанности в семье. Она рассказала, что помогает маме убирать, штопать, покупать и, конечно, присматривать за братом. А вот он никак не приучится к порядку. В голосе ее звучало искреннее возмущение и вполне осознанное чувство ответственности.

И она, и ее братишка, и другие ребята, которые окружали нас на станциях, подходили к нам на улице, которых я наблюдала в пражской школе, куда заглянула в один из своих походов по городу, в клубе стекольного завода в Дольном Вихнове, — все они были, конечно, озорными шалунами, как и положено быть ребятам этого возраста. Но в их движениях заметно было что-то такое, что заставляло задуматься. В Дольном Вихнове, например, они првесело бегали по клубному залу, пока взрослые собирались на свой вечер, они сдвигали стулья, перескакивали через скамейки, расспрашивали нас обо всем, обменивались марками, наклейками со всей обстоятельностью многоопытных коллекционеров. Однако и бегали, и прыгали, и разговаривали они так, точно где-то внутри у них глубокой колеей проходила невидимая, но четкая граница, переступить которую не следует, чтобы не затруднить существование других людей. Они вроде и бегали, но не так, чтобы сбить с ног встречного. Они вроде и шумели, но не так, чтобы оглушить нас. Они вроде и перебрасывались чем-то, но никому при этом ничто не угрожало. Потом ребята со своей учительницей (кстати, учительницей географии, кажется) вышли на сцену и исполнили чешские и советские песни и даже кое-что из классического репертуара. Это был хорошо слаженный многоголосый хор. Пели они с чувством. И такой же хор я слушала в Пльзени. А мои спутники — в двух колхозах, под Прагой и под Братиславой. И сынишка и дочка моих друзей с увлечением поют в таком же хоре с первого класса: Они с восторгом рассказывали мне про свой хор, а я вспоминала презрительную ухмылку моего сына, когда расспрашивала его о кружке пения, который попытались организовать в их школе. Кружок физики — это ему понятно. Кружок радиотехники — это необходимо. Баскетбол — как же без этого? Но пение?!

И когда я видела, с какой непринужденностью ребята здесь разговаривали, поднимались на сцену, увлекались пением, уступали место старшим в трамвае, услужливо отвечали на вопросы прохожих на улице, рассказывали о своих родителях, об их специальностях — слесаря, стеклодува, полотера, уборщика в гостинице, — мне все вре-

мя приходили в голову слова, имеющие отношение больше к садоводству: «выращивать», «выхаживать», «прививать». Слова, в данном случае обозначающие работу человека над живым существом, которому предстоит стать членом человеческого общества.

Еще на пути к Праге я услышала однажды в вагоне занятные слова радиодиктора. Толково, без патетики, без общих фраз, разъяснял он слушателям, как надо относиться к воспитанию детей в семье. По правде сказать, от обилия впечатлений я, видимо, лишь к середине передачи, как говорится, навестила уши. Тихий голос убежденно говорил:

«...Если у вас есть немного апельсина, конфет, пирожных, если у вас осталась только одна ножка от цыпленка, не говорите мужу, жене, что их надо оставить ребенку. Не нужно. Подскажите лучше ребенку, что его долг — отказаться от лакомств и оставить их отцу, матери. Потому что отец, мать делают важное дело — очень важное. Они водят, скажем, трамвай, или шьют платье, или добывают уголь, или лечат людей, или варят обед, или шлифуют сталь. И еще потому, что вам — отцу, матери, старшим — осталось уже меньше лет жить, меньше возможностей пользоваться всякими благами. Ведь это справедливо?!»

«...За столом, в спальне, на улице, в трамвае не ищите самое удобное место для вашего ребенка. Подскажите ему, что он должен найти это место папе, потому что папа делал машину и устал; маме, потому что она стояла у плиты и ноги у нее болят; старшему, потому что он с утра принимается за работу и ему надо передохнуть».

«...При посторонних гостях, при бабушке, при тете, при друзьях не рассказывайте, как хорошо читает стихи, решает задачу ваш сын, как красиво танцует ваша дочка. Пусть лучше дети послушают, что интересного есть в том деле, которым так заняты вы, их родители. Дети еще не заслужили того, чтобы стать центром внимания семьи, взрослых. Это надо заслужить. Вот так дети научатся у вас с первых же лет жизни уважать папу, маму, людей вообще. Так они научатся мечтать об уважении к ним самим, которое придет только через труд. Так они научатся умерять свои желания ради папы, который работает, ради мамы, которая работает, ради старших, ради общества, ради родины...»

Я слушала это со вниманием. И даже с волнением. А диктор спрашивал:

«Вы ведь не хотите, чтобы в вашей семье вырос эгоист, человек, который считает, будто все на свете создано для него, а не он для всех? Ведь и вам будет неприятно, если он привыкнет думать, что навсегда все самое вкусное — для него, самое лучшее — для него, самое удобное место — для него? Он и вас на старости лет уважать не станет. Он никого и ничего не будет уважать...»

Голос диктора еще звучал. Спокойно, просто, доказательно. Примерно так, как здесь изложено. Но поезд наш снова замедлил ход. И уже слышались веселые голоса ребятишек. А в окнах мелькали нестерпимо любознательные разгоряченные лица.

Новым ли было меня, для нас то, что говорил диктор? Нет, не новым. Я вспомнила своего старого друга, работницу трикотажной фабрики в Харькове. Она всегда старалась отдать лучший кусок, лучшее место, все лучшее своим детям. Поступить иначе — да она и представить себе этого не могла и не хотела. Ведь ей-то в детстве это лучшее было недоступно. А дети — они привыкли принимать все как должное. Привыкли к тому, что первое место — им, что внимание — им. И выросли эгоистами. К стыду своему, они слишком поздно оценили самоотверженность своей матери.

Мне вспоминалось и другое: какой гордостью на миг блеснули глаза старого сталинградского слесаря, отца моих друзей, когда его сын, Герой Советского Союза, немолодой уже человек, сражавшийся и в Испании и на фронтах Отечественной войны, входя в его комнату, бросил недокурную папиросу и ждал, пока отец первым скажет слово, пока отец первым сядет к столу, пока отец первым положит себе на тарелку еду. Это была традиция потомственной рабочей семьи.

Я слушала чешского диктора и думала о том, как хорошо было бы, если бы люди пристальнее приглядывались к жизни других людей на земле, к их поискам нового и еще к тому, что они сочли нужным сохранить от старого. Ведь так человек лучше видит и свою собственную жизнь, внимательнее приглядывается к историческому опыту своего собственного народа.

* * *

Нам посчастливилось видеть одно из замечательнейших зрелищ Праги — «Латерна магика». Посчастливилось — потому что уже несколько месяцев, с тех пор как «Латерна магика» награждена была Золотой медалью на Всемирной выставке в Брюсселе, билеты на это зрелище получить было почти так же трудно, как у нас, скажем, на выступления Вэна Клайберна. Еще за квартал до входа пожилые люди и молодежь то и дело останавливали нас и спрашивали: «Нет ли билетика?», а когда мы вошли в зал, то он был битком набит.

«Латерна магика» расшифровывается просто: «волшебный фонарь». Волшебства здесь действительно много, но совсем современного.

Иначе, как все вмещающим, емким словом «зрелище», «Латерна магика» и не назовешь. Режиссерам и художникам, писателям и музыкантам удалось здесь, на небольшой сцене, удивительно органически слить воедино цветное кино, полиэкран и живых актеров обычного театра; сочетания звуков и световых эффектов, привлеченных из опыта полувекových поисков абстрактного искусства, и монументальный реализм кинодокумента; публицистику, чистейшую публицистику, даже с цифрами, и мягкий доверительный голос рассказчика-девушки. Эта девушка с трех экранов на трех языках и в дополнение точно выхваченная лучом прожектора и заботливо выведенная с полотна вперед — теперь живая — непосредственно, тихо, почти интимно рассказывает вроде только вам, лично вам, как прекрасна Чехословакия. Она не прочь шутливо поспорить с собой тут же на экране. Она поясняет только что сказанное ею на другом экране. Она дополняет то, что позади, широко и живописно показывает цветной кинорассказ. Она помогает воображению соединить тех, кто умелой рукой управляет мощным краном, тех, кто разливает потоки искрящейся раскаленной стали, тех, кто отплясывает внизу огневую словацкую польку, и тех, кто лечит людей, обучает детей, сеет хлеб, добывает уголь, в единый народ Чехословакии. И вот эта изящная девушка во всех четырех ее ипостасях очень настойчиво и вместе с тем без голосового нагнетания, подчеркнуто, но не силой голоса, а убежденностью, рассказывает вам, что вот Амундсен первым проник к Южному полюсу, что Эйнштейн первым постиг принцип относительности, Галилей — законы вселенной, Менделеев — внутренние законы химических элементов. А Ян Коменский — он первый проник в душу ребенка.

Девушка продолжает говорить о том, что Ломоносовым гордимся мы, Эдисоном — Америка, Эйфелем — Франция; за ее спиной на цветном экране гигантские машины одного из чехословацких заводов уверенно зажимают в своих лапшах глыбы раскаленного металла, спокойно обминают, поворачивают пышущую жаром махину, придавая ей именно ту форму, которая нужна человеку; а со всех трех экранов в это время вовсе неспроста подчеркивается:

— А у нас — Коменский!

Великий педагог Коменский, который еще в XVII веке мечтал о воспитании гармонического человека-гражданина, человека для людей, который считал, что для людей всех сословий как труд, так и образование обязательны, который считал, что школа должна быть «мастерской гуманности...», «должна вести умы через вещи таким образом, чтобы везде соблюдалась польза и предупреждалось злоупотребление...», который ставил себе задачей «образовать людей, знающих вещи, опытных в деятельности, мудрых в использовании знания...».

— ...А у нас Коменский... — чуть лукаво повторяла девушка из «Латерна магика» и рассказывала о школах, о заводах, об игрушках, о машинах и наталкивала на мысль о том, что и сегодняшний день ставит вопрос о воспитании человека — нового человека социалистического общества, его морали, его поведения среди людей, его отношения к людям и к труду. К труду во имя социализма, как сказал бы все тот же инженер с шахты «Пограничный страж». К труду во имя людей.

* * *

Мы шли из «Латерна магика» заинтересованные и, я бы сказала, подзадоренные. Радовались находчивости, удаче, таланту, молодому озорству создателей этого необычного театра. И, как уже повелось здесь, в Праге, память сердца завела свой при-

вычный разговор с друзьями моей юности, с теми, кто так счастлив был бы шагать сейчас с нами по улице Юнгмана, по Пшикопам, по Вацлавской. Когда глаз останавливался на пестрых, веселых окнах книжной лавки и задерживался, скажем, на явно желающих привлечь к себе внимание — рисунком, цветом, формой — брошюрках молодежного издательства с броскими заголовками: «Хотите ли вы нравиться?», «Политическая азбука», «Человек среди людей», «Книжка о вкусе», «Интимное слово о любви», — я, кажется, слышала голоса моих друзей: «Молодцы ребята, ищут. Ко всем человеческим чувствам подбираются, интересно бы перелистать».

Когда мы проходили мимо огромных, светящихся на всю улицу витрин, радовало отсутствие украшеньиц и густо наставленных вещей. В них отлично были использованы пространство, объем, цвет. Сказывалась трезвая забота о том, чтобы прохожий — трудящийся, конечно, человек — не терял зря времени, не заходил, скажем, внутрь, а мог сразу же определить, найдется ли в этом магазине именно то, что ему нужно, подходит ли ему цена. Ведь они заняты, эти люди, о чьих потребностях и вкусе так заботятся здесь. Они заняты по горло. Хотя выглядят сейчас на улице неторопливыми, спокойными, уверенными. И мне все больше бросалось в глаза братское сходство с нами, советскими людьми. Сходство в чем-то самом главном.

Они увлечены своим делом. Безусловно, большим делом. Ведь только увлеченность чем-то большим может объяснить, почему в неторопливом потоке людей на главных улицах столицы, в театре, в кафе, в ресторане, да и в домах так мало показательной нарядности, крикливого щегольства, внешнего лоска, стремления кому-то подражать; так незаметно желание «казаться». Казаться богатым, или придерживающимся какой-нибудь моды, или пренебрегающим ею. Казаться «маленьким Парижем», «маленьким Лондоном», «маленьким Нью-Йорком».

Конечно, эти площади и проспекты лет двадцать—тридцать назад выглядели по-иному; роскошные виллы на улице «Под каштанами», дворцы, в которых принимали друг друга Печеки и Бати, Прейсы и Масарики, еще свидетельствуют об этом. И весьма возможно, что сегодня среди прохожих вышагивают еще и те, кто не прочь бы рядиться в заморские меха, шелка и драгоценности, подкатывать в роскошных «бюнках» — в общем, казаться сильными мира сего.

Весьма возможно, что кое-кто из них еще существует и на Вацлавской площади, и в дымном Карлине, и в тихих Виноградах. Но в том-то и дело, что, будучи по сущности своей мещанами, особи такого рода всегда воспринимают внешние повадки, словарь, окраску тех, кто в данный момент определяет характер жизни страны. Они приспособляются, чтобы полегче было втереться в доверие к власти имущим, чтобы поближе стать к хранилищам благ. И если даже представить себе, что кое-кто из них остался здесь, то еще виднее становится, насколько характер жизни Праги, Пльзени, Братиславы и Брно определяет теперь, конечно, рабочий человек. Мне вспоминается при этом токарь с завода имени Ленина — хорошо одетый, веселый шутник. Он отлично танцевал, остроумно высмеивал бюрократов. И он же рассказывал нам, как легко удалось ребятам наладить связь и оперативный обмен опытом с коллегами с Уралмаша. Прехитро улыбаясь, он говорил: «Не-ет, нам для этого министерство не понадобилось...»

Характер нынешней жизни страны определяет и этот токарь, и машинист с шахты «Пограничный страж» в Соколове, который, сидя за праздничным столом с женой и с сыном, заставил нас выпить уже не один бокал вина за дружбу и за то, чтобы его шахта в будущем году снова заняла первое место. Тогда они втроем обязательно поедут туристами в Москву.

Характер ее определяют и такие люди, как инженер Индржих Дворжак. Увлеченный огромным размахом работ, мощностью новейших машин, гигантскими планами, он не в силах скрыть своего, возможно слишком непримиримого, отношения к тем, кто работает пока только ради денег.

Люди труда, и только они, определяют теперь характер жизни страны. Недаром им в смутные дни октября—ноября 1956 года, когда у чехословацкой границы подняла голову реакция, народное правительство вручило винтовки и автоматы, в букваль-

ном смысле слова вооружило их, чтобы они сами охраняли свою власть. В те месяцы, когда подонки, скопившиеся за рубежом, закопошились было, взбодренные попыткой венгерских фашистов захватить власть, рабочие Чехословакии с винтовкой отпра- влялись на завод, с винтовкой патрулировали по городу, с винтовкой шли домой. И они остались хозяевами своей страны.

Они, эти труженики, все больше пользуются благами и ценностями, в создании которых участвуют. Все больше у них удобных квартир, уютной мебели и красивой одежды. Они могут приобрести за свой хорошо оплачиваемый труд красивые и полезные вещи. И вещи служат им, не становясь самоцелью. Это, как мне кажется, и определяет сейчас внешний вид улицы, по которой мы идем.

Но бывает порой так, что у человека, приехавшего из-за рубежа и полного самых добрых чувств к этой стране и ее людям, недостаточность знаний может невольно привести к поспешным обобщениям, к излишней восторженности. И от этого снова предостерегают друзья моей юности — они ведь все время идут со мной рядом. Я вспоминаю вдруг давно слышанный разговор об одном рабочем пареньке с какого-то пражского завода, который женился и сначала по настоянию жены принялся обзаводиться всем, что полагается в подобных случаях, а потом так увлекся этим обзаведением, что перестал ходить на собрания, отказался участвовать в забастовке и был потерян для партии, для народа.

Да, но ведь теперь вещи стали доступнее каждому, вступаю я в спор с ними и с самой собой. Безработицы нет. На черный день откладывать не приходится... Однако тут же появляется и возражение: ничего не поделаешь, моль мешанства живуча! Наверное, у сверкающих витрин останавливается и сейчас некая толика людей — не врагов, нет! — но просто тех, для которых квартира, обставленная полированной мебелью, стол, сервированный черно-белым фарфором, платье, приобретенное в Доме мод,— главное содержание их жизни. Для них комфорт, покой превращаются в культ.

А ведь это и есть мешанство. И когда оно становится воинствующим, когда оно стремится прокрасться поближе к благам жизни, оно особенно каверзно и опасно. Мещанин умеет говорить голосом и словами хозяина! Он умеет создавать видимость усердия и активности, умеет громче всех кричать о своей верноподданности новым принципам жизни, умеет льстить и — ох, как старательно! — доводить до абсурда любое желание хозяина. Иногда из медвежьей услужливости. Иногда из хорошо рассчитанной угодливости. А чаще — из ненависти.

«Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» Эти слова Фучика, как мне кажется, подводили итоги его многомесячному общению с одной из разновидностей воинствующего мещанина, дорвавшегося до власти над людьми, с бывшим лакеем пражского кафе гестаповцем Бемом. Эти слова были итогом и размышлений над судьбой бывшего коммуниста, который отдался во власть эгоистической заботы о собственном «я», убил в себе человека и стал предателем.

* * *

О мешанстве, конечно не столь угрожающего масштаба, просто о маленьком человеке, для которого большие цели еще не стали «своими», не стали делом собственной жизни, заговорил в пьесе «Третье желание» современный чешский драматург Вратислав Блажек. Я смотрела ее в Пражском театре комедии.

Вратислав Блажек — драматург сравнительно молодой. Его пьесы появились на сцене и на радио после освобождения страны. Это художник с явной склонностью к сатирическому изображению. Его глаз нацелен на те затхлые углы, где обычно заводится моль мешанства и куда еще не дотянулась заботливая рука хозяина, вернее сказать, пером автора водит естественное для писателя социалистической страны стремление смотреть на жизнь глазами именно этого хозяина, глазами народа.

Сюжет пьесы «Третье желание» прост и остроумен.

Живет в наши дни и трудится в меру своих сил молодой человек. С женой, с ребенком, с родителями. Тесновато им. Не хватает удобств. Жене — юной, привлека-

тельной женщине — хотелось бы платье понарядней, а зарплата не позволяет; заботы, ропот, споры, упреки — все это сыплется на голову молодого человека. И все это так обычно, буднично.

Но вот едет он однажды в трамвае. И по выработанной с детства привычке он уступает место какому-то старику. А тот оказывается... волшебником. И, как положено волшебникам, обещает молодому человеку исполнить три его желания.

Молодой человек вполне современен. Он, конечно, не верит в волшебство. Но на всякий случай решает испытать старика и шутки ради просит сделать так, чтобы его учреждение, скажем, завтра не работало и чтобы он мог провести день на воздухе. Он просит еще — тоже, конечно, шутя, — чтобы в тире все его пули попадали в цель. И — о, удивление! — желания его исполняются. Растерянный, с целой охапкой кукол и медвежат — премий за точность попадания, — в таком виде появляется он: впервые перед зрителем. И учреждение его в этот день действительно оказалось закрытым. Все сотрудники отправились помогать колхозу. Как видим, среди аксессуаров волшебника нет больше ни скатерти-самобранки, ни ковра-самолета. Он предпочитает пользоваться плодами цивилизации, а свое могущество обращает на благо народной власти.

Но, как это ни печально, две возможности исполнения желания истрачены молодым человеком впустую. Исполнение третьего желания должно возместить все. Жизнь его полна треволнений, и больше всего ему хочется покоя. А это значит, надо получить у доброго волшебника квартиру, достаток, автомобиль.

И все сбывается — маленькие мечты маленького человека, который думал, что ему только этого и надо, что это принесет ему покой и счастье.

Чудо совершается тоже именно так, как это может произойти сегодня. Старичок волшебник появляется перед молодым человеком по сигналу подаренного им звонка: то с жаровней продавца сосисок, то в облике газовщика. Он говорит простые, человеческие слова. И квартиру молодой человек получает потому, что неожиданно-негаданно подошла его очередь в жилищном отделе. А машину, обстановку, дорогие платья для жены принесла облигация государственного займа, на которую вдруг пал крупный выигрыш.

На этом кончается сказка и начинается то, ради чего написана пьеса. Начинается разговор о мещанстве.

Мелкие карьеристы из учреждения, где работает молодой человек, прослышали, будто успехи его вызваны не чем иным, как дружбой с министром: с ним он якобы вместе ездит на охоту. А это уж кое-что да значит! Это уже повод, чтобы на всякий случай и самим обхаживать его, поощрять, выдвигать. И они рады стараться! А друг нашего героя, тоже небольшой работник, осмелился во всеуслышание высказаться против бюрократов. И эти же усердствующие карьеристы спешат его наказать, уволить, убрать с дороги.

Молодой человек мог бы вступить за друга, защитить справедливость, но он этого не делает — боится потерять место маленького начальника, на которое его уже успели назначить, боится расстаться с благами жизни. Его мучит совесть, он пытается защитить товарища, но... так и не отваживается. Он становится раздражительным. Назревает разлад в семье. Каждая его попытка поделиться с близкими тайной о незаслуженности оказываемого ему предпочтения воспринимается как безумие, старичок волшебник насмешливо поглядывает на него, подзадоривает и ждет. Надо выбирать: чистая совесть или покой любой ценой.

Зритель смеется над шутками, над иносказаниями старика волшебника. Смеется и задумывается. Зритель понимает, как хотелось бы и старому волшебнику, и автору, и, конечно, ему самому, чтобы в молодом человеке проснулось достоинство, чтобы он расправился с молью, которая забралась в складки его одежды, размножается в ней и разъедает его самого. Волшебник, автор и зритель верят, что молодой человек вот-вот сделает выбор и что в нем восторжествует совесть.

Но какая совесть?

Совесь человека труда? Или совесь человека, чья «хата с краю»? Или то, что называет «совестью» собственник? Ведь они разные — эти совести. Вот это, пожалуй, автор мог бы сказать яснее.

Размышлениями о морали человека социалистического общества нас уже заинтересовал однажды чешский писатель Павел Когоут в своей талантливой пьесе «Такая любовь». Второй год собирает она полные залы в нескольких десятках советских театров.

Моральный облик человека социализма, его психология, его поведение среди людей, его целеустремленность волнуют чешских писателей. И понятно. Ведь еще с десятков лет — и ему, этому человеку, коммунистическое общество обеспечит всё по потребностям. Каковы же будут его потребности? Речь идет о том, что только большая цель единственно способна сделать человека большим.

Об этом, очевидно, задумался и Йозеф Топол, автор пьесы «Их день», которую я видела в Праге в «Народне дивadlo» — Национальном театре. Быть может, эта пьеса или спектакль были менее убедительны, чем «Третье желание». Быть может, попытки возместить в ней недостаточность действия динамичностью условного оформления и эффектами полиэкрана не всегда оправдывали себя. Быть может, сам автор мог бы более иронически отнестись к несоразмерности трагедии, которую с такой силой переживают его юные герои, и причин этой трагедии. Однако вовсе не литературные достоинства и недостатки заставляют вспоминать об этой пьесе. В ней речь идет опять-таки о молодых людях нашего времени. О юношах и девушках.

О том, что такое эксплуатация, буржуазия, фашизм, они знают только по рассказам родителей, по учебникам, по романам. Родину свою иначе как свободной и социалистической они даже не помнят. Сил у них хоть отбавляй. Куда направить эти силы? Жизнь, в общем благополучная, еще не закалила этих молодых людей. Не заставила определить свое место в ней. И при юношеской обостренности восприятий им начинает казаться безвыходной трагедией, скажем, ханжество отчима (действительно карьериста и лицемера), или родительский запрет обучаться той профессии, которая по душе молодому человеку, или неумение разобраться в своих собственных чувствах: «люблю — не люблю?»

Таковы основные конфликты, которые, очевидно, должны были, по замыслу автора, послужить стержнем пьесы «Их день». Но не эти конфликты — главное. Не это, как мне кажется, волнует переполненный зал. Волновали зрителей те места, где особенно ярко противопоставлялась открытая, честная, требующая правды, мечтающая о больших делах молодежь — мещанину. Он, этот мещанин, заботится только о себе. Возможно, он и не прячет камня за пазухой, чтобы в подходящий момент обратить его против общества. Но в погоне за благами ему ничего не стоит столкнуть, затоптать человека, если тот окажется на его пути. И этот воинствующий мещанин пытается обеспечить себе неуязвимость с помощью брони из очень правильных слов о нашей общей высокой цели. А молодой драматург, и актеры, и зрители нащупывают ахиллесову пяту мещанина, стремятся раскрыть, разоблачить его низкую душонку. И одновременно ищут пути становления характеров этих юношей и девушек.

Таковыми поисками здесь увлечены и писатели, и режиссеры, и, конечно, зрители. В одном из переулков, прилегающих к Вацлавской площади, в маленьком зрительном зале, расположенном в подвале, люди сидели впритирку друг к другу, стояли у стен, в дверях, заглядывали через головы более удачливых соседей. Молодой полулюбительский театр малых форм «Семафор» давал представление пьесы «Человек с мансарды». Представление это по форме иногда напоминало театр Вериха и Восковца, иногда — Брехта, и еще чем-то он был схож с ленинградским Театром рабочей молодежи — ТРАМом, который так радовал зрителей в тридцатых годах. Пьесу написал молодой драматург Иржи Сухий. Играли, несомненно, талантливые девушки и юноши, которые еще не научились сдерживать улыбку, слыша смешные реплики партнеров. И все они вместе с молодым композитором Иржи Шлитером ратовали за нового героя, за подлинно жизненного героя новой литературы и искусства. А человека с мансарды, этого бездарного писака, любящего пожить на чужой счет и прикры-

вающего свое невежество снобистскими рассуждениями, они выставили на осмеяние публики. И к несомненному ее удовольствию.

В предлагаемой зрителям программке театр сообщил: «Эта пьеса посвящается всем молодым художникам, которые думают, что открывают новое, а возвращаются при этом к двадцатым годам. Мы пожелали бы им лучше думать о том, что они возвращаются к двадцатым годам, а открывать при этом новое».

В этой же программке говорится, что театр поставил себе целью «с малой сцены, малыми формами — ведь и песенкой можно пробуждать любовь к жизни — заговорить о большом; повести серьезный разговор с молодыми людьми, используя все жанры и виды искусства. Без морализирования. Вдумчиво. Иногда шуткой: как равные с равными».

Мне кажется, что зритель действительно искренне смеялся над изворотливостью шелкопера, десятилетиями навязывающего читателю «абстрактные» плоды своей худосочной фантазии. И наверное, вдоволь насмеявшись, каждый из них спросил себя и авторов: а каков же собой человек, который был бы достоин занять страницы книг и подмостки театров? Ведь он где-то рядом. И таких немало.

...Дня через три-четыре после того, как я смотрела эти спектакли, автобус мчал нас по холмистой дороге, через небольшие городки, которые напоминали одну-две улочки, выхваченные глазом киноаппарата из какой-нибудь окранны Праги. Мы проезжали вдоль сел, домики которых примыкали тоже на городской манер один к другому вплотную, образуя вдоль шоссе ровные ряды, и были окаймлены тротуарами.

А вечером мы уже были в Соколове, сидели с машинистами, экскаваторщиками, инженерами шахты «Пограничный страж». Молодой рабочий, светловолосый смешливый паренек, тот самый, что, кажется, решил в этот вечер по три раза протанцевать и побеседовать со всеми женщинами из нашего Поезда дружбы, рассказывал о своих планах. В будущем году он непременно поступит на горнорудный факультет. В этом можно не сомневаться. С третьего курса он обязательно поедет доучиваться в Москву. А в каникулы он уж постарается поехать работать в Кузбасс. Или еще лучше — за Полярный круг... в Воркуту. Он разговаривает, между прочим, теперь так усердно с нами по-русски еще и потому, что ему нужна разговорная практика. Языком-то он начал заниматься с прошлого года. А поговорить здесь, в Соколове, по-русски не с кем.

Я слушала его, слушала инженера Дворжака, и память невольно возвращалась к юным героям пьес «Третье желание», «Их день», «Человек с мансарды», к молодым авторам, к славным ребятам из «Семафора». Мне было немного жаль, что их нет рядом.

Мне было жаль, что их не было рядом и в тот вечер, когда я сидела у сестры Фучика — Веры. Непосредственная, легко переходящая от оживления к грусти, Вера вспоминала последние дни жизни брата. Она вынула из шкафа крохотный бумажный пакетик, развернула его. В нем лежал тонкий стебелек и холмик золотого пуха. Этот цветок — одуванчик — протянул ей в одно из последних свиданий брат. Он и в заключении, зная о приговоре, не забыл, что сестра любит цветы. И только позднее Вера узнала, как жестоко избили его тут же, во дворе тюрьмы, за то, что он во время прогулки на миг выбежал из цепочки, нагнулся за одуванчиком, которому бог весть какая сила помогла пробиться среди камней и бетона.

* * *

В последний день пребывания в Праге, рано утром, меня потянуло вновь на Петржин. Отсюда хотелось попрощаться с городом. Ощутить его вновь как единое целое. Ведь за дни своей пражской жизни я уже понемногу привыкла к районам, улицам — к Староместской площади, где рядом с ратушей живут мои приятели, к набережной у Карлова моста, где приятели работают, к переулку возле Вацлавской площади, где зарождается занятый театр...

Я поднялась на вершину холма. И кажется, в первый раз за все дни нашего пребывания здесь раздвинулась серовато-белесая завеса облаков. Выглянуло солнце.

Конечно, осеннее, скучное, но все-таки солнце. В розовой дымке утреннего тумана Прага была удивительно хороша. И хотя пражане часто сожалели о том, что мы приехали поздней осенью, когда ее лучшее украшение — ее сады оголились, что мы не увидим ее во всей красе, трудно было согласиться с ними. Прага и в пасмурные дни была прекрасна. Мне почему-то особенно часто вспоминались здесь слова знакомого скульптора. Он говорил, что определить, действительно ли красив человек, можно лишь после того, как ему исполнится лет тридцать, — когда облетит нежный пушок юности, а характер и жизнь долепят то, что начала лепить природа. Весеннее цветение садов встречаешь повсеместно. А Прага — она единственная. И, может быть, осенью она виднее. И в это солнечное утро я смотрела на нее, а в ушах звучали стихи недавно умершего большого чешского поэта Витезслава Незвала:

Тяжко мне тебя, о Прага, покидать,—
Эти Грэдчаны, ступени Микулáша,
Голубей твоих, что улетают с башен,
Чтоб весной, потом, вернуться к ним опять.

Весь простор, открытый взору с Петшина́,
Весь простор, огромный, неоглядный,
Влта́ву трепетную, где блестит волна
Чешую влажной и прохладной.

Тыщи окон, тыщи кровель, чердаки ..¹

И эта Прага лежала теперь передо мной. Она была знакомее, ближе и роднее. Хотелось еще многое досмотреть в ней. Еще о многом услышать от пражан. Кое о чем деспорить. Но черные ветвистые силуэты деревьев и изгибы черепичных крыш проступали все четче в прохладно-чистом воздухе. А это значило — приближался час, когда наш Поезд дружбы отправлялся дальше, по своему маршруту...

Итак, последние сувениры розданы. Памятные подарки упакованы. Впереди — родные края. Хорошо вот так возвращаться домой. Радуетесь, что увидела столько хороших людей. Увидела их добрые дела. Радуетесь и чувствуете себя богаче.

¹ Перевод Д. Самойлова.



ЖУБИЦИСТИКА

Маршал Советского Союза С. БИРЮЗОВ

★

ЛЕТОПИСЬ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА

Когда я думаю о прошлом и настоящем нашей армии, о бурном прогрессе ее боевой техники, перед моим взором предстают пулеметная тачанка, символизирующая незабвенную эпоху гражданской войны, и межконтинентальная баллистическая ракета, олицетворяющая сегодняшнюю колоссальную мощь Советских Вооруженных Сил. Да, неизменно изменилась боевая техника нашей армии! Но один вид оружия — самый сильный, самый дальнобойный, всепроникающий — остается неизменным на протяжении всей ее истории. Это оружие — наши великие, благородные идеи, идеи коммунизма.

Одни и те же идеи окрыляли тех, кто сражался под Перекопом и Волочаевкой, и тех, кто пятнадцать лет назад, в мае 1945 года, водружал Знамя победы над поверженным Берлином. Одни и те же идеи вели в легендарные рейды полки Первой Конной и механизированные корпуса, сокрушавшие гитлеровские оборонительные «валы». Во имя этих идей отдали свои жизни и Чапаев и Матросов. Победоносные идеи Коммунистической партии были, есть и будут на вооружении Советской Армии.

Своими выдающимися успехами и историческими победами наши Вооруженные Силы обязаны родной Коммунистической партии, которая во всей своей деятельности исходила и исходит из программного указания Владимира Ильича Ленина о том, что «политика военного ведомства, как и всех других ведомств и учреждений, ведется на точном основании общих директив, даваемых партией в лице ее Центрального Комитета и под его непосредственным контролем».

По сравнению с армиями капиталистических стран Советская Армия молода — ей недавно минуло сорок два года. Но какая у нее богатая, славная, истинно героическая биография! Сколько несравненных подвигов свершила она, сколько и каких врагов она сокрушила! И когда в послевоенное время мне попадались пухлые тома мемуаров, написанные военными деятелями зарубежных стран, я думал: а где наши мемуары, где воспоминания участников и творцов победных битв Советской Армии?

Не случайно за последние годы появилось много книг битых германских генералов. Все их усилия направлены к тому, чтобы исказить историю второй мировой войны, умалить победы Советской Армии, реабилитировать гитлеровский генералитет. Поэтому очень важно противопоставить этому мутному потоку лжи и фальсификации нашу советскую военную мемуарную литературу, которая правдиво, без ложной скромности и вместе с тем без прикрас показала бы, как самоотверженно воевал наш народ, как отстоял он свою свободу и независимость, как оборонялся и как наступал, как шла наша армия к заслуженной славе и несравненному могуществу.

Ведь речь идет о биографии народа в самые трудные для него годы, когда проходила высшую проверку его сила, его стойкость, его материальная и духовная мощь.

И вот появились первые два десятка книг под рубрикой «Военные мемуары», изданные Военным издательством Министерства обороны СССР. Меньше всего мне хотелось бы анализировать эти книги одну за другой: пусть это сделают критики. Мне хочется сказать о мыслях, которые они рождают, о духе, которым пропитаны стра-

ницы воспоминаний наших военачальников, отметить общие черты, свойственные этим честным и правдивым книгам.

Именно правдивым! Каждая из них — это исторически достоверное повествование, лишённое домислов и украшательства, повествование непосредственных участников военных событий. «Я рассказал о том, что видел и что пережил сам», — говорит в заключительной главе своих обстоятельных мемуаров «Начало пути» Маршал Советского Союза В. И. Чуйков. Автор книги «Дни боевые», генерал-лейтенант П. Г. Кузнецов, пишет: «В лесах и болотах Северо-Западного фронта в первые годы Великой Отечественной войны зародилась мысль об этой книге. Боевые друзья — командиры нашей славной дивизии, под знаменами которой мы сражались с немецко-фашистскими захватчиками, мечтали описать фронтовую жизнь такой, как она есть, без всяких прикрас и скидок на нашу неопытность и промахи». Генерал П. Г. Кузнецов, как и другие авторы, действительно показывает события и людей такими, «как они есть», не приукрашивая суровую действительность. Только правда! И какая величавая правда встает со страниц советских военных мемуаров!

Честный, откровенный и обстоятельный рассказ советских военачальников дает объективную картину фронтовых событий, разоблачает тех зарубежных авторов, которые преднамеренно искажают историческую правду. Так, в освещении этих лжесториков первый этап военных действий на советско-германском фронте выглядит как беспрепятственный триумфальный марш гитлеровских дивизий по нашей земле. Воспоминания Маршала Советского Союза А. И. Еременко, как и авторов других книг, показывают, как стойко на многих участках и направлениях сражались советские войска против превосходящих сил противника, какие большие потери наносили они врагу. Достаточно сослаться на трехнедельные бои под Смоленском, действия Брянского фронта, успешную Торопецкую операцию и так далее.

Даже оказавшись в окружении, многие наши части и соединения вели длительные неравные бои и наносили гитлеровцам чувствительные удары. В подкупающе искренней книге генерал-лейтенанта Н. К. Попеля «В тяжкую пору» живо показано, как 8-й механизированный корпус, командиром которого был генерал-лейтенант Д. И. Рябышев, принял на себя в районе советско-германской границы первый удар пехоты и танков группы армий Клейста. Корпус понес большие потери, но продолжал сражаться. Действуя в невероятно тяжелой обстановке, советские воины не только отражают натиск вражеских частей, но после упорных боев выбивают немцев из Брод и Лешнева, овладевают городом Дубно. Немалую силу надо было сокрушить, немало потерь нанести врагу, чтобы осуществить такие операции. Не кто иной, как гитлеровский генерал Гальдер, в то время записал в своем дневнике: «На правом фланге первой танковой группы 8-й русский танковый корпус глубоко вклинился в наше расположение и вышел в тыл 11-й танковой дивизии...» Мало это похоже на триумфальный марш и «легкую прогулку», о которых пишут западногерманские лжисследователи!

Н. К. Попель показывает, что войска, оказавшиеся в окружении, ощущали свое единство со всей армией, всем народом. Находясь в огневом вражеском кольце и имея возможность прорвать его, командиры и солдаты думали не о спасении, а об интересах Родины — ведь после прорыва вражеские силы, которые сковывались и изматывались под Дубно, освободятся и ринутся на восток. Надо, пока возможно, оттягивать врага на себя, удерживать, обескровливать, истреблять, любой ценой истреблять! «Нас мало. Но мы будем наступать, будем жечь немецкие танки и давить гусеницами немецкую пехоту. Танки, пушки и солдаты, уничтоженные нами, уже не пойдут на Киев, на Москву, на Ленинград». Нанеся противнику немалый урон, оставшиеся в живых воины преодолели сотни километров по вражеским тылам и в конце концов соединились с частями Красной Армии.

Книга Маршала Советского Союза А. И. Еременко «На западном направлении» полностью развенчивает рожденный еще во времена Геббельса миф о том, что наступление гитлеровских дивизий на Москву потерпело провал из-за «естественных факторов». Пользуясь богатым документальным материалом, советский военачальник убедительно показывает, что сражение под Москвой было проиграно гитле-

ровской армией благодаря железной стойкости и сокрушительному наступательному порыву советских войск. Схемы, которыми снабжена книга, дают отчетливое представление о ходе военных операций на западе, о мощных ударах советских войск по врагу под Москвой, о том, как наши стратеги развеяли в прах замыслы гитлеровского генерального штаба.

Не только западногерманские генералы пытаются умалить роль нашей армии во второй мировой войне и, в частности, значение Сталинградской битвы как переломного этапа в битвах с фашистским вермахтом. Фельдмаршал Монтгомери, например, утверждает, что перелом этот произошел не на Волге в дни Сталинграда, а в 1942 году в песках Северной Африки, где он командовал армией. Это утверждение явно построено на песке. Чтобы в этом лишний раз и до конца убедиться, достаточно ознакомиться с мемуарами Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. Автор, прошедший в Сталинграде все сто восемьдесят огневых дней и ночей, нарисовал в своей книге подробную и безупречно точную картину исторической битвы на Волге, ознаменовавшей начало конца гитлеровской армии. Уже один тот факт, что на Волгу было брошено Гитлером вдесятеро больше войск, чем в пески Африки, показывает, где был основной, решающий узел военных событий.

Итак, мемуары советских военачальников, воссоздавая исторически правдивую картину войны, разоблачают зарубежных фальсификаторов. Это очень важно. Но, пожалуй, еще важнее то, что мемуары запечатлевают героическое прошлое нашего народа, нашей армии и являются богатейшей сокровищницей для воспитания молодого поколения. Возьмите хотя бы воспоминания бесстрашных подводников Героев Советского Союза Я. Иоселиани «В битвах под водой», И. Травкина «В водах седой Балтики», Г. Щедрина «На борту С-56». Эти книги дышат романтикой опасных морских сражений, беспредельным мужеством. За голову отважного командира подводной лодки И. Травкина гитлеровское командование назначило вознаграждение пятьдесят тысяч марок. Берлинское радио в 1942—1943 годах несколько раз сообщало о потоплении «подводного аса». Не так давно в ФРГ вышла книга «Действия советских подводных лодок на Балтике в 1939—1945 гг.», в которой утверждается, что при форсировании противолодочного рубежа в 1943 году «погибла советская подводная лодка «Щ-303» (командир — капитан 3-го ранга Травкин)». На самом деле лодка благополучно миновала преграды и осталась невредимой, а командир ее сейчас пишет мемуары, отражающие героизм советских подводников.

Кого из нашей молодежи не взволнует сдержанный и вместе с тем увлекательный рассказ И. Травкина и других командиров подводных лодок о том, как они на Севере, в Черном море, в водах Балтики дерзко и искусно прорывали рубежи противолодочной обороны, пробивались через минные поля, производили стремительные ночные торпедные атаки? Чье воображение не захватит переход в пятнадцать тысяч миль подводной лодки «С-56» из Тихого океана в Баренцево море, совершенный в 1942 году? Кого не увлечет повествование командира этой лодки о том, как он и его боевые друзья потопили четырнадцать вражеских кораблей? И кому из наших юношей не захочется подражать этим простым и предельно храбрым людям, которые беззаветно несли трудную боевую вахту в морских глубинах?

В мемуарных книгах, выпущенных Военным издательством, рассказано о многих самоотверженных воинах, иногда довольно подробно, иногда одним штрихом. Но всегда это обычные, живые люди со своими особенностями и, может быть, недостатками. В их деяниях нет никакой позы. Одна мысль владеет ими — отстоять Родину; один порыв воодушевляет их — уничтожить оккупантов.

Когда читаешь воспоминания командира торпедного катера А. Е. Черцова, мемуары генерал-полковника Н. П. Пухова, которые, к сожалению, он так и не успел завершить, и другие книги, начинаешь не только понимать, но и всем существом чувствовать, что такое массовый героизм, рожденный коммунистической идейностью, страстной верой в правоту дела, за которое сражаешься.

Большим достоинством мемуаров является то, что они на сотнях живых, выхваченных из гущи боевой жизни фактов показывают, какое огромное значение в судь-

бах военных операций неизменно имела политическая работа, какая поистине великая роль принадлежала политорганам и партийным организациям. Читаешь страницу за страницей, книгу за книгой и до осязаемости наглядно видишь коммунистов на войне.

Коммунисты, вперед! Это был пароль и закон нашей армии повсюду — в танковых атаках и в воздушных боях, на земле и под водой, на берегах Волги и на берегах Шпрее. Самое трудное и опасное задание поручалось коммунистам. В 62-й армии, стоявшей насмерть в горящем Сталинграде, из девяти тысяч коммунистов, призванных из различных областей и краев страны, было более пятисот секретарей, заведующих отделами и инструкторов райкомов, обкомов и горкомов и других партийных работников. Не было ни одной роты без крепкой партийной прослойки, а в 33-й, 37-й и 39-й гвардейских дивизиях многие батальоны целиком состояли из коммунистов и комсомольцев. Сталинград был одним из самых трудных, одним из самых опасных и ответственных участков битвы за Родину, и именно туда были брошены лучшие силы партии. И как самоотверженно, как честно и доблестно выполнили они одно из важнейших и труднейших в этой войне заданий Отечества!

Коммунисты, вперед! Так было и во время наступательных операций огромного масштаба, когда в бой шли десятки и сотни тысяч советских воинов, и так было на затерянной в море подводной лодке, где экипаж состоял из считанных моряков.

Чем тяжелее была обстановка и суровее бои, тем больше советские люди тянулись в партию, ибо она воплощала чаяния и думы народа, его непреклонную волю к борьбе и победе. «...Никогда миллионы людей не будут слушать советов партий, если эти советы не совпадают с тем, чему их учит опыт собственной жизни», — так писал В. И. Ленин. Война с новой силой показала совпадение интересов и целей партии и народа, их нерасторжимое единство. И в то время, когда гитлеровская печать не уставала кричать о «развале большевистского режима», советские люди, одетые в шинели, пополняли ряды партии. Именно в первые дни войны, дни самых страшных и тяжелых боев, в том же 8-м механизированном корпусе было подано сто два заявления о приеме в партию и пятьсот тридцать — о приеме в комсомол.

У Гитлера было много стратегических и иных просчетов, но, пожалуй, самым главным его просчетом вышло непонимание души народа, против которого он двинул свои полчища, внутреннего мира советского человека. Мемуары дают повод для больших размышлений на эту тему. Они показывают, что война, грозная опасность, нависшая над Отечеством, раскрыла и вызвала к действию замечательные качества, свойственные человеку, выросшему в стране социализма, впитавшему вдохновенные идеи Коммунистической партии. Сколько примеров этому можно найти в воспоминаниях участников битв за Родину! Я хочу привести только один, отнюдь не исключительный факт, из которого генерал-лейтенант Н. К. Попель делает глубокий и верный вывод.

В суровой, чтобы не сказать трагической, обстановке первых дней войны из одного подразделения поступило следующее донесение: «25.6.41 г. прибыли, самовольно убежав из госпиталя в одних халатах, члены ВЛКСМ мл. серж. Васильев В. П., кр-цы Гоцеридзе А. В., Будкин Б. И. Вышеупомянутые товарищи были ранены 22.6.41 при бомбардировке. Раны не зажили. В госпиталь идти отказываются. Хотят участвовать в бою».

И вот комментарий: «Невольно подумалось: эх, господин берлинский рейхскандлер, вы неплохо сосчитали танки, свои и чужие, вам известно количество артиллерийских стволов, но знаете ли вы о младшем сержанте Васильеве, красноармейцах Гоцеридзе и Будкине! Ни черта вы не знаете. А ведь им-то, в конечном счете, решать исход войны, которую вы затеяли пять дней назад на горе миллионам людей и на свою погибель...»

Авторы мемуаров рассказывают не только о героях — их миллионы! — но и об отдельных паникерах, трусах, жалких и мелких душонках. Да, были и такие. Но трусы являлись лишь тем исключением, которое подтверждало железное правило: весь народ грудью встал на защиту социалистической Родины, готовый к любым невзгодам и испытаниям во имя ее освобождения от гитлеровского нашествия. Наши люди мужали

н закалялись в жестоких боях с сильным и коварным врагом. Они с первого же часа войны были морально выше вышколенных солдат-автоматов Гитлера, а потом и материальное превосходство перешло на их сторону, перешло благодаря героическим усилиям всего народа, ковавшего в тылу оружие для сокрушения надменного и опасного противника.

В мемуарных книгах рассыпано множество великодушных примеров духовной силы, интеллектуальной красоты нашего солдата — гражданина Советской страны. Вот на первый взгляд мелкий, но по сути многозначительный эпизод, который я прочел в мемуарах. Военная часть находится в очень сложном положении, ведет тяжелые бои. «Мы одни, совсем одни, без соседей, связи, информации...» — пишет автор. В такой обстановке красноармейцы замечают две свалившиеся в кювет полуторки. Это оказались машины, на которых несколько дней назад была сделана безуспешная попытка эвакуировать какую-то библиотеку. Бойцы набросились на книги. Один из них предложил: пусть каждый выберет одну книгу, только одну, которую ему хочется иметь с собой.

Малорослый красноармеец в желтой от глины шинели извлек солидный том в сером переплете — «Тихий Дон». Второй взял Некрасова, третий — тоненькую, изданную «Огоньком» книжку Есенина. Один из командиров, у которого всегда чувствовалась «одесская жилка», выбрал «Одесские рассказы» Бабеля, бригадный комиссар взял однотомник Пушкина. «Этот однотомник, — пишет он, — прошел со мной всю войну. Он и сейчас у меня в книжном шкафу. Истрепанный, с трехзначным библиотечным номером, с фиолетовыми кляксами печати на титульном листе и семнадцатой странице...»

При всей скромности авторов мемуары советских военачальников воссоздают и их собственный облик, их жизненный путь. В этом отношении исключительный интерес представляют воспоминания генерала армии Ф. И. Голикова. Перед нами подлинные дневники этого крупного деятеля нашей армии, относящиеся к 1918—1920 годам. Они дают живое представление о том, как начинали свою сознательную жизнь наши видные военачальники, как еще юношами связали они свою судьбу с партией и с революцией, какой жизненной и военной дорогой они шли. Нельзя пересказать того, что содержат мемуары Ф. И. Голикова, — их нужно прочесть. Они знакомят нас с первым этапом революционной и военной деятельности тех, кто в гражданскую войну возглавил полки и дивизии, а в годы Великой Отечественной войны — корпуса, армии, фронты. Люди из народа, верные сыны партии, они выросли в талантливых полководцев, крупных военачальников и осуществляли операции огромного масштаба, показывая образцы умелого, гибкого, победного вождения войск. Это они развеяли в прах стратегические планы спесивых немецких генералов и привели советские войска к триумфальной победе над гитлеризмом.

Многие авторы не только описывают военные события, но и делятся своими мыслями о военном искусстве, моральном облике наших солдат и офицеров, воспитании воли и так далее. В этих метких, подсказанных большим жизненным и военным опытом комментариях и рассуждениях читатель найдет немало ценного и поучительного.

Мемуары советских военачальников пронизаны теплым, отеческим отношением к солдату. На каждом шагу мы видим неукоснительную требовательность к подчиненным, слитую с заботой о них, строгость, соединенную с человечностью, взискательность, идущую рука об руку с уважением. Маршалы и генералы называют советского солдата «главным героем войны», а солдаты беззаветно верят своим командирам и бесстрашно идут за ними в бой.

«Мы, командиры, направленные партией на работу в войска, — справедливо пишет маршал А. И. Еременко в своих мемуарах, — всегда чувствовали себя солдатами партии, она дала нам право повелевать войсками в интересах Родины... Мы глубоко сознавали, что наша сила — сила командиров — состоит в том, что наши приказы исходят из интересов Родины, народа, партии и отдаются от их имени».

Мне хочется сказать, что военные мемуары делают еще одно очень важное и полезное дело. В них рассказано о многих павших героях, остававшихся доселе неизвестными народу. Вспомнить о человеке, бесстрашном и сильном духом, отдавшем

свою жизнь во имя грядущей победы над жестоким врагом,— гуманно и в высшей степени благородно, справедливо. Надо сказать, что мы мало знаем о многих славных героях гражданской и Отечественной войн, а ведь они могли бы служить великолепным примером для новых поколений. Что, например, у нас написано о таком легендарном герое Первой Конной, как Павел Васильевич Бахтуров? Маршал Советского Союза С. М. Буденный в своих мемуарах воскрешает образ этого поразительно смелого и кристально чистого воина и поэта. «На всю жизнь у меня и у тех, кто знал Бахтурова, останется в памяти образ этого мужественного большевика, человека горячего сердца и большого ума, пламенного партийного агитатора и вдохновенного поэта. Трудно словами выразить душевное уважение, с которым относился боец к Павлу Васильевичу, как они слушали его проникновенные зажигательные речи, звавшие на решительный бой с врагами, как пели сочиненные им песни, среди которых была «Мы — красная кавалерия, и про нас былинные речистые ведут рассказ!». С гордостью говорили бойцы: «Наш комиссар может поднять и повести в бой за собой даже мертвых».

А о скольких подвигах, совершенных в период Великой Отечественной войны, мы узнаем впервые из мемуаров! Пусть современникам и потомкам станут известны имена героев. Рассказывая народу об их деяниях, авторы мемуаров выполняют святой долг перед павшими боевыми друзьями и обогащают славную биографию нашего народа. «Долг тех, кто прошел четырехлетний путь боев, состоит, в частности, и в том, чтобы свято беречь память о павших героях, рассказывать об их славной жизни и бессмертных делах новым поколениям советских людей!» — эти слова, взятые из предисловия к одной из книг, относятся ко всем авторам, воскрешающим в своих трудах подвиги героев, совершенные во имя Родины.

Хорошо, что наши военачальники делятся воспоминаниями. О своей жизни, боевом пути, опыте собираются написать генерал армии П. И. Батов, Маршал артиллерии В. И. Казаков, адмирал А. Г. Головкин, генерал армии А. В. Хрулев... Ими движет потребность рассказать народу о пройденном, пережитом, поведать о суровых битвах за счастье Отчизны.

Два десятка мемуарных книг, уже увидевших свет,— только часть того большого полотна, которое должно быть создано коллективными усилиями. В мемуарах должны быть показаны действия и подвиги пехотинцев и танкистов, летчиков и саперов, артиллеристов и связистов. Пусть с «мемуарной» трибуны выступят маршалы и лейтенанты, герои наземных и воздушных битв, военные инженеры и военные врачи, ополченцы и партизаны, те, кто командовал фронтами и кто сражался за безымянную высоту. Все это сольется в единую волнующую и правдивую летопись битв за Отечество.

Мне думается, что в этой серии могли бы по праву найти себе место и книги героев тыла, помогавших армии громить врага. Разве воспоминания руководителя завода, эвакуированного под бомбами куда-нибудь в Сибирь или Казахстан и там, в тайге или в голой степи, в поразительно короткие сроки наладившего выпуск танков или минометов, не могут стать частицей военных, именно военных мемуаров, идея которых — показать борющийся народ? Сочетание воспоминаний героев фронта и тыла и создаст полную и впечатляющую картину Великой Отечественной войны, выигранной усилиями всего народа.

Овеянные славой суровых битв и величавых побед, наши Вооруженные Силы свято хранят героические традиции прошлого, преданно служат делу мира, бдительно охраняют Родину — страну строящегося коммунизма.



О. ДОБРОЛЮБСКИЙ
Кандидат химических наук

★

ДВА КОЛОСА

I

Возможно ли вырастить на одном и том же месте не один колос, а два? И что это означало бы для нашей страны?

Ответ очень прост: урожайность можно повысить не только вдвое, но и значительно больше. И результат этот выразился бы одним лишь словом — изобилие.

Урожайность... Этот термин не сходит с уст человека многие столетия, определяя благополучие семьи, народа. Проблема урожайности у нас интересует не только колхозник, агроном, но и рабочий, ученый, любой житель страны. И не удивительно: не будет преувеличением утверждать, что рост урожайности сельскохозяйственных культур приближает нас к коммунизму.

Правильные севообороты, передовые агротехнические приемы, рост механизации колхозного и совхозного производства — все это имеет неоспоримое значение в увеличении продукции сельского хозяйства. Однако важнейшую роль здесь призвана сыграть химия. Всем известны возможности химизации сельскохозяйственного производства, ее масштабы — от внесения удобрений до борьбы с вредителями растений. Но не каждый ясно представляет себе, что на земле, где рос один колос, химия поможет вырастить два, а в ряде случаев и много колосьев. Когда мы научимся правильно и полно использовать в сельском хозяйстве все достижения химии, то можно будет говорить о действительном преобразовании нашей земли. А сейчас... сейчас, пожалуй, кое-кто из скептиков с улыбкой недоверия отнесется к возможности увеличения урожайности, скажем, в пять-шесть раз. Однако это далеко не предел.

Обратимся к прошлому. Оно бывает часто столь поучительным, что о нем стоит не только вспоминать, но и сделать из его уроков практические выводы. Еще в XVI столетии белорусские крестьяне выращивали такие густые посевы, что, как засвидетельствовано в «Хронике Гваньини», сквозь хлебную чашу нельзя было пробиться верхом. До сих пор множество умов поражает Андрей Эклебен — садовник Екатерины Второй, получавший из каждого посеянного зерна невиданные кусты ржи и пшеницы, содержавшие каждый по две — две с половиной тысячи зерен.

А теперь?

В Китайской Народной Республике, на опытной станции в провинции Шэнси, несколько лет назад выведена засухоустойчивая пшеница «Тин-Куй-26», из одного зерна которой вырастает 2 100—2 400 и более зерен. В кооперативе «Хэпин» («Мир») в провинции Хэнань на площади в два му (1 му = $\frac{1}{15}$ гектара) собран рекордный урожай озимой пшеницы — 36,6 центнера с му. Это 549 центнеров с гектара!

Впрочем, за опытом вовсе не обязательно ехать в далекий Китай. Можно побывать в новгородском селе Пески у учителя Н. П. Баранова, добившегося фантастической густоты стояния растений. В худшем случае на квадратном метре у него было 1 100 пшеничных стеблей, в лучшем случае — 3 084. Средняя — 2 400. Рассчитайте, какой урожай может быть получен на одном гектаре. 620 центнеров!

Может быть, это только с пшеницей? Нет, не менее изумительные результаты получаются и с другими культурами. Возьмем рис. Дыныне известная максимальная цифра урожайности его составляла около 170 центнеров с гектара. А вдесятеро больше — в 1700 центнеров — вы не поверили бы? Так вот, в 1958 году в кооперативе «Цзяньго» провинции Хубэй собрали 2772 центнера, а в кооперативе «Дунфанхун» провинции Аньхой получен прямо-таки небывалый урожай — 3231 центнер с гектара.

Урожай, в девятнадцать раз превосходящий старый максимум, граничит чуть ли не с чудом. Однако это реальный факт, и факт не единичный. Ясно одно: решающим условием было максимальное обеспечение растений разнообразными питательными веществами.

Возникает законный вопрос: почему все это является достоянием узкого круга лиц и не внедряется широко повсюду?

Дело тут, конечно, не так просто, как кажется. Автору этих строк не раз пришлось видеть сборники практических рекомендаций ученых совхозам и колхозам. Десятки ценных советов! Если применение каждого из них дало бы рост урожайности хотя бы на 10 процентов, то какой же это был бы скачок в общей сумме! Однако на практике такой «суммы» почти никогда не бывает.

Вот рядом находятся два колхоза, у них примерно те же почвенно-климатические и прочие условия, но одно хозяйство регулярно получает урожай значительно выше, чем второе. Больше того, в одном и том же колхозе, но в различных звеньях урожайность резко отличается, порой в несколько раз. К примеру, в колхозе «Путь к коммунизму», Пологского района, Запорожской области, средняя урожайность кукурузы составила примерно 35 центнеров с гектара, а передовые звеньевые — Пелагея Гонтарь, Лидия Деменко, Матрена Вольвач и другие — получили по 100 и больше центнеров кукурузы. Не следует при этом забывать, что такие большие урожаи вошли в среднюю цифру по колхозу, и, следовательно, были звенья, получившие даже более низкий урожай, чем 35 центнеров.

Всё решают люди. Конечно, это так. Если же проанализировать причины, приведшие к высокому или низкому урожаю, то в конечном итоге «полюсы» объясняются применением различной агротехники, использованном или неиспользованием достижений науки.

Представьте себе, что все звенья добились бы урожайности передовиков. Ведь колхозы получили бы от этого примерно в три раза больше зерна! А возможно ли отстающие колхозы подтянуть к уровню передовиков? Не только возможно, но и жизненно необходимо.

В одной из брошюр, посвященной обобщенно передового опыта мастеров высоких урожаев кукурузы в Одесской области, приводится такой интересный случай: в колхозе имени Щербакова, Раздельнянского района, на 58 гектарах бригада Ф. Г. Кафти получила средний урожай зерна по 54 центнера с гектара. Пахота, сев, обработка посевов, сбор урожая — все было на участке одинаковым, кроме внесения удобрений.

На тридцати двух гектарах, где применяли только суперфосфат и калийное удобрение, урожай составил 31 центнер; на девятнадцати гектарах растения получили больше суперфосфата и еще навоз, что дало по 74 центнера с гектара. На семи же гектарах звена Елены Павленко в засушливом июне было добавлено еще навоза, кукурузу опрыскали раствором сернокислого цинка. И урожай тут сразу «подскочил» на 30 центнеров, составив 104 центнера кукурузы в зерне с гектара.

Вот такой урожай можно было бы получить не только в звене Павленко, а и во всей бригаде, во всем колхозе.

Неиспользованных резервов у нас великое множество. Все эти резервы можно и нужно мобилизовать. «Сельское хозяйство, — говорил Н. С. Хрущев на декабрьском Пленуме ЦК КПСС, — не менее сложная отрасль, чем другие отрасли нашего социалистического хозяйства, чем, например, промышленность. Между тем знания по сельскому хозяйству у некоторых товарищей часто бытовые. Эти знания приобретены от бабушек и дедушек...»

В постановлении Пленума подчеркивается, что важнейшей задачей сельскохозяйственной науки является развитие теоретических исследований на основе более полного

использования новейших достижений биологии, физики, химии и других смежных наук. Предстоящее семилетие должно стать годами триумфа науки в сельском хозяйстве.

Да, именно наука позволит нам вырастить на том же месте не один колос, а два и больше, наука позволит в кратчайший срок выйти победителями в историческом соревновании двух систем, наука приведет нас к коммунистическому изобилию.

2

Использование химии в агрономии и почвоведении — старая традиция русской науки, неизменно поддерживаемая основоположниками отечественной агрономической науки — Тимирязевым, Докучаевым, Костычевым, Вильямсом. Д. И. Менделеев и К. А. Тимирязев считали возможным повышение урожайности во много раз за счет удобрений в комплексе с другими мероприятиями агротехники. Д. Н. Прянишников указывал, что наше земледелие способно обеспечить изобилие продуктов питания на полтора-два года вперед при удвоении населения каждые пятьдесят лет. Новейшие научные достижения, внедренные в практику, позволят нам много превысить эти расчетные возможности.

Наша земля — весьма чувствительный организм и не любит грубого, варварского отношения к ее «коже», к верхнему тонкому, толщиной едва ли в метр, слою, наполненному жизненными соками. Есть вещества, питающие эту «кожицу», полностью восстанавливающие силы почвы. Такими веществами являются всем известные удобрения.

При систематическом выращивании сельскохозяйственных культур почва обедняется, теряет питательные вещества. Особенно много растения берут из почвы соединений азота, фосфора, калия. Например, подсчитано, что ежегодный мировой урожай выносит из почвы более двадцати пяти миллионов тонн соединений азота и более тридцати миллионов тонн соединений калия.

Значит, надо «кожу» нашей земли регулярно питать. Только одна тонна соединений азота дает прирост урожая картофеля в 120 тонн, пшеницы и ржи — 12—20 тонн, хлопчатобумажной — 10—12 тонн. Если на каждый квадратный метр посевной площади дать всего лишь одну чайную ложку азотных удобрений (примерно пять граммов), стоимостью меньше копейки, наша страна получит добавочной продукции на 125 миллиардов рублей в год! Только зерна будет собрано дополнительно три миллиарда пудов. Этого достаточно, чтобы прокормить в течение года 175 миллионов человек.

Весьма небезынтересно познакомиться с опубликованными недавно американскими статистическими данными о влиянии удобрений на урожай. В США урожай большинства культур на протяжении семидесяти лет — с 1870 по 1940 год — оставались примерно на одном и том же уровне, а резкий подъем начался только после 1940 года благодаря применению удобрений. Если в США в 1940 году использовалось 8 миллионов тонн удобрений, то в 1956 году — 28 миллионов тонн, и урожай за этот период возрос в 1,5—3,5 раза (для различных культур по-разному).

В нашей стране производство минеральных удобрений будет за семилетие увеличено почти в три раза и в 1965 году составит не менее 30 миллионов тонн. Подсчитано, что применение такого количества удобрений дополнительно даст ежегодно более двух миллиардов тонн зерна, сорок миллионов тонн картофеля, около трех миллионов тонн сахара, два миллиона тонн волокна (хлопкового, льняного, конопляного), а также большое количество овощей, плодов и другой продукции. Если перевести все эти цифры в рубли, то в 1965 году применение удобрений должно дать нашей стране примерно сто миллиардов рублей добавочного дохода.

Говоря о роли удобрений и росте их производства, не следует забывать о том, что дело отнюдь не в одной количественной стороне вопроса. Мало выпустить удобрения, надо их еще правильно использовать. Сколько раз приходится видеть, как на складах, на железнодорожных станциях под открытым небом лежат буквально горы удобрений. Все это мокнет под дождем, засыпается снегом, гибнет.

Вредно шаблонное применение удобрений. Вот в каком-то колхозе агроном вносит, к примеру, под пшеницу суперфосфат и не понимает, почему нет той прибавки урожая, которая имеется в соседнем колхозе. Ему невдомек, что у соседей другой химический состав почвы — скажем, иное содержание соединений фосфора или иная кислотность почвы. К сожалению, многие агрономы не в ладах с химией. У нас очень мало районных агрохимических лабораторий, которые могли бы оказать квалифицированную помощь при использовании удобрений.

Нельзя хорошо хозяйничать на земле без наличия подробных почвенных карт. Такие карты составляются ряд лет в весьма скромных масштабах на Украине, в Латвии, в ряде областей РСФСР. Картирована же должна быть вся страна. Такое «паспортирование» тоже один из важнейших вопросов борьбы за урожай.

Основная часть минеральных удобрений производится в порошкообразном, а не в гранулированном виде, что снижает их эффективность. Мало и плохо применяются у нас органические местные удобрения, имеющиеся почти в каждом районе страны, — часто дело только в инициативе для использования этих удобрений. Теперь доказано, что одновременное внесение минеральных и органических удобрений весьма эффективно для повышения продуктивности растений и плодородия почвы. Вместе с тем органо-минеральные смеси еще до сих пор не завоевали должного внимания.

Представим себе любителя шоколада, которого заставили бы питаться исключительно одним шоколадом. Два-три дня он мог бы быть этим доволен, а потом взмолился бы о пощаде. Растения, как и люди, нуждаются не в одном лишь питательном веществе, а в их определенном комплексе. Однако любое из применяющихся до сих пор удобрений не содержит в достаточном количестве все нужные для растений вещества. Выход напрашивается сам собой: необходимо выпускать более сложные удобрения, содержащие ряд химических элементов. Вместе с тем надо помнить, что в отношении питания растение требует «индивидуального подхода» к себе.

Наиболее распространенное удобрение — суперфосфат. Однако он содержит не более двадцати процентов полезного продукта. Несложно подсчитать, во сколько миллионов рублей обходятся те восемьдесят процентов балласта, которые загружают транспорт, приводят к огромным затратам труда по доставке и внесению таких удобрений. А вот что получается с концентрированными фосфорными удобрениями. При запроектированных размерах их производства в семилетке будет сэкономлено не менее двух миллиардов тоннокилометров работы железнодорожного транспорта и свыше пятидесяти миллионов тоннокилометров работы автотранспорта, около пятидесяти миллионов мешков и более сорока рублей на тонне удобрений за счет хранения, внесения удобрений и других операций.

В последние годы доказана высокая эффективность применения жидких удобрений. Их широко применяют во многих зарубежных странах; в Соединенных Штатах Америки, например, в 1956 году было внесено одних жидких азотных удобрений в двести раз больше, чем у нас. До семидесяти процентов азотных удобрений готовится в США на основе дешевых природных газов. Возможно ли это в СССР? Может быть, мы бедны природными газами? Нет, у нас запасы их неисчислимы.

Много лет уже идет разговор о выпуске микроудобрений, содержащих очень ценные для питания растений микроэлементы — бор, марганец, цинк, кобальт и другие. Их высокая эффективность давно доказана. Однако из многих десятков микроудобрений у нас вырабатывают только три, причем ценнейшее бормагниевое удобрение в количестве... четырех тысяч тонн. Это капля даже не в стакане воды, а в океане.

Известно, что около двух с половиной миллионов гектаров бесплодных почв Южной Австралии было превращено в плодородные земли благодаря применению цинковых и медных удобрений. А Одесский сельскохозяйственный институт, к примеру, годами добывается выпуска на суперфосфатном заводе первой в стране партии цинкосуперфосфата. Но... воз и ныне там.

Ассортимент всех минеральных удобрений, выпускаемых отечественной промышленностью, непрерывно растет. Если в 1940 году он составил одиннадцать видов, а в 1953 году — четырнадцать, то в 1959 году выпущено двадцать пять различных

удобрений. Общее производство всех видов удобрений превысит в 1965 году уровень 1950 года в шесть раз. Цифры, несомненно, хорошие. Но к ним нужно внести поправки хотя бы в отношении расширения ассортимента с учетом последних достижений науки и практики.

А нельзя ли сделать так, чтобы внесенное в почву удобрение могло питать растения в течение длительного времени — например, несколько лет? Нет нужды доказывать, какие большие выгоды сулило бы достижение этой заманчивой цели. Оказывается, такое предложение вполне реально; более того, новый вид удобрений уже имеется — это фритты. Основная их ценность заключается в постепенном усвоении растениями питательных веществ на различных этапах развития. Фритты, внесенные в почву, действуют много лет; находясь в земле, они не изменяют своей формы, и питательные вещества не вымываются водой. Опыты, проведенные Одесским сельскохозяйственным институтом, Украинским институтом физиологии растений и другими научными учреждениями, показали заметное повышение урожайности под воздействием фриттов, в частности, для кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, капусты. Например, в опытах одесситов урожайность кукурузы возрастала на пять центнеров с гектара, причем весьма ценно также и одновременное улучшение качества зерна — в нем увеличивалось содержание крахмала.

Инициатором широкого испытания фриттов является Новочеркасский политехнический институт, в лабораториях которого впервые в Советском Союзе начали изготавливать этот новый вид удобрений. Однако годы идут, положительные данные все накапливаются и накапливаются, а до широкого внедрения, увы, пока еще далеко.

Вряд ли нужно доказывать пользу химизации, настолько ясна ее бесспорная и огромная выгода для каждого отдельного хозяйства, для всей страны. И все же положение с этим делом не дает оснований для спокойного к нему отношения.

Мне не раз приходилось встречать различных людей — агрономов, зоотехников, председателей колхозов, работников сельского хозяйства районного и даже областного масштаба, — считающих в душе (вслух — боже упаси!): «Э, чего там, пойдет и так». Одни не говорят, но думают: «Подождем команды сверху». Другие свое холодное равнодушие облачают в слова: «Надо бы еще разок проверить, посмотреть». Третьи не только не знают, но даже и не интересуются какого-либо рода «новинками».

Разумеется, не эти люди являются передовиками, не они добиваются рекордных урожаев, не они думают о Стране изобилия... Не сразу, порой чересчур медленно, новое постепенно начинает брать верх. Ведь любой «рекордсмен» всегда обладает своей инициативой, горячим чувством нового. Таких много. Наши успехи с каждым годом множатся не столько за счет передовиков, сколько за счет того, что их инициативу подхватывают массы. А сделать необходимое чаще всего не так уж сложно. Нужно внимание к этим проблемам всех — от министра до агронома, надо проверенные методы химизации немедленно внедрять в практику колхозов и совхозов. Это означает — от многочисленных слов о роли химизации в сельском хозяйстве перейти к ее самому широкому внедрению.

У нас множество неиспользованных резервов, которые должны помочь вырастить «два колоса». Большая химия должна шагать по всей советской земле.

3

Пусть простят меня читатели, если к одной из важнейших проблем отнесусь особенно пристрастно («Новый мир» однажды уже предоставил мне свои страницы для разговора на эту тему. См. № 2 за 1954 год). Речь идет о микроэлементах, над которыми ряд лет работают и в нашем Одесском сельскохозяйственном институте.

Давно уже было доказано, что любой организм — человека, животного, растения — нуждается не только в больших количествах кислорода, азота, фосфора и так далее, но также в минимальных количествах почти всех химических элементов — цинка, кобальта, марганца и других микроэлементов. Без них вообще немислимы процессы жизнедеятельности. С помощью микроэлементов можно добиться многих и разнообразных успехов.

Что произойдет, если в корм молодых животных добавить очень немного микроэлементов? Возьмем, к примеру, сернокислый цинк. В этом случае прирост живого веса поросят увеличился в одном из опытов на 25 процентов, жеребят — на 28 процентов, а яйценоскость кур возростала на 20 процентов. Показатели заманчивые. Но, может быть, такая подкормка дорого обходится? Пожалуй, ответом могут служить такие размеры добавочных расходов: например, на одного поросенка от трех до шести копеек... в месяц!

Наш институт уже ряд лет оказывает систематическую помощь при внедрении микроэлементов некоторым районам Запорожской области. Один из них — Черниговский — отстает с развитием животноводства. Какие же новые, кроме известных, резервы можно пустить в ход? Секретарь райкома партии рассказывал:

— Стало ясно, что важнейший фактор, предопределяющий успех,— это широкое внедрение достижений науки. В частности, решили применять микроэлементы. Ну, естественно, пришлось помногу разъезжать по колхозам, беседовать с одиночками и «оптом» — выступать с лекциями. Кажется, в конце концов преодолели недоверие и равнодушие, «заразили» микроэлементами большинство колхозов.

Передо мной лежит папка с подробным отчетом о применении микроэлементов в десяти колхозах этого же Черниговского района. Цифры и цифры. Однако ряд данных настолько интересен, что вызывает искушение привести их целиком. Например, выделили две группы свиней: сто девяносто две, которым ежедневно давали по пять — десять миллиграммов солей кобальта, и такое же количество — сто девяносто две — «контрольных». Средний суточный прирост в последней группе составил двести граммов, а у свиней, получавших микроэлемент,— четыреста граммов, вдвое больше! Свинарка колхоза имени Ленина А. П. Чернюк взяла две группы, по ее словам, «самых паршивых» четырехмесячных и полугодовалых поросят, и уже через пятнадцать дней среднесуточный прирост у животных, получавших соль кобальта, составлял в среднем четыреста граммов. В колхозе имени Богдана Хмельницкого еще больше — четыреста семьдесят два грамма.

А вот как обстояло дело с рогатым скотом. В колхозе имени Калинина доярка Е. С. Момот, давшая закрепленным за ней коровам микроэлемент, уже через две недели убедилась в том, что у животных улучшился аппетит, среднесуточный удой молока на корову повысился примерно на литр. На этой ферме все доярки теперь требуют таких «пилюль». Вот что значит сила наглядного примера.

Перейдем теперь на птицеферму колхоза «Большевик». Группа кур, не получающих добавочного микроэлемента, дает пятьдесят семь яиц в среднем, а те, которых поят «розового цвета водичкой» с марганцевокислым калием (можно купить в любой аптеке), сносят по восемьдесят восемь яиц.

Не подумайте, пожалуйста, что обо всем этом здесь сообщается в качестве новинки. Пожалуй, не ошнбуся, если скажу: микроэлементы имеют уже солидную «бороду», а вот Черниговский район, насколько мне известно, является первым в Советском Союзе, применяющим их для подъема животноводства во всех колхозах. Выводы напрашиваются сами.

Черниговский район еще не является передовым, но нет сомнения, что он станет таким, если будет выдержан тот же курс широкого внедрения в практику достижений науки. Начальник районной сельскохозяйственной инспекции И. Г. Михайличенко — человек, которому весьма присуще чувство нового, прогрессивного. Хорошие в районе и агрономы в колхозах, действительно «болеющие» за урожаем. Там уже применяют микроэлементы на десятках тысяч гектаров посевов зерновых, овощных и плодовых культур. Например, в колхозе имени Щорса предпосевная обработка семян проса цинком дала прибавку урожая в центнер с гектара. Чистая прибыль в колхозе составила две тысячи четыреста тридцать рублей за вычетом десяти рублей — стоимости самой соли. Для всего района такая прибавка урожая проса дала бы свыше сорока тысяч рублей дополнительного дохода.

Одесский сельскохозяйственный институт шефствует над другим районом Запорожской области — Пологским. Там тоже колхозы на тысячах гектаров уже пять лет регулярно применяют микроэлементы, в основном для кукурузы. Одна только

предпосевная обработка семян растворами, содержащими микроэлементы, дает добавочно по три — пять центнеров зерна с гектара. Знатные звеньевые-кукурузоводы Пелагея Гонтарь, Лидия Деменко, Матрена Вольвач, Мария Таран и многие другие именно с помощью микроэлементов получают рекордные урожаи.

Мне не раз доводилось бывать в колхозах Пологского района. Чаще всего в этих поездках меня сопровождает Н. А. Захарченко — редактор районной газеты. Газета регулярно ратует за внедрение достижений науки, а Николай Александрович — один из энтузиастов применения микроэлементов, первый в районе инициатор их внедрения в сельское хозяйство. О случае, который мы наблюдали в колхозе имени Кирова, следует рассказать подробнее.

Молодой колхозный агроном Иван Павлович Миргород повел нас на баштан. По дороге он рассказал, что площадь участка, где растут арбузы, занимает семьдесят гектаров. Однако микроэлементов на обработку семян хватило не на весь участок — только на сорок шесть гектаров, а на остальной части арбузы были посажены обычным способом. Когда мы подошли к баштану, нас поразила какая-то незримая, но резкая черта, проходящая по участку: слева, на меньшей площади, растения были слабее развиты, они не цвели, а справа, на большем участке, цветение шло полным ходом и растения были куда крупнее. И листья здесь отличались — были значительно более зелеными — и вот почему: под воздействием микроэлементов листья накапливают больше хлорофилла, предопределяющего зеленую окраску, в результате чего происходит более интенсивное развитие растений.

На участке, где микроэлементы не применялись, длина плетей у арбузов составляла в среднем семьдесят пять сантиметров. Там же, где была предпосевная обработка семян, средняя длина достигала метра и тридцати пяти сантиметров. Нам всем было ясно, где раньше поспеют арбузы и где будет собран больший урожай. Уже позднее, осенью, мне сообщили из Полог, что на этом участке получили по семидесяти центнеров дополнительного урожая арбузов с гектара.

А разве обязательно нужно вносить удобрения в почву или же производить только предпосевную обработку семян? Конечно, нет. Ведь в удобрениях заинтересованы именно растения, их и следует питать. Такой новый и очень эффективный прием — некорневое питание растений, — к сожалению, не имеет в Советском Союзе еще достаточного распространения. Известно ли всем, что в такой маленькой стране, как Новая Зеландия, еще несколько лет назад опрыскивали с помощью самолетов растворами, содержащими макро- и микроэлементы, пастбища на площади в восемьсот тысяч гектаров?

В области микроэлементов есть еще одна важная проблема. Тот, кто был в Баку на Всесоюзном совещании по микроэлементам, слышал буквально неисчислимое количество новых фактов, показывающих огромную роль разнообразнейших микроэлементов в процессах жизнедеятельности человека. Вероятно, с их помощью можно добиться не только излечения от многих заболеваний, причины которых до сих пор плохо изучены, но и продлить жизнь людей.

Невольно вспоминаются замечательные слова академика В. А. Обручева, с которыми он обратился к молодежи. Назвав ее путешественниками в третье тысячелетие, старый ученый с пламенным жаром молодости пожелал счастливого пути тем, кому предстоит вывести новые породы животных, быстрее растущие и дающие больше мяса, молока, шерсти; новые виды растений, от которых человек сможет получать много больше зерна, фруктов, овощей, древесины.

Нам, современникам, предстоит продлить жизнь человека в среднем до полутора-ста—двухсот лет, научиться возвращать жизнь при несвоевременной, случайной смерти, свести к минимуму всякие болезни, победить усталость и старость.

В решении этих грандиозных и благодарных задач огромна роль Большой химии.

4

Химия помогает не только обеспечивать растения необходимой пищей, но и поддерживает их в борьбе с различными вредителями, лечит от всевозможных заболеваний.

Эффективность сельскохозяйственных ядохимикатов (инсектофунгисидов) измеряется многими миллионами пудов сохраненного ежегодного урожая. Практики считают, что эти ядохимикаты сохраняют урожай приблизительно на десять процентов в зерновом хозяйстве, на двадцать — в овощеводстве и на тридцать — сорок — в полеводстве.

По имеющимся сведениям, в США от болезней и вредителей растений ежегодно погибает не менее одной трети урожая. Появление долгоносика в ряде штатов Атлантического побережья заставило частично или даже полностью прекратить разведение ценного длинноволокнистого хлопка.

Знаете ли вы, кого называют «брадобреем садов» и «летающим голодом»? Такие названия недаром дают в Индии одному из страшнейших вредителей — саранче. Ликвидировать его помогает химический препарат гексахлоран.

Президент Академии наук СССР академик А. Н. Несмеянов считает, что потери нашего сельского хозяйства только от насекомых и вредителей составляют ежегодно многие миллиарды рублей. На одном хлопчатнике они достигают четырех миллиардов рублей. На основании теоретических работ академика А. Е. Арбузова наши химики разработали новые высокоэффективные фосфорорганические ядохимикаты. Их применение на хлопчатнике способно снять этот четырехмиллиардный убыток при затрате полутора миллиона рублей. Производство таких ядохимикатов за семилетие будет увеличено в восемнадцать раз. Это даст одиннадцать рублей на каждый затраченный рубль.

Все же имеющийся ассортимент ядохимикатов обеспечивает не в полной мере борьбу с наиболее стойкими и массовыми вредителями, как, например, растительные клещи, клоп-черепашка, филлоксеры виноградной лозы. Однако нужно не только расширить этот ассортимент, но и лучше изучить привыкание и приспособление к ним насекомых.

Каждый представляет себе тот вред, который приносят сорняки. К сожалению, до сих пор на борьбу с сорняками затрачивается еще чересчур много ручного труда. В зависимости от засоренности, на гектар посевов зерновых культур при ручной прополке требуется от пяти до двадцати человеко-дней. Такая прополка часто не удаляет корней сорняка, и он начинает прорастать вновь. Глядишь, проходит всего несколько дней, и поле или огород вновь покрывается сорняками. Поэтому иной раз получается, что работа, отвлекая много рабочей силы и на которую затрачена уйма времени, оказывается бесцельной и непроизводительной.

И здесь на помощь должна прийти химия. «Химическая прополка» сорняков заключается в опрыскивании или опыливании растений особыми веществами — гербицидами, получившими такое название от сочетания двух латинских слов: «герба» — трава и «цидо» — убиваю. Эти вещества впитываются сорными растениями, доходят до их корней и полностью убивают. А как же с культурными растениями, разве они не повреждаются? Напротив, они начинают развиваться еще лучше. Дело в том, что некоторые гербициды могут вдобавок стимулировать развитие культурных растений. Так что гербициды обладают чудотворным качеством: отделяя «плевелы от зерен», они уничтожают плохое и помогают росту хорошего.

В Советском Союзе химики синтезировали десятки противосорняковых препаратов. Их производство к концу семилетки должно возрасти почти в десять раз.

В последнее время со страниц многих журналов не сходит слово «гиббереллин» — слово, многим ранее не знакомое.

Люди с давних времен мечтали о получении препарата, который позволил бы выращивать растения в более короткие сроки. Японский ученый Куросава получил первые ростовые препараты из выделений болезнетворного грибка риса — «гибберелла фузидиоидес». Японские и китайские полеводы назвали растения с необъяснимо быстро растущими побегами «бешеным рисом»: он дает пониженный урожай, а при сильном заражении грибом погибает. Из грибка удалось выделить химически чистое вещество с необычайно высокой активностью. Если только одну часть этого вещества растворить в миллионе частей воды и опрыскать этим раствором растения, например горох,

огурцы, кукурузу, то через десять — двадцать дней произойдет настоящее чудо: горох будет вдвое больше по высоте, чем опрыснутые обычной водой контрольные растения.

Группа ученых под руководством члена-корреспондента Академии наук СССР Н. А. Красильникова синтезировала недавно советский гиббереллин, назвав новые препараты сокращенно «Г-1» и «Г-2». Отечественные гиббереллины не только позволили перенести нас в мир великанов, но дали возможность получить для ряда культур в два — четыре раза большие урожаи.

Но не в одной урожайности суть дела. Действие этих стимуляторов на растения-двухлетки (их нужно выращивать в течение двух лет, чтобы получить семена) не менее замечательно. Уже выведена однолетняя капуста с семенным стеблем высотой в пять метров, семена репы, полученные на первом году жизни растений.

Гиббереллины могут заставить цвести растения в тех условиях, при которых они раньше не цвели, то есть как бы заменяют солнечный свет; они могут заменить и действие холода, необходимого для прорастания семян ряда деревьев; они способны нарушить период покоя у лукович и клубней, что, может быть, позволит получать два урожая картофеля в год.

Сейчас все усилия должны быть направлены на то, чтобы применение гиббереллинов вышло из узких рамок опытов и стало широко распространенным методом сельскохозяйственной практики.

Есть и другой, новый и очень интересный, препарат, изобретенный профессором Одесского сельскохозяйственного института Василием Герасимовичем Александровым. Ученый еще до войны задумался над тем, нельзя ли повысить плодородие почвы, не внося в нее новых удобрений, а используя те питательные вещества, которые есть в самой почве. К решению этого вопроса В. Г. Александров подошел с совершенно новых, оригинальных позиций. Он поставил перед собой задачу перевести находящиеся в почве неусвояемые растениями питательные вещества в усвояемые. В результате многолетних опытов удалось выделить особый вид бактерий, которые он назвал силикатными, — они обладают способностью разрушать разнообразные силикаты, из которых состоит почва, и дают возможность растениям усваивать дополнительные питательные вещества. Силикатные бактерии помогают фиксировать азот воздуха, снабжать растения соединениями фосфора, калия, микроэлементами. Получая лучшее питание, сельскохозяйственные культуры «в благодарность» быстрее развиваются и, разумеется, дают большие урожаи.

За последние годы В. Г. Александров вместе со своими сотрудниками поставил множество опытов на десятках тысяч гектаров посевов различных сельскохозяйственных культур. В ряде случаев силикатные бактерии повышали урожай пшеницы до двадцати четырех процентов, кукурузы — до тридцати двух процентов и так далее. Стоимость препарата для гектара посевов выражается в долях копейки. Силикатные бактерии должны послужить одним из эффективных средств роста урожайности.

На необозримых просторах нашей Родины есть почвы самого разнообразного состава. Миллионы гектаров требуют весьма активного вмешательства химии.

В северных областях широко распространены подзолистые, в южных областях — солонцовые почвы, обладающие крайне неблагоприятными агрономическими свойствами. Основная часть огромной нечерноземной полосы занята кислыми дерново-подзолистыми почвами. Изменение химического состава такой почвы путем ликвидации вредной кислотности, главным образом с помощью известкования, — серьезнейшая проблема в сельском хозяйстве.

В Химкинском районе Московской области есть колхоз «Заря коммунизма», в котором посеяли озимую пшеницу на двух рядом расположенных участках с одинаковыми природными условиями. У одного почва кислая, у другого — известкованная. На втором участке урожай пшеницы получился в три раза выше.

Профессор Н. С. Авдонин предложил отличный способ использования гранулированной извести, которой требуется во много раз меньше, чем обычной. Кроме того, применение гранулированной извести в рядках дает возможность устранить вредную для растений кислотность именно в тех местах, где находятся корни в самом начале

их развития,—излишняя кислотность особенно вредна в первый период жизни растений.

Применение огромнейших ресурсов сланцевой золы в качестве удобрений повысило бы экономическую эффективность сланцевой химической промышленности. Переработка каждой тонны сланцев дает пятьсот—шестьсот килограммов золы, содержащей до сорока восьми процентов извести, соединения калия, фосфора, магния, марганца и ряда других ценных химических веществ. В Эстонии, например, накопились миллионы тонн сланцевой золы, образовавшей целые горы на заводских площадках. Получается явная несуразность: с одной стороны, испытывается нужда в золе, а с другой — проблема сброса золы в отвал становится тормозом дальнейшего развития сланцевой промышленности. Не пора ли найти выход, который подсказывает сама жизнь?

Отходы буроугольной промышленности — торфяная зола — представляют дешевый материал для удобрения. Для этого же в больших количествах может применяться печная зола, получаемая из древесного, соломенного, кизячного топлива. По подсчетам академика Д. Н. Прянишникова, в дореволюционное время только в Европейской части страны количество печной золы составляло от семидесяти до ста пяти миллионов пудов в год. Если бы эта зола применялась для удобрения, можно было бы получить дополнительно до девяти миллионов центнеров хлеба.

Громадные пространства занимают у нас солонцовые почвы, о которых еще в прошлом столетии выдающийся русский ученый В. В. Докучаев заметил, что «солончаки страшны нам лишь потому, что мы не умеем владеть ими. Они не зло, их только надо изучить, научиться управлять ими, и тогда они же будут работать нам на пользу».

Советские ученые доказали, что внесением в почву гипса в сочетании с высокой агротехникой можно даже без орошения устойчиво повысить урожай: зерновых культур на шесть—десять центнеров, трав — на пять—пятнадцать, свеклы — на пятьдесят—сто центнеров с гектара. При орошении же можно повысить урожай значительно больше.

Иногда совершенно здоровая на первый взгляд почва нуждается в... дезинфекции. В Хмельницкой области для уничтожения на огородных участках рака картофеля почву дезинфицировали хлорпикрином. При этом удалось не только обеззаразить огородные участки, но и повысить урожай картофеля в четыре раза. Интересно, что в течение трех последующих лет на дезинфицированных участках урожай получался также гораздо большим.

На территории Выставки достижений народного хозяйства СССР М. М. Савицкий на участках почвы, обработанной хлорпикрином, добился рекордных урожаев ряда культур: озимой пшеницы — сто, ржи — девяносто девять, ярового ячменя — восемьдесят девять, овса — восемьдесят центнеров с гектара.

Можно было бы многое рассказать об эффективности протравителей для семян, о средствах для удаления листьев, например хлопчатника. По семилетнему плану производство первых препаратов должно быть увеличено в двадцать один, а вторых — в семнадцать раз. Наука знает также о других, самых разнообразных приемах использования химии — от борьбы с грызунами вплоть до радиоактивных изотопов. Арсенал химии неисчерпаем. В конце же концов все решают люди.

Те, кто сталкивается с техникой, хорошо понимают большое значение термина «коэффициент полезного действия» — КПД. Именно химия позволит в максимальной степени повысить КПД почвы, растений, сельскохозяйственных животных. И, вероятно, человека.

5

Что же еще нужно сделать для большого шага вперед в области химизации сельского хозяйства?

Обратимся к столь важному вопросу, как удобрения.

На наш взгляд, следовало бы усилить переход от периодического процесса получения суперфосфата к непрерывному и автоматизированному, сократить операции

«дозревания» суперфосфата на складах, удешевить процесс его гранулирования, улучшить ряд его свойств, например путем применения аммонизации.

Необходимо дальнейшее изыскание более экономичных методов получения ряда концентрированных и сложных удобрений. В Кара-Тау (Казахстан) имеется месторождение фосфоритов, уступающее по мощности лишь Хибинскому. Вопрос их использования упирается в изыскание подходящих методов обогащения сырья. Почему же этот вопрос находится еще в стадии изучения и страна лишена многих и многих тысяч тонн дополнительных фосфорных удобрений?

Большое народнохозяйственное значение имеет вовлечение в промышленную эксплуатацию многочисленных месторождений фосфоритного сырья местного значения. Такие месторождения имеются в центральных районах Европейской части СССР, в Эстонии, на Украине (Винницкая область), на Урале. Почти совсем не используются фосфатные шлаки металлургических заводов.

На декабрьском Пленуме (1959 г.) Н. С. Хрущев поставил вопрос о необходимости увеличить выпуск мочевины. Польза от нее очень большая, причем двоякая: это хорошее удобрение и в то же время отличный белковый корм, дополняющий кукурузу.

А как быть с практически еще не разрешенной проблемой питания растений углекислым газом? Учитывая буквально неисчерпаемые ресурсы этого газа, выделяющегося из промышленных печей тепловых электростанций, металлургических, химических и других заводов, приходится лишь удивляться, как мало делается для использования этого дарового удобрения.

Современное состояние науки о микроэлементах — ее многогранность, необходимость оперативной координации многочисленных работ в этой области — настоятельно требует организации в системе Академии наук СССР отдельного института. Это учреждение могло бы явиться центром, координирующим исследовательские работы, обеспечивающим быстрее внедрение достигнутых результатов в сельскохозяйственное производство.

Еще один важный вопрос заслуживает пристального внимания. Не будет ошибкой сказать, что агрономы, животноводы — выпускники сельскохозяйственных вузов — весьма слабо владеют химическими методами, используемыми в сельскохозяйственном производстве. Молодые специалисты часто бывают беспомощными наблюдателями при внедрении новых химических методов борьбы за высокий урожай и подъем животноводства.

Подобное положение объясняется рядом причин. Работники Министерства высшего и среднего специального образования, утверждающие учебные планы, считают химию общеобразовательной дисциплиной. Несмотря на возросшую роль химической науки в сельском хозяйстве, число часов на эту дисциплину не только не увеличивается, но даже сокращается. Это явно ненормально. К тому же и в самих вузах часто относятся к этому предмету как к чему-то второстепенному и не очень обязательному. Мол, агроному надо в первую очередь знать земледелие.

Нужно значительно усилить подготовку специалистов по агрономическим дисциплинам в сельскохозяйственных учебных заведениях, расширив одновременно программы по агрохимии для агрономов других специальностей.

Если подготовка растениеводов в области химии оставляет желать много лучшего, то особенно плохо обстоит дело со специалистами другого профиля сельскохозяйственных вузов — животноводы, ветеринарными врачами. Высокая продуктивность животноводства, большее количество молока, мяса, лечение животных от разнообразных заболеваний так или иначе неразрывно связаны с важнейшими биохимическими процессами, протекающими в животном организме. Эти процессы можно научиться направлять в желаемую сторону лишь при наличии хорошей биохимической подготовки.

Выпускники сельскохозяйственных вузов не всегда обладают достаточными знаниями, чтобы составить правильный режим питания животных с учетом всех факторов: вида, породы, возраста, состояния животных, кормов, воды, всех местных климатически-природных условий. Даже сейчас можно сказать, что необходимо широко применять кормовые фосфаты, соли кальция, железа и другие, усилить

изучение и использование разнообразных микроэлементов в животноводстве. Животные должны получать полноценные корма, содержащие в своем составе все необходимые питательные вещества.

Интересы сельского хозяйства требуют улучшить подготовку кадров химиков и технологов — специалистов в области производства минеральных удобрений и ядохимикатов. Хорошо было бы организовать в нескольких химико-технологических институтах соответствующие кафедры, внести изменения в учебные планы и программы родственных дисциплин.

Для более тонкого и глубокого проникновения в механизм процессов, протекающих в растениях и насекомых, необходимо дальнейшее развитие быстрых и высокочувствительных методов исследования, особенно физико-химических, микрохимических, методов радиоактивных изотопов.

До сих пор не выяснены детали механизма образования в зеленом листе белков и углеводов из воды и углекислоты в зависимости от влияния световой энергии. Эти исследования должны выявить возможность технического синтеза органических веществ из углекислоты и воды без применения сложных и дорогих приемов современной химической техники.

Не решено еще немало вопросов, касающихся некорневого питания растений, предпосевного намачивания семян, применения гербицидов, стимуляторов роста, ряда ядохимикатов, и много других. Так, например, при использовании ядохимикатов наиболее широко применяются порошки-дусты. В качестве весьма перспективных форм использования инсектофунгицидов могут быть выдвинуты эмульсии и аэрозоли. Возможно и экономически крайне целесообразно решить вопросы комбинации приемов питания растений с борьбой против их вредителей.

Наивным было бы полагать, что повышение урожайности может обеспечить лишь одна химизация сельскохозяйственного производства. Такой односторонний подход заранее обречен на неудачу. Разумеется, в этом деле нужен многогранный комплекс самых разнообразных мер, однако важнейшая роль химии здесь несомненна. Главное же, что внедрение химии не требует больших затрат, химизация большей частью легко выполнима в производственных условиях и весьма эффективна.

В начале статьи мы говорили о реальной возможности вырастить на месте одного колоса два. А если в бой будет пущен весь комплекс хотя бы перечисленных средств химии? Даже самым большим оптимистам будет трудно себе представить, сколько растений заколосится на том месте, где теперь растет одно. Тогда не покажутся громкими слова о решающей роли химии в достижении полного изобилия.



ЛЕВ ЛЮБИМОВ

★

СРЕДИ СОКРОВИЩ ЭРМИТАЖА

Мысль об очерке, посвященном Эрмитажу, родилась у меня в беседе с одним французом. Француз этот — мой давнишний знакомый Жорж Саль, известный искусствовед, в то время директор Лувра и всех государственных музеев Франции, — приезжал года четыре назад в Советский Союз. Я встретился с ним в Москве. Он сказал мне, что с особым удовольствием собирается в Ленинград, так как хочет скорее ознакомиться со знаменитым эрмитажным собранием алтайских древностей, найденных в Пазырыкских курганах, и был удивлен, что я всего лишь мельком слышал об этом собрании (как я вскоре убедился, даже в кругах, близких к искусству, о нем мало знают — не только в Москве, но и в Ленинграде).

Впрочем, наша осведомленность далеко не достаточна, если иметь в виду и весь Эрмитаж.

Конечно, было бы совершенно неверно полагать, будто Эрмитаж не пользуется у нас достаточной популярностью. Я не знаю за рубежом ни одного музея мирового искусства, который был бы так посещаем, так любим народом и играл бы такую роль в развитии его культуры, воспитании эстетического вкуса, в просвещении. Но если следует радоваться, что о Третьяковской галерее много пишут как о национальной гордости, как о замечательном собрании памятников родной культуры, особенно дорогим и близким сердцу и уму советского человека, то приходится пожалеть, что Эрмитажу воздается должное несколько более сдержанно. А между тем Эрмитаж не только наше самое богатое собрание памятников искусства и культуры других народов, но в целом (и даже независимо от его отделов русской культуры и культуры

народов Советского Востока) и величайший памятник советской культуры — культуры, сохранившей лучшее в наследии прошлого, чтобы передать это наследие новому, коммунистическому обществу.

Об этой миссии, которую призван выполнять и с блеском выполняет наш Эрмитаж, я и хотел бы напомнить моим кратким и беглым очерком.

* * *

С чего начать и как не потонуть в действительно неисчерпаемом материале? Как кристаллизовать впечатления от виденного и слышанного в те три недели, когда с утра до вечера я каждый день бродил по бесчисленным залам огромного музея?

Начну с Особой кладовой, точнее, с трех ее залов, где выставлены древние драгоценности, — и не из-за сенсационного характера этого собрания, а потому, что, как мне кажется, оно с места же утверждает некоторые очень существенные, а в данном случае ключевые положения.

Как только вы входите в Особую кладовую, вас буквально ослепляет блеск золота. Золото сверкает, струится, переливается жарким пламенем со всех сторон. Это прямо-таки сказочно, умопомрачительно. А затем, когда всматриваетесь в выставленные предметы, вы испытываете гораздо более глубокое и радостное волнение, ибо перед вами не просто драгоценности, но прежде всего великие творения искусства. Тут и Сибирская коллекция Петра I, и ювелирные изделия, изготовленные греческими мастерами для скифской знати, и скифские памятники, в которых влияние Эллады сочетается с иными веяниями, со своим собственным — принимающим все более законченные формы, — так называемым «звериным стилем».

Подлинное греческое пластическое искусство почти не дошло до нас; мы судим о нем главным образом по позднейшим римским копиям. Но в Особой кладовой Эрмитажа оно сняет полным блеском, ибо здесь хранится самая богатая в мире коллекция греческих ювелирных изделий, которые, несмотря на миниатюрные размеры, порой передают мощь и непревзойденное совершенство погибших прообразов.

Вот, например, знаменитые височные подвески с горделиво холодной и величаво прекрасной головой Афины Паллады, изваянной Фидием. Статуя погибла, и эти подвески — лучшее сохранившееся ее отображение. В них дыхание Эллады той блаженной поры, когда греческое искусство достигло самого высокого расцвета. Или феодосийские серьги с быстро скачущей квадригой, управляемой Никой, богиней победы (IV век до н. э.). Так называемая «микротехния» — но какая монументальность и какой динамизм в конях и бурной богине! Золотой гребень из кургана Солоха со сражающимися варварами. Ясное, лучистое в своей стройности, соразмерности видение Парфенона, скульптурного фриза его, — полногласный отзвук искусства того же великого Фидия. Это тоже высокое греческое искусство, но уже на службе у меценатов из варварской знати (равно как и знаменитая ваза из скифского кургана Куль-Оба).

Почему же именно в нашем Эрмитаже оказалось самое значительное в мире собрание золотых изделий древних греческих мастеров? А потому, что причерноморские греческие колонии были очень богаты благодаря хлебу, вывозимому ими из близлежащих плодородных земель; скифы, населявшие эти земли, вступали с греками в ближайшее общение, приобретали у них — опять же за хлеб — драгоценные изделия, да и сами заказывали их греческим мастерам. В самой Греции подобные драгоценности были впоследствии расхищены или переплавлены, а на нашей земле сохранились в поразительном изобилии в греческих и скифских погребениях.

Особая кладовая Эрмитажа дает нам наглядное представление о великой притягательной силе изобразительного искусства. Я наблюдал за посетителями — это была группа технических работников какого-то предприятия, далеких по характеру своей деятельности от повседневного общения с

искусством и тем более от его изучения. Сначала они были только ошеломлены сиянием золотых блях, пластинок и диадем, как, впрочем, часто бывают ошеломлены впервые посещающие Эрмитаж несравнимой роскошью самой его дворцовой обстановки. Но по мере того как говорил экскурсовод, привлекая внимание посетителей к художественной идее, стилю, общей композиции, художественным деталям и технике выполнения этих драгоценных вещей, я видел, что по-новому оживлялись их лица, и из вопросов, которые они задавали, я вынес убеждение, что светлое эллинское искусство воздействовало на их восприимчивую душу.

Итак, подчеркнем ключевые положения.

Богатство, внешний блеск, с которыми не может сравниться ни один другой музей. Уникальные собрания произведений искусства, сохранившихся в силу особых причин не на своей родной земле, а на нашей, куда они были доставлены в обмен на плоды ее богатой природы и труда ее населения. Искусство различных народов в постоянном взаимодействии скрещивающихся культур — и в результате возникновение новых национальных стилей. Широкое русское собирательство прошлых веков. Дальнейшее обогащение Эрмитажа в советское время путем сосредоточения в нем старых разрозненных собраний и новых поисков, которые, как увидим дальше, привели не раз к открытию новых, дотоле неизвестных культурных миров. Подробное изучение и подлинно научная систематизация коллекций в советское время. Благоприятное влияние широкой демократизации богатейшего собрания красивых вещей на вкус, на общее культурное развитие советского человека.

Дворцовая роскошь Эрмитажа особенно поражает иностранцев, сравнивающих Эрмитаж с другими знаменитыми европейскими музеями. И не только потому, что в Эрмитаж включена теперь полностью бывшая царская резиденция — Зимний дворец: основной Эрмитаж тоже ведь был задуман как часть царского дворца, придворный музей, каким оставался он еще в середине прошлого столетия. Накануне первой мировой войны я еще мальчиком, застал в нем служителей в царской ливрее, важных и осанистых, как капельдинеры императорских театров.

Роспись, лепка, позолота, наборные паркеты, мозаика, бронза, хрусталь, вазы, колонны, изготовленные на гранильных фабриках (Колыванской, Екатеринбургской и Петергофской), русские самоцветы, малахит, лазурит, яшмы, порфир, агаты, орлец, переливающиеся то густо-синими теплыми тонами с золотыми искорками, то сверкающим черным, то золотисто-зеленым «бархатным», — все создает впечатление какого-то сказочного великолепия. Да, нигде, кроме Эрмитажа, этого нет. А причудливый Павильонный зал, из которого открывается вид на Висячий сад, одну из главных достопримечательностей екатерининского Петербурга! А лоджии Рафаэля — точное и единственное (исполненное в XVIII столетии) воспроизведение знаменитых римских росписей, ныне крайне поврежденных, что придает нашим особую ценность! И как не прийти, например, в изумление перед вазой «Россия» более чем в два метра высотой, изготовленной в 1828 году, — самой большой фарфоровой вазой в мире, — или перед самой большой из всех каменных ваз, Колыванской, вышиной в три аршина, семи аршин в поперечнике, весом более тысячи двухсот пудов, изготовленной в 1843 году из зеленоватой волнистой яшмы по рисунку архитектора Мельникова?

Но исключительность эрмитажной обстановки не исчерпывается красотой и богатством покоев. Великолепно, забываемо и «окружение» Эрмитажа.

Когда, наглядевшись на лучистую адриатическую красоту таинственной «Юдифи» Джорджоне, вы переводите дыхание в радостном утомлении, перед вами через широкие окна открываются серые воды Невы и за ней панорама «Северной Пальмиры» с ростральными колоннами и стройным силуэтом Петропавловской крепости. А из окон залов, где сияет французская классика XVII и XVIII веков, вы видите громадный желтый ансамбль площади с аркой Главного штаба, великое творение того стиля «ампир», который только в Петербурге нашел подлинные просторы и подбаюющий ему грандиозный размах.

В годы Великой Отечественной войны в эти великолепные эрмитажные здания попали две авиабомбы и тридцать два артиллерийских снаряда. Во время осады Висячий сад был превращен в огород. И только лоджии Рафаэля да вделанные в стены

итальянские фрески еще оставались в залах картинной галереи, до конца представляя под огнем фашистских варваров одно из величайших собраний мировой живописи. В страшные зимы блокады весь Эрмитаж как бы превратился в грандиозный ледяной дворец. Холод, один холод царил в его опустевших покоях. Ночью, в гуле разрывов, короткие вспышки озаряли близину кое-где еще возвышавшихся статуй античных богов и богинь; они вздрагивали от ударов, и иней сыпался с них. С фонариками, в валенках тенями проходили по залам музейные хранители; Эрмитаж не сдавался, упорно боролся за жизнь, как и весь огромный город. В зиму 1942 года чествовали в нем юбилейную годовщину великого азербайджанского поэта Низами. А в 1944 году, когда беда миновала, в Эрмитаже была устроена выставка произведений искусства, которые не были эвакуированы.

Эвакуация 1941 года — одна из самых волнующих страниц в истории музея. В первую же неделю войны все самое ценное было увезено в далекий тыл. В эту неделю две тысячи пятьсот четыре ящика, наполненные сокровищами великих культур, покинуло Эрмитаж. Один миллион семьсот тысяч экспонатов было отправлено на Урал. Вся эта операция была произведена с исключительной тщательностью и быстротой: время не ждало, ведь уже в сентябре фашисты находились на подступах к Ленинграду.

А в первый год победы, 10 октября 1945 года, все эвакуированные ценности были возвращены в Эрмитаж.

Да, это музейное помещение — само по себе музей, памятник истории, культуры и искусства нашей великой страны, вместе с ней выдержавший самое страшное испытание, это творение Растрелли, Кваренги, Ламота, Фельтена, Кленце, Росси, Монферрана, Стасова, А. Брюллова, Ф. Толстого, Штакеншнейдера и тысяч и тысяч простых русских людей, многие из которых жизнь свою положили здесь в непосильном труде.

* * *

Все же постараюсь уж если не начать этот очерк, то хотя бы продолжить его, так сказать, с начала, то есть в соответствии с хронологией представленных на обозрение культур. Это не так легко, ибо

нет музея более запутанного, более трудного для систематического осмотра, чем Эрмитаж: ведь огромный комплекс его помещений не предназначался для этой цели, и вы проходите целые километры, то и дело попадая из одного мира в другой и едва успевая передохнуть, чтобы настроиться на новый лад. Нынешний Эрмитаж — это несколько музеев, объединенных в одно целое.

Итак, с начала, то есть с Отдела истории первобытной культуры, хоть он и на отлете и поток посетителей, входящих теперь в Эрмитаж не с улицы Халтурина (бывшей Миллионной) под портик, поддерживаемый знаменитыми атлантами, а с Дворцовой набережной, вдоль легких растреллиевских колонн, через главный подъезд Зимнего дворца, обычно устремляется не в этот отдел, направо, а налево — к роскошной лестнице, которая ведет в парадные апартаменты второго этажа.

Отдел истории первобытной культуры я осмотрел под руководством его старшего научного сотрудника Б. А. Латынина, одного из тех энтузиастов, которые как бы срослись с Эрмитажем за долгие годы работы и ревностно передают свои знания молодой смене. Давно уже, еще со времен первой пилитетки, этот человек в каждойдневной ряте добивается того, чтобы при грандиозных новостройках нашей эпохи, когда вверх дном переворачиваются целые пласты земли, возможно больше кубометров культурного слоя было бы так или иначе прошупано, «простерилизовано» археологами. И надо сказать, дело это выполняется добросовестно, принося порой замечательные плоды. О каждом черепке (а черепки — азбука археологии), обнаруженном в земле, следует сообщать в соответствующие инстанции. И вот, например, результат — выставленный в залах отдела полный набор орудий литейного производства, относящийся к концу второго тысячелетия до н. э., найденный при строительстве Сталинградской ГЭС в погребении мастера-литейщика. А сколько ценнейших находок принесло строительство Московского метрополитена! Но люди жили не только на территории нынешних поселений, и потому, как говорил известный русский археолог А. А. Спицын, «археологических памятников нет только там, где их не ищут».

Б. А. Латынин обратил мое внимание на грубую, могущую доказать уродливой,

женскую статуэтку из бивня мамонта. Ей около сорока тысяч лет, и по месту находки ее называют Костенковской, или Воронежской, Венерой. Остановимся же перед ней с благоговением: это первое известное нам творение рук человеческих, прославляющее «вечную женственность», материнское начало, это прародительница всех венер и мадонн, которыми мы будем любоваться в Эрмитаже. Однако такие предметы требуют объяснения, без которого они непосредственно не воспринимаются непосвященным зрителем во всем их значении. Глядя на огромную глыбу с изображением зверей и людей (доставленную лет двадцать назад с Онежского озера), я, например, не распознал бы в этой наскальной графике второго тысячелетия до н. э. магической мистерии, призванной обеспечить человеку победу в охоте, победу над зверями.

Эрмитаж обладает самым богатым собранием скифских древностей. И весь этот мир кочевников, обильно проливавших кровь в постоянной борьбе за скот, ярко встает перед нами в залах музея. Серебряная ваза из Чертомлыцкого кургана — шедевр мирового значения. Контур вазы, ее пропорции, вереница фигур, ее украшающих, — все это вершины искусства. Во всем чувствуется ровное, чистое и юное дыхание Эллады. Но люди, на ней изображенные, — это скифы «с раскосыми и жадными очами», и не будь этой вазы, не было бы, вероятно, и знаменитых блоковских стихов. Снова переплетение культур классической и варварской, последний отзвук которого — споры между отделами античной культуры и первобытной из-за обладания сокровищами наших курганов; обычно дело решается условным компромиссом: то, что найдено в греческих погребениях Причерноморья, принадлежит первому, а то, что в степи, — второму из этих отделов, даже если это создание греческих мастеров.

А дальше — Пазырык.

В эрмитажной книге отзывов я читал запись группы чехословацких художников. Они сетуют на то, что памятники Пазырыкских курганов выставлены в отдаленных залах, что в маршрутах Эрмитажа они никак особенно не отмечены, что нет в продаже их хороших воспроизведений и что вообще им не оказывается надлежащего внимания, между тем как дело идет о собрании столь же замечательном, как эрмитажные картины Рембрандта.

Что касается репродукций, то здесь достигнут известный успех: выпущено прекрасное издание на русском и французском языках, предназначавшееся для Брюссельской выставки, куда одно время предполагалось отправить это собрание и где оно, несомненно, произвело бы мировую сенсацию. Что же относится к широкой его пропаганде, то здесь предстоит сделать еще очень много. Не подлежит сомнению, что Пазырыкские находки имеют совершенно исключительное значение, могут почитаться по праву гордостью Эрмитажа, гордостью нашей Родины.

Перед нами один из забытых миров, открытых советскими археологами. Им повезло: их неутомимый, освещаемый подлинной ученостью труд возродил для человечества застоявшуюся в тысячелетиях высокую художественную культуру. Повезло в этом смысле и Эрмитажу, который как раз сейчас возглавляется одним из самых выдающихся археологов Советского Союза — М. И. Артамоновым.

Что же представляет собой этот Пазырыкский мир?

В 1715 году Никита Демидов, основатель уральских горных заводов, преподнес жене Петра I найденные в курганах приалтайских степей великолепные литые золотые пояные бляхи и шейные гривны с фигурами зверей. Эти предметы и легли в основу уже упомянутой Сибирской коллекции Петра I, изумительного собрания художественных золотых изделий.

Раскопки огромных курганов Восточного Алтая в урочище Пазырык, на высоте 1600 метров над уровнем моря, произведенные в советское время, дали исключительно богатый материал. Первый курган был исследован М. П. Грязновым в 1929 году, остальные четыре — в 1947—1949 годах. Ценные материалы дали также раскопки двух курганов в Центральном Алтае, в урочище Башадар, произведенные в 1950 году С. И. Руденко. (Изучение двух курганов, раскопанных им же в 1954 году в Туэкте, еще не закончено.)

Алтайские курганы, главным образом Пазырыкские, чрезвычайно обогатили Эрмитаж. Экспозиция, устроенная всего несколько лет назад, включает самые древние из дошедших до нас ворсовых, шерстяных ковров V—IV веков до н. э. (до этого самым древним считался ковер XIII века н. э.); относящиеся к этому же

времени самые древние художественные изделия из дерева и войлока; самую древнюю китайскую ткань (эпохи «Воюющих Царств»); самую древнюю колесницу. В целом — это уникальное собрание предметов культуры и искусства.

В чем секрет этих находок? Почему именно раскопки Алтайских курганов дали такой материал? Исключительно благодаря вечной мерзлоте: глубокие могилы были заполнены чистым льдом, сохранившим ткани, войлок и дерево, от которых в других условиях почти ничего не остается в земле. В одном из соседних залов я видел жалкие обрывки тканей, найденные в скифских курганах Юга: этими обрывками некогда гордился Эрмитаж. А сейчас здесь большие ковры, чуть ли не целый шатер, украшающий главный Пазырыкский зал!

Мне посчастливилось осмотреть это собрание под руководством самого М. П. Грязнова. Он рассказывал мне о необычайных условиях, в которых производились раскопки (не лопата и нож, а ведро и теплая вода были главными орудиями археолога среди льда), о великой радости, испытанной им при виде чудесно сохранившихся памятников высокого и неведомого искусства, о кропотливой работе по реконструкции войлочных полотнищ (валявшихся в разобранном виде) и колесницы (тоже разобранной на части), о строении которой ничего не было известно; сейчас она возвышается в Эрмитаже как замечательный прообраз средств передвижения, придуманных в последующие тысячелетия людьми.

Тут и огромный сруб, в котором был похоронен вождь, и высохший его почерневший труп (труп жены его или наложницы, вместе с ним похороненной и, очевидно, с этой целью убитой, не выставлен, так как он оказался изуродованным — вероятно, грабителями, побывавшими в могилах), и трупы его боевых коней прекрасной породы, напоминающей нынешнюю ахал-текинскую.

Какая же все-таки это культура? Можно ответить самым общим образом: культура ранних кочевников-скотоводов, распространявшаяся от Дуная до Китайской стены. Но здесь, на Востоке, в отличие от Юго-Запада, где она соприкасалась с эллинской, эта культура тесно переплеталась с культурой народов Азии.

Много пишется и много еще будет пи-

саться о том, в чем проявляется в искусстве и культуре этих племен влияние Ирана, Средней Азии и Китая, в чем они самобытны, какие предметы приобрели у других народов и какие изготовили сами, во что веровали, на каком языке говорили, когда в точности появились и когда исчезли. Все это пока не разрешенные вопросы. Но перед нами памятники, и они поразительны сами по себе.

Войлочное полотнище шатра покрывает стену от пола до потолка, производя впечатление огромной росписи. Но это цветные аппликации: гордые всадники перед сидящими загадочными богинями. Замечательное чувство композиции, декоративности! Мы чувствуем, что здесь изображен величественный эпос.

Но, быть может, еще более изумительны мелкие предметы. Крохотный деревянный олень с рогами, вырезанными из кожи, которые больше его самого и составляют поразительной мощи гармонический ажурный узор; какая монументальность в этой фигурке в двенадцать сантиметров, какое глубокое чувство пропорций, какое доведенное до совершенства соотношение отдельных частей, составляющих неповторимое в своей самобытности единое целое! Да, конечно, это опять вершины барельефной и круглой скульптуры, рисунка, композиции, в которой есть уже элементы живописи. И вершины эти были достигнуты две с половиной тысячи лет назад людьми, которые не знали и тысячной доли того, что знаем мы о законах природы, но отображали ее со всей свежестью и остротой своего непосредственного восприятия, в самом этом отображении видя, очевидно, магическое средство проникновения в ее сокровенную сущность, средство познания и овладения. И опять-таки какая горделивая отвага в этих фантастических конских наверхах — головах оленя или грифона, превращающих коня в некое таинственного и смелого бога! Какая острота, экспрессивность во всех этих деревянных, кожаных и цветных войлочных украшениях, чепраках, сбруйных и поясных бляхах, в аппликациях со вставками литого золота, меха, крашеного конского волоса, изображающих, например, голову оленя в клюве грифона, рогатого волка, фантастического пегаса, горного козла, крылатого тигра или тигра, терзающего лося в стремительно неудержимом, беспощадном по-

рыве! А сколько изящества, архаической неги в войлочных лебедях, служивших украшением шатру!

Достаточно посетить в Эрмитаже эти семь залов, посвященных древнему искусству Алтая, чтобы унести с собой неповторимо прекрасное видение мира.

Суровая природа Алтая сохранила эту красоту. Люди нашей страны, нашей эпохи раскрыли ее, обогатив культурное достояние всего человечества.

Я спросил советского ученого, который одним из первых проник в этот мир прошлого и открыл его нам: все ли уже раскопано на Алтае, хранит ли еще эта земля подобные сокровища?

— О, это непочатый край,— ответил М. П. Грязнов.— На Алтае еще около девяноста нескрытых курганов!

* * *

Отдел культуры и искусства античного мира обладает прекрасным собранием античной скульптуры, включающим первоклассные произведения (как, например, знаменитая «Таврическая Венера», приобретенная при Петре I). Но все же в целом собрание греческой скульптуры уступает парижскому, лондонскому или берлинскому, не говоря уже об афинском, римском и неаполитанском. Некоторые же другие собрания античного отдела Эрмитажа занимают среди мировых сокровищниц искусства совершенно исключительное место.

Так, Эрмитаж обладает не только самым богатым в мире собранием греческих ювелирных изделий, о котором мы уже упомянули, но и одной из богатейших в мире коллекций греческих и итальянских ваз (включающей знаменитую Кумскую вазу, или «Царицу ваз», — непревзойденное по своему совершенству художественное произведение), крупнейшими собраниями терракотовых статуэток из Танагры и резных: камней (с такими мировыми шедеврами, как камея Гонзаго и голубой халцедон резчика Дексамена), одним из лучших в мире (вероятно, вторым после копенгагенского) собранием римских скульптурных портретов и постоянно пополняющимся благодаря новым раскопкам совершенно уникальным собранием памятников искусства и культуры античных городов Северного Причерноморья.

Этот отдел показывала мне его заведующая А. А. Передольская, автор ряда интереснейших исследований, много лет отдавшая Эрмитажу, ученица О. В. Вальгауэра — крупнейшего знатока античного искусства, долго возглавлявшего этот отдел в советское время.

Античный отдел занимает те же залы первого этажа, что и в дореволюционное время, но, кроме того, захватил и небольшую часть Зимнего дворца. Отдел этот значительно обогатился после революции благодаря поступлениям из дворцов, частных собраний (Строгановых, Шуваловых, Боткиных и других), Академии художеств, университета. А. А. Передольская рассказывала мне об этом, сообщая происхождение каждого художественного произведения и объясняя ту огромную работу по изучению и систематизации античных памятников, которая была предпринята в советское время и продолжается по сей день. В дореволюционном Эрмитаже экспозиция отдела строилась в основном по признаку декоративности, ныне же — со строго научным подходом, дабы показать последовательное развитие искусства и культуры в каждую эпоху. А для этого нужно проникнуть действительно глубоко в эпоху, распознать все характерные для нее художественные процессы. Только для V века до н. э. уже удалось идентифицировать около девяносто мастеров (по подписи или по манере). Эта работа требует сотрудничества между крупнейшими музеями мира.

Возникшее в конце V века до н. э. Боспорское рабовладельческое государство со столицей Пантикапеей, на чьем месте ныне находится Керчь, оставило нам в своих курганах памятники самого высокого искусства. Нет в мире более замечательного собрания греческих расписных ваз IV века до н. э., чем эрмитажное, и собрание это составлено из находок в погребениях Керченского полуострова (так что в специальной литературе аттические вазы этого времени, то есть эпохи Праксителя, часто обозначаются как керамика «Керченского стиля»). Курганы Боспорского царства дали Эрмитажу несравненное собрание не только золотых изделий и ваз, но и серебряной утвари, бронзовых украшений и поразительные, уникальные деревянные саркофаги. Всему этому богатству может позавидовать любой музей Европы или Америки.

Есть свидетельства, что в самих Афинах народ возводил статуи боспорским правителям в благодарность за присылаемый хлеб. Урожаем нашей земли мы обязаны, значит, и этими сокровищами, охраненными этой же землей от гибели.

Фанагорийским сфинксом, знаменитой жемчужиной Эрмитажа, фигуркой, представляющей собой флакон для духов, удивительно сохранившей окраску и найденной вместе с другими фигурными вазами в могиле греческой девушки или молодой женщины, жившей в конце V века до н. э. в Фанагории, я любовался в каждый мой приезд в Ленинград. И все же, слушая А. А. Передольскую, я еще полнее ощутил несказанное очарование прелестного сфинкса, ласкового и мечтательного, образ которого запоминается навсегда.

— Вглядитесь,— говорила мне А. А. Передольская,— какой перламутровой белизной сверкает гибкое, стройное тело этого фантастического существа, как ярко голубеют на нем длинные и тонкие крылья, каким нежным румянцем пламенеет лицо и как загадочно мерцают его темно-синие глаза под густыми черными ресницами!

Да, конечно, это снова вершина искусства. И при этом бесконечно редкий образец мелкой греческой полихромной пластики.

Советская археология стремится не только обнаружить в античных городах уникальные произведения, но и воссоздать картину жизни всего их населения, показать развитие местной культуры, переплетающейся с греческой, но имеющей собственные корни, и исследовать во всей полноте социально-экономическую историю этих городов.

Разделы, посвященные Нимфею и Ольвии, являются во многом плодом этих усилий. Раскопки Ольвии, произведенные нашим выдающимся археологом Б. В. Фармаковским, считаются образцовыми. Мне показывала этот раздел В. М. Скуднова, для которой Ольвия (что значит по-гречески «счастливая») и Нимфей как бы родное детище.

Вся история Ольвии, основанной в VI веке до н. э. греками из Милета и разрушенной в IV веке н. э. кочевниками, встает в Эрмитаже, с ее взлетами и падениями, в сложнейшем переплетении греческих и местных влияний и многими характерными чертами быта смешанного греко-скиф-

ского населения. И опять — расписные вазы и даже обломки мраморных статуй (подлинных греческих, а не римских копий), так как в обмен на зерно из Афин привозили туда и статуи для храмов.

Раскопки греческих городов в Северном Причерноморье чрезвычайно обогатили наши представления о классической культуре в одном из самых оригинальных ее разветвлений, связанном с историей нашей страны. После осмотра этой экспозиции я задал В. М. Скудновой в общем тот же вопрос, что и М. П. Грязнову перед памятниками Пазырыкских курганов: все ли уже раскопано, выяснено?

— Что вы! — ответила она в свою очередь. — И на наших внуков хватит...

В залах, где выставлена скульптура древнего Рима, отовсюду смотрят на вас властные, величавые, часто грубые, самоуверенные, порой сумрачные или устало рассеянные лики владык античного мира. Многие поразительно индивидуальны, так что сразу угадываешь характер. Почему так богато эрмитажное собрание римской портретной скульптуры? Я не могу отделаться от мысли, что русские вельможи XVIII века, заказывавшие Шубину свои мраморные изображения, собиравшие римские бюсты и любившие украшать ими свои покои и парки, видели во всех этих консулах и сенаторах какой-то вождельный образец: они ведь мечтали о «Третьем Риме»!

Я не хочу расстаться с Античным отделом, не остановившись еще на одном явлении: хорошо, что школьные кружки, работающие при Эрмитаже, так много внимания уделяют греческой скульптуре. Приятно смотреть на этих мальчиков и девочек в красных галстуках, старательно, с детским воодушевлением копирующих собранные здесь образцы древнего искусства. Люди, с детских лет воспитанные на чувстве прекрасного, с глазом, приученным к непосредственному, свежее идеалу красоты, способны проявить себя создателями и проводниками нового, по-новому воспринимающего жизнь, действительно современного искусства, наследующего великим эпохам прошлого.

* * *

От Античного отдела, то есть отдела древней западной культуры, естественнее всего перейти к наиболее значительному и про-

славленному Отделу истории западноевропейского искусства, картинная галерея которого считается одной из первых в мире.

Ядро этой знаменитой галереи составилось при Екатерине II, основательнице Эрмитажа, скупавшей за границей не только отдельные произведения, но и целые коллекции, как, например, прусского купца Гоцковского, австрийского дипломата графа Кобенцля, знаменитое парижское собрание Кроза, дрезденское собрание графа Брюля, часть собрания герцога Шуазеля, все знаменитое собрание английского премьер-министра лорда Уолполя, парижское собрание графа Бодуэна.

Это было очень просвещенное собирательство, осуществлявшееся в масштабах, долженствующих удивить Европу роскошью и мощью молодой империи. Такие люди, как французский философ Дидро, французский скульптор Фальконе, разносторонний публицист и друг энциклопедистов Гримм, образованнейший русский дипломат князь Д. А. Голицын, были в этом деле советниками и художественными агентами Екатерины.

Вкусы и возможности того времени определили характер всего эрмитажного собрания картин. Ранние итальянские и нидерландские мастера не были еще оценены, а наиболее выдающиеся произведения высокого Возрождения в большинстве уже находились в государственных собраниях других стран. Итальянское искусство барокко, голландская и фламандская живопись эпохи расцвета, французское искусство как «великого века», так и современное Екатерине оказались лучше всего представленными в коллекции русской императрицы и во дворцах ее вельмож, чьи приобретения за границей впоследствии также обогатили Эрмитаж.

При Александре I были приобретены крупнейшие собрания первой жены Наполеона, императрицы Жозефины, и амстердамского банкира Кузвельта. При Николае I в Эрмитаж влились собрания падчерицы Наполеона, бывшей голландской королевы Гортензии, польского князя Сапегы, замечательное собрание графа Д. П. Татищева (переданное по завещанию), знаменитое венецианское собрание Барбериги и частное собрание голландского короля (Впрочем, при Николае I, считавшем себя непогрешимым знатоком искусства, были проданы с аукциона некоторые первокласс-

ные картины эрмитажного собрания, которые он признал не заслуживающими того, чтобы фигурировать в его коллекции; Эрмитажу удалось вернуть часть из них в советское время.)

В последующие десятилетия покупались преимущественно отдельные произведения, но можно отметить еще покупку превосходного московского собрания князя С. Голицына. Последним крупным дореволюционным приобретением Эрмитажа была (кроме поступившего по завещанию собрания английских картин Хитрово) коллекция (более семисот картин, в том числе ста девяноста мастеров, до того не представленных в Эрмитаже) П. П. Семенова-Тян-Шанского. Этот прославленный русский географ был, кроме того, и знатоком живописи, горячо любившим Эрмитаж как русскую национальную гордость и проявившим эту любовь в просвещенном патриотическом собирательстве: в течение полувека он приобретал свои, в общем, скромные средства картины голландской и фламандской живописи, которые могли бы восполнить пробелы, имевшиеся в Эрмитаже, и затем продал Эрмитажу все свое собрание вдвое дешевле, чем ему предлагали за границей. Это следует особо подчеркнуть, так как при трех последних царях ассигнования Эрмитажу на приобретения были чрезвычайно скудными, и ряд замечательных русских частных собраний и отдельных картин, хранившихся в России, был продан в другие страны.

О росте Эрмитажа после Октябрьской революции можно судить по следующим цифрам: в 1917 году в нем насчитывалось шестьсот семьдесят три тысячи семьсот девятнадцать памятников, а к сорокалетию Октября — два миллиона триста шестьдесят тысяч двести девять (с тех пор это число еще возросло). При этом площадь Эрмитажа увеличилась почти в пять раз!

Как уже сказано, расширение Эрмитажа было достигнуто путем включения в него ряда музейных собраний и множества предметов из царских резиденций и частных коллекций. В том, что касается Западного отдела (удвоившего число своих экспонатов), крупнейшими поставщиками Эрмитажа явились императорские и великокняжеские дворцы, Кушелевская галерея Академии художеств (составившая ядро собрания живописи XIX века, до этого отсутствовавшей в Эрмитаже), музей Штиглица

и ряд национализированных частных собраний, из которых некоторые были самого высокого уровня, как-то: Строгановых, Юсуповых, Шуваловых и других; наконец, Московский музей нового западного искусства (то есть коллекции Щукина и Морозова, давшие Эрмитажу, быть может, лучшее в мире собрание французских импрессионистов). Все это беспримерное обогащение не только расширило Эрмитаж, но и позволило ему передать ряд первоклассных произведений Музею изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, а также пополнить собрания многих других музеев страны.

История русских художественных собраний после революции — славная для нашего народа. Революционные массы проявили и здесь высокую сознательность.

Я видел в 1918 году, как иностранцы и спекулянты всех мастей скупали в Петрограде за гроши художественные произведения, как многие представители бывших правящих классов, собираясь в эмиграцию, захватывали, что могли, из имевшихся у них художественных ценностей. Но этому было скоро положен конец декретом Совета Народных Комиссаров о регистрации, принятии на учет и сохранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений. Тут сыграли огромную роль личное вмешательство В. И. Ленина и исключительная забота, согретая пламенной любовью к искусству, А. В. Луначарского.

Приехавший в сентябре 1920 года в Петроград английский писатель Герберт Уэллс включил в свою знаменитую книгу «Россия во мгле» следующие знаменательные строки:

«Все, что признано произведением искусства, экспертная комиссия для большей сохранности отбирает и заносит в каталог. Дворец, в котором помещалось британское посольство, похож сейчас на битком набитую антикварную лавку на Бромптон Род. Мы обошли одну за другой все комнаты, загроможденные великолепной рухлядью, оставшейся от старой России. Там есть большие залы, заставленные скульптурой; в жизни я не видел столько беломраморных венер и сильфид в одном месте, даже в музее Неаполя. Картины всех жанров сложены штабелями, коридоры до самого потолка забиты инкрустированными шкафчиками. Одна комната заполнена ящиками со

старыми кружевами, в другой — горы роскошной мебели. Вся эта масса вещей проинвентаризована и внесена в каталог».

Так революционный народ спасал художественное достояние России. И в этом отношении под руководством опытных специалистов была проделана поистине грандиозная работа по сохранению, систематизации и распределению между музеями страны несметного количества художественных ценностей.

В вышедших в 1958 году роскошных зарубежных изданиях, посвященных картинной галерее Эрмитажа, г. Стерлинг, хранитель отдела живописи Лувра, и г. Базен, главный хранитель того же отдела, подчеркивают, что ни одна революция не отнеслась так бережно к художественному наследию прошлого, как наша. Оба эти автора — крупные искусствоведы и музейные работники, хорошо знакомые с нашими собраниями, — категорически заявляют, что убыль от продаж в начале первой пятилетки (когда для закупки жизненно необходимого промышленного оборудования наша страна рассталась с некоторыми художественными сокровищами) может считаться незначительной, особенно в сравнении с тем уроном, который понесла, например, Франция от вывоза за границу огромного собрания Орлеанов, распродажи мебели Версальского и других королевских дворцов при Первой республике, от продажи собрания короля Людовика-Филиппа при Второй республике или Англии от продажи Кромвелем всех художественных собраний Карла I.

Рядом со знаменитыми шедеврами старого фонда в Эрмитаже красуются многие поступившие после революции картины величайших художников, ценнейшие работы ранних итальянских мастеров (прежде почти не представленных), значительное количество голландских и фламандских картин и множество совершенно замечательных произведений французской школы, позволивших развернуть такую экспозицию французской живописи XVII—XVIII веков, которая уступает только Луврской.

В результате революции постоянный художественный фонд страны чрезвычайно увеличился. Растущее же богатство Советского государства обеспечивает дальнейшее обогащение этого фонда, который всем советским народом расценивается как

национальное достояние, национальная гордость. И все эти ценности открыты сейчас самым широким народным массам в соответствии с историческим постановлением VIII съезда партии в марте 1919 года о необходимости «открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключительном распоряжении эксплуататоров».

* * *

Огромную галерею Эрмитажа можно осмотреть по школам или по эпохам, а можно и «ходить от гения к гению», как говорил мне после целого дня, проведенного в Эрмитаже, знакомый художник.

Рембрандт, Рубенс и Ван-Дейк с исключительной полнотой представлены в Эрмитаже. У каждого из них большой парадный зал, как бы особый музей, дающий почти исчерпывающее представление о наивысших достижениях его искусства.

В качественном отношении эрмитажное собрание Рембрандта, вероятно, стоит на первом месте в мире. Искусство этого гения представлено шедеврами, отражающими весь его творческий путь. Здесь двадцать три картины, а кроме того, исключительное по полноте и подбору собрание офортов, завещанное в прошлом веке Эрмитажу известным коллекционером и историком искусства Д. Ровинским. При этом две картины, шедевры из шедевров, которыми Эрмитаж вправе так же гордиться, как Дрезденская галерея «Сикстинской Мадонной», а Лувр «Джокондой», подводят как бы итог достижениям Рембрандта: первая — в радостный полдень жизни, вторая — в старости, почти накануне смерти.

Рембрандт написал «Данаю», когда ему было тридцать лет и слава и любовь улыбались ему. Эта картина — гимн счастью, полновластно врывающемуся в золотые ослепительных лучей, которые озаряют все тело, всю душу молодой женщины, не очень красивой, но бесконечно пленительной в этот блаженный миг ожидания. Во всей мировой живописи нет, вероятно, более волнующего в своей сокровенной радости образа, более яркого воплощения счастья и аяущейся надежды на счастье.

«Возвращение блудного сына» — последнее великое и, быть может, величайшее

творение Рембрандта, венец всей его жизни, после счастья отмеченной обидами, враждебностью социальной среды, одиночеством, почти нищетой. И это творение дышит не злобой, а внутренним покоем, выражает не ожесточение, а любвеобильную силу, рожденную сознанием правоты.

Перед этой потрясающей картиной я был как-то свидетелем сцены, напомнившей мне уже виденное в Особой кладовой.

Экскурсовод давал объяснения группе посетителей. Среди них была пожилая женщина, по виду колхозница. Сначала она слушала с простодушным любопытством, очевидно очень заинтересованная волнующим сюжетом. Но экскурсовод хорошо, с чувством, объяснял смысл композиции, силу, с которой игра света выявляет величие жеста всепрощающего отца, склонившегося над своим блудным, но столько горя натерпевшимся сыном, указывал на стоптанную туфлю этого сына, на ступню его, которая одна уже под кистью Рембрандта выражает целую трагедию, на то, как выступают серо-желтые блики его рубища, на черты отца, одни из самых значительных, «вечных» во всем мировом искусстве. И вот у этой женщины что-то вдруг — видимо, очень глубоко — отозвалось в душе: я ясно увидел, как на глазах ее появились слезы. Слезы сочувствия изображенному горю и слезы радости, которую дает высокое искусство. Эта колхозница лучше понимала в это мгновение живопись Рембрандта, чем те самодовольные голландские бюргеры, которые отвернулись от него, потому что он не захотел их писать принаряженными и ликующими.

В Эрмитаже имеются и другие поразительные композиции Рембрандта. А писанные им портреты — чаще всего простых людей, пожилых, умудренных опытом и долгим раздумьем, как бы памятники целой жизни, — представляют в совокупности едва ли не самое замечательное в мире собрание его портретной живописи.

Мир Рубенса — это бурная радость бытия, в котором человек, возвышаясь своей царственной силой над природой, составляет с ней единое целое, так что почти одинаковая стихия владеет им и всем, что его окружает на земле. И мир этот воплощается в пышные и торжественные формы, иногда как будто бы грубые, но всегда исполненные покоряющей мощи: искусство

Фландрии, искусство барокко, доведенное титаном живописи до апофеоза.

Эрмитажное собрание произведений Рубенса (сорок две картины) также одно из самых значительных в мире как в количественном, так и в качественном отношении: в нем представлены лучшими образцами все периоды его творчества, все жанры — большие религиозные и мифологические композиции, декоративная живопись, пейзаж, портрет. Но не только в этом уникальность эрмитажного собрания. В нем имеются картины (принадлежащие к самым выдающимся в творчестве Рубенса), которые великий художник написал, не подчиняясь ничьему заказу и выполняя все сам от начала до конца, как, например: «Персей и Андромеда», где фламандская пышность смягчается исключительно благородной, размеренной композицией, «Вахх», дородность и плотолобие которого — самая гениальная, вероятно, гиперболо, рожденная рубеновской кистью, и «Подношение Церере», где эта кисть достигает небывалой виртуозности, создавая небольшой цветовой гаммой настроение удивительной праздничности. Эрмитажное собрание включает восемнадцать эскизов Рубенса (для картин и декоративных арок); в них его живописное мастерство проявилось с полной свободой: эскизы эти, часто более совершенные, чем сами картины, для которых они писались, в своей совокупности опять-таки гордость Эрмитажа. Только Мюнхенская пинакотекка еще богаче эскизами Рубенса, но наши разнообразнее, охватывают все периоды его творчества, и подлинных жемчужин среди них больше.

Одна из эрмитажных картин Рубенса занимает совершенно особое место в его огромном художественном наследстве: это погрудный портрет камеристки инфанты Изабеллы, правительницы Нидерландов. «Живописец королей и король живописцев», как его называли, отошел здесь от всякой помпезности, парадности: изобразил простую девушку так естественно и задушевно, что создал образ, исполненный неповторимого очарования. От этой картины, насыщенной теплом и светом, легкие воздушные краски которой опережают самые смелые искания конца XIX века, трудно оторваться, и сама девушка, на ней изображенная, становится нам близкой, навсегда памятной.

Я видел, как к этой картине несколько раз подходил совсем молодой моряк: он именно «не мог оторваться». Через некоторое время я снова зашел в зал Рубенса, и он там был снова и снова смотрел на портрет камеристки правительницы Нидерландов.

Я спросил его:

— Вам это очень нравится?

Он не нашел сразу, что ответить, очевидно, смущенный моим вопросом.

— У меня не хватает слов, чтобы объяснить, как это хорошо, — сказал он наконец.

Собрание картин Ван-Дейка (в Эрмитаже их двадцать шесть) тоже одно из самых богатых в мире и дает полное представление о всех периодах его художественного развития.

В перечень великих художников XVII века, представленных у нас во всем блеске, можно включить еще двух мастеров, тоже занимающих центральное место в искусстве своих народов. В Эрмитаже пятнадцать картин Пуссена, и некоторые из них считаются его шедеврами; тринадцать картин Мурильо составляют собрание, равного которому нет нигде вне Испании.

Рембрандт, Рубенс, Ван-Дейк, Пуссен и Мурильо! Первый — вершина всей голландской живописи, второй и третий — всей фламандской, четвертый — французской XVII века, пятый вместе с Веласкесом возглавляет испанскую школу. Кроме Лувра, нет в мире, пожалуй, музея, где бы они в совокупности были представлены так ярко и с такой полнотой, как в Эрмитаже¹.

* * *

Экспозиция Отдела истории западноевропейского искусства имеет комплексный характер. (Термин этот, вряд ли удачный в таком применении, уже вошел в музейный обиход.) Однако заведующая отделом К. Ф. Асаевич подчеркивала в беседе со мной, что принцип комплексности экспозиций должен соответствовать некой золотой середине. Это и осуществляется в Эрмитаже, как мне кажется, очень успешно.

Есть музеи, где изобразительное искусство выставлено отдельно от прикладного:

¹ В Москве эти великие мастера тоже достойно представлены: Рембрандт — шестью картинами, Рубенс — шестью, Ван-Дейк — тремя, Пуссен — шестью, Мурильо — четырьмя.

картины и скульптуры лишены в них подобного окружения, живут, так сказать, вне материальной культуры той эпохи, в которую были созданы. В других музеях преобладает стремление объединить изобразительное искусство с прикладным, чтобы лучше воссоздать общую «культурную атмосферу»; но тут получается другая крайность — «музей быта», в котором живопись и скульптура низведены до роли таких же элементов интерьера, как мебель, шпалеры или фарфор.

В Эрмитаже эти проблемы решаются следующим образом: экспозиции живописи и скульптуры включают и предметы прикладного искусства, однако в том количестве, которое необходимо, чтобы создать картинам и статуям соответствующее окружение. А параллельно разворачиваются экспозиции уже только картин и скульптур или только прикладного искусства. Такое решение стало возможным благодаря разнообразию и полноте эрмитажных собраний и обширности помещений, предоставленных в его распоряжение после революции.

Я побывал почти во всех крупнейших музеях Европы и должен сказать, что в Эрмитаже можно, пожалуй, лучше всего ощутить общий стиль каждой эпохи. При этом Эрмитаж стремится показать развитие культуры и искусства по странам, по национальным школам, а не только по эпохам (независимо от стран), как это сейчас принято в некоторых музеях Европы и Америки. Такой принцип позволяет выявлять и выделять индивидуальные особенности каждого мастера, историческое своеобразие различных национальных школ и, главное, художественные достижения не только «больших» народов, но и «малых»: так, в Эрмитаже составил особый раздел австрийской живописи, которая за границей часто включается в немецкую.

Заместитель директора Эрмитажа по научной части В. Ф. Левинсон-Лессинг — один из крупнейших советских историков искусств. Этот большой знаток западноевропейской живописи работает в Эрмитаже уже около сорока лет. Директору Эрмитажа М. И. Артамонову, В. Ф. Левинсону-Лессингу и научному секретарю М. Ф. Егдовиной я очень признателен за оказанное мне содействие при осмотре выставок и хранилищ музея.

Беседы с В. Ф. Левинсоном-Лессингом помогли мне разобраться в структуре Эрми-

тажа, его научной работе, в реорганизации музея после революции и его планах на будущее, равно как и в самых принципах новой музейной экспозиции, которая должна наглядно развертывать общую картину развития искусства, построенную на основе марксистского понимания исторического процесса.

Выпущенный в конце 1958 года под его редакцией двухтомный иллюстрированный каталог живописи Эрмитажа является первым таким изданием в советское время. Нужда в нем ощущалась давно, так как огромное число новых поступлений оставалось до сих пор не зафиксированным. Однако новый каталог — скорее справочное пособие. Это лишь первая ласточка. Искусствоведческая работа в музее (принявшая особенно интенсивный характер в последние годы, после решения неотложных задач организации хранения, инвентаризации и развертывания экспозиций) скоро должна увенчаться изданием подробных научных каталогов, посвященных живописи отдельных стран. Такие издания совершенно необходимы не только нашим искусствоведам, но и для подробного ознакомления иностранных специалистов с сокровищами картинной галереи Эрмитажа, которые славятся на весь мир, но до последнего времени сравнительно редко публиковались и описывались в зарубежных трудах о западноевропейской живописи.

* * *

Цари и вельможи собирали широко, но бессистемно. Огромное мировое значение Эрмитажной галереи западной живописи — не в полноте ее, а в богатстве отдельных «ансамблей» или, иногда, даже в отдельных произведениях, представляющих исключительную ценность.

Наше собрание итальянского искусства XIII—XV веков включает прекрасные образцы (из старого эрмитажного фонда) творчества таких мастеров, как Симоне Мартини, Беато Анджелико, Филиппино Липпи, Перуджино, Франча, Чима да Конельяно. После революции это собрание чрезвычайно обогатилось картинами из частных галерей (например, из известной коллекции Н. П. Лихачева), монастырей, а также других музеев, где они не были изучены и идентифицированы, и, наконец, через приобретения Государственной закупочной комиссии. Среди этих новых поступлений имеются такие

замечательные произведения, как «Мадонна с младенцем» Лоренцо ди Никколо Джерини, редчайшая двусторонняя икона Антонио да Фиренце, великолепнейшая «Мадонна с младенцем и ангелами» Арканджело ди Кола да Камерино, необыкновенно «уютное», прелестное «Видение блаженного Августина» Филиппо Липпи, «Благовещение» Филиппино Липпи, «Мадонна», приписываемая Бартоломео Виварини, «Мадонна со святыми» Альвизо Виварини, замечательный «Женский портрет» Лоренцо Коста, ценнейшие образцы пизанской иконописи XIII века.

В целом Эрмитаж все же отстает в этом разделе от музеев Италии и от таких, например, галерей, как лондонская, берлинская или парижская. Зато он вносит ценнейший вклад в изучение творчества двух знаменитых художников, с которых, в сущности, и начинается Высокое Возрождение, то есть кульминация того периода в развитии культуры, который Энгельс характеризует как «величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством».

Нельзя сказать, чтобы две жемчужины Эрмитажа, которые называются «Мадонна с цветком» (или «Мадонна Бенуа») и «Мадонна с младенцем» (или «Мадонна Литта») давали полное представление о Леонардо да Винчи — одном из величайших гениев всей истории человечества, который видел в живописи средство проникновения в тайну материи для полного ее раскрытия и преобразования. Но ведь кроме полуразрушенной фрески в Милане и знаменитых луврских картин, почти ничего не осталось от его творчества, вообще очень незначительного в количественном отношении. И, следовательно, Эрмитажу могут позавидовать все крупнейшие галереи мира, кроме парижской.

Интересна судьба «Мадонны с цветком». До самого конца XVII века она находилась в Италии, затем след ее теряется. В 1824 году коллекционер Сапожников приобрел в Астрахани у бродячего итальянского музыканта совершенно почерневшую и крайне записанную икону. Она попала затем в собрание архитектора Л. Бенуа. Э. К. Липгарт, заведовавший в начале нынешнего века Эрмитажной галереей, крупнейший искусствовед, которому многим обязан Эрмитаж, первый опознал в ней юношеское произведение Леонардо. (Уже несколько десятков лет авторство его никем не оспаривается.) По настоянию Липгарта «Мадонна с цвет-

ком» была куплена Эрмитажем за огромную по тому времени сумму в сто пятьдесят тысяч рублей¹.

Каждый раз перед этой картиной я испытываю чувство трепетного восхищения: все тут так просто, так ясно и в то же время бесконечно сложно, как сама природа, как жизнь. В поисках вещей законов бытия автор ее был первым художником, который научился творить в совершенной свободе, как бы утверждая мягкой гаммой света и тени слияние человека с природой и власть его над ней в потенциальном раскрепощении всех его возможностей, как у этой юной, шаловливой матери, почти ребенка, которая с полной принужденностью может встать, повернуть голову, куда хочет, радостно улыбнуться нам и снова отдать себя всю ласковой игре с сыном, таким крепким уже и властным...

Долголетние споры о «Мадонне Литта» в настоящее время как будто решены: большинство историков искусства признало картину произведением самого Леонардо. К этому ведет тщательный и сложный научный анализ. Но тот же вывод диктуется и непосредственным восприятием. Картина исполнена в манере Леонардо, все дышит настроениями и дерзаниями великого мастера, а кто, кроме него, мог бы создать такой прекрасный образ, такую изумительную композицию, разлить в ней столько поэзии и чуть ли не во всех деталях проявить бесподобное мастерство? Нет, никто из его учеников или последователей не достигал этого.

Правда, и им принадлежат некоторые замечательные произведения.

Печать гения Леонардо, его «сфумато», в котором как бы растворяется видимый мир, улыбку, одновременно мудрую, лукавую, насмешливую и манящую, которая одинаково играет на лицах его мадонн и итальянских дам, христианских святых и античных богов и чарующе разливается по всем его композициям, можно проследить в ряде картин его учеников и подражателей, составляющих в Эрмитаже очень ценное собрание круга Леонардо.

Современник Леонардо, который произвел в венецианской живописи такую же революцию, как сам Леонардо в живописи

Тосканы и Ломбардии, художник, чья жизнь нам почти не известна, получивший, по словам Вазари, свое прозвище Джорджоне (что значит «большой Джорджо») «за величие духа», представлен в Эрмитаже всего одной вполне достоверной картиной. Но опять-таки дело в том, что картин Джорджоне не больше десятка, а наша — совершенно замечательная и, по мнению Базена, является «ключевой» для понимания всего его творчества. Это уже упомянутая «Юдифь», одна из самых известных картин Эрмитажа¹.

Ясный гений Рафаэля, ярче всего выразивший в искусстве гуманистический идеал абсолютно гармоничного, во всем соразмерного и прекрасного человека, представлен в Эрмитаже лишь очаровательной юношеской картиной — знаменитой «Мадонной Конестабиле» — и «Мадонной с безбородым Иосифом». Но этот гений светится также в великолепной мраморной группе «Мальчик на дельфине», исполненной Лоренцо Лоренцетти по рисунку Рафаэля, в девяти фресках школы Рафаэля, в копии его лоджий, в шпалере, вытканной по его картону, и в замечательном «Портрете старика» (который прежде приписывался ему самому).

Титан Возрождения Микеланджело присутствует в Эрмитаже, и это тем знаменательнее, что вся живопись его и почти вся скульптура — в Италии, так что (за исключением рисунков) ни богатейшие музеи Германии, ни крупнейшие собрания Америки, ни знаменитые галереи Вены, Лондона и Мадрида не обладают его творениями. В эрмитажном «Скорчившемся мальчике», изваянном Микеланджело из бесформенной глыбы мрамора, казавшейся непригодной для обработки, тот же грандиозный пафос страданий, тот же пафос борьбы человека за раскрепощение, тот же глубокий трагизм и то же максимальное напряжение душевных и физических сил, что и в знаменитых луврских «Рабах»².

В Эрмитаже можно увидеть Рафаэло Боттичини и Гирландайо, которые работали в XVI веке, но по существу остались

¹ К Джорджоне близка другая прекрасная эрмитажная картина — «Мадонна с младенцем в пейзаже».

² По мнению некоторых исследователей, эрмитажная деревянная статуэтка «Скорчившийся мальчик» тоже является произведением самого Микеланджело.

¹ Все семьсот тридцать картин П. П. Семенова-Тянь-Шанского были тремя годами ранее приобретены за двести пятьдесят тысяч рублей.

кватрочентистами, подлинных выразителей Высокого Возрождения — Андреа дель Сарто и Фра Бартоломео, великого Корреджо и еще многих других живописцев этого золотого века искусства, равно как и современных им ваятелей.

Очень богато собрание венецианской живописи. Есть залы Эрмитажа, которые даже в туманные ленинградские дни озарены солнечным небом Венеции, его пламенной, словно вином напоенной синевой.

Великий Тициан, творец самой радостно-торжественной и, быть может, самой насыщенной, полноценной живописи, основа которой — цвет и которая сияет и переливается на его полотнах, как некая новая, человеку покорная стихия, представлен в Эрмитаже восемью своими оригинальными произведениями и двумя портретами его мастерской. Два эрмитажных Тициана известны всему свету: «Княгиня Магдалина» и «Святой Себастьян»; оба — хотя их и разделяет десятилетие — написаны на закате жизни, когда художник (гений которого не ослабел и в девяносто лет) достиг предельной власти над цветом, чтобы уже им одним строить композицию столь же безупречную и пластичную, как Рафаэлевские. Вглядитесь в эту бесподобную тициановскую «пластику цвета»: в ней основа живописных исканий Рембрандта и Рубенса, Веласкеса и Гойи, Ватто, барбизонцев и импрессионистов, нашего Серова.

Щемящее горе тициановской «Магдалины» как бы утопает в красоте живописи, и потому эта картина так привлекает посетителей Эрмитажа: мне говорили экскурсоводы, что, вместе с «Блудным сыном» Рембрандта, она больше всего трогает сердца¹.

Вся венецианская живопись XVI века хорошо собрана в Эрмитаже: здесь и певец венецианского великоления гениальный Веронезе — его большие и малые композиции, в том числе один из его шедевров — «Оплакивание Христа»; и «венецианский Микеланджело» великий Тинторетто, представленный монументальной картиной; и «венецианский Рафаэль» Себастьяно дель Пиомбо (три из лучших его творений). Есть здесь также Лотто, Боргоне, Морони, семья Бассано, Манчини, брешлианец Моретто, Скиавона, царственно

¹ Из всех известных вариантов этой картины эрмитажная считается лучшей.

роскошная, насыщенная утренней свежестью огромная картина которого с сюжетом, заимствованным из овидиевых «Метаморфоз», справедливо считается замечательным образцом венецианской пейзажной живописи. А один из залов Эрмитажа весь украшен рельефами венецианского скульптора Антонио Ломбардо из дворца феррарского герцога, античные мотивы которых ярко воссоздают атмосферу культа земной красоты и жизнеутверждающей силы, которым озарено все искусство итальянского Возрождения.

В итальянских залах Эрмитажа множество мелкой пластики и предметов прикладного искусства: ткани, расписные сундуки, эмали, венецианское стекло, медали (среди них шедевры Антонио Пизано). Но особенно замечателен большой зал, витрины которого переливаются яркими желто-коричневыми тонами с синевой, — это одно из богатейших в мире собраний итальянской майолики, в котором имеются работы славнейших мастеров из всех центров ее производства.

Эрмитажный «ансамбль» итальянского сеицентио, то есть XVII века, — один из самых замечательных в мире.

Во времена Екатерины болонцы и близкие к ним художники были в моде, и их, в общем, холодная, академическая, угрождавшая церкви и аристократии, а сейчас мало кого радующая живопись собрана у нас очень полно. Тут все итальянские «академики» и другие мастера этого периода: Каррачи, Гвидо Рени, Доменикино, Альбани, Дольчи, Маратти и более темпераментные, менее застывшие Гверчино и Лука Джордано. Особенность эрмитажного собрания состоит в том, что эти мастера представлены в нем едва ли не самыми удачными своими работами, следовательно, с выгодной стороны, так что творчество их поражает, во всяком случае, своей виртуозностью.

Не менее богато показано в Эрмитаже и другое направление, породившее несколько подлинных живописцев и утвердившее в истории мирового искусства славу сеицентио. Прежде всего Караваджо, титан реализма, первый художник, заявивший, что идеал живописи — это красота действительности. Влияние Караваджо на все дальнейшее развитие живописи было, как извест-

но, громадным. Эта могучая живительная струя, питающаяся идеей, рождаемой новыми народными движениями, в конце концов одолела художников, которые в погоне за официальным признанием губили свой дар в иссушающем эпигонстве. В «Девушке с лютней» — прекрасном раннем произведении Караваджо — сразу же поражает конкретность, так сказать «осозанность», изображенного; вместе с яркими контрастами света и тени, придающими композиции еще большую экспрессивность, это и явилось его новым словом в искусстве.

Эрмитажу принадлежат пять картин другого неукротимого бунтаря против засилия «академиков», Сальватора Розы, в том числе один из его шедевров — «Портрет бандита». Но особенно богат наш музей той прекрасной живописью сеиченто, которая развила венецианскую традицию цвета как основу картины. великолепно представлены Строщи, Фефти (такими шедеврами, как «Исцеление Товита» и «Портрет актера»), Креспи («Автопортрет», «Смерть Иосифа») и замечательные послереволюционные поступления: «Прачка» и «Женщина, ищущая блох»), Маньяско, работавший на грани XVII и XVIII веков, который продолжил ту же традицию, внося в свойственную ему стихию темно-серых тонов с бурными переливами какое-то очень своеобразное, тревожное настроение (в старом Эрмитаже не было его картин).

Столь же блестящ и эрмитажный «ансамбль» итальянского XVIII века — того века, когда уже только Венеция достойно несла знамя великого итальянского искусства. Гениальный Тьеполо, разукрасивший столько дворцов и соборов, последний выразитель сияющего адриатического великолепия, представлен восхитительной небольшой картиной и шестью грандиозными композициями (все шесть поступили после революции); Гварди, певец венецианской улицы, в картинах которого движется, живет собственной жизнью самая крохотная фигурка, — двумя чудесными видами его родного города и большим пейзажем; другой видописец Венеции, Антонио Канале, — тремя отличными картинами (лишь одна фигурировала в старом Эрмитаже).

* * *

Эрмитаж вправе гордиться своим собранием испанской живописи. Эта живопись, долго не признававшаяся севернее Пире-

неев, раскрывается во всей своей славе только у себя на родине. Вне же Испании наше собрание — одно из самых богатых, а быть может, и богатейшее.

Простота, выразительность, реализм, глубокая внутренняя серьезность и страстность, порой доходящая до экзальтации, определяют содержание испанской живописи, в которой религиозный фанатизм, разжигаемый инквизицией, отражен параллельно со здоровым, чисто народным мироощущением какого-нибудь Санчо Пансо.

Эта живопись настолько своеобразна, что, попадая после Италии в два зала, где выставлены испанцы, сразу чувствуешь себя совершенно в иной стихии, а чисто испанская гамма оливок, черных или глубоких синих тонов (в которых строго-торжественно играет порой золото или серебро) властно притягивает глаз, заставляя на время забыть обо всем виденном прежде.

Испанский XVI век у нас количественно не богат. Две скорбные «Мадонны» Моралеса, капитальная картина знаменитого Эль-Греко «Апостолы Петр и Павел», в которой столь характерные для него экзальтированная напряженность, удлиненность фигур, извилистость контуров, шемшащая экспрессивность и широкая, великолепная, от Тициана идущая живопись. И еще несколько менее значительных картин.

В широко собранном XVII веке отметим четырех главнейших мастеров.

Репин писал, что «Рибера и Мурильо вие музея Прадо лучше всего узнать в Эрмитаже». И не подлежит сомнению, что эрмитажное собрание испанской живописи оказало большое влияние на развитие русского реалистического искусства XIX века: на самого Репина, на Крамского и Сурикова. Рибера — это продолжение Караваджо, но продолжение более страстное, одухотворенное. Из тьмы черного фона выступают под снопами света человеческие тела, написанные с таким вдохновением, что художник и впрямь предстает перед нами как соперник природы. В лучшей эрмитажной картине Рибера (их всего у нас пять) фигура лежащего без чувств святого Себастьяна зачаровывает зрителя своей красотой. И какой драматизм, какая страсть!

В Эрмитаже одно из самых выдающихся произведений Сурбарана — «Святой Лаврентий». Это монументальнейший образ, исполненный простодушной и пламенной

веры, а все видение мира в картине крепкое, конкретное, от земли идущее.

О Веласкесе, достигшем невиданных дотоле вершин в создании и подчинении себе живописной стихии, Эрмитаж дает лишь отрывочное представление. В испанском зале есть ранний «Завтрак», в котором, однако, уже выявлены и апофеоз реализма и вся сущность той «вещественности», которую более двух веков спустя Сезанн провозгласил идеалом изобразительного искусства, придав ей самодовлеющее значение; живописное мастерство Веласкеса столь всеобъемлюще, что у него учились и русские реалисты XIX века, и Сезанн, и, пожалуй, больше всего французские импрессионисты. Поясной «Портрет графа Оливареса» — могущественный и великолепный, как все портреты Веласкеса, — это уже вполне зрелое произведение мастера. Есть в Эрмитаже и несколько картин его школы.

Мурильо пользовался некогда самой громкой славой, затем его разлюбили и обвинили в «слащавости». Но в наши дни он снова признан одним из замечательнейших живописцев всех школ и времен. Эрмитажное собрание его картин, в котором есть такие великие творения живописи, как «Отдых на пути в Египет», «Благословенные Иакова Исааком» или «Мальчик с собакой», подтверждает правильность этой оценки.

Кано, Рибальта, Переда, Пуга (интереснейшая его картина «Точильщик»), Кольяпес тоже представлены в Эрмитаже. Но нет в нем Гойи, великого испанского живописца более поздней поры, и это, конечно, большой пробел¹.

* * *

Эрмитажное собрание французского искусства поистине грандиозно. Это прекраснейший памятник во славу французской культуры и одновременно наглядное свидетельство того исключительного места, которое она занимала в культурной жизни самой России.

Полнее, чем где бы то ни было вне Франции, экспозиция раскрывает перед нами дух французского искусства, творческую силу французского народа. Это относится в

¹ Галереи московская и киевская в этом отношении счастливей Эрмитажа: в каждой по одному Гойе.

первую очередь к XVII и XVIII векам. Две параллельные анфилады залов Зимнего дворца: первая, посвященная живописи и скульптуре, а вторая — прикладному искусству, — один из самых замечательных и прославленных художественных ансамблей Эрмитажа. От шедевров живописи и скульптуры здесь переходишь к изумительному собранию мебели, шпалер, фарфора, фаянса, бронзы, часов, вееров, табакерок, миниатюр — всего, что изощренная культура Франции создавала в то время, вызывая восхищение и подражание во всей Европе. Это в подавляющем большинстве императорские заказы или приобретения русского двора и русских вельмож. В самой Франции множество сокровищ прикладного искусства погибло во время революции, и потому приезжающие к нам французские искусствоведы не скрывают своего изумления перед таким изобилием: «Боже, как богат Эрмитаж!» И в самом деле, в Эрмитаже имеются раритеты, которых нет даже во Франции.

Искусство Франции изучается у нас во всей своей полноте. Вся эволюция стилей, все их нюансы прослеживаются в поразительном внутреннем единстве всех видов искусства.

Французский раздел XV—XVIII веков колоссально разросся в советское время благодаря поступлениям из царских дворцов и из частных собраний, порой основанных еще в позапрошлом столетии. Именно с экспозиций французского искусства и началось расширение музея за счет Зимнего дворца. Громадная, предпринятая при Советской власти перестройка эрмитажных экспозиций шла в течение ряда лет, и особенно значительные успехи в этом отношении были достигнуты в тридцатых — сороковых годах (первая перевеска картин была произведена в 1924—1926 годах под руководством недавно скончавшегося в Париже А. Н. Бенуа, заведовавшего тогда картинной галереей).

О послереволюционном обогащении этого раздела можно судить по следующим данным. Из сотен выставленных сейчас картин почти половина поступила после революции. В старом Эрмитаже совершенно не было замечательной французской живописи XV века — сейчас о ней можно судить по нескольким прекрасным образцам. Живопись XVI века пополнилась превосходным портретом Корнеля де Лиона. Интереснейшее

реалистическое течение первой половины XVII века обогатилось у нас произведениями Матье Ленена, Ж. Даре, Монталье (единственная обнаруженная до сих пор его достоверная картина). Но, кроме того, собрание XVII века пополнилось произведениями Пуссена (четыре картины), Клода Лоррена, двумя первоклассными портретами Фошье, портретами Миньяра (возможно, лучшими во всем его творчестве), Жувене (тоже шедевр). В собрание XVIII века поступили произведения великого Ватто (три картины, в том числе знаменитая «Капризница»), Шардена, Фрагонара, Ланкре, Буше, Ш. А. Куапеля, Натюара, Ванлоо, Натье, Токке, Верне, Греза, Гюбера Робера (последнего — пятьдесят картин, составляющих вместе с четырьмя из старого фонда, вероятно, богатейшее в мире собрание его работ). Только для XVII и XVIII веков я насчитал в каталоге сорок восемь французских живописцев, которые не были представлены в Эрмитаже до революции.

История французской живописи не отмечена такими головокружительными дерзаниями, как творчество Микеланджело или Тициана, Рубенса или Рембрандта. Но между тем как другие знаменитые европейские школы развивались лишь в течение какого-то определенного времени, после которого мельчали, выдыхались и утрачивали свое мировое значение, Франция начиная с XV века непрерывно рождала первоклассную живопись. Причем во всей этой живописи легко проследить некую общую художественную линию, отражающую эстетическую культуру народа: это, во-первых, органическое ощущение возможностей, которые таит в себе живописная стихия, — отсюда неувядающее чувство цвета, рисунка, композиции; во-вторых, тоже неизменное чувство изящного, чувство меры и внутреннего равновесия и сдержанная, но очень глубокая и волнующая поэзия. Конечно, все это относится к лучшему, что создало французское искусство, и как раз это лучшее блестяще собрано в Эрмитаже.

Какое мягкое, обволакивающее поэтическое настроение и какой добротный «крестьянский» реализм в «Семействе молочницы» главного из Лененов! Какая величественность, какая эпическая размеренность и какая чудесная живопись в таких мировых шедеврах, как «Пейзаж с Полифемом»,

«Снятие с креста», «Танкред и Эрминия» Пуссена, да и во всем его творчестве, которое от начала до конца так богато представлено в Эрмитаже! Знаменитая серия Клода Лоррена — «Утро», «Полдень», «Вечер», «Ночь», как и все его одиннадцать картин в Эрмитаже, где с ним можно познакомиться лучше, чем в Лувре, — опять-таки дышит самой высокой поэзией, героической, но одновременно сладостной и умиротворяющей. Ватто (в Эрмитаже семь абсолютно достоверных его картин и несколько ему приписываемых) создает полные содержания образы, отмеченные печалью и смехом, нежной иронией и очаровательной грацией, и в то же время его картины (как, например, «Затруднительное предложение» или «Военный роздых») — чудеснейшие «куски живописи». И той же живописной струей, еще конкретнее запечатлевающей все, что окружает человека, проникнут переход от аристократического века к буржуазному в картинах изумительного колориста Шардена, в его «Натюрморте» или таких сценах, изображающих простых людей третьего сословия, как «Прачка», «Молитва перед обедом», которые тоже бесподобные «куски живописи».

Кроме поразительного реалиста XVII века Жоржа Латура — художника, «открытого» в последнее время (до того о нем почти ничего не знали и картины его приписывались различным мастерам), да другого Латура, знаменитого пастелиста XVIII века, вся французская живопись этих двух столетий показана в Эрмитаже.

Тут и академические композиции Лебрена и Миньяра, замечательные работы реалиста Валантена, Лесюерра и Бурдона, Ларжильера и С. Вуе, некоторые из лучших пасторалей Патера и Кийара, прекрасное по подбору собрание Буше, нежные натюрморты Удри, такие знаменитые картины, как «Поцелуй украдкой» Фрагонара. «Танцовщица Камарго» Ланкре или «Портрет мальчика с книгой» Перроно, и даже слащавый Грез представлен подлинно очаровательными творениями, как, например, «Девочка с куклой» или «Головка девушки в чепце». Наконец, русские портреты Натье и Токке, воскрешающие наш XVIII век, и вереница архитектурных пейзажей бесподобного певца античных руин и римских вилл Гюбера Робера, которыми тоже, вероятно, в мечтах о величии,

равном древнему Риму, так любили украшать свои дворцы екатерининские вельможи...

Целый зал Пуссена, целый зал Лоррена, а всего двадцать четыре зала, наполненные сокровищами французской живописи, скульптуры (среди которой такой шедевр, как «Вольтер» Гудона, прекрасные работы Фальконе и многих других) и бесчисленными памятниками французского прикладного искусства XV—XVIII веков!

Да, действительно сказочное богатство.

* * *

В Эрмитаже нет братьев Ван-Эйк, нет и Мемлинга. Но Рогир ван дер Вейден (своей великолепной картиной «Евангелист Лука, рисующий Мадонну») и так называемый Мастер Флемальского алтаря (двумя небольшими композициями) достойно представляют начальный этап той великой живописи, которая родилась в XV веке в Нидерландах, быстро достигла невиданного расцвета и с тех пор наравне с живописью Италии давала в течение почти трех столетий непрезойденные образцы живописного воплощения видимого мира.

Эта живопись Севера, не питавшаяся, в отличие от живописи латинских стран, традициями античного мира, тоже освободилась в ту пору от застывших канонов средневековья и решительно вступила на путь реализма. Сложный процесс ее развития в следующее, XVI столетие (когда выработывался синтез всецело самобытного мироощущения и нахлынувших итальянских влияний) может быть прослежен в Эрмитаже полнее. У нас есть прекрасные картины, как, например, «Мария в славе» Яна Провоста или монументальное «Исцеление Иерихонского слепого» Луки Лейденского — произведение выдающееся, при этом исключительно ценное, так как картины этого крупного мастера очень большая редкость. О гении Питера Брейгеля-старшего, прозванного «мужицким» (исчерпывающее полно собранного только в Вене), можно судить по первоклассной картине «Ярмарка» (поступившей перед самой Отечественной войной через Государственную закупочную комиссию), очень для него характерной, хотя, возможно, являющейся копией с неизвестного оригинала, исполненной его сыном, тоже выдающимся живописцем.

Но все это не идет ни в какое сравнение с тем блеском, с каким показан в Эрмитаже фламандский и голландский XVII век.

Рубенс (об эрмитажных шедеврах которого — подлинном апофеозе фламандской живописи — я уже говорил) и Ван-Дейк (его «Семейный портрет», «Портрет Н. Рокоса», «Портрет врача Махаркейзюса», «Портрет банкира Ябаха», «Автопортрет», «Мадонна с куропатками», «Портрет Томаса Уортона», «Портрет графа Денби» и еще другие наши картины как фламандского, самого полнокровного периода, так и английского, более утонченного, аристократического, принадлежат к лучшему в его творчестве) — оба эти мастера находятся здесь в достойном окружении всех своих прославленных современников. Фламандские залы Эрмитажа дают полное представление о пафосе, широчайшем диапазоне, яркой красочности этого пышного и щедрого, как сама земля, искусства.

Иорданс буквально сияет в Эрмитаже своей сказочной крепостью, прямо-таки лоснящимся здоровьем: из восьми его наших картин по меньшей мере три — шедевры («Бобовый король», «Семейный портрет», «Автопортрет в кругу семьи»). Вот она вся — тучная, самодовольная, предающаяся радостному чревоугодию бюргерская Фландрия!

Броувер, острый, темпераментный живописец кабацкой богемы и крестьянских драк, о котором можно спорить только, гений он или «почти гений», представлен тремя картинами, из которых одна («Флейтист») — подлинная вершина его живописного мастерства.

Тридцать шесть картин Тенирса-младшего дают прекрасное понятие об этом исключительно плодовитом мастере, быть может несколько легковесном и слишком расточительном виртуозе, авторе бесчисленных «деревенских празднеств», у которого все же каждая деталь — превосходная живопись.

Прекрасно показан и его тесть, Ян Брейгель, тонкий и изощренный художник, прозванный «бархатным».

Особенно следует отметить один зал этого раздела, оставляющий неизгладимое впечатление. Вся стена его занята двумя рядами больших картин, совокупность которых создает поразительный ансамбль, исполненный самого подлинного пафоса. А между тем сюжеты этих картин вовсе не

«высокого стиля». Верхний ряд — звериные сцены де Воса: «Взбесившаяся лошадь», «Дерущиеся собаки», «Охота на медведя»... Какой размах в композиции и какая декоративность! Нижний — знаменитые «Лавки» Снейдерса: рыбная, дичи, фруктовая, снова рыбная и т. д. Какой могучий торжественный гимн плодам земли, какая широкая палитра и какая монументальность!

Эрмитаж развернул грандиозную панораму декоративно-монументальной живописи Фландрии XVII века, основное содержание которой — шедрость и буйная сила природы. Гений Рубенса встает и здесь: все эти живописцы были его друзьями, сотрудниками. Перед их панорамой зверей и мертвой природы так же захватывает дух, как перед самой замечательной соборной или дворцовой росписью

Голландская живопись по существу, пожалуй, еще более реалистична, чем фламандская. Обретя независимость, отвергнув католицизм, развиваясь вполне самообытно и достигнув поразительного экономического подъема, Голландия стала первокласной морской державой, соперницей Англии, сильным, богатым бюргерским государством, доступным прогрессу и проникновению демократических идей; по слову Маркса, она являлась «образцовой капиталистической страной XVII столетия». Впоследствии реакция снова восторжествовала, но одно время голландский бюргер был действительно выразителем передового начала в экономическом и культурном развитии тогдашней Европы. И этому бюргеру, довольному собой, своими успехами и своим благосостоянием, очень полюбился тот конкретный мир, в котором он вырос и нашел удовлетворение всем своим потребностям. Голландская реалистическая живопись родилась от желания запечатлеть этот мир во всех его подробностях, воспеть в красках его многообразия — без всяких прикрас, так как в них не было необходимости, — пользуясь навыками, выработанными очень глубокой, двухвековой живописной культурой.

Эта живопись, пожалуй, собрана в Эрмитаже даже богаче, чем французская. Почти все голландские мастера фигурируют у нас, причем о каждом мы можем судить по его самым характерным, самым замечательным достижениям. Лишь один пробел: отсутствует дивный художник Вермеер Дельфтский. Но, за этим исключением, нет как будто ни одной галереи

(даже в самой Голландии), где голландская живопись была бы так широко и ярко представлена во всех ее течениях, нюансах, при этом такими шедеврами, как в нашем Эрмитаже. Ее реализм прельщал русских художников и русских собирателей. Один из наших самых замечательнейших живописцев — Федотов — проводил целые дни в голландских залах Эрмитажа, а замечательный коллекционер Семенов выскивал, как мы уже знаем, по всей Европе голландские картины, чтобы, елико возможно, заполнить все имевшиеся пробелы в уже колоссальном старом эрмитажном собрании. Наконец, после революции множество голландских картин хлынуло в Эрмитаж из собраний других знатоков.

О голландском собрании, пожалуй, труднее всего писать в кратком очерке, так как следовало бы коснуться всей голландской живописи, раз так богат ею наш знаменитый музей.

Сначала вернусь к Рембрандту. Я отметил, что его «Даная» и «Возвращение блудного сына» принадлежат к самым значительным произведениям живописи всех школ и эпох. Но и другие наши картины (как то: «Флора», «Снятие с креста», «Жертвоприношение Авраама», «Портрет Б. Доомер», «Давид и Ионафан», «Святое семейство», «Портрет старика в красном», «Портрет старика еврея», «Давид и Урия», «Портрет И. Деккера») достойны почти такого же восхищения. Искусство Рембрандта — увенчание всей голландской живописи, но одновременно и нечто превосходящее всю ее по своей значимости: в его искусстве можно распознать черты чуть ли не каждого из талантливейших голландских живописцев, но в их творчестве не найти ни путей, ни троп к достигнутому Рембрандтом вершинам.

Другой гений, Франс Гальс, менее «исключительный», чем Рембрандт (не знавший его взлетов и глубин), но властью над чисто живописной стихией предвосхитивший самого Веласкеса, ярко раскрывается в двух великолепных эрмитажных портретах, исполненных великим художником на склоне лет.

Период становления голландской живописи, многими нитями связанной с Караваджо, иллюстрирован (в значительной степени благодаря послереволюционным поступлениям) первоклассными работами учителя Рембрандга — Ластмана, Тербрюг-

гена, Бабиюрена, Гонтгорста и прочих, а о портретистах самых состоятельных кругов буржуазии — крупнейших мастерах Бартоломеусе ван дер Гельсе и Темпеле — можно судить в Эрмитаже лучше, чем в каком-либо другом музее.

Но это еще не наиболее типичная голландская живопись, не то новое, что она дала искусству; самые доподлиннее ее представители, иногда называемые «малыми голландцами», — художники, которые, избрав себе каждый, в общем, довольно узкую специальность, сумели в картинах небольшого формата (предназначавшихся для относительно скромных бюргерских, а то и фермерских жилищ) извлечь из нее максимальный живописный эффект. Их отличительная черта — непосредственность восприятия, сочетающаяся с зорким глазом, умением облюбовать какой-то «кусочек действительности» и цепко выхватить его, чтобы претворить в чудесный «кусочек живописи».

Такими, например, художниками были, я бы сказал, «светские бытовики», запечатлевшие сцены уютно-изысканной бюргерской жизни, бесхитростные по сюжету, но переданные с беспредельной любовью к тонким сочетаниям тонов бархата и парчи, игре света, подчеркивающей выразительность лиц, с поразительной наблюдательностью и прямо-таки волшебной иллюзорностью. Прославленные шедевры этого искусства (перед которыми, как я часто наблюдал в Эрмитаже, проводят целые часы некоторые любители живописи) — «Бокал лимонада» и «Получение письма» Терборха, «Хозяйка и служанка» Питера де Гюоха, «Больная и врач» и «Завтрак» Метсю, «Утро молодой дамы» Франца ван Мириса. Стен (один из самых одаренных жанристов во всей истории живописи) остро запечатлевает сцены часто самые обыденные, иногда забавные, разыгрывающиеся в «злых местах», и, поражая то блеском своего юмора, то иронией, то смелостью композиции и всегда блеском палитры, создает такие замечательные образцы станковой живописи, как наши «Гуляки», «Игра в триктрак», «Больная и врач». Адриан ван Остаде — крупнейший «бытовик», но не «светский», а «крестьянский» — с неизъяснимым очарованием и острым живописным темпераментом передает простой, грубоватый быт тружеников полей, как бы сросшихся с почвой, которую они возделывают (в Эрмита-

же двадцать четыре его картины, в их числе первоклассные). Другие замечательные живописцы, чье творчество знаменует первый расцвет «чистого пейзажа», — Гойен, поэт песчаных дюн и однообразных голландских равнин (двенадцать картин); тончайший колорист Соломон ван Рейсдаля, умеющий пронизать игрой света все ту же «будничную» природу страны (две первоклассные картины): Арт ван дер Нер, поэт лунных ночей над реками и каналами Голландии с темными мельницами, как бы наполняющими все полотно ровным шумом своих огромных крыльев. Какая нежная, подлинно сыновья любовь к родной природе, к родной стране и какая задушевная и глубоко трогательная поэзия в этой чисто реалистической живописи! Но это еще не весь голландский пейзаж. Работавший несколько позднее А. Кейп заливал родные пастбища солнечным светом, еще больше выделяющим желтый тон тучных коров, возвышающихся, как торжественные монументы, в его композициях. Поттер, изумительный анималист, представлен у нас самой знаменитой своей картиной «Ферма»¹ (а всего пятью произведениями); блестяще показаны А. ван дер Вельде и Изаак ван Остаде, картины которого большая редкость (у нас их пять), Яков Рейсдаля, чье творчество — увенчание всей голландской пейзажной живописи XVII века, так как поэзия и непосредственное восприятие сочетаются у него с высоким пафосом, величественной композицией. Эрмитаж дает о нем исчерпывающее понятие десятью чудесными картинами, среди которых мировой шедевр — «Болото». Мы найдем здесь и едва ли не лучшее творческое талантливейшего Эвердингена «Устье Шельбы» (а всего семь его картин), лишь один, но совершенно замечательный пейзаж «Лес» ученика Рейсдаля, знаменитого Гоббеми. Живописец кавалькад, больше всего любивший и умевший писать лошадей, баснословно плодовитый Воуверман проявляет свое уже чуть манерное дарование в тридцати пяти картинах нашего музея. Мы можем любоваться в Эрмитаже творчеством многих других мастеров, давших, каждый в своей области, ценнейшие памятники изобразительного искусства. Тут

¹ Эта картина была заказана Поттеру принцессой-меченаткой, которая, однако, возвратила ее художнику, возмущившись тривиальной подробностью, простодушно включенной им в композицию.

и художники моря, воспевавшие не только бурную стихию, но и ее покорителей: стройные силуэты судов под голландским флагом, вереницы мачт и вздувшиеся паруса; и мастера так называемого «архитектурного пейзажа», живописцы чистеньких, чуть вычурных, но всегда уютных голландских городских ансамблей; и мастера натюрморта, создатели бесчисленных «завтраков» с сочными розовыми окошками, золотистыми лимонами, морем пропитанными устрицами, не монументально торжественных, как фламандские, но, пожалуй, еще более живописных, дразнящих глаз, обоняние и вкус.

В зале, где собраны лучшие из этих картин, я наблюдал группу школьников старших возрастов. Магия живописи покоряла их. С каким оживлением, с каким блеском в глазах рассматривали они эти «кусочки жизни», схваченные и запечатленные мастерами далекой страны и давних времен! Эти мастера передали нам некое общечеловеческое видение мира через свое, национальное: перед их картинами советские школьники учились ясному, непосредственному восприятию натуры во всем бесконечном разнообразии ее красочных сочетаний и форм. Возможно, некоторых ребят привлекала главным образом «забавность» сюжетов; но думаю все же, что, может быть, именно «малым голландцам» они, покидая Эрмитаж, были более всего обязаны пробуждением в них живого интереса к искусству.

Как я уже указывал, за исключением одного крупнейшего мастера, всю голландскую живопись XVII века можно изучить в Эрмитаже. Но этого мало: думается, что эту живопись вообще нельзя познать полностью без Эрмитажа.

И еще отметим следующее. Русское собирательство создало в Эрмитаже самый полный и по качеству самый замечательный в мире ансамбль произведений западной живописи XVII столетия, то есть периода, очень важного в развитии живописи Италии и Франции и знаменующего высший расцвет таких великих школ, как испанская, фламандская и голландская, а в целом — новой эпохи исторического развития реализма в изобразительном искусстве.

Русское собирательство не проявило должного интереса к немецкой живописи, и потому даже национализация частных

собраний не могла пополнить по-настоящему этот пробел Эрмитажа: из крупных мастеров XVI века хорошо представлены только Крахы. Все же картины некоторых менее значительных, но тоже интересных мастеров, как и собрание деревянной скульптуры, витражей и серебра, дают нам общее понятие о духе великого немецкого искусства времен поздней готики и Возрождения. Немецкая живопись XVII и XVIII веков собрана лучше. Из шведской живописи XVIII века отметим замечательные русские портреты Рослина.

Английская школа, расцветшая в позапрошлом столетии и тогда же давшая миру новое, самобытное и замечательное искусство, отражена в Эрмитаже собранием хоть и небольшим, но совершенно исключительным по подбору; вне Англии оно, несомненно, занимает одно из первых мест.

Интереснейшие в историческом отношении портреты XVII века свидетельствуют об огромном влиянии Ван-Дейка на зарождение английской живописи. Но это лишь предвестие расцвета. У нас есть несколько шедевров, принадлежащих к лучшей породе этой самой юной из больших западноевропейских школ. Это Гейнсборо — «Портрет герцогини де Бофор» (один из прекраснейших женских портретов Эрмитажа); Рейнольдс — «Геракл, удушающий змея» (огромная композиция, написанная по заказу Екатерины II, пожелавшей иметь такое аллегорическое изображение мощи юной России), «Воздержанность Сципиона Африканского» (потемкинский заказ), его же очаровательная «Девушка у окна» и исполненная самой сладостной неги «Венера», для которой будто бы позировала знаменитая леди Гамильтон; Рейберн — «Портрет миссис Бетюн»; Ромней — изумительный «Портрет миссис Грир», которого одного было бы достаточно, чтобы выявить перед нами самобытную струю, внесенную английской живописью; Лоуренс, окончивший свою жизнь уже в XIX веке, — «Портрет леди Раглан», «Портрет Меттерниха», «Портрет князя М. С. Воронцова».

Шесть пейзажей Морланда, особенно «Приближение грозы», показывают, каким новым вкладом в искусство явилось английское здоровое и в то же время глубоко эмоциональное романтическое восприятие родной природы. Исполненный Веджвудом по заказу Екатерины II знаменитый «Сервис с лягушкой», все девяносто

пятьдесят два предмета которого украшены видами Англии, прекрасно дополняет общую картину развития английского пейзажа в XVIII веке.

* * *

Эрмитажное собрание западноевропейского прикладного искусства от раннего средневековья до начала XIX века, вероятно, не имеет равного в мире. Дать сколько-нибудь полную картину этого собрания нет возможности. Фонды Эрмитажа позволяют устраивать выставки самого разнообразного характера (как, например, довоенная, посвященная шахматам, с участием отделов Запада и Востока, на которой были показаны шахматные фигуры всех времен и народов). В дополнение к уже отмеченному ограничусь поэтому отрывочными данными.

Знаменитая ваза Фортуны (названная по имени испанского художника, который обнаружил ее близ Гренады) считается самой замечательной из дошедших до нас так называемых альгамбрских ваз, знаменующих расцвет испанской средневековой керамики (чрезвычайно богатая коллекция в Эрмитаже).

По качеству изделий наше собрание французского серебра является первым в мире. В конце царствования Людовика XIV почти все художественное серебро было переплавлено на монету; в результате у нас больше французских серебряных изделий XVII века, чем в самой Франции. Знаменитый «Орловский сервиз», заказанный Екатериной II в Париже, — это самый крупный в мире ансамбль художественного серебра XVIII века¹. Собрание немецкого серебра XV и XVI веков (хоть и уступающее собранию Оружейной палаты) тоже исключительно богато. Стоящий в Петровском зале Эрмитажа трон Петра I — шедевр английского серебряных дел мастерства. Собрание английского серебра включает также великолепный, самый большой по размерам холодильник. (Другой огромный английский серебряный холодильник тоже принадлежит Эрмитажу; у Потемкина в нем подавали и горячее — уху на двести персон.)

В Особой кладовой Эрмитажа хранится крупнейшее в мире собрание часов в дра-

гоценной оправе. Там же множество табакерок и прочих ювелирных изделий, изготовленных для русского двора самыми знаменитыми мастерами XVIII века.

Монументальный чернильный прибор из сплоченной бронзы с живописью и эмалью, заказанный Екатериной II в Париже для капитула ордена св. Георгия, представляет собой один из совершеннейших памятников французского прикладного искусства XVIII века.

Эрмитажное собрание шпалер (в частности, гобеленов, многие из которых исполнены по русским заказам) славится на весь мир.

Все знаменитые французские мебельщики представлены в Эрмитаже своими лучшими работами.

В эрмитажном собрании фарфора есть образцы всех мануфактур Западной Европы. Купленная Безбородко во Франции знаменитая северская ваза высотой почти в два метра — подлинный шедевр фарфорового искусства — является самой большой из дошедших до нас фарфоровых ваз XVIII века.

Соперничающее с московским собрание западноевропейского оружия XV—XVI веков считается одним из самых богатых в мире.

* * *

Крупнейшее собрание картин Н. А. Кушелева-Безбородко, завещанное им Академии художеств (откуда после революции оно перешло в Эрмитаж), легло в основу новосозданного раздела западноевропейского искусства XIX века. Картины из царских дворцов и частных собраний несколько пополнили этот раздел.

Французская живопись первой половины XIX века коллекционировалась бессистемно. Отметим в эрмитажном собрании великолепный «Портрет графа Гурьева» Энгра, холодную картину Давида¹, два великолепных «африканских» этюда Делакруа, две картины Жерара, три Жироде, замечательный пейзаж Мишеля...

Зато последующий период, озаглавленный революцией против академизма и закончившийся полной победой направления которое возглавлял Курбе с плеядой прославленных пейзажистов («барбизонцев»).

¹ Часть сервиза хранится в Оружейной палате Московского Кремля.

¹ Давид гораздо лучше представлен в Москве.

показан гораздо полнее и ярче. Самого Курбе только одна картина, одна картина и Милле. Но Коро с его серебристой дымкой предстает перед нами во всем своем неповторимом очаровании (восемь картин), также как все те художники, которые в лесу Фонтенбло, в знаменитом с тех пор местечке Барбизон, по-новому увидели природу, как бы «услышав» шелест листьев и все шорохи гайнственной жизни, творящейся под ветвями.— Теодор Руссо, Добиньи, Дюпре, Диаз, равно как и Тройон. Это собрание — законная гордость Эрмитажа.

Знаменитая галерея генералов, участников Отечественной войны 1812 года, кисти англичанина Доу — это грандиозный ансамбль портретов, какого нет, пожалуй, нигде в мире. Эта галерея, входящая ныне в раздел «Героическое военное прошлое русского народа», — величественный памятник как русской военной славы, так и английского живописного мастерства.

В собрании немецкой живописи XIX века немало картин, но полным его нельзя назвать (хорошо представлен лишь замечательный пейзажист Каспар Давид Фридрих). То же можно сказать и о собрании голландского и бельгийского искусства.

Картины Эдельфельдта дают ясное представление об этом талантливом финском мастере.

Но есть еще раздел, по которому одно из первых, а то и первое место в мире занимает Эрмитаж — во всяком случае, Эрмитаж совместно с московским Музеем изобразительных искусств. Это раздел той французской живописи, которая полвека тому назад считалась новейшей, а теперь уже прочно вошла в сокровищницу мирового искусства и дала ряд прославленных мастеров, которыми Франция законно гордится. Некоторые из этих художников не французы по происхождению, но их искусство воспоено современной Францией и представляет французскую живописную культуру конца XIX — начала XX века.

Эрмитаж и московский Музей изобразительных искусств имени Пушкина поделили богатейшее собрание прежде существовавшего московского Музея нового западного искусства, включавшего знаменитые собрания Шукина и Морозова. Эти два представителя московского купечества прокупили исключительное дерзание: С. И. Шукин и И. А. Морозов покупали картины французских импрессионистов, когда многие

видные критики и в самой Франции и в России этих художников всячески поносили, отрицая за ними право на место в искусстве. Я сам с лет ранней юности ясно помню, как оторванные от жизни представители сановного мира царской России буквально отплевывались от этой живописи, объявляя ее чуть ли не общественным позором. Но Шукин и Морозов упрямо продолжали свое дело: они приобрели произведения искусства, которые впоследствии, когда их стали ценить чуть ли не на вес золота, уже нельзя было бы собрать в таком количестве.

В прекрасных светлых залах третьего этажа Зимнего дворца, переделанных в тридцатые годы из бывших фрейлинских комнат, развешаны по стенам Моне, Ренуар, Ван-Гог, Сислей, Писсарро, Гоген, Боннар, Сезанн, Дерен, Марке, Матисс, Пикассо, Вуйар, Вламинк, Фриез, Морис Дени. При этом Моне и Ренуар, Сезанн и Гоген представлены полотнами, пользующимися мировой славой. У нас лучше картины Пикассо так называемых «голубого» и «розового» периодов. А о высших достижениях Матисса, вероятно, нигде нельзя себе составить такого ясного понятия, как в Эрмитаже¹.

Некоторые западные ценители импрессионистской и постимпрессионистской живописи приезжают в СССР специально затем, чтобы увидеть эти собрания, и все они восхищаются тем, как выигрышно развешаны, хорошо помещены для обозрения в Эрмитаже картины их излюбленных мастеров.

Огромное эрмитажное собрание графики во многом заполняет пробелы в экспозиции живописи. Но, кроме этого, а также своих собственных высоких художественных достоинств, печатная графика, рассчитанная на широкое распространение и охотно откликающаяся на злобу дня, интересна как наглядная иллюстрация социальных сдвигов, общественной жизни страны и эпохи. Так, превосходным подбором гравюр ярко отражена в Эрмитаже Великая французская революция, с исключительной остротой запечатлена в литографиях Домье и

¹ Согласно известному французскому искусствоведа г. Стерлингу, все английские и германские собрания, вместе взятые, уступают в том, что касается новой французской живописи, двум главнейшим советским музеям мирового искусства.

Гаварни социальная борьба XIX века, а в листах Валлоттона, Мазерееля, Стейнлена—революционные настроения начала нынешнего века, зреющий протест народных масс.

Крупнейшие граверы всех школ и эпох представлены в Эрмитаже, так что и этот отдел музея, несомненно, принадлежит к самым богатым в мире, так же как отдел рисунков, которым долго заведовал известнейший советский искусствовед М. В. Доброклонский, положивший много труда и таланта на изучение, классификацию и публикацию хранящихся в нем сокровищ. Нынешняя заведующая отделом, его ученица Т. Д. Каменская, помогла мне составить общее представление об этом отделе, являющем собой огромную художественную и историческую ценность.

Со времени революции эрмитажное собрание рисунков увеличилось более чем втрое (с двенадцати тысяч листов до сорока тысяч). Раньше много ценнейших рисунков хранилось в различных местах и в самом хаотическом состоянии. Так, собрание президента Академии наук Бецкого (более двух тысяч листов, в том числе рисунки Эрколе Роберти, Дюрера, Ван-Дейка, Иорданса) лежало чуть ли не полтора столетия забытым в фондах академии; лишь в 1924 году его обнаружили и передали в Эрмитаж, где оно наконец было приведено в должный порядок и включено в научный оборот.

Я долго рассматривал альбом с восьмьюстами пятьюдесятью этюдами Калло: это исполненные жизни и выразительности маленькие фигурки, которыми знаменитый французский гравер так щедро населял свои композиции. Нигде нет такого полного собрания этих зарисовок, легших в основу всего графического творчества Калло.

Как и в картинной галерее, в отделе рисунков особенно полно и ярко собраны мастера XVII и XVIII веков. Эрмитаж обладает самым богатым собранием рисунков Греза, одним из самых богатых Тьеполо, а также Рубенса (двадцать листов, многие из которых фигурировали в 1956 году на Международной антверпенской выставке рисунков великого фламандского художника).

Некоторые крупнейшие мастера, отсутствующие в картинной галерее Эрмитажа, представлены у нас замечательными рисунками: Дюрер, Гольбейн, Эльсгеймер, Менцель (целый альбом), Э. Мане.

Раздел пастелей включает работы таких мастеров, как Троост, Либберман, Дега. Исключительно богато собрание миниатюр (их около двух тысяч). Особенно примечательны создания Лютара, Фюгера, Ритта, Изабе.

Ценнейшее эрмитажное собрание архитектурных чертежей и проектов XVIII и XIX веков оказало большую практическую помощь при реставрационных и восстановительных работах в Ленинграде и окрестностях после Великой Отечественной войны, а равно при таких же работах в Варшаве.

* * *

Я беседовал со многими сотрудницами Эрмитажа, специализировавшимися на изучении отдельных школ, в частности с А. Н. Изергиной (XIX век), И. С. Немиловой (Франция XV—XVIII веков), С. Н. Всеволожской (Италия XVII века), и с их помощью познакомился с внутренней жизнью музея. Научные работники внимательно следят за развитием музейного дела во всем мире (к их услугам эрмитажная библиотека, насчитывающая более трехсот тысяч томов и выписывающая все зарубежные издания по искусству), точно знают состав крупнейших собраний Европы и Америки, внося свой вклад в изучение искусства (в частности, статьями в прекрасном изданном «Сообщениях государственного Эрмитажа»).

Постоянные экспозиции Эрмитажа далеко не отражают всех его несметных богатств. Так, например, придворных карет (многие из которых представляют собой замечательные произведения искусства) в Эрмитаже не меньше, чем в Оружейной палате Московского Кремля, но они сейчас не выставлены на обозрение. Из одних эрмитажных фондов можно было бы создать богатейший музей костюма. А как мне шутиливо говорил один из хранителей, чтобы полностью показать собрания всех отделов Эрмитажа, под музей следовало бы отвести целиком Адмиралтейство, да, пожалуй, еще и здание Главного штаба!

Но сейчас я коснусь только хранилища картин. Оно особенно импозантно. В экспозиции фигурируют примерно две тысячи картин, а в хранилище их в два раза больше, при этом только картин так называемого фонда «А», то есть представляющих определенную художественную или историческую ценность. Все эти четыре тысячи

картин умещаются в двух залах благодаря очень рациональному устройству, которому могут позавидовать многие крупнейшие зарубежные музеи.

Плотные ряды выдвижных щитов. На каждом щите — картины без рам. Конечно, нет среди них ни Рубенсов, ни Пуссенов. Но все же ценителям живописи здесь есть чем полюбоваться. Некоторые замечательные работы (в частности, отдельные большие композиции Матисса и Боннара) не выставлены только из-за отсутствия места; мне объяснили, что они скоро будут включены в экспозицию путем некоторой перевески картин. Из одиннадцати городских видов Белотто — прежде, кроме одного, украшавших Гатчинский дворец, — девять находятся на этих щитах. Из трех огромных декоративных композиций Натуара только одна фигурирует на постоянной выставке. И таких примеров можно было бы привести еще много.

Ясно, что вереница больших видов Белотто загрузила бы экспозицию, где шедевры не должны заслоняться массой менее значительных работ. Но все же можно задать вопрос каково же теперь назначение картин, хранящихся в запасных фондах музея?

Вот что мне объяснили в Эрмитаже.

Во-первых, лучшие из картин попадают на постоянные выставки, где некоторые произведения периодически заменяются другими. Во-вторых, из картин запасного фонда устраиваются временные выставки по какому-нибудь определенному признаку (так, когда я был в Эрмитаже, там готовилась выставка пейзажа). В-третьих, запасный фонд Эрмитажа обогатил и продолжает систематически обогащать многие музеи страны. В-четвертых, этот фонд производит обмен с хранилищами живописи пригородных дворцов (в Павловске): станковая живопись поступает в Эрмитаж, а картины прежде всего декоративного характера выделяются для украшения столь жестоко пострадавших во время войны наших знаменитых дворцовых ансамблей. В-пятых, из запасного фонда регулярно составляются небольшие собрания для передвижных выставок, несущих живописную культуру по всему Советскому Союзу. И, наконец, картины запасного фонда составляют в целом ценнейшее вспомогательное собрание для научно-исследовательской работы.

Есть в Эрмитаже кабинет, напоминающий лабораторию уголовного розыска. Заведует им тоже энтузиаст своего дела, молодой специалист Л. В. Сиверсков (кабинет был организован умершим в 1956 году видным советским рентгенологом Т. Н. Сильченко). Здесь картины и вообще музейные памятники подвергаются исследованию рентгеновскими, ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами, с применением стереорентгенографии и микрофотографии. Рентгеновские лучи помогают обнаружить повреждения, переделки и добавления, ультрафиолетовые показывают состояние верхних слоев живописи, инфракрасные, проникающие сквозь покровный лак, фиксируют изображение авторского рисунка и изменения, внесенные художником в процессе работы.

В этом кабинете мне показывали рентгенограммы с эрмитажных картин Тициана и Веронезе, Рубенса и Рембрандта и многих других мастеров, позволяющие изучить в мельчайших деталях все их технические приемы.

Наличие обширного запасного фонда, дающего обильный материал для сопоставлений и вспомогательных исследований, работа рентгенологического кабинета и реставрационных мастерских Эрмитажа существенно дополняют друг друга, принося подчас замечательные плоды.

В самые последние месяцы печать сообщила о новых эрмитажных открытиях, которые вызвали очень большой интерес среди искусствоведов всех стран и были восприняты как сенсация в музейных кругах Западной Европы и Америки.

Напомним о них вкратце.

Великолепный женский портрет (послереволюционное поступление) значился в эрмитажном каталоге позапрошлого года как произведение венецианского живописца Лоренцо Лотто. Однако новое чтение (искусствоведом Т. Д. Фомичевой) имеющейся на нем подписи и подробное исследование картины показали (как будто окончательно), что это — раннее произведение великого Корреджо.

Научная сотрудница Эрмитажа И. В. Линник высказала предположение, что два портрета святых, хранящиеся в Одесском государственном музее западного и восточного искусства, — ранние работы Франса Гальса. Картины были доставлены в Эрмитаж, где их подвергли подробному исследованию. Догадка полностью подтверди-

лась. Это открытие имеет большое значение, так как о раннем периоде творчества великого голландского живописца нам до сих пор было очень мало известно.

Старший научный сотрудник Эрмитажа Ю. И. Кузнецов обнаружил в Тамбовском краеведческом музее замечательное произведение нидерландского мастера XVI века Яна ван Скореля «Мадонна с младенцем». Картина, бывшая в очень плохом состоянии, ныне прекрасно реставрирована в мастерских Эрмитажа.

Кандидат искусствоведения И. М. Левина высказала предположение, что «Портрет короля Фердинанда III Святого», долго хранившийся в фондах Эрмитажа как произведение неизвестного испанского мастера, принадлежит кисти Сурбарана. Стилистический анализ, рентгеноскопические и микроскопические исследования подтвердили авторство Сурбарана, причем эту картину, по-видимому, можно причислить к его шедеврам.

* * *

В предисловии к каталогу картинной галереи Эрмитажа В. Ф. Левицон-Лессинг пишет по вопросу о ее пополнении в послевоенные годы: «Собрание живописи продолжало расти и за счет покупок отдельных картин. Однако, в связи с тем, что подавляющее большинство ценных произведений западноевропейской живописи, находившихся в частном владении, перешло за последние десятилетия в состав музейных собраний, эти приобретения носили довольно скромный характер. Они позволили, однако, пополнить собрание рядом картин, восполняющих некоторые пробелы или же дополняющих представление о творчестве отдельных художников... Необходимо приложить еще очень много усилий для того, чтобы такие разделы, как собрание итальянской и нидерландской живописи XV в. или коллекция картин французских художников первой половины и середины XIX в., могли хотя бы в известной степени соответствовать по своему значению и уровню наиболее богатым частям нашего собрания — таким, как коллекция живописи XVI—XVIII вв., или подбору картин французских импрессионистов. Совсем не представлена в Эрмитаже живопись Польши, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, за исключением единичных, случайных памятников. Почти полностью отсут-

ствуют или же имеются в виде отдельных образцов работы большинства английских, итальянских, испанских, скандинавских художников XIX в. Искусство XX в. охарактеризовано в Эрмитаже лишь картинами, написанными до 1914 г. Таким образом, перед Эрмитажем разворачивается весьма обширная программа собирательской деятельности на ближайшие годы»¹.

Но как осуществить эту деятельность? Если, например, собрание фарфора регулярно пополняется и, вероятно, может еще пополняться за счет приобретений у частных лиц в границах Советского Союза, то, очевидно, иначе обстоит дело с живописью. Распродажи крупных частных собраний учащаются в капиталистическом мире. Главными покупателями являются американские музеи и богачи. Но огромный экономический подъем нашей страны позволяет надеяться, что и Эрмитаж в недалеком будущем получит возможность включиться в это соревнование по обогащению национальных художественных сокровищ².

* * *

Отдел Востока создан в Эрмитаже в 1920 году. Задача его — показать огромный вклад народов Востока в сокровищницу мировой культуры, наглядно опровергающий расистские теории о якобы вечном и неоспоримом культурном главенстве западноевропейских народов. Много потрудился

¹ Прекрасная картинная галерея Музея изобразительных искусств имени Пушкина в целом не может служить дополнением к Эрмитажу: лишь те школы, которыми особенно богат Эрмитаж, хорошо представлены и в ней, хотя, конечно, значительно менее полно (за исключением «барбизонцев», которых, пожалуй, в Москве еще больше, чем в Ленинграде, и импрессионистов, собрание которых не уступает эрмитажному). К сожалению, посетителю трудно составить себе ясное представление о московском музее в целом, так как обилие гипсовых слепков заслоняет в нем подлинники, а из-за отсутствия соответствующего помещения постоянную экспозицию живописи приходится периодически свертывать для устройства различных временных выставок.

² Быть может, на первых порах можно было бы использовать наши огромные запасные фонды русского искусства (в частности, иконописи, на которую особый спрос на Западе) для обмена на произведения западного искусства, что не только бы обогатило наши собрания, но и способствовало бы популяризации русского искусства за рубежом.

над организацией отдела долгие годы его руководитель и директор Эрмитажа, талантливый искусствовед, академик И. А. Орбели. В настоящее время эрмитажное собрание памятников восточного искусства столь же величественно, как собрание Западного отдела, а в некоторых своих частях не имеет равного в мире.

Своего пышного, действительно колоссального богатства оно достигло в советское время, причем лишь на первых порах за счет уже существовавших музейных собраний. При основании отдела в нем было немногим больше шести тысяч предметов, а к сороковой годовщине Октябрьской революции — почти сто тридцать пять тысяч! И этот грандиозный рост неуклонно продолжается благодаря открытию на советской земле памятников прежде не изученных великих культур, постоянным археологическим изысканиям и широким дружественным связям Советского государства с народами зарубежного Востока.

Территориальное расширение Эрмитажа за счет Зимнего дворца, работы по внутренней реконструкции дворца (позволившие, например, в нижнем этаже воссоздать на месте прежних кладовых и кухонных помещений великолепную двухнефную Растреллиевскую галерею) дали возможность вернуть экспозицию основных богатств этого отдела.

В кратком очерке нельзя даже бегло описать сокровища всех культур Востока, столь щедро и ярко раскрывающихся в Эрмитаже. Приходится отмечать лишь кое-что даже в самом главном.

Сейчас в Эрмитаже уже два отдела Востока: отдел истории культуры и искусства народов Советского Востока и отдел истории культуры и искусства зарубежных стран Востока. Они помещаются в шестидесяти залах, причем предполагается еще расширить отделы новыми экспозициями.

Начнем с зарубежного Востока.

Великое искусство древнего Египта представлено таким шедевром Среднего царства, как статуя фараона Аменемхета III из черного гранита, которая принадлежит к самым совершенным образцам египетской пластики, множеством замечательных памятников и знаменитыми папирусами, донесшими сквозь тысячелетия классические произведения египетской литературы (как, например, «Сказание о потерпевшем кораблекрушение», впервые расшифрованное за-

мечательным русским ученым и собрателем В. С. Голенищевым), а искусство коптского Египта — одним из лучших в мире подбором тканей. В целом, однако, это собрание уступает ряду других в Европе и, в частности, собранию московского Музея изобразительных искусств.

Византия, Восточная Римская империя — наследница Эллады. Это мир, наследниками которого мы, в свою очередь, являемся в той же степени, как народы Западной Европы — наследниками древнего Рима. Когда в Византию пропикли огнем и мечом крестоносцы, пасмурные и грубые феодалы показались ее обитателям варварами. Да такими и были они по сравнению с последними преемниками эллинской культуры. Этому миру посвящены в Эрмитаже всего три зала, но он раскрывается в них с исключительным блеском.

Эрмитажные памятники византийского искусства показывала мне их хранительница, известный византолог А. В. Банк. Она подтвердила мне, что эрмитажное собрание (в основу которого легли приобретенные до революции крупнейшие собрания А. П. Базилиевского и известного ученого Н. П. Лихачева), чрезвычайно пополнившееся в советское время благодаря продолжающимся до сих пор раскопкам Херсонеса и находкам на нашей земле, является одним из лучших в мире¹.

Целая галерея икон вдохновенного, порой гениального письма. Вот оно, звено между утраченной живописью великого Апелеса и живописью нашего великого Рублева, мастеров Новгорода, Москвы, Пскова, которая являет миру последний отсвет родоначального для всей европейской художественной культуры искусства!

Великолепное собрание изделий из слоновой кости и самое богатое в мире — из серебра. Откуда же это серебро? Оно все обнаружено у нас, преимущественно в Приуралье. И потому в нашем Эрмитаже сосредоточена главная работа по исследованию византийского серебра, а труд советского ученого Л. А. Мацулевича, посвященный этому серебру, считается основным в специальной мировой литературе.

Византийское серебро попадало в при-

¹ Имена многих наших советских ученых, которым мы обязаны многочисленными находками и их изучением в годы создания советского Эрмитажа, почти или полностью забыты. Мы перед ними в долгу.

уральские ханства (те камые, с которыми затем воевал Ермак) в обмен на пушнину. Судьба его та же, что и древних эллинских драгоценностей. В самой Византии изделия из серебра были переплавлены на монеты или расхищены. А у нас эти тончайшей работы чаши и блюда, то с крестами, то с античными мотивами, сохранились вкладах, и их находят случайно в руслах высохших рек или во время полевых работ.

Я беседовал с Ф. М. Морозовым, музейным работником, уже более четверти века обслуживающим Эрмитаж, где его считают исключительным «следопытом». Он с юношеским воодушевлением говорил мне о том, как ему хочется еще много лет трудиться над разысканием и сохранением памятников старины. Обезыды деревень Приуралья его особенно привлекают. Какая радость пасть на след давней находки, обладатель которой даже не знает, как она попала к нему и какую представляет ценность! Так, у древней старушки Ф. М. Морозов обнаружил серебряный византийский ковшик (ныне — одно из прекраснейших украшений эрмитажного собрания), который служил ей кормушкой для кур, а у какого-то уфимского жителя — сасанидское блюдо, с которого тот привык есть пельмени...

Хорошо помню ту сенсацию, которую произвело на лондонской выставке иранского искусства в 1930 году сасанидское серебро из Эрмитажа. Газеты писали, что Эрмитаж как бы вновь открыл миру замечательное искусство, памятников которого почти не осталось вне пределов Советского Союза.

Сасанидская династия, правившая могущественной Иранской державой, славилась своей роскошью и великолепием. Серебряная посуда нагромождалась целыми горами у иранских царей и феодалов. Все это опять-таки было впоследствии переплавлено или расхищено. В самом Иране сохранилось не более десятка сасанидских сосудов; единичными образцами гордятся некоторые зарубежные музеи. А у нас, в Эрмитаже, их несколько десятков, то есть несравнимое богатство, без которого вообще нельзя было бы составить себе представление об искусстве Ирана III—VII веков нашей эры.

Цари, охотящиеся на львов или газелей, мифические существа, скачущие кони, пиршества, танцовщицы — все сцены, исполненные торжественности и динамизма, вписанные с поразительным мастерством в круг или гармонически охватывающие контуры

сосуда, — вот что являет нам это знаменитое собрание, гордость Эрмитажа.

И все это — находки в том же Приуралье, Прикамье, на Украине, куда сасанидское серебро тоже привозилось в обмен на меха и где оно сохранилось вкладах, часто вместе с византийской утварью.

Искусство стран халифата — Ирана со времени арабского завоевания, Египта, Сирии, Ирака, Турции — показано в четырнадцати залах. Это тоже одно из лучших в мире собраний. Изразцы и сосуды, многоцветная керамика, серебро и бронза, тончайшие миниатюры, богатейший подбор иранских ковров, замечательная коллекция оружия (многое было приобретено стараниями музейных работников в дагестанских аулах, куда эти предметы в свое время попали из Персии). Яркость красок, блеск металла, пышность и изысканность восточных узоров воссоздают в этих залах фантастический и чарующий мир арабских сказок.

Искусство великого китайского народа от XIV века до н. э. представлено в двадцати двух залах Эрмитажа. При этом в особом зале ярко показано искусство периода национально-освободительной борьбы, а в другом, как бы завершающем экспозицию, — искусство Китайской Народной Республики, искусство народа, наконец освободившегося от феодального и империалистического гнета, бережно хранящего и творчески перерабатывающего ценности своей тысячелетней культуры. Среди множества памятников великого китайского искусства прошлых веков, выставленных в Эрмитаже, выделяется уникальное собрание прекрасно сохранившихся шелковых тканей ханьского периода, найденных в 1924 году русским путешественником П. К. Козловым в древних погребениях в горах Нонн-Ула. Этим шелкам с изображением воинов, коней, птиц, плодов, деревьев, а иногда и целых ландшафтов посвящены многие исследования советских и зарубежных Китаеведов как редчайшим и замечательным образцам изобразительного искусства, созданным около двух тысяч лет тому назад.

Другое уникальное собрание — стенная роспись и прочие памятники средневекового Синьцзяна, многоплеменной окраины Китая, создавшей очень своеобразную культуру; большие храмовые росписи производят величественное впечатление, развертывая целую вереницу монументальных буддийских изображений. Древности Синьцзяна были

впервые открыты и исследованы русским ученым-путешественником и революционным деятелем Д. А. Клеменцем, привезшим в 1898 году в Россию первые их образцы. Впоследствии туда ездил во главе археологической экспедиции академик С. Ф. Ольденбург, который и организовал первую экспозицию Синьцзянских памятников.

Искусство Индии показано в Эрмитаже в четырех залах только начиная с XVII века. Это собрание богато первоклассными старинными миниатюрами; благодаря новейшим поступлениям в нем хорошо отражена культура современной Индии.

Как видим, отдел зарубежного Востока обладает множеством редчайших памятников мирового значения. Однако, несмотря на все их великолепие, собрания его неполны. Никак не представлены многие замечательные культуры Азии и Африки. Еще в 1957 году директор Эрмитажа М. И. Артамонов справедливо указывал в печати: «Следует... отметить, что некоторые отделы для повышения качества экспозиций нуждаются в серьезных пополнениях... Эрмитаж увеличивает свои коллекции путем закупок и проведения археологических экспозиций. Однако эта деятельность музея требует существенного расширения, в особенности путем организации приобретения за границей, участия в раскопках за пределами нашей страны и некоторого перераспределения фондов между музеями страны».

* * *

В одном из своих трудов И. А. Орбели рассказывает о разговоре Н. Я. Марра перед началом археологических работ в Ани с местным приставом: «Сначала пристав, сидя в тени развалин древнего храма одного из самых величественных армянских памятников X в., пытался склонить молодого приват-доцента не тратить времени на изучение армянских памятников: что могли создать, да еще в прошлом эти люди? А затем, не убедив его, просил, по крайней мере, не говорить им, этим людям, что он приехал из Петербурга изучать армянские древности, а то они зазнаются».

Весь отдел истории культуры и искусства народов Советского Востока знаменует разгром на вечные времена этой официальной приставской идеологии, которая, несмотря на усилия ряда замечательных востоковедов, господствовала в нашей стране

до самой Октябрьской революции и сейчас еще на Западе нередко проглядывает в реакционной науке, отражая собой империалистическую и колонизаторскую политику.

Этот отдел, в частности, показывает каждому, кто имеет глаза и способен к восприятию прекрасного, что до арабского завоевания народы нашей Средней Азии создали свою самобытную культуру, что их творчество, вопреки утверждениям некоторых буржуазных ученых, не является лишь отголоском великой культуры Ирана, а достигает самостоятельно не меньших высот.

Честь раскрытия древнего, домусульманского мира Средней Азии, которым в старой России почти не интересовались, всецело принадлежит советским археологам. Этот мир Хорезма, Греко-Бактрийского царства, парфян, согдийской культуры, могущественной Кушанской империи, огромных земель, которые составляют сейчас территорию пяти советских союзных республик, предстает перед нами во всей сложности скрещивающихся в нем влияний, социальной борьбы, перехода от рабовладельческого строя к феодализму.

Понски и исследовательская работа советских людей в Средней Азии открыли новую яркую страницу в истории человеческой культуры, а памятники, ими обнаруженные, включают шедевры искусства всемирного значения, которые наравне с памятниками Пазырыкских курганов являются для Эрмитажа таким обогащением, какого за последние десятилетия, пожалуй, не знал ни один музей Западной Европы или Америки.

Хранительница этих шедевров Г. Н. Балашова рассказала мне много интересного об их открытии и о работе, проделанной в Средней Азии советскими археологическими экспедициями.

Знаменитый Айртамский каменный фриз (Кушанская эпоха, I век н. э.). Наилучший из сохранившихся его фрагментов был случайно найден в 1932 году пограничниками в водах Аму-Дарьи (дар Узбекской ССР Эрмитажу). На нем изображены полуфигуры юношей и девушек между листьями аканфа. Прекрасен образ арфистки, задумчиво перебирающей струны. Этот фрагмент — самый замечательный памятник неизвестного до наших дней среднеазиатского эллинизма.

Фрагменты стеной росписи из Варахши в Бухарском оазисе, открытые при раскопках

дворца местных правителей (VII век н. э.): всадники на слонах, покрытых попонами, охотятся на фантастических зверей. Это — красочное, величественное и ярко декоративное искусство согдийцев, предков современных таджиков и узбеков.

Фрагменты стенных росписей храмовых зданий Пянджикента — это тоже согдийское искусство. Росписей во много раз больше, чем в Варахше: ими покрыты десятки залов, раскопки которых далеко не закончены. Этот поистине грандиозный живописный ансамбль лишь частично фигурирует в Эрмитаже.

Предметы из согдийского замка на горе Муг (Таджикистан). В 1933 году на выбитом козами склоне горы обнажился край корзины из ивовых прутьев с древними рукописями; пастух отнес ее в районный центр, где на находку было обращено должное внимание. Тотчас же снаряженная археологическая экспедиция раскопала замок, обнаружила капитального значения документы на согдийском языке, оружие, ткани, посуду. Еще одно замечательное произведение искусства: деревянный щит, обтянутый кожей с монументальным изображением согдийского всадника.

Я побывал в одной из главных реставрационных мастерских Эрмитажа, специально предназначенной для древней стеной живописи. Ее руководитель, П. И. Костров, уже много лет проработавший над реставрацией синьцзянских стенных росписей, сейчас посвятил себя целиком пянджикентскому ансамблю. Я увидел большие, еще не тронутые реставрацией фрагменты. Пробыв тысячу двести лет под землей, эта клеевая живопись на лёссовой штукатурке дошла до нас в самом ветхом состоянии, напоминающем руины: в таком виде трудно составить себе о ней какое-либо представление. Нужно прежде всего произвести расчистку и закрепление. Для этого употребляются синтетические смолы по методу, разработанному в послевоенные годы П. И. Костровым в Эрмитаже. Вся живопись доставляется с места раскопок в эрмитажную мастерскую для полной реставрации и реконструкции пробелов (реконструкции строго схематической, преимущественно линейной, ограничивающейся абсолютно необходимым для восприятия общей композиции), требующей тщательного анализа и большого художественного чутья. Когда из этой мастерской вы снова попадаете в выставочные

залы, вам становится ясно, какую нужно проделать огромную работу, чтобы роскошно-декоративная живопись Пянджикента и Варахши высвободилась из руин и заиграла своим самобытным блеском.

Культура Средней Азии после торжества ислама и утверждения феодализма представлена в Эрмитаже великолепными памятниками, свидетельствующими о высокой художественной одаренности ее народов. Мир Востока сверкает здесь в сказочной пышности дворцов, мечетей и мавзолеев Самарканда и Бухары.

Богато украшенный огромный священный котел (диаметром в 2,45 метра), исполненный по заказу Тамерлана, представляет собой мировой шедевр литейного искусства.

Когда я был в Эрмитаже, экспозиция раздела культуры и искусства Кавказа находилась в периоде реорганизации: прекрасные собрания художественных памятников Грузии, Армении, Азербайджана, Дагестана, Осетии еще не были полностью выставлены на обозрение. Подробно я мог осмотреть только зал, посвященный Урарту, древнейшему государственному образованию на территории Советского Союза. История его и культура впервые изучены советским археологом Б. Б. Пиотровским, труд которого об Урарту был удостоен Сталинской премии.

С этим человеком, исполненным энергии и инициативы, мне удалось беседовать в Эрмитаже перед памятниками искусства, извлеченными им из-под земли. Б. Б. Пиотровский тридцать пять лет работает в Эрмитаже, где пятнадцатилетним мальчиком уже занимался в египтологическом кружке. Перед тем как избрать объект для раскопок, он обошел пешком всю Армению. Уже семнадцать лет руководит он археологическими работами на холме Кармир-Блур, где ему удалось откопать урартскую крепость «города бога Тейшебы». Культура мощного рабовладельческого государства, во многом напоминающая ассирийскую, раскрывается перед нами на экспозиции в бронзовых фигурах фантастических существ, шлемах, колчанах с изображением воинов и колесниц¹.

В начале VI века до н. э. эта цитадель была разрушена и сожжена скифами. Б. Б. Пиотровский рассказал мне о штурме

¹ В Эрмитаже лишь часть урартских древностей, основное собрание хранится в Ереванском музее.

ее во всех деталях: когда он начался, сколько продолжался, какое было направление главного удара, что стало с жителями города и что нашли в нем победители. Все эти сведения — плод многолетнего изучения материала, обнаруженного в земле. Вот, например, как ему удалось установить время года, когда урартская крепость трагически окончила свое бытие: хлеб был уже убран, но виноград еще не созрел, в пучке сохранившейся травы оказались цветы конца июля — первой половины августа.

Б. Б. Пиотровский слегка ударил рукой по бронзовой чаше, выставленной на стене: глубокий, горжественный звук пронесся по залу.

— Да, это совершенно замечательное звучание, — сказал он, — звучание Урарту!

Я слушал этот звук, доносившийся из глубины веков, слушал этого страстного искателя, с лопатой в руках вновь штурмовавшего крепостные валы «города бога Тейшебы», и его увлечение, радость приобщения к древнему, неведомому дотоле миру, чьи памятники повествуют нам о замыслах, идеалах и судьбах людей, для которых этот мир был родным, невольно передавались мне.

И так же увлек меня своим воодушевлением, вдохновенной работой в эрмитажной сокровищнице культуры заведующий отделом нумизматики А. А. Быков.

Собрание этого отдела — одно из самых значительных в мире. После революции фонды его увеличились больше чем втрое, и сейчас в нем свыше миллиона монет, денежных знаков и медалей (в ценнейшем берлинском собрании четыреста тысяч). Представлены все страны и все эпохи. Особенно же богат восточный отдел. А. А. Быков считается крупнейшим специалистом по восточной нумизматике, и возглавляемый им отдел Эрмитажа стал мировым центром ее изучения; сюда обращаются за консультациями музеи и частные коллекционеры многих стран.

Отдел нумизматики занимает обширное помещение в верхнем этаже Зимнего дворца. В первую минуту вам кажется, что вы попали в книгохранилище. И в самом деле, здесь двадцать шесть тысяч книг: крупнейшая в мире нумизматическая библиотека. Недавно посетившие Эрмитаж американские нумизматы были изумлены и восхищены таким беспримерно обширным собранием этой специальной литературы.

Уже четыре десятилетия А. А. Быков

каждый день склоняется над металлическими кружками. Лики былых правителей, аллегорические фигуры, знаки и письмена, их украшающие, тоже раскрывают перед ним миры прошлого. Ведь, например, почти всю историю нашей страны можно проследить на колоссальном эрмитажном собрании русских монет!

А. А. Быков вынимает ящик с монетами, на которых я различаю арабские письмена.

— Это куфи, — говорит он, — особый вид арабского письма, при этом цветущий куфи, самый чудесный по почерку. Полюбуйтесь красотой узора! Нет богаче нашей коллекции куфических монет. И мы вовсе не собирали их в арабских странах, где такие монеты были переплавлены несколько веков тому назад, — мы находим их в кладках, в могильниках Новгорода и Пскова, во всех местах, через которые проходили торговые пути из России на Восток. Родина этих монет — Передняя Азия, где они были в обращении с конца VII по начало XI века. Наши купцы получали их за пушнину, и у нас они тоже служили ходячей монетой.

Так в этом отделе я увидел еще одно богатейшее собрание памятников чужой культуры, сохранившихся только на нашей земле.

Отдел истории русской культуры — самый молодой в Эрмитаже (открыт в 1941 году). Задача его организации ясна: в крупнейшем советском музее мировой культуры должна быть представлена и великая культура русского народа. На это можно возразить только то, что в Ленинграде уже существует Русский музей, обладающий великолепным собранием русского искусства, при этом не только изобразительного, но и прикладного.

Заведующий отделом В. Н. Васильев дал мне такое разъяснение:

— Русский музей показывает развитие русского искусства, наш же отдел — общее развитие русской культуры, но при этом, в отличие от некоторых других музеев страны, исключительно на подлинных памятниках и, в первую очередь, на памятниках искусства — в соответствии с общим профилем и уровнем Эрмитажа как художественного музея мирового значения.

Некоторый параллелизм с Русским музеем все же как будто налично. Но можно только радоваться сосредоточению еще в одном месте крупнейшего собрания, иллюстрирующего творчество русского народа.

Пока что открыты следующие разделы.

Русская культура IX — середины XII века, замечательное собрание русских древностей, включающее такой шедевр мирового значения, как фреска «Святой Николай» из киевского Михайловского Златоверхого монастыря — образец ранней русской живописи, перенявшей от Византии высокие традиции античного искусства, достойный фигурировать в Эрмитаже наравне с самыми знаменитыми произведениями западноевропейской живописи.

Материалы по истории русской культуры конца XVII — первой четверти XVIII века. Материалы по истории русской культуры середины и второй половины XVIII века. Это очень пополнившаяся в последнее время знаменитая «галерея Петра Великого» и богатейшее собрание, посвященное послепетровской России. Тут великолепный бюст Петра работы К. Растрелли и его же «Восковая персона», мозаичный портрет Петра работы великого Ломоносова, портреты кисти Левицкого и Боровиковского, станки, сконструированные Нартовым, и знаменитые часы «яйцевидной фигуры» работы Кулибина, русские шпалеры и русский фарфор, эскизы театральных декораций, рисунки и чертежи крепостных мастеров, изделия из слоновой и моржовой кости, гравюры, иллюстрирующие творчество знаменитейших русских архитекторов.

Русские серебряные изделия XVII — начала XX века. Главное украшение этого собрания — огромная серебряная гробница Александра Невского (весом около девяноста пудов), замечательный памятник русского искусства стиля «рокайль».

Малахитовый зал (где 25 октября 1917 года заседало в последний раз Временное правительство) с образцами малахитовых изделий русских мастеров.

Выставка «Героическое военное прошлое русского народа», занимающая залы Гербовый и Пинкетный, с большими батальными картинами, знаменами, реликвиями Петра, Суворова и Кутузова. Галерея Отечественной войны 1812 года со знаменитыми портретами Дюу, о которых уже говорилось выше.

Георгиевский зал с картой Советского Союза из уральских самоцветов, исполненной в 1937 году.

Русский отдел должен быть значительно расширен, доведен без пробелов до наших дней. В первую очередь намечено открытие выставок, посвященных древнему Новгороду

и Пскову. Специальные экспедиции собирают на местах памятники русской старины, обогащая Эрмитаж не за счет уже существующих музейных собраний, а новыми произведениями искусства. Мало кто знает, что Эрмитаж обладает уже сейчас прекрасным собранием древней русской живописи. В. Н. Васильев сказал мне, что на эрмитажных выставках русское средневековое искусство будет представлено не менее замечательными произведениями, чем искусство той же эпохи западных стран.

Эрмитажные экспедиции регулярно выезжают на Север: в этих краях, где не было войн и нашествий, больше всего сохранилось икон древнего письма. Их ищут на старых погостах и в церквях, находящихся под государственной охраной. При этом теперь стали искать не только в самых ранних церквях, но и в тех, которые были построены двести, а то и сто лет назад. Дело в том, что в эти церкви тоже сносились иконы из других, недействующих церквей. Музейные работники обнаруживают чаще всего собранные в кучу почерневшие доски. Как быть? Как определить на месте ценность иконы без помощи рентгеновских или инфракрасных лучей? Мне посоветовали побеседовать на эту тему с Ф. А. Каликиным, про которого говорят, что он «живой рентгеновский кабинет», так как «видит икону насквозь».

Ф. А. Каликин носит звание реставратора высшей квалификации. Ему восемьдесят пять лет с детства увлекается стариной. Он самоучка, но познания его общепризнаны.

Этот бодрый, розовощекий старик с длинной белой бородой принял меня несколько недоверчиво. «Все равно ничего не поймете в моих объяснениях», — ясно говорил его взгляд. Торжественно показал свою последнюю замечательную находку (за которую ему была выражена особая благодарность): икону конца XII — начала XIII века, то есть исключительную редкость, обнаруженную им в Онежском районе Архангельской области. Это — великолепное, сияющее красками произведение живописи. Тут же показал и фотографию ее до произведенной им реставрации: сплошная чернота.

— Но как вы все-таки узнаете время написания иконы, когда перед вами доска, из которой почти ничего не разберешь?

Ф. А. Каликин чуть улыбнулся и произнес назидательно:

— Как узнаю? По признакам. Так же, например, как вы, когда встречаете на улице знакомого. А с иконами я знаюсь уже давно. Вот и узнаю их: по признакам!

Так я и не получил от него другого объяснения...

* * *

Ни в одном музее Запада я не видел такого множества посетителей, проявляющих столь живой интерес и подлинную жажду знаний, как в Эрмитаже. Это не вереницы богатых и праздных туристов, устремляющихся «галопом» по залам Лувра или Уффици лишь для того, чтобы обрести почему-то нужное им право заявлять: «Я осмотрел эти достопримечательности». Эрмитаж постоянно посещают жители Ленинграда. В выходные дни я видел здесь военных, курсантов, приходящих в одиночку, чтобы несколько часов подряд осматривать его сокровища; перед этим они участвовали в экскурсиях, и любовь к искусству запала в их душу.

Это очень частое явление. Рабочие и служащие, колхозники и юные школьники заполняют залы Эрмитажа, туда же направляются обычно в первый же день по приезде в Ленинград и многие командировочные и экскурсанты, прибывающие со всех концов Советского Союза.

Я попросил П. Ф. Губчевского, молодого и энергичного руководителя культурно-просветительного отдела, автора популярных изданий, посвященных Эрмитажу, рассказать мне о работе музея по удовлетворению культурных запросов его нового хозяина — советского народа.

До революции число ежегодных посетителей Эрмитажа достигало в среднем ста тысяч человек. Ныне оно составляет полтора миллиона: в среднем по залам музея ежедневно проходит свыше девяти тысяч человек. В 1958 году было проведено шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три экскурсии, каждый четвертый посетитель был их участником. Но, кроме того, каждый второй посетитель, как правило, обращается за консультацией к музейным работникам, специально дежурящим в залах.

Большое место занимает работа со школьниками. В 1919 году было проведено всего сто тридцать шесть школьных экскурсий,

а с 1952 по 1956 год — четырнадцать тысяч. В эрмитажных школьных кружках ежедневно занимаются четыреста школьников, отличников истории.

Рабочие, конструкторы, студенты негуманитарных вузов тоже проявляют живой интерес к сокровищам Эрмитажа. Для них организуются подробные экскурсии по группам, в которых участвует ежегодно примерно пятнадцать тысяч человек. Это своего рода народный университет по вопросам искусства, предназначенный для людей технических профессий.

К этому следует добавить культпоходы, лекции на предприятиях, фотовыставки, организуемые Эрмитажем. В 1958 году сотрудниками Эрмитажа было прочтано семьсот девяносто лекций (из которых лишь сто семьдесят две в лектории музея). В последние годы три бригады работников Эрмитажа совершили поездки в Казахстан, Донбасс и на Урал, где ими было прочитано около четырехсот лекций в шахтах, рудниках, на промышленных предприятиях, в колхозах.

Я уже упоминал о передвижных выставках из фондов Эрмитажа: их число увеличивается с каждым годом.

Наконец в 1959 году начал работать трехгодичный Университет зарубежного искусства при Государственном Эрмитаже, организованный Обществом по распространению политических и научных знаний РСФСР. На первый курс принято двести пятнадцать слушателей, преимущественно студентов негуманитарных вузов (гораздо меньше, чем было желающих). В программу этого университета входят лекции и собеседования, посвященные марксистско-ленинской эстетике, основным художественным направлениям в изобразительном искусстве всех школ и эпох, крупнейшим историко-художественным центрам СССР, величайшим музеям мира, вопросам художественной реставрации, технике живописи, гравюры и т. д.

* * *

Я постарался дать краткий, но по возможности полный обзор работы Эрмитажа. состава его коллекций и их происхождения. В заключение подчеркну еще одну особенность, отличающую наш знаменитый музей от ряда других в Европе и Америке. Грандиозные собрания Эрмитажа состави-

лись не в результате захвата художественных памятников, принадлежащих другим народам (не в пример Бонапарту, русские полководцы не вывозили художественных сокровищ из чужих стран), или использования экономической зависимости других государств или их временных финансовых затруднений (что часто составляет источник обогащения американских музеев). То же, что до революции было изъято у подневольных в то время народов, либо возвращено Советской властью (например, польские художественные и исторические ценности), либо послужило одной из основ для развития национальных культур в великом содружестве советских народов с помощью передовой русской науки (Средняя Азия, Кавказ). Собрания Эрмитажа — это плод культурного общения России с другими народами и государствами, общения, часто выливавшегося в поощрение их национального художественного творчества, плод просвещенного, кропотливого собирательства и упорных археологических

изысканий на нашей земле, сохранившей в силу особых, указанных выше причин драгоценные памятники чужих культур, попавшие на эту землю в обмен на труд ее населения и ее природные богатства.

Фашистские захватчики уничтожили или расхитили множество художественных ценностей, принадлежащих советскому народу. И этот же народ спас брошенные фашистами на произвол судьбы величайшие памятники искусства, принадлежавшие немецкому народу. Эти сокровища существенно пополнили бы собрания Эрмитажа и других музеев нашей страны. Но, несмотря на ущерб, причиненный фашистами художественному достоянию Советского Союза, они после тщательной реставрации были полностью возвращены их законному владельцу — немецкому народу. Это событие, беспрецедентное в отношениях между государствами, беспрецедентное в истории музейных собраний, ярко отразило те великие идеи, которые принесла Октябрьская революция.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАШ ШОЛОХОВ

Мировая литература знала немало хороших книг, которые в дни своего появления увлекали читателей, доставляя им высокое эстетическое наслаждение и вызывая оживленные споры. Но время постепенно отбирало из числа этих книг лишь те, в которых с наибольшей полнотой отражалась жизнь человеческого общества. Только такие книги оставались на века и — начиная с «Илиады» и «Одиссеи» — складывались как бы в многотомную энциклопедию истории человечества, истории, воплощенной в живые образы, исполненной неумирающей страсти, истории, вечно призывающей к действию, к подвигу во имя победы добра над злом.

И молодая советская литература тоже имеет книги, составляющие энциклопедию сорокалетней истории нового общества, созданного Великой Октябрьской социалистической революцией, — истории его нелегкой борьбы, неустанного созидательного творчества и бессмертных побед. В эту энциклопедию прочно вошли книги Михаила Шолохова: четыре тома «Тихого Дона», повествующие о стране в годы гражданской войны, о том, как революция входила в сердца одних и испепеляла сердца других, и первый том «Поднятой целины» — правдивая книга о великом переломе в крестьянской жизни.

На этих книгах воспитаны уже поколения наших читателей. Образ Давыдова, с удивительной естественностью совершающего свой подвиг и не лишенного ни одной из живых человеческих черт, стал любимым образом коммуниста и для тех, кто не щадил своей жизни в битвах Великой Отечественной войны, и для тех, кто поднимал новую целину в степях Казахстана, и для тех, кто приезжал на разворачивающуюся таежную стройку.

Количество переводов на иностранные языки и тиражи зарубежных изданий шолоховских книг красноречивее всего говорят о том, что их жадно читают люди всего земного шара, стремящиеся узнать правду о том, каковы же на самом деле строители нового мира, бросившие вызов всей исторической несправедливости, всему злу, которое веками уродовало человеческие судьбы. И книги Шолохова дают ответ — правдивый, страстный и убедительный в своей полноте и ясности.

Естественно поэтому, что произведения столь значительные оказали огромное влияние не только на литературу, но и на смежные области искусства. Шолоховские сюжеты дали жизнь драматическим и оперным спектаклям, кинофильмам и картинам художников.

Теперь читатель получил второй том «Поднятой целины».

Автор закончил работу над ним более чем четверть века спустя после того, как была дописана первая книга. Правда истории и правда характеров остались неотъемлемым достоинством завершенного произведения. Вместе с тем взгляд на события из дальней перспективы времени позволил писателю показать не только ожесточенную борьбу за победу социализма в советской деревне, не только моральный крах врагов, предшествующий их физической гибели, но и первые плоды этой победы, первые ростки колхозной нови. Особенно многозначителен в этом отношении прекрасный образ Варюхи-Горюхи.

Глубокая мысль, сердечность, эпизоды поразительной художественной силы, галерея навсегда запоминающихся образов отличают «Поднятую целину». Замечательно роману заслуженно присуждена Ленинская премия.

И снова к книге Михаила Шолохова обращаются советские читатели, пытливые сердца далеких друзей, и ищут в ней поддержки в собственных поисках композиторы и кинорежиссеры — художники, стремящиеся выразить свою эпоху всеми средствами искусства.

ЖАН КАТАЛА



Роман-трагедия и роман-поэма

Дать свое истолкование русского романа, да еще на родине писателя, может показаться дерзким замыслом со стороны француза. Несмотря на годы, прожитые в СССР, и на знакомство с творчеством Михаила Шолохова¹, автор этих строк не берется истолковывать «Поднятую целину». Он хотел бы просто поделиться теми мыслями и чувствами, которые вызывает этот советский роман у француза. Его точка зрения неизбежно будет односторонней и представляет интерес лишь как свидетельство. Свидетельство восхищенного читателя.

1. СОВРЕМЕННАЯ ТРАГЕДИЯ

При чтении «Поднятой целины» перед вами открывается реальный мир. Пусть вы не обладаете личным опытом, позволяющим судить о документальной правдивости того, что изображено в книге: великие писатели заставляют нас верить им. Читатель видит перед собой предметы, людей, события, которые живут собственной жизнью. Читатель попадает в мир не выдуманный, а живой, подчиняющийся той же внутренней необхо-

димости, как и мир, в котором мы живем, и он населен героями, обладающими, как и мы, внутренней логикой своего существования.

И этот мир романа оказывается трагическим миром. Страницы прошлого воскрешают картины насилия и кровопролитий: самоубийство Евдокии и великолепный рассказ о страшной мести Аржанова. Сюжет развивается от убийства к убийству, удавшемуся или нет, но описанному с одинаково жестокой правдой: убийство Хопровых, бабий бунт, умерщвление матери Яковом Лукичом, выстрел в Нагульнова, смерть Тимофея Рваного, расправа с заготовителями скота. Действие романа завершается гибелью главных действующих лиц, как «злодеев», так и «героев», смертью Лягьева и Половцева, убийством Давыдова и Нагульнова.

Подобное нагромождение ужасов вызывает в памяти шекспировские трагедии. Еще одна деталь подкрепляет сравнение: в «Поднятой целине» происходит непрерывное сплетение комического с трагическим. (Я позволю себе здесь маленькое отступление. Часто приходится слышать, что смех труднее «переходит границы», чем драма. Но у Шолохова комизм достигает таких грандиозных размеров, что напоминает французскому читателю, вплоть до деталей, которые некоторым не в меру стыдливым критикам кажутся грубыми, смех Рабле.)

Но, в сущности, роман Шолохова вызывает в памяти не столько шекспировскую трагедию, сколько античную. И прежде всего по своей композиции.

Шолохов отводит деду Щукарю роль античного хора, роль антигероя, пережившего

¹ Основные произведения Михаила Шолохова переводились на французский язык по мере их появления, часто почти сразу после выхода в свет: «Тихий Дон» в переводе Василия Сухомлина вышел в 1936 г. в издательстве Пайо (в 1959 г. издатель Жюльяр предпринял новое издание романа в переводе Антуана Витеза — вышли три из восьми намечаемых томов); первая книга «Поднятой целины» в переводе Алис Оран и Жоржа Ру вышла в 1937 г. в Москве; мною переведены «Судьба человека» в 1957 г. (журнал «Эроп»), «Они сражались за Родину» в 1959 г. (издатель Жюльяр) и вторая книга «Поднятой целины» в 1960 г. (журнал «Произведения и мнения»).

всех героев романа, роль свидетеля, который находится все время на сцене, комментируя события с точки зрения «простого смертного», далеко не всегда понимая то великое, что свершается у него на глазах, и объясняя его на своем сочном языке с легкой пронней простачка.

Аналогии в подтексте еще более поразительны. Читателю хотелось бы, чтобы романист пощадил своих героев, чтобы у книги был счастливый конец. Нам бы тоже хотелось, чтобы Антигона удачно вышла замуж и чтобы Прометею удалось скрыться от мести богов. Но чудодейственное спасение Давыдова и Нагульнова прозвучало бы фальшью в «Поднятой целине». Они гибнут по логике событий, а не по злой воле автора, они гибнут, потому что того требовали дело, жизнь, борьба классов. Таков закон трагедии, и Шолохов следует ему, верный правде жизни.

И так же, как в трагедиях Эсхила или Софокла, герои погибли, чтобы История могла свершиться, погибли, чтобы Новое восторжествовало над Старым. Но здесь есть одно различие, и весьма существенное. Герои античной трагедии погибали, потому что они были жертвами судьбы, она действовала помимо них. Герои Шолохова сами творят судьбу. Антигона и Прометей пали жертвами в борьбе между Старым и Новым. Давыдов и Нагульнов сознательно жертвуют собой во имя Нового. Их могила на площади в Гремячем Логе — это могила не побежденных, а победителей, героев, не только павших во имя того, чтобы свершилась История, но и творивших свое великое дело, которое называется — История.

Хотел ли Шолохов воссоздать греческую трагедию? Не знаю. Возможно, мое сопоставление покажется нелепым. Но одно бесспорно: он воссоздал трагедию. Это доказывает не только то, что автор сумел продолжить традицию, восходящую к вершинам человеческой культуры. Это доказывает главным образом то, что новый метод, метод социалистического реализма, позволяет возродить в сегодняшнем романе старый жанр, который, казалось, давно умер, — казалось потому, что многие великие писатели разных стран пытались безуспешно его возродить.

Создав «Тихий Дон», Шолохов создал эпопею новых времен. Написав «Поднятую целину», Шолохов создал современную трагедию.

2. ПОЭЗИЯ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Рисуя образы представителей совершенного человечества, античная трагедия выводила на сцену героев из среды великих мира сего — царей или полубогов, — и они говорили стихами.

В «Поднятой целине», как, впрочем, и в других своих романах, Михаил Шолохов рисует образы простых смертных, тех, что были рядовыми армии, осуществлявшей коллективизацию. Но в этом «человеке из массы» он сумел выделить ростки нового человечества. Роман, написанный прозой, весь залит поэзией, которая не приукрашивает трагедии, а как бы продолжает ее, освещает ее со всех сторон.

Михаил Шолохов никогда не идеализирует своих героев. Но верность жизненной правде проявляется у него прежде всего в умении найти искру человечности даже в самых темных душах, ибо искра человечности открывает непостижимые глубины поэзии в сердцах людей. Чаще всего это не более чем жест, или фраза, или не к месту вставленная реплика, но эти детали так насыщены сдерживаемым волнением, в них столько неподдельного чувства и они так хватают за душу, что бывает достаточно одного штриха, чтобы озарить весь характер того или иного персонажа. Вспомним жест Нагульнова, возвращающего Лушке ее кружевной платочек, или горечь Шалого, что бог не дал ему детей, или прощальные слова Лушки над телом убитого любовника...

Иногда деталь вырастает в целую картину. Тогда появляются знаменитые лирические описания Шолохова — тысяча и один пейзаж степи или хутора, — нарисованные не ради описательства, но как отражение состояния души, как продолжение внутреннего мира героя (например, Разметиев на кладбище или Нагульнов над телом Тимошки — одни из лучших страниц романа); эти блестящие описания настолько хороши, что именно их переводить значительно труднее, чем самый «характерный» диалог, ибо на этих страницах зрительные, слуховые, обонятельные и осязательные восприятия сливаются воедино с движением сердца, образуя причудливую полифонию.

Но наиболее интересный прием заключается, несомненно, в том, что писатель пользуется комическими деталями, чтобы вскрыть внутреннюю поэзию своих героев. В этих комических деталях не сразу улав-

ливаешь волнующую черту, заключенную там: сначала замечаешь лишь неудержимую фантазию автора. Характерен в этом отношении эпизод с петухами — страсть Макара к пению петухов доводит его до экстравагантных поступков, но такая страсть открывает в этом рубаке затаенную душу музыканта.

Такой персонаж, как дед Щукарь, весь построен на этом принципе. Некоторые критики упрекают Михаила Шолохова, что дед Щукарь занимает в романе непропорционально большое для своей роли место. Если бы я склонен был упрекнуть в чем-нибудь Шолохова, так это скорее в том, что есть сцены в романе, где поэзия как бы замирает. Так, эпизод с уничтожением хуторских кошек Разметновым несколько теряет оттого, что невольно напоминает историю с петухами; любовь Давыдова и Вари оказалась мне холодноватой. Но я прошу пощады деду Щукарию. Во имя поэзии!

Кто такой дед Щукарь? Болтун, потому что он упивается словами. Враль, потому что ему хочется подкрасить действительность. Всегда и во всем одуроченный, потому что он чист, как дитя. Сам того не сознавая, он родился поэтом. И моментами он приближается к подлинной поэзии. Вспомните его размышления в Червонной балке, размышления о природе, о смерти. Вспомните особенно его чудодейственное чувство слова, когда он придумывает не только новые слова, но и придает новый смысл словам, потому что способен извлечь жар поэзии из самой, казалось бы, прозаической вещи: из словаря... Не надо дурно говорить о деде Щукаре; в него Шолохов вложил способность угадывать чудесные качества в сердцах простых людей.

Поэзия и политика нераздельны в «Поднятой целине». Поэзия, которая светит героям романа, вытекает из той цели, к которой они стремятся, в которую вкладывают свои надежды. И эта цель служит порукой тому, что искра поэзии не угаснет. Глубочайшая внутренняя поэзия героев романа это не только та, что они таят в себе, — это поэзия того, что они творят, поэзия будущего, которое рождается в будничной работе и предвещает то время, когда «машина будет все тяжелое работать за человека» и «люди позабудут, наверное, запах пота», как об этом мечтает Давыдов, который с виду меньше всех напоминает

поэта, но в своих ментах глубоко поэтичен.

Оба вида поэзии — та, которую герои таят в себе, и та, которую они творят, — неразрывны между собой. Ибо, творя, эти люди развивают то, что несут в себе. Творя историю, они создают самих себя. Кузнецы будущего, они являются в то же время и ростками этого будущего, начальным прообразом человека будущего, который овладевает «своей всесторонней сущностью». Эти глубокие слова Маркса невольно напрашиваются в текст, потому что герои «Поднятой целины» — это «целостный человек» будущего на первом этапе социалистического общества. Революция родила в этом человеке искру поэзии, которую открывает нам Шолохов. И победа коммунизма превратит эту искру в пламя.

Кого рисует «Поднятая целина»? Русского человека? Или, может быть, «вечного» человека? Оба понятия устарели сегодня. Ибо русский человек Шолохова стал советским человеком. А понятие «вечного» человека потеряло всякий смысл после 7 ноября 1917 года. С этого дня рядом с человеком, которого некогда считали «вечным», появился новый человек, освобожденный от своих цепей, человек, который наконец сможет выполнить свое человеческое призвание на земле. Поэзия «Поднятой целины» освещает первые шаги восхождения этого нового человека. Именно это придает трагедии ее всемирное значение и делает из романа-поэмы книгу для всего человечества.

3. МНОГООБРАЗИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

«Поднятую целину» следует читать одним дыханием, так как каждая из двух книг освещает другую. Тем не менее между ними существуют различия, и этого нельзя не заметить.

Первая книга построена по типу классического романа. Рассказ о событиях не прерывается никакими дополнительными эпизодами, которые могли бы перегрузить его. Диалог служит лишь средством обрисовки персонажей или созданию необходимой атмосферы. Действие развивается поступательно, и возвраты в прошлое встре-

чаются лишь для объяснения происходящего.

Вторая книга романа на первый взгляд не обладает столь строгой архитектурой. Возвраты в прошлое представляют собой подчас целые рассказы «на полях действия» — повесть Аржанова, например. Автор как бы «забывает» остановить своих не в меру разговорчивых героев — Шалого или деда Щукаря. Некоторым вспомогательным эпизодам отведено несравненно больше места, чем ключевым событиям, — нелепые выходы Нагульнова занимают значительно больше страниц, чем его гибель. Но как только вы попытаетесь изъять эти обманчивые «длинноты», внутренняя необходимость их присутствия сразу становится ясной. Подобные «нарушения» установленных канонов композиции преследуют определенную цель: они придают больший накал драматическим событиям или, гораздо чаще, помогают лучше показать человека прямо в жизни, глубже заглянуть в его сердце, воссоздать человеческую действительность наиболее выпукло, как бы физически осязаемо.

В двух книгах романа мы сталкиваемся с двумя разными подходами к отображению действительности: первый делает упор на композицию, второй стремится передать непосредственную данность; первый лучше воссоздает картины целого, второй лучше передает детали. Несмотря на кажущуюся небрежность, второй способ прекрасно дополняет первый, более того, он позволяет Шолохову вернуться во второй книге к ситуациям первой (Давыдов на пахоте или Щукарь на собрании), но автор не повторяется, он углубляет и по-новому освещает сцену. Архитектоника всей книги напоминает симфоническое крещендо. И именно в этом эмоциональном нарастании и состоит внутреннее единство романа.

А ведь первая книга романа была написана по горячим следам событий, а вторая — на известном историческом расстоянии. Иначе говоря, Шолохов удалось осуществить двойной парадокс. На основе злободневных материалов Шолохов написал роман, сумев подняться над массой фактического материала, как того достигают лучшие из исторических романов.

А тридцать лет спустя он сумел передать в романе кипение жизни более близко, чем в тот момент, когда оно происходило.

Проблема «исторической дистанции» дискутируется во всех странах. Своим романом Михаил Шолохов дает наглядный урок. Он показывает, что настоящий роман может быть создан и без «исторической дистанции» и что эта дистанция может одновременно сыграть свою роль, правда, не в том смысле, как это принято считать, так как гений писателя проявился именно в том, что он сумел в тридцатых годах преодолеть пестроту событий, которые были у него перед глазами, и в том, что в 1960 году он сумел восстановить их во всей своей свежести, когда они сохранились только в памяти.

Своеобразие второй книги вызывает еще одно замечание. Если рассматривать только внешние признаки романа — большая свобода композиции, рельефная осязимость реального мира, подчеркнутое внимание к темным сторонам сознания, — то французский теоретик школы «нового романа» склонен был бы приписать Шолохову свои собственные поиски. (Я даже вижу подобного теоретика, обнаруживающего «сюрреализм» словесных изощрений деда Щукаря, когда старик на свой лад определяет значение слов «акварель» или «бордюр»...) Так как похожие черты встречались и в романе «Они сражались за Родину», отсюда недалеко сделать еще один шаг и превратить Шолохова в «модерниста».

Но это будет неверный шаг. Движение от первой ко второй книге «Поднятой целины» — это путь внутри одного и того же метода. Художник отражает не разрываемую противоречиями действительность и не разрываемого противоречиями человека, но человека и мир, идущих к коммунизму. «Поднятая целина» показывает бесконечное разнообразие средств, которыми располагает писатель благодаря методу социалистического реализма, чтобы проникать глубже в эту развивающуюся действительность и в сердце человека. Путь Михаила Шолохова подтверждает еще раз бесконечные возможности обновления, которые дает писателю метод социалистического реализма. Если это, конечно, большой писатель...

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

★

На экране

Кинорежиссер, получивший возможность поставить фильм «Поднятая целина», может почитать себя счастливецем. Такой подарок от жизни получил я. Но не я один, вся съемочная группа студии «Ленфильм», весь коллектив, причастный к производству этой ленты, — от шоферов, водивших наши машины по окрестностям станции Каргинновской, где происходили натурные съемки, до известных артистов, снимавшихся в главных ролях, — все были захвачены своей работой. Две серии «Поднятой целины» (каждая серия по две тысячи семьсот метров) были сделаны за десять месяцев — срок в нашей кинематографической практике небывалый. Мы работали в таком запале, с таким азартом, что сами не заметили, как все было готово.

И вот сейчас, на пороге съемок третьей — и последней — серии картины, пытаюсь ответить на вопрос о причинах такого воодушевления, я снова и снова обращаюсь к первоисточнику — к роману Шолохова.

Как во всяком подлинном произведении искусства, так и здесь каждый человек находит для себя нечто очень близкое. Каждому человеку кажется, что здесь угадано, написано и про него, про то, что он сам видел в жизни, о чем думал, что чувствовал, на что надеялся, из-за чего страдал или радовался... Так было и со мной в тот давний день, когда я впервые открыл первую страницу «Поднятой целины». Учился я тогда в Коммунистической академии, но сразу вспомнил гражданскую войну: в бытность мою комиссаром полка мне довелось много времени провести на Дону. Казачество — народ своеобразный, сильный, волевой. Те из казаков, которые сражались за Советскую власть, дрались с невероятной отвагой и невиданным ожесточением, для них не существовало ничего, кроме того дела, за которое они пошли на бой, на смерть...

Когда началось в тех краях строительство Советской власти, строительство новой жизни, какие сложные переплетения человеческих взаимоотношений возникали там на каждом шагу! Чуть ли не на каждом хуторе столкнулись люди, пришедшие из

Красной Армии, и те, кто либо отсиживался в своих хатах, либо воевал на стороне контрреволюции. Почти в любой семье возникали сложные, драматичные конфликты. И вот вышла первая книга «Поднятой целины». Вся сложность, вся драматичность времени вставала со страниц этого романа, написанного с той бесстрашной правдивостью, которая всегда была свойственна русской классической литературе. Поражала также живописная щедрость писателя, «избирательность» его глаза, умеющего отыскать в массе характеров, судеб, индивидуальностей самое главное, самое типичное...

Во второй части романа, которая принесла читателю много неожиданных, но почти всегда радостных открытий, в центре книги оказался духовный рост героев. И пусть иногда кажется, что Шолохов чем-то «вдруг» увлекается и, скажем, Щукарю уделяет слишком много внимания, появившаяся во второй книге «Поднятой целины» «детализация», интерес Шолохова к подробностям, — результат большого труда.

Для читателя, который горячо полюбил Давыдова и Нагульнова — а их полюбили все, кто знает книгу, — личным горем, личной потерей является финал «Поднятой целины». Но вдумайтесь в логику жизни этих героев, представьте себе всю их преданность делу партии и всю силу ненависти к ним враждебного класса, и вам станет ясно, что конец романа неслучаен.

События второй части «Поднятой целины» развиваются чрезвычайно стремительно. Год острейших столкновений, год, когда всякие полководцы стремились использовать «перегибы» в советской деревне для разжигания недовольства, когда им порой казалось, что поднять восстание казачества ничего не стоит, — в это время классовая борьба в станицах была еще в разгаре. Недаром Нагульнов говорил, что он чувствует себя как на фронте. Давыдов ясно понимал, и Шолохов сумел это показать с удивительной наглядностью, что линия партии побеждает и победит непременно. Но кто, как не первые коммунисты-станичники, были готовы пойти на смерть ради победы своего дела?!

То действительно была смерть, попирающая смерть! За гранью этой трагической и величественной смерти героев «Поднятой целины» вы ясно различаете победу новой жизни.

Идея, герои, события романа не могли не привлечь симпатии кинематографистов. Всегда мечтаешь о такой книге как об основе будущего сценария для создания фильма о нашем времени.

«Поднятая целина» Шолохова рассказывает о событиях тридцатилетней давности, но она и сегодня необыкновенно современна, ибо в ней видно, как формируются психология и характер нового, советского человека. По «Поднятой целине» не только изучают историю тех лет. Мне привелось как-то прочитать в румынском журнале открытое письмо крестьян Шолохову; они рассказывали писателю, что на его книге учатся строить обновленное сельское хозяйство, так как и в их жизни есть те же явления, что описаны в «Поднятой целине», — те же узлы, которые приходится то терпеливо распутывать, то решительно разрушать.

Для сегодняшнего школьника события романа — исторические события. Для нашего поколения — середина жизни. Но для любого из нас сегодня — и это самое главное — «Поднятая целина» современна характерами, мыслями, страстями, тем, что обращена она в будущее, зовет к борьбе за него.

При воплощении романа в фильм хотелось прежде всего показать огромную историческую роль партии в переустройстве сельского хозяйства, в переводе его на рельсы социалистического земледелия. Хотелось сохранить атмосферу, в которой живут и работают герои Шолохова, показать эту маленькую ячейку энтузиастов, людей, беззаветно преданных делу партии, — Нагульнова, Разметнова, Давыдова.

Не умею рассказать, как близки и дороги мне эти люди. Ведь я их знал задолго до чтения романа. В первую мировую войну я был в одних окопах с такими солдатами. В гражданскую войну прошел с такими же красноармейцами пол-России.

Сколько видел я среди однополчан таких, как Макар Нагульнов! Был у нас черноморец — матрос Щербаков, комиссар бригады. Страстный оратор, он говорил с точности как Нагульнов — не совсем по-

нятно по отдельным фразам, совершенно ясно по смыслу. Его ненависть к мировой буржуазии, к белым генералам, готовность к любым испытаниям во имя победы Советов зажигали сердца, вливали силы в измученных людей. Они шли за своим комиссаром и верили ему беззаветно.

Как родной человек, дорог мне и Давыдов. И он знаком мне не умозрительно, не по книгам. Среди товарищей отца — слесаря мастерских Варшавской железной дороги — было много таких питерских рабочих, преданных революции до последнего дыхания. В революции видели они смысл своей жизни, в служении делу партии полагали свое единственное назначение. Был у нас там в мастерских весовщик Ассоров — начальник красновардейского рабочего отряда. Ему я обязан приобщением к партийно-массовой работе, знакомством с теми, кто, как Давыдов, считает, что жить — это значит быть с людьми, работать с ними и для них.

Давыдов — человек творческий: он творит, формирует внутренний мир окружающих и свой собственный, он помогает становлению характеров; это настоящий коммунист, партийный работник, организатор масс, человек большой сердечности и душевной красоты. Жизнь и Шолохов одарили меня встречей с такими людьми. Работа дала мне счастливейшую возможность показать этих выдающихся людей нашего времени на экране.

Долго выбирали мы артистов на главные, да и не только на главные, роли. Ведь это очень ответственно: когда экранизируешь роман, который обрел всенародную популярность, когда ты понимаешь, что каждый зритель по-своему представляет себе Давыдова, Нагульнова, Лушку, — очень страшно обмануть его ожидания, «разойтись» с Шолоховым.

На роль Нагульнова пробовался пять человек. Выбор пал на артиста Малого театра Е. Матвеева. Матвеев приезжал к нам на студию пробоваться на роль Давыдова. Отсняли мы пробу: хорош! Хорош Давыдов, но... чего-то в нем не было «давыдовского». Чего? Над таким вопросом часто бьются постановщики, когда видят, что исполнитель удовлетворяет всем требованиям, а «чего-то» не хватает, чуть-чуть не то... И вот когда мы поняли, что нашему Давыдову не хватает уверенности, выдержки, спокойной души, мы вдруг разглядели,

почувствовали «нерв» Нагульнова в том, что только что играл Давыдова.

И тут выяснилось, что уже давным-давно Матвеев страстно стремится сыграть Нагульнова...

Среди многих претендентов на роль Давыдова мы остановились на кандидатуре артиста МХАТа П. Чернова.

Оказалось, что талантливому актеру очень близок сам тип Давыдова: артист не понаслышке знал людей, которых учила сама жизнь, — людей, которые вырастали в крупных партийных работников, деятелей Советского государства, набираясь знаний вместе с жизненным опытом.

П. Глебов, снимавшийся в «Тихом Доне» в роли Григория Мелехова, у нас, в «Поднятой целине», играет Половцева. В «неожиданной» роли индивидуальность актера заиграла новыми гранями, и новые краски появились на его палитре.

Шесть «Лушек» прошли перед кинокамерой на предварительных съемках. Все исполнительницы очень старательно играли Лушку, стремясь уверить в развязности и тому подобных качествах героини, как они сами ее себе представляли. В пробах было много хорошего. Но никак не обнаруживалась та естественность поведения, та сила женской притягательности, которые присущи этой героине романа. Актриса горьковского Театра драмы имени Горького Л. Хитяева, придя на пробу, ничего не «играла», и, тем не менее, она сумела передать органическую живость, задиристость, «чертовинку» Лушки.

Шолохов существенно помог нам, указав место для съемок.

— Поезжайте в станцию Каргиновскую. Она сохранила облик станций тех лет. Вероятно, это вам подойдет.

Мы приехали туда в декабре. От Миллерова пришлось добираться на машине сто тридцать километров. Дороги, мягко выражаясь, не самые лучшие на свете. Встретил нас «весь район», все его руководители изъявили полную готовность помочь нам всем чем угодно, лишь бы успешнее шла экранизация «их» «Поднятой целины». Роман этот они все считают «своим». Имя Шолохова — ключ, открывающий все сердца. Все, что связано с его произведениями, вызывает гордость, сочувствие, готовность помочь...

Три экспедиции — зимняя, весенняя и летняя — позволили нам сделать все натурные съемки. Работа в павильонах на ленинградской студии проходила также в очень хорошем темпе. В станции нас консультировала сама жизнь, сами казаки и казачки. В Ленинграде нам очень помогли советы филолога Светланы Михайловны Шолоховой — дочери писателя, преподавателя Ленинградского университета.

И вот завершена работа по созданию двух серий «Поднятой целины». Скоро будет, очевидно, запущена в производство третья серия фильма. Летом мы будем работать на природе, осень и зиму — на студии, и в начале будущего года на экранах должна появиться заключительная часть картины, навеянной книгой Шолохова. Наша главная забота — быть возможно ближе к его произведению, к его сердцевинным идеям.

ИВАН ДЗЕРЖИНСКИЙ

★

В музыке

Советский народ говорит о Михаиле Александровиче Шолохове: «наш Шолохов». Наш — близкий нам своими мыслями, созданными им образами и той художественной формой, в которую он облачает свои сочинения. Его творчество обладает удивительной и естественной притягательной силой для людей почти всех областей ис-

кусства. Художники, кинематографисты, артисты, певцы и дирижеры — каждый, кто в своей работе соприкоснулся с произведениями Шолохова, становится его «спутником». И как бы ни были самостоятельны и талантливы создания кино, музыки, сцены, графики — создания, навеянные сочинениями Шолохова, — источник их всегда творче-

ство писателя. Животворящая сила его слова такова, что она рождает вдохновенно, желание работать, творить у многих и многих людей. Среди них и мое место — композитора, автора опер «Тихий Дон», «Поднятая целина» и «Судьба человека».

С Шолоховым связана вся моя творческая жизнь...

В 1932 году, когда я впервые прочитал первую книгу «Тихого Дона», у меня сразу зародилась мысль об опере. Мысль, конечно, была дерзкой. Двадцатитрехлетний студент Ленинградской консерватории, я не имел никакого опыта в создании «крупных музыкальных форм». Моя работа в ТРАМЕ, где музыкальной частью заведовал тогда Дмитрий Шостакович, «подвигнувший» меня на сочинение музыки к оперетты о молодежи Кировского завода — «Зеленый цех», не могла, конечно, считаться необходимой подготовкой для сочинения оперы. Но образы романа, необыкновенно ясные, простые и поэтичные описания природы тянули меня к себе, как магнит. «Тихий Дон» уже жил, звучал во мне, и если б даже я захотел, то все равно не мог бы «выбросить» его из своей души. Ночью уходил я бродить по переулкам и улицам Ленинграда, и все мне представлялось и «слышалась» донская степь, Аксинья, Григорий, дед Сашко... Образы звучали, начинали жить самостоятельной жизнью, требовали исхода. Я стал писать музыку «стихийно», не имея либретто, по собственному разумению тех сцен, которые мне особенно понравились. Все начиналось со сцены возвращения Григория с фронта, с его встречи с дедом Сашком. Пронграл написанное товарищам и брату Решили, что увлечение мое серьезно, надо продолжать.

И тут я понял, как трудно «продолжать»; опера не могла передать, вместить все содержание «Тихого Дона». Роман никак не «помещался» в рамки партитуры. Он был, конечно, шире, вольнее, глубже, больше насыщен событиями, мыслями, описаниями; он вел за собой читателя по тихому Дону и по дорогам войны, он менял время и место действия в органическом соответствии с правдой и логикой жизни. А я был скован требованиями музыки и оперы — жанра искусства куда более условного, чем роман, я не мог, хоть и хотел, точно следовать за Шолоховым. Как человеку, влюбленному в произведение Шолохова, мне было трудно: что ни выбрось — все жалко, все кажется

необходимым, нужным... И все-таки пришлось от многого отказываться. Все это, особенно новый финал, очень волновало: как отнесется Шолохов ко всем этим «вольностям»?

В таких сомнениях прошло почти три года. Три года работы над оперой. Когда вчерне она была готова, я показал ее Шостаковичу, и он позначил меня с Самосудом, тогда главным дирижером Малого оперного театра в Ленинграде — театра, который по справедливости называли лабораторией советской оперы. Там в 1935 году «Тихий Дон» увидел свет рампы.

Но не менее серьезное испытание было впереди. Я говорю о встрече с Шолоховым. Сегодня могу сказать, что это был один из самых значительных дней моей жизни. И теперь помню свое тогдашнее волнение.

Шолохов назначил мне встречу в Москве, в гостинице. Было приятно увидеть в нем внимательного собеседника, человека простого, дружески расположенного к людям. Его простота была лишена нарочитости, дружеские не было показным. А сыграв сразу всю оперу на скромном гостиничном пианино и спев все партии, я убедился еще и в том, что Шолохов обладает незаурядным терпением: ни разу за три часа этого «показа» он не прервал меня. Я ожидал «разноса» за своевольные — за новый финал и другие изменения. Но разговор пошел по иному пути.

Мы заспорили. Михаил Александрович считал, что в оперу надо ввести подлинные казачьи песни. Я возражал и как умел доказывал, что композитор должен только отталкиваться от подлинного народного творчества, но идти своим путем, создавать самостоятельные мелодии, гармонии и ритмы. Наш спор затянулся. И не на час, на два. Когда «Тихий Дон» был поставлен в Большом театре Москвы, Шолохов неожиданно приехал на премьеру с самостоятельным казачьим хором, чтобы его песни доказали мне мою неправоту.

Кончился спектакль. Мы собрались в фойе. Казачи сделали несколько замечаний о бытовых деталях. «Ну, а как вам музыка?» — спросил Шолохов. Один старик ответил: «У нас так не поют». Шолохов посмотрел на меня, как победитель. Тут казак продолжил: «Но здесь, пожалуй, получше, чем у нас». Все засмеялись. Шолохов, по-видимому, согласился, что музыкальное творчество имеет свои законы, и захотел, чтобы я

прнехал к нему в Вешенскую. «Вот я тебе покажу наши песни, наши пляски. Может, ты и передумаешь тогда... А пока что ж: роман — мой, опера — твоя. Многие не совпадает, но ведь и авторы разные...»

Приглашение в Вешенскую подоспело кстати. Задумывалась новая опера — «Поднятая целина». Как в случае с «Тихим Доном», едва вышла первая книга «Поднятой целины» — она захватила меня. Она поражала той же правдивостью и тем же знанием жизни. Казалось, что писатель знал о жизни в с.е. И хорошее и скверное. И доброе и злое. И прекрасное и уродливое. Знал все и любил ее, эту жизнь, и воспевал ее «сегодняшний день» — трудный, яростный и счастливый. Возникла уверенность, что автор — свидетель всех событий, что они происходили на его глазах, что Нагульников, Разметнов, Давыдов — его личные друзья, что он с ними пуд соли съел и вместе с ними строит сейчас новую станичную жизнь и новые человеческие взаимоотношения.

Макар Нагульников Та же стихийная сила, тот же огромный запас неистраченной энергии, тот же порыв, активность и природный ум, как у Чапаева. Пусть он не может еще многого объяснить, пусть не на все вопросы готовы у Нагульнова ответы. Но он силен своей непосредственной верой в то единственное дело на земле, которое заслуживает веры, — в дело коммунистов. Таково было первое ощущение при знакомстве с Макаром. Вероятно, как многие и многие читатели, я полюбил его сразу и навсегда. Меня трогала его треклятая, несчастная любовь к Лушке — такая чистая и постоянная, что, казалось, она может даже Лушку сделать возвышенной. Трогательны были и его занятия английским языком, и его жажда знаний, и его наивные представления о мире сложных понятий. И над всем — убежденность, идейность, человечность образа.

Прекрасно понимаю, что Макар Нагульников — художественный образ романа, я не могу относиться к нему иначе, чем как к живому человеку. Когда во второй части «Поднятой целины» я вдруг увидел Макара тоскующего, неуверенного, то испугался за него, как за своего близкого знакомого. «Куда ведет его Шолохов?» — думалось мне. — Неужто писатель допустит, чтоб мой любимец опустился и так и пропал?» Эти мысли были настоячиы тем более, что

описания унылых дней Макара были на редкость убедительными.

И вот снова Давыдов вторгается в его жизнь, и снова оживает Макар Нагульников. Поистине, в этом человеке — в коммунисте Давыдове — бьется некий живогворный источник.

Давыдов и в первой и во второй части «Поднятой целины» — и не между частями, как это порой бывает в книгах наших писателей, а на страницах каждой части — меняется. С годами он становится все человечнее, мудрее. Он многое видел, многое передумал, многое понял.

Поразительно скупа на слова не склонная «выяснять отношения», но по-мужски суровая и по-солдатски верная дружба Давыдова и Нагульнова. Она вызывает чувство восхищения писателем, который сумел так показать духовную связь двух коммунистов, борющихся за одно дело.

Вспомним еще — да нет, не вспомним, а ее и забыть невозможно даже с одного чтения — любовь Давыдова и Варюхи-Горюхи. Эта девушка, с ее первым чувством, с ее нецелованными губами» и заплаканными от горя и злости из-за якобы неразделенной любви глазами, — живое олицетворение юности, символ жизни. Символ? Нет, она сама жизнь, ее самое начало — робкий, но сильный росток, неуклонно пробивающийся к солнцу. Она совсем земная. И необыкновенно возвышенная. Считают, что Варюха — неожиданность в творчестве Шолохова. Неправда! Да, такого образа у писателя еще не было. Но его появление не неожиданно. В нем, в этом образе, если угодно, «вечная идея» Шолохова: торжество жизни, молодость, весна как ее вечное обновление.

Я уже упоминал, что, когда вышла первая часть «Поднятой целины», я решил писать на ее основе оперу и поехал по приглашению Шолохова в Вешенскую.

По дороге из Миллерова в Вешенскую надо было проехать по степи около ста восьмидесяти километров, и здесь я до конца понял, какой непревзойденный пейзажист Шолохов. Я видел взлетающих орлов, слушал пение птиц и стрекот кузнечиков, вдыхал запах степного ветра. Я отдыхал среди густого ковыля. Совершенно невольно приходили на память шолоховские описания.

Посадки с Шолоховым по окрестностям, иногда довольно далеким, явились для ме-

ия «донскими университетами»: здесь мне яснее стали пути художественного творчества. В каждой станице мы встречались с людьми, удивительно напоминавшими и Григория Мелехова, и Аксипию, и деда Сашку, и Нагульнова, и Разметнова, и Щукаря, и Лушку. Почти в каждой станице оказывалась эдакая «станичная Кармен», которая могла быть прототипом Лушки. Каждый словоохотливый, остроумный старик (а здесь таких бесчисленное множество) уверял меня, что Щукарь написан с него. Каждый хотел мне помочь и посылал то в одну станицу, где «живет Аксинья», то в другую, где можно заставить «живого Макара Нагульнова».

Нигде их не было и не могло быть. Шолохов никого не «цитировал»: художнику «цитаты» и не нужны. Он просто любил людей, жил жизнью своих героев — жизнью народа, постоянно разговаривал с ним и умел не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и услышать. Он жил и живет среди этих людей, они естественная «питательная среда» его таланта, его фантазии, его воображения.

На своем знаменитом тогда во всей округе «газике» Шолохов возил меня по берегам тихого Дона. Он, никогда не пользовавшийся записными книжками при встречах с людьми, хотел, чтобы я брал с собой потную бумагу — записывать подлинные песни казаков. Бумагу я не брал, но мелодии запоминал. И они много пользы принесли мне, когда я работал над «Поднятой целиной» — второй оперой, навеянной вторым романом Шолохова...

А теперь только что закончена третья опера — «Судьба человека». И ею я обязан Шолохову.

Радость читателя и композитора слились воедино. едва я соприкоснулся с повествованием о судьбе Андрея Соколова. И сначала казалось, что нет ничего проще, чем воплотить короткую повесть в либретто. Но когда мой брат Леонид Дзержинский начал работать над либретто, мы с ним убедились, что именно с этим произведением «шутки плохи». Оно на каждом шагу

доказывало нам, что за такого автора, как Шолохов, ничего нельзя додумывать и придумывать. «Тут все написано», тут ничто нельзя «подогнать» под привычные театральные каноны, тут либо надо идти новыми колеями, либо вовсе отказаться от затеи.

Так проплутав вокруг повести более года, либреттист и я вынуждены были отказаться от мысли, которая нам так полюбилась: мы не нашли оперного ключа к новому шолоховскому произведению.

Легко сказать — «отказаться!» От Шолохова не откажешься: его образы вцепляются в твою душу, сростаются с ней, забыть их нельзя, освободить от них творческую фантазию невозможно. И снова мучения, раздумья, поиски.

Так появилась идея создания образа Андрея Соколова как главного действующего лица и как рассказчика. Сложился план музыкальной драмы, где Соколов не только поет, но и говорит на музыку, и просто ведет рассказ перед началом каждой из трех частей будущего спектакля.

И теперь я снова волнуюсь, как когда-то, почти тридцать лет назад, перед первой встречей с Михаилом Александровичем. Весной я должен снова поехать в Вешенскую. Что-то скажет Шолохов о моей новой опере?

Но как бы там ни было, я счастлив, что мне удалось в своей жизни написать музыкальную трилогию по произведениям Шолохова.

Творчество Шолохова — явление исключительной значимости не только в русском современном искусстве, но и во всей мировой литературе. Мне думается, что об авторе «Тихого Дона», «Поднятой целины», «Судьбы человека» потому советские люди говорят «наш Шолохов», потому стал он народным писателем, что в нем соединились огромный талант и совершенное знание души русского человека. Писатель много думает, долго вынашивает свои произведения. Поэтому, наверно, в них столько глубины и столько силы.

И. П. В. Шолохов.



А. СИНЯВСКИЙ

★

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА ОЛЬГИ БЕРГГОЛЬЦ

Поэзия Ольги Берггольц, может быть, самая трагическая в современной советской поэзии. «Трагедия всех трагедий» нашла в ней острое, безжалостное выражение. Испытания ленинградской блокады, страшные утраты военного времени оставили в жизни поэта столь глубокие следы, что они никогда не сотрутся, они породили ту повышенную чувствительность к чужой беде, к чужому страданию, какой обладают люди, лично пережившие очень большое горе.

Старуха мне сказала:— Раздевайся, напьемся чаю,— вон, уже кипит.
А это — внучки, дочки сына Васи,
он был под Севастополем убит.

А Миша — под Японией... —

Старуха
уже не плакала о сыновьях:
в ней скорбь жила бессрочно, немо,
глухо,
как кровь и как дыханье,— как моя.

Но печаль, даже вошедшая в плоть и кровь человека, неистребима, всепоглощающая, еще не рождает трагедии в точном смысле этого слова. Первое условие трагедии — величие страдающего. Трагедия появляется лишь на стыке скорби и силы и возбуждает не столько жалость, сколько восхищение, вызывает духовный подъем, нравственное просветление.

Таков трагический характер, встающий перед нами в полный рост в лирике Ольги Берггольц. Даже в те мучительные часы, дни, месяцы, когда все, казалось бы, твердит человеку лишь о гибели, когда «еще не бывшей на земле печалью, без слез, без слов терзается душа», — этот человек обнаруживает столь высокие и сильные чувства, что мы испытываем гордость за него и за-

висть к его судьбе, такой горькой и такой счастливой.

Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.

Безмерно счастье мое.

Я счастлива.

И все яснее мне,
что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета.

Примем во внимание, что все это говорится о самом тяжелом, о самом страшном времени в жизни человека, который не только сумел вытерпеть, пережить блокаду, но почувствовал тогда с наибольшей полнотой и свои собственные, внезапно пробудившиеся силы, и красоту окружающих, разделяющих эту участь людей. «Счастье» — вот то слово, которое, пожалуй, чаще всего произносит Берггольц, рассказывая о героической борьбе осажденного Ленинграда и находя в ней источник душевной энергии. Это — нелегкое, бурное, жестокое счастье, рожденное на краю смерти и словно перекликающееся с тем чувством восторженного самозабвения, о котором писал Пушкин:

Есть упоение в бою...

Недаром так близки по настроению этим пушкинским словам многие стихи и поэмы Ольги Берггольц.

...О девочка с вершины Мамиссон,
что знала ты о счастье?

Оно

неласково,

сурово и бессонно
и с гибелью порой сопряжено.
Пред ним ничто — всеселье.

Радость — прах.

Пред ним бессилен враг,
и тлен,
и страх,
оно несет на крыльях лебединых
к таким неугасающим вершинам,
к столь одиноким, нежным и нагим,
что боги позавидовали б им.

Стихи и поэмы Берггольц не поражают ни богатством и разнообразием поэтических форм, ни широтой словесного ряда, ни особыми находками в рифмах, метафорах и т. д. Больше того, с узко формальной стороны ее поэзия скорее однообразна, скупа. Ей свойственна аскетическая сдержанность в выборе и употреблении слов, подобная тем выступлениям ленинградцев в дни войны, которые, по определению Берггольц, звучали по радио, как «клятва, подтвержденная жизнью»: «Ни одного слова не сказал Ленинград всуе, каждое слово свое обеспечивал он всем достоинством своим — кровью и жизнью, и потому нет ни одного ленинградского слова, которое не сбылось бы сейчас».

Такова же поэтическая речь Ольги Берггольц — немногословная, четкая, нагая, более похожая на графику, чем на живопись, и порой живущая как бы на минимуме изобразительных средств, на скудном блокадемном рационе, на суровом военном режиме.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады,—
мы не покинем наших баррикад.

Стихи Ольги Берггольц держатся, на мой взгляд, не столько на словах, сколько на той интонации, с какой эти слова произносятся, интонации обостренно трагической и очень личной, идущей от самого сердца и наполняющей «голый» стих страстью высокого накала. В них возникает образ поэта, для которого искусство — по преимуществу излияние, интимное признание. Не случайно излюбленные жанры Берггольц — дневник («Февральский дневник»), письмо («Из письма с дороги»), задумываемый прямой разговор («Разговор с соседкой» и другие). Позиция, которую она занимает в своих стихах, — бесстрашная, не знающая компромиссов готовность к самораскрытию, чем-то напоминающая лирический жест раннего Маяковского:

А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Эта!
В руках!
Смотрите!
Это не лица вам!
Расканяем вспоротый,
сердце вырвал —
рву аорты!

Отсюда и та атмосфера особой нравственной чистоты, которой окружена поэзия Ольги Берггольц. Она в значительной мере исходит из неудержимого желания автора и его воли «ничего не утаивать» и, вводя читателя в святая святых своей души, найти с ним такую полноту взаимного доверия, какая возникает лишь в результате ничем не защищенной близости человека к человеку: на, возьми!

От сердца к сердцу.
Только этот путь
я выбрала тебе. Он прям и страшен.
Стремителен...

Такой же характер носит и проза Берггольц — одно из интереснейших явлений современной советской литературы. «Поездка прошлого года» (другое название — «Поездка в город детства») и «Поход за Невскую заставу» (напечатанные впервые в «Новом мире» в 1954 и 1959 гг.) неопределенно обозначены автором как «записки», или «отрывки»¹. Это «записки», подготавливающие, по словам автора, ту заветную «главную книгу», которая «всегда впереди» и живет в нашем сознании как всеобъемлющее произведение, призванное выразить с наибольшей силой наш внутренний опыт, «самый глубокий, тайный, интимный, самый достоверный» мир души писателя и читателя. Каждый писатель, говорит Берггольц, мечтает о такой книге, собирающей воедино всю его душевную жизнь. И весьма возможно, что опубликованные «записки» — в виде ли самостоятельных глав или в ином качестве — войдут в состав той книги, которая задумана. Но, независимо от надежд на будущее, «записки» Ольги Берггольц уже сейчас воспринимаются как своего рода главная книга в ее жизни и работе.

Прозаические вещи Берггольц с трудом поддаются точному жанровому определению — настолько они не похожи на устоявшиеся литературные формы. Автор сам от-

¹ Оба эти произведения позднее вошли в книгу О. Берггольц «Дневные звезды». «Советский писатель». Л. 1959.

мечает, что не хотел бы связывать себя «более тесной формой, чем открытый дневник, в котором смешается прошлое, настоящее и будущее, память жизни и предвосхищение ее, герои погибшие и живые». Но даже в свободную форму дневника проза Берггольц не укладывается: какой же это дневник, если в нем все дни намеренно сдвинуты, перепутаны и хронологический принцип не выдерживается? От дневника здесь лишь некоторые — важные — качества: общение с читателем, как с самой собой; внутренний мир личности, воссоздающей свое прошлое с такой же трепетной непосредственностью, с какой записываются впечатления текущего дня. Потому и «воспоминаниями» это произведение назвать трудно, и применительно к своему прошлому автор здесь пользуется иным, я бы сказал, лирическим термином — «воспереживания»...

Уяснить специфику этой работы нам помогает сама Берггольц. «Главная книга», ближайшим подступом к которой она считает свою прозу, мыслится ею следующим образом: «Писатель может не знать заранее, в какой форме она (главная книга.— А. С.) воплотится — в поэме ли, в стихах, в романе, в воспоминаниях ли, но твердо знает, чем она будет по главной сути своей: знает, что стержнем ее будет он сам, его жизнь и, в первую очередь, жизнь его души, путь его совести, становление его сознания, — и все это неотделимое от жизни народа. Иначе говоря, главная книга писателя — во всяком случае, моя главная книга — рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце». В качестве высшего образца произведений подобного типа Берггольц называет «Былое и думы» Герцена, говоря, что ее представление о «главной книге» ближе всего подходит именно к этому «гениальному роману о человеческом духе», роману, появление которого в советской литературе она особенно горячо ожидает.

Не гадая о будущей, пока еще воображаемой, «главной книге», хочется сказать, что в сегодняшней прозе Берггольц во многом осуществились ее замыслы. Но роман о человеческом духе, в отличие от эпопеи Герцена (речь, разумеется, идет не о сравнении степеней и масштабов, а о жанровых различиях), решен ею в эмоциональном и

лирическом ключе. Потому сфера чувств и непосредственных впечатлений, мироощущение человека выдвинуты здесь на передний план (тогда как в «Былом и думах» господствует интеллект, миропонимание автора и его героев). Потому же проза Берггольц, написанная на автобиографическом материале и включающая разнообразнейшие характеры и разнообразные жизненные положения, тем не менее очень не похожа на литературные автобиографии обычного, эпического склада. В ней нет сюжета в его обычном виде последовательно развивающихся событий. В ней отсутствует даже такой признак эпоса, как временная протяженность повествования. Жизнь пишется целиком, сосредоточенная в одно мгновение. Оно может вместить бесконечно многое, может длиться целую вечность, но всегда останется тем единственным, данным моментом, который есть признак, условие, измерение лирики, живущей настоящей минутой.

Рассказывая о первом походе за Невскую заставу (и обратно) в октябре 1941 года, Берггольц изображает особое, необъяснимое состояние, которое она тогда пережила. Это — состояние вдохновения, экстаза, прозрения, и его можно сравнить с теми внезапными и бурными взлетами человеческой души (чувство счастья, свободы и гибельного восторга), о которых она не раз писала в своих стихах. В то же время сценна эта хорошо объясняет нам структурные, художественные принципы прозы Берггольц. Она представляется мне лирическим фокусом повествования в «Походе за Невскую заставу», настолько важным для понимания прозы Берггольц как единого художественного целого, что стоит привести этот текст полностью.

«Он (отец.— А. С.) чуть толкнул меня в плечо, не поцеловал, не пожал руки, не обнял и почти побежал направо, по Шлиссельбургскому, не останавливаясь и не оглядываясь».

Это не было ни позой, ни насильем над собою, просто он, как и я, знал, что мы не можем погибнуть. А я еще целое мгновение смотрела ему вслед, на его раздувающееся смешное пальто, смотрела в глубь Невской заставы, туда, где была папина фабрика. и тети-Варин госпиталь, и чугунный, самый большой за Невской заставой — Обуховский, а там стеной стояли круглые, библейски прекрасные, первозданные облака и

рокотали и урчали все громче. Я взглянула туда, и вся жизнь моя вдруг распростерлась передо мной. И с немислимой стремительностью, которую не в силах обрести слово, катились сквозь душу картины всей моей жизни и жизни моей Родины и воспоминания о том, что свершилось еще до моей памяти.

Нет, я не вспоминала, я жила тем, что было, есть, будет. Эти воспереживания были внезапны, отрывочны, разбросанны и в то же время слиты в единый сплошной поток — нет, в нечто, подобное сильному южному морскому прибою, который окатывал нестерпимым, почти болезненным счастьем.

Сказали когда-то: времени больше не будет. Верите ли вы, что это верно, — я знаю это, я знаю, как не бывает времени! В тот день его не было — все оно сжалось в один лучевой пучок во мне, все время, все бытие. И весело рухнули перегородки между жизнью и смертью, между искусством и жизнью, между прошлым, настоящим и будущим. О, как хрупки они оказались, как условны, как легко было мне наслаждаться всей жизнью сразу, всей поэзией и всей трагедией ее на самом ее краю, на краю жизни, на углу Палевского и Шлиссельбургского, между теньями нелепых сооружений прошлого, в минуту притихшего артобстрела.

Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло...

В мгновения, только в мгновения вмещалась вся жизнь, а мне надо для них — страны. Внезапно вспыхивали эти мгновения всей жизни, и я не буду задним числом искать им других объяснений. Я не знаю, почему, глядя на исчезающую вдали фигурку отца, я подумала, что вот он идет к себе на фабрику, а на этой фабрике появилось первое мое напечатанное стихотворение, и оно было о Ленине. Ленин! И волна неистового тепла и света обдала меня...

Перед нами не только описание определенного психологического момента в жизни повествователя, перед нами описание лирики как таковой и в особенности такого ее своеобразного проявления, каким представала нам лирическая проза Ольги Берггольц. Действие в ней движется «с немислимой стремительностью», минуя перегородки во

времени и пространстве и перенося нас в страну детства — в город Углич первых революционных лет, — то в осажденный Ленинград периода Отечественной войны, то в отдаленные времена русской истории. Одна лирическая волна сменяется другой: фигура отца, убегающего в направлении фабрики, рождает мысль о первых стихах, напечатанных в фабричной газете и посвященных Ленину, а рассказ о Ленине и о первых стихах переходит в «вал поэзии», который подхватывает нас вместе с героиней и несет все дальше и дальше по «вершинам» ее души, по «вершинам» нашей эпохи. Эти разрозненные внезапные вспышки памяти и чувства собраны «в один лучевой пучок», «в единый сплошной поток», и центральным, связующим образом становится лирический образ рассказчика и героя, его душа, повернутая к нам разными гранями.

Когда-то Маяковский свое программное произведение — лирическую поэму «Облако в штанах» — назвал, заимствуя термин из области изобразительного искусства, «тетраптихом», то есть четырехстопным, четырехчастным складом, каждая створка которого есть грань души поэта — «тринадцатого апостола». Вот таким складом, только не четырехстопным, а многостопным, представляется мне проза Берггольц. В ней образ нашего современника не развивается во времени, как это свойственно эпическим жанрам, а разворачивается, раскрывается в основных своих «створках»: поэзия, родина, революция...

Итак, перед нами роман о человеческом духе, но роман лирический, построенный по особым, лирическим законам. Тема его огромна: «я и мир», «правда нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце». Как же удалось Берггольц соотнести, собрать воедино свое «я» и весь тот большой и разнородный материал, который под именем «общего бытия» входит в повествование? Для лирика здесь, по-видимому, только один путь: показать всеобщую жизнь как свое, личное переживание. Берггольц ни на минуту не отклоняется от «себя», но, протягивая руку то в одну сторону, то в другую, она говорит: это мое!

«Это мое!» — называется одна из главок, рассказывающая о детской игре. «Была у нас в детстве, в Угличе, такая игра... да нет, пожалуй, не игра, а что-то серьезнее: вот если увидишь что-нибудь, поразившее

воображение, — красивого человека, необыкновенный домик, какой-то удивительный уголок в лесу — и если первый протянешь к этому руку и крикнешь: «Чур, это мое!», то это и будет твоим, и ты можешь делать с этим что хочешь».

В творчестве Берггольц как бы продолжается этот исполненный большого смысла «захват» действительности «в личное пользование» поэта. Но освоение мира уже не состоит в том, чтобы попросту назвать «моим» все, что понравилось и поразило с первого взгляда. Сознание — «это мое!» — завоевывается жизнью, достигается совместным трудом и борьбой, общей судьбой с народом и выливается в «грозное, открытое чувство своей живой сопричастности, кровной жизненной связи со всем, что меня окружает, с тем, что уходит в землю и в воду, и с тем, что воздвигнуто и воздвигается над землей и водой сейчас; с теми, кто в разные годы погиб за Родину, за коммунизм; с теми, кто строил Угличскую гидроэлектростанцию; с теми, кто рождается, растет и трудится здесь, в Угличе, в Ленинграде, во всей стране...» Из этого чувства «сопричастности» к жизни, к миру, к народу рождалась лирика Берггольц, где поэт, обращаясь к родной стране в сентябре сорок первого года, мог сказать:

Я до сих пор была твоим сознаньем.
Я от тебя не скрыла ничего.
Я разделила все твои страданья,
как раньше разделяла торжество.

На этих же путях складывается ее проза. Идея единства личного и общего, лежащая в основе нашего строя, настолько прочно вошла в быт, что зачастую воспринимается как истина, не требующая доказательств, и превращается в некое общее место в наших общих рассуждениях. Между тем очевидно, что в утверждении и в трактовке этой великой, всечеловеческой идеи возможны самые разнообразные оттенки, акценты и повороты. В ее художественном решении Ольга Берггольц добила свежести и новизны, мне кажется, потому, что особенно убедительно произнесла «это мое!» в отношении всего того большого и общего, что нас окружает и составляет нашу жизнь. Тем самым это общее и большое, не переставая быть таковым, перешло в сферу сугубо интимных переживаний индивидуальной души и приобрело за этот счет дополнительную теплоту, неж-

ность, сердечность. Высокое, строгое и громадное понятие Родины вдруг сделалось до того близким, что о нем можно сказать:

Машенька, ведь это — наше детство,
школа, елка, пионеротряд...

Машенька, ведь это наша юность,
комсомол и первая любовь.

«Мое» в таком употреблении значит «всеобщее», но «мое» — это еще что-то внутреннее, тайное, заветное, по-особому человеческое. Творчество Берггольц в этом отношении похоже на те дневники, которые велись ленинградцами в годы войны и которые она тесно связывает с созданием «главной книги»: «Я прочла множество блокадных дневников, писанных при темных коптилках, в перчатках, руками, еле державшими перо от слабости (чаще — карандаш: чернила замерзали), записи некоторых дневников обрывались в минуту смерти автора. То опалаясь, то леденяще дышит победоносная ленинградская трагедия со многих и многих страниц этих дневников, где с полной откровенностью человек пишет о своих повседневных заботах, усилиях, скорбях, радостях. И, как правило, «свое», «глубоко личное» есть в то же время всеобщее, а общее, народное становится глубоко личным, воистину человеческим. История вдруг говорит живым, простым человеческим голосом».

В прозе Берггольц и осуществляется этот перевод всеобщих явлений на интимный язык индивидуальной жизни — то очеловечивание истории, в котором особую роль играет не только печать личного восприятия автора, но печать его личного достоинства. Не случайно в качестве символа своей темы, работы и цели она выбрала «дневные звезды»: их отражение, по детскому, полусказочному желанию, можно увидеть лишь в глубине темного колодца. «Дневные звезды» — души и судьбы современников и сограждан — должны отразиться в душе писателя, открытой всем, как колодец. «Незримые обычным глазом и, значит, как бы не существующие, пусть будут видны они всем, во всем сиянии своем — через меня, в моей глубине и чистейшем сумраке. Я хочу все время держать их в себе, как свой собственный свет и собственную тайну, как свою наивысшую сущность. Я знаю: без них, без этих дневных звезд, меня, как писателя, нет и не может быть...»

Не поверхность внешних событий, а душевная глубина автора становится здесь экраном, отражающим жизнь современников. Для Берггольц очень важны эти акценты: предложение заглянуть в глубь, в недра души, в чистейший таинственный сумрак авторского «я». И эта глубина внутреннего, субъективного мира — главное содержание книги. Но в ней читатель находит «незримые обычному глазу» — глубинные — проявления своей собственной души. Так «мое» возвращается в «общее» и из личного достояния автора становится личным достоянием всех, сделавшись «моим» для каждого.

Правда нашей эпохи, душевная жизнь современника представлены в прозе Берггольц очень широко и полно — в виде красочной панорамы, исторической и психологической. В ее развешивании и воссоздании особая роль принадлежит памяти, которая в работе писательницы имеет всегда значение активной творческой силы, а не есть лишь механическая способность к запоминанию. Художественная натура Берггольц обладает тем, что можно назвать чувством памяти, и это чувство — могучее, воинствующее, возбуждаемое не только верностью прошлому, но и страстной заботой о будущем. Это, если воспользоваться определением Берггольц, «предвосхищение жизни своей в жизни тех, кто идет вслед за нами, желание оставить им не только материальное, но и духовное наследство: с беспощадной правдой передать нравственный опыт эпохи, при этом не только положительный, но и отрицательный, — вот это хорошо, вот так поступайте, а так не делайте, не повторяйте наших ошибок и страданий!»

Не преувеличением будет сказать, что все творчество Берггольц в значительной мере порождено этим чувством. Отсюда такая убежденность, и гнев, и воля, прозвучавшие в ее стихах:

...И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.

Для нее более характерна не интонация пассивного подчинения нахлынувшим воспоминаниям — «не могу забыть», а властное и гордое — «не хочу, не дам, не позволю забыть!». Это требование возникает

как воля к жизни и к творчеству, память помогает человеку быть лучше и чище. Голос памяти звучит как клятва, как обещание.

Так пусть рубец, почетный и суровый,
с моей души не сходит никогда.

Пусть душе вовеки не позволит
исполниться ничтожеством и злом,
животворящей, огненную болью
напомнит о пути ее былом.

Эта тема разнообразно варьируется в творчестве Берггольц. Не только отдельные стихотворения и строфы посвящены историческим реликвиям (памятник Ленину у Финляндского вокзала, скульптуры Петергофа, воображаемые монументы, которые должны поставить в честь защитников Ленинграда), но и свой писательский труд Берггольц часто рассматривает как средство увековечения памяти героев, павших за Родину. Даже море, разлившееся неподалеку от Сталинграда, уподобляется в ее стихах памятнику («Встреча»), не говоря уже о славном доме, за который когда-то сражались легендарные гвардейцы («В доме Павлова»), и т. д.

В этом пристрастии Берггольц (кроме горячего желания утвердить повсюду силу и волю памяти) отчасти сказывается, по видимому, «местный», ленинградский, колорит ее таланта. Великий город, «населенный» столькими памятниками и словно бы превратившийся в город-памятник, вошел в ее творчество как центральная тема и во многом определил характер ее образности.

Тяжелый свет артиллерийских вспышек
то озаряет контуры колонн,
то статуи, стоящие на крышах,
то барельеф из каменных знамен
и стены — сплошь в пробоинах снарядов...

Отсюда же постоянные в ее лирике «архитектурные» и «скульптурные» уподобления, трактующие фигуру и лицо человека, как мраморное или бронзовое изваяние, и сближающие живую природу с городским ансамблем. По этому поводу в одной из статей Берггольц есть любопытное замечание: «В Ленинграде природой, самой настоящей природой, как бы независимой уже от человека, когда-то создавшего ее, стали его здания, площади, ансамбли, памятники. Улица Зодчего Росси — ведь это уже природа, а не архитектура... А наши сады и парки, и старые, петербургские, и

совсем молодые парки Победы, посаженные уже нашими руками,— это ведь не только природа, но и архитектура: они построены, наши парки, наши улицы-сады...»

И в своей поэзии Берггольц часто строит пейзаж, располагая его в виде подчеркнута декоративных форм, строго выверенных и резко очерченных. Она любит подобающим образом освещать предметы, помещая их на фоне утренней зари или заката и как бы предлагая читателю полюбоваться их четкими, правильными контурами. За всем этим нельзя не увидеть специфически ленинградской эстетики.

Окружена могучих гор кольцом,
стояла питерская мастерская,
и первозданные снега Алтая
над ней алмазным высились венцом...

Вместе с тем в «зодчестве» и «ваянии» Берггольц сказывается и другая — пожалуй, еще более принципиальная — особенность ее стиля: склонность к поэтической символике, тенденция абстрагировать конкретные явления, возводя их в ранг обобщенно-философских категорий и подчеркивая в них высший, эмблематический смысл, всеобщее значение. В поэме «Твой путь» есть строки, которые очень хорошо передают эту сторону творчества Берггольц:

В те дни исчез, отхлынул быт. И смело
в права свои вступило бытие.

В своих произведениях она и стремится по преимуществу к тому, чтобы показывать бытие мира и человека, отвлекаясь от повседневного быта или же обращая его проявления в символы и знаки широкого «бытийного» содержания. Это не значит, что мы не встретим в ее стихах быта, но он присутствует здесь в большинстве случаев в преображенном виде — одухотворенный, возвышенный, просвеченный лучами стоящего за ним бытия. Поэтому, например, самые простые предметы блокадной жизни наполняются в ее поэзии большим и многозначительным смыслом: бумажные полоски, наклеенные на оконные стекла, — это «звизы варфоломеевской кресты»; пепел в самодельных временках — это «след Великого Огня, которым согрелись ленинградцы»; а по поводу обыкновенной лопаты следуют рассуждения высокого отвлеченно-философского плана:

О древнее орудие земное,
лопата, верная сестра земли!
Какой мы путь немислимый с тобою
от баррикад до кладбища прошли.

Берггольц склонна смотреть на текущую современность глазами будущего историка, осмысляющего самый прозаический материал как ценности общен исторического значения. Единичное и частное в жизни ее интересует главным образом как проявление всеобщего, и вещи в ее изображении тяготеют к тому, чтобы превратиться в реликвии времени. Поэтому, между прочим, повсюду воздвигает она и свои излюбленные памятники. Они не только служат напоминанием о прошлом (голосом неистребимой памяти), но и выполняют роль символических фигур и олицетворений, выражающих какие-то существенные стороны нашего духа, истории, бытия.

Пришли — и, символом свершенной мести,
в знак человеческого торжества
воздвигнем вновь, на том же самом месте,
Самсона, раздирающего льва.

Из этих особенностей дарования Берггольц, очень индивидуальных и ярких, обещавших ей видное место в современной советской поэзии, пронстакают и некоторые слабости, дающие о себе знать иногда в ее поэтической работе. Они, как мне кажется, всего более ощутимы в наименее лирических ее вещах — в трагедии «Верность» и поэме «Первороссийск». Не ставя своей целью всесторонне рассмотреть и вполне оценить эти достаточно крупные и сложные произведения, я хочу все же отметить, что те же самые черты поэтической индивидуальности Берггольц, благодаря которым в других случаях она добивалась успеха, здесь в этих поэмах, местами отрицательно сказались на их образах и стихе. Склонность к символизации, к отвлеченно-философской трактовке конкретных явлений жизни, к возвышенно-одухотворенной поэтической речи оборачивается здесь иногда геометрической сухостью образного рисунка, академической безжизненностью, декламацией.

Произошло это, очевидно, потому, что трагедия «Верность» и поэма «Первороссийск», несмотря на частые лирические вторжения, строятся в значительной степени на «объективном» сюжете, который лежит вне «я» поэта и не всегда обладает достаточной поэтической силой — силой

конкретности. В лучших вещах Берггольц, скажем, в ее военной лирике, отвлеченность символов и нагота общих понятий, произносимых зачастую с большой буквы (Человек, Воин, Жизнь и т. д.), дополнялись сильной лирической интонацией, очень живой, страстной — конкретной. В поэме же «Первороссийск» и в трагедии «Верность» — в силу их жанровой специфики — такая интонация хотя и не исчезает полностью, но не определяет, не покрывает уже всего произведения, и это отсутствие живого лица временами весьма заметно, потому что фигуры аллегорического склада, декларативность и прочее начинают выпирать, перевешивать.

Мы радуемся, что лирическая речь Берггольц всегда звучит вдохновенно. Но когда в ее описательной речи по поводу «перворосийцев» прямо так и говорится: «...их вдохновенные простые лица» или «Торжественно их приняло правленье, и, гимном заседание открывая, Гремякин крикнул, полный вдохновенья...» — это звучит напыщенно и режет ухо. Высокие слова повисают в воздухе, потому что за ними нет достаточно ощутимой жизненной «плоти», ни лирической, ни эпической, и они воспринимаются как голословная декларация автора, которая хотя весьма возвышенна, но легковесна.

Но эти большие произведения, созданные Берггольц после войны, очень интересны с точки зрения ее дальнейших — сравнительно с поэзией военного времени — художественных поисков, ее попыток расширить круг тем, границы лирического жанра. Весьма примечательно, в каких направлениях идут эти поиски. В «Первороссийске» чистая, беспримесная лирика сменяется лиро-эпической поэмой исторического содержания. С другой стороны, Берггольц обращается к форме трагедии (по содержанию большинство ее произведений трагедийно, но «Верность» и по форме есть трагедия), подавая ее в оригинальном лирическом обрамлении и вместе с тем сближая с древними классическими образцами. Современная тема Отечественной войны здесь разворачивается в образах-олицетворениях, в традиционном борении чувства и долга, с участием (на античный манер) хора-народа, и все это на подбаюющем архитектурном фоне «руин», «некрополя» и т. д. Это не могло не породить чувствительных местами противоречий между формой и со-

держанием. В то же время трагедия «Верность» — наиболее обобщенное, символическое произведение Берггольц, в котором бытие человека настолько «очищено» от быта, что герои нередко ходят на говорящие памятники. Да и сама эта вещь в целом напоминает мраморную статую, величественную, но холодную.

Проза Берггольц, продолжающая кое в чем новые тенденции «Верности» и «Первороссийска» (расширение возможностей лирики, тесный контакт с историей), вместе с тем разительно, до контраста, на них не похожа: здесь мы погружаемся в море конкретности — сочных характеров, реального быта, живописного просторечия в языке отдельных персонажей и т. д. Самый факт обращения к прозе, видимо, открыл для Берггольц какие-то новые возможности, не осуществимые до конца в пределах ее поэзии, и грубая, нежная, поэтичнейшая проза жизни, дотоле сдерживаемая в резервуарах памяти, вдруг хлынула в ее творчество.

Прозанческие вещи Берггольц — это тоже в известном роде памятник, но запечатлевший наше время не в символах, а в живых подробностях и деталях. Искусство всегда исполнено жаждой бессмертия, увековечения. Оно хочет остановить убегающее время, закрепить его на словах и на полотне, сохранить для будущего ту жизнь, которая не повторится. Для выполнения этой цели конкретный образ, воссоздающий человека в его неповторимости, часто более годен, нежели символический монумент. И показательно, что в прозе Берггольц опять звучит в полную силу тема памяти, но в новой, не совсем обычной для нее вариации. Автор здесь намерен не только прославить нашу эпоху и создать величественные образы в честь ушедших героев и событий, он хочет оживить время и потому пишет о прошлом «живой» памятью ощущения тогдашних событий. Той памятью, — говорит Берггольц, — которая связывает отдельные воспоминания в цельную, единую жизнь, ничему не давая отмереть, но оставляя все вечно живым, сегодняшним».

В прозе Берггольц живет все, потому что все конкретно, начиная с мелочей, из которых складывается большой мир, предметный, подвижный, многообразный. Возьмем хотя бы самые прозанческие вещи домашнего обихода, за которыми зримо встает психология ребенка:

«...Здесь не было ничего незначительного и мертвого. Наоборот, каждая вещь жила своей особой жизнью, имела свое лицо, голос и повадки.

В прихожей стояла огромная бочка с темной глубокой водой. Если, подтянувшись на цыпочки, наклониться над бочкой и крикнуть, бочка отвечала толстым сердитым голосом, как дяденька. Лицо у нее тоже было толстое, с надутыми щеками. В бочке можно было утонуть, и, наверное, в глубине ее вод жили рыбки. Зима начиналась с бочки: в темной ее воде заводились юркие, скользкие, как мальки, льдинки; Авдотья не давала их ловить руками».

«Над кухонным столом медового, съедобного цвета висел черный лохматый ершик, которым протирали ламповые стекла. Когда его брали в руки, ручка ершика сердито пищала; ершик был живой, он мог укусить, и я боялась его. Авдотья знала это, и иногда, когда я уж очень вертелась под ногами, хваталась за ершик и восклицала:

— А вот я тебя сейчас Ершику отдам!

А Ершик противно пищал и топорищился от злости.

Сахарные щипцы мы называли Хáха, потому что они широко раскрывались, как рот во время смеха, оскалась острыми кончиками.

Хáха тоже был живой и скалился — радовался, когда грыз сахар».

Степень нюансировки здесь такова, что мы имеем дело даже не с одушевлением вещи, а с выявлением ее индивидуальной физиономии, ее «личности» (вплоть до собственных имен), благодаря которому детское восприятие и образ героини также приобретают чрезвычайно конкретные черты. Обратим внимание, что бочка, например, отвечает не просто человеческим голосом, а «как дяденька», что кухонный стол — «медового, съедобного цвета», то есть автор, следуя путем индивидуализации и детализации, все время стремится углубить «личные» признаки предмета, сообщая повествованию необычайную живость.

Тем же путем воплощается обширная сфера истории. Она предстает главным образом в виде живых, непосредственно воспринятых примет времени, которые раскиданы по всему тексту, придавая ему меняющуюся — историческую тональность. История нашей эпохи возникает сама собой —

в психологических реакциях героини, в репликах окружающих ее людей, в бытовых подробностях и т. д. При этом в каждом отдельном случае она часто носит характер эпизодической детали, которая весьма содержательна, хотя по виду обычно не очень значительна. Например, брошенная вскользь фраза: «О кожанке я только мечтала, как о прямом, «классическом» носе...», — не имеющая, казалось бы, прямого исторического назначения, вызывает в нашем сознании такие яркие ассоциации, благодаря которым и возникает то, что можно назвать колоритом времени, атмосферой двадцатых годов. Или другая деталь, произвольно мелькнувшая в памяти героини, пока она стояла на знакомом с детства углу, где в далекие времена торговал тянучками частник дядя Гриша:

«Каждое утро, по дороге в школу, я подходила к дяде Грише и спрашивала:

— Дядя Гриша, почему сегодня тянучка?

— Сегодня — двести восемьдесят миллионов штука, — отвечал он невозмутимо».

Вновь перед нами оживает целый мир. А ведь автором на это истрачена лишь одна реплика, сила которой опять-таки в ее исторической конкретности.

Подобного рода частные и даже случайные на первый взгляд детали, зачастую введенные в текст как бы мимоходом, позволяют Берггольц сохранить всю естественность повествования: героиня просто живет, а не занимается исследованием исторического процесса. Вместе с тем они создают в произведении ту жизненную, историческую среду, без которой в нашу эпоху немислимо существование человека. История присутствует здесь как воздух: она так же необходима и так же ненавязчива, и люди дышат ею полной грудью, не прилагая для этого особых усилий.

При большой конкретности, фактичности проза Берггольц, как и все ее творчество, философична и не похожа на собрание беглых и случайных зарисовок. Автор придерживается установки: писать так, чтобы жизнь «смогла предстать не в случайных эпизодах, а в целом, то есть — в сущности своей; не в частной правде отдельного события, а в ведущей правде истории». Берггольц по-прежнему тяготеет к изображению бытия, с той, однако, разницей (сравнительно с ее же стихами), что это изображение становится более веществен-

ным и красочным. Архитектура сменяется живописью, символическая статуя — портретом. Символ не перестает быть жизненной подробностью и сохраняет за собой всю силу и достоверность конкретного факта, лица, предмета. Выражением «ведущей правды истории» служат не образы-лицетворения, не фигуры аллегорического склада, а, по сути дела, те же детали, на которые возлагается высшая миссия — воплотить главные, этапные, основополагающие явления нашего бытия и сознания.

Много раз нянька Авдотья возвращается в своих рассказах к родной деревне Гужово, где у нее остался «братуха», который «нищего не боится». И «Гужово» и «братуха» (мечта и надежда всей ее жизни) постепенно обрастают бытом и легендами и начинают звучать как лейтмотив не только в речах Авдотьи, но и в общем строе авторского повествования.

На наших глазах «Гужово» и «братуха» становятся синонимами таких широчайших категорий, как родина, народ. Это обобщение выросло из эпизодической детали, которая наполнилась всеобщим содержанием, не потеряв при том своей конкретно-чувственной формы. Гужово символично, исполнено многозначительности, но в то же время само понятие символа с ним плохо вяжется, настолько «Гужово» заземлено, индивидуально, настолько оно не перестает быть единственной в своем роде деревенькой — «Дуниным Гужовом». Для символа оно и звучит-то недостаточно отвлеченно — слишком просто, грубо, телесно, так же как цокающее Душино произношение. Это же быт, густейший быт, а вместе с тем это-то и есть самое настоящее, неподдельное бытие.

Подобного же рода слова-лейтмотивы, реплики-лейтмотивы, сказанные первоначально по какому-то частному поводу, а потом превратившиеся в девизы времени, в эмблемы громадных духовных ценностей, пронизывают из конца в конец прозу Берггольца: «Охраняйте революцию!», «Антон Иванович сердится», «Это мое!», «Фландрская цепь счастья», «Валдайская дуга» и т. д. Они-то в большинстве случаев и обозначают те «вершины», вокруг которых строится повествование, открывающее перед нами то одну, то другую сторону человеческого бытия. Через них эпоха и душа человека предстают здесь вполне конкретно, индивидуально, но не во всех без исклю-

чения чертах и событиях, а по преимуществу в «вершинных» проявлениях, в главных, решающих звеньях.

Бергголец отказывается от последовательного, всесторонне полного изображения истории, биографии, психологии и намечает лишь отдельные — крупнейшие — вехи в разных сферах действительности и сознания. Это и есть путь по «вершинам», позволяющий ей создать целостную картину «всей жизни сразу» и вместить очень многое в небольшие отрезки повествования. Автор уподобляется человеку, стоящему на большой высоте и окидывающему всю землю одним взглядом. Как писала Бергголец в стихах, предваряющих ее прозу:

И было видно мне все дале, дале,
во все четыре стороны земли...

Но путь по вершинам осложнен и дополнен в ее прозе тем, что можно назвать восхождением на вершину, если опять-таки воспользоваться поэтической образностью самой Ольги Бергголец. Этот второй путь, трудный и мучительный, подробно изображен в ее последнем произведении в виде второго похода за Невскую заставу в феврале 1942 года. Внешне он полная противоположность первому, совершенному в октябре 1941 года, когда, возвращаясь от отца, из-за Невской заставы, героиня вдруг испытала необычайный прилив душевных сил, свободы и счастья, открывший ей в одно мгновение целый мир, все «вершины» ее духа — всеобщей, народной жизни. Тогда она обладала почти космическим по широте сознанием и жила всеми жизнями — в прошлом, в настоящем и в будущем — и не шла, а летела по этим жизням-воспоминаниям, каждое из которых переживалось заново.

Теперь, в феврале, все по-иному: истощенная, на грани умирания, с мертвым безразличием в сердце, отправляется она за Невскую заставу к отцу по знакомой дороге (еще недавно это была дорога «вершин»), и ничто не вызывает у нее ни мыслей, ни воспоминаний, ни, тем более, пылких и восторженных чувств. Тон и темп повествования здесь резко меняются: не мировые масштабы, а «микрзадачи» (как дойти от одного фонарного столба до другого), не стремительные перелеты через годы, десятилетия и века, а медленный, через силу, путь по вымершим улицам, растянувшийся на несколько глав и описанный

очень точно, беспощадно и просто, без эмоций. Ни о каких «вершинах» героиня теперь не думает, преодолевая пятнадцать километров, как тысячеверстную пустыню, и испытывая лишь «суженные, первичные реакции» — медленно переставлять ноги, присесть, съесть припасенный кусочек хлеба и т. д. И все же это путь восхождения, путь к вершине, хотя автор об этом прямо не говорит ни слова. Сознание «подъема» складывается у нас из мелких, едва заметных поначалу черточек, по мере того как героиня, подвигаясь вперед, встречается с людьми, которые ей помогают и которым она помогает, не руководствуясь никакими высокими соображениями, а по естественному, инстинктивному, заложенному в человеке влечению — любви, товарищества, доброты.

«Очень узенькая тропинка через Неву была твердой, утоптанной, но какими-то неверными, чересчур легкими шагами: она была ребристой, спотыкающейся. Правый берег высился неприступной ледяной горой, теряясь сверху в сизо-розовых сумерках. У подножия горы закутанные в платки, не похожие на людей женщины брали воду из проруби.

«Мне не взобраться на гору», — вяло подумала я, чувствуя, что весь мой страшный путь был напрасен.

Я все же подошла к горе вплотную и вдруг увидела, что вверх идут еле высеченные во льду ступеньки.

Женщина, немислимо похожая на ту, что тащила гроб, в таких же платках, с таким же коричневым пергаментным лицом подошла ко мне. В правой руке она держала бидон с водой литра на два, не больше, но и то клонилась направо.

— Поползем, подруга? — спросила она.

— Попопзем!..

И мы на четвереньках, рядышком, тесно прижавшись друг к другу, поддерживая друг друга плечами, поползли вверх, цепляясь руками за верхние вырубки во льду, с трудом подтягивая ноги, со ступеньки на ступеньку, останавливаясь через каждые два-три шага.

— Доктор ступеньки вырубил, — задыхаясь сказала на четвертой остановке женщина. — Дай ему бог... все легче... за водичкой ходить...»

Вот это обетненное в дни блокады чувство родственной близости и любви к людям, которые делаются друг с другом всем,

что у них осталось, эта поддержка, которую получает человек от знакомых и незнакомых людей, и есть последняя вершина, показанная нам Ольгой Берггольц. На эту вершину ее героиня не сама приходит, ей помогают взойти: женщина, назвавшая ее подругой; доктор, вырубивший ступеньки во льду, чтобы легче было людям ходить за водой (как выяснилось, это был ее отец); санитарка Матреша, которая вымыла ей ноги, когда она пришла наконец; пожарник, подаривший земляную лепешку — «щедрый дар голодного голодному», и многие другие люди, щедрые не от богатства, а от неиссякающей в их душе человечности.

Когда-то, в сорок втором году, Берггольц рассказала в стихах об этой щедрости ленинградцев, их способности отдавать, помогать. Это были стихи о пепле из холодных ленинградских временок, пепле, согревающим мир на долгие годы вперед.

...И каждый, посетивший этот прах,
смелее станет, чище и добрее,
и, может, снова душу мир согреет
у нашего блокадного костра.

Вновь и вновь раздувает она этот пепел и, возвращаясь к своей старой блокадной теме, сызнова рассказывает о том, как жили, страдали, умирали и боролись ленинградцы и как они не уставали любить. Вместе с тем жажда одаривать людей — эта возросшая в последние годы страсть и потребность поэтической натуры Берггольц — уже не связана неизменно с военной темой, с воспоминаниями о ленинградской блокаде. Она становится повсеместным и естественным проявлением любящей души, человечности, по-новому открывшейся и прочувствованной в наши дни. Таковы, например, стихи о любви — «Бабье лето», «Перед разлукой» и другие, заметно меняющие тональность лирики Берггольц и погружающие нас в атмосферу «добра и света», даже если речь в них идет о страдании и разлуке.

...А я лишь теперь понимаю, как надо любить, и жалеть, и прощать, и прощаться..

Этой же доброй силой отмечена проза Берггольц, в особенности последняя ее вещь — «Поход за Невскую заставу». Путь, пройденный героиней с помощью знакомых и незнакомых людей, открывает ей высший закон жизни, глубочайший «секрет земли».

«Выше любви человеческой — разной... к родной земле, к человеку, женщине или женщины к мужчине, — выше этого ничего. Лялька, избобрести нельзя...» — говорит ей отец. И мы видим, как «суженное» голодом и смертью, сведенное до первичных реакций сознание человека вновь начинает жить, как оно растет и расширяется под воздействием людского тепла и, вбирая в себя огромный человеческий мир, вновь становится «вершинным», всеобъемлющим.

В финале мы, собственно говоря, приходим к тому же, с чего начинали и вокруг чего неизменно движется лирическое повествование Берггольц с ее центральной идеей, смыкающей все вершины в одну, главенствующую, — с идеей родства, единства, слитности индивидуальной души и народной, личности и общества, человека и мира. Но, возвращаясь многократно к тому же, мы всякий раз обогащаемся в понимании этой идеи, и последняя вершина, к которой нас приобщает Берггольц, рассказав о страшном зимнем походе, не есть повторение предыдущих. Да, «ощущение слитности с жизнью всеобщей» героиня уже испытала однажды, когда в октябре 1941 года ей вдруг открылись все дали и пала граница между «я» личным и «я» общим. Но, как мы помним, эта истина открылась тогда путем познания, близкого к прозрению, в момент высочайшего взлета

душевных сил человека. Теперь же мы к ней приходим путем любви и деяния; это труднее, длиннее, но зато более прочно.

Тепло, полученное от людей, рождает желание ответить им сторицей — «отдать, как можно больше отдать согражданам и своей земле необходимых для ее дела сил и слов...» Не только почувствовать, испытать свое полное единство с людьми, с народом, но и помочь этому единству своим трудом, посвятить ему дело всей своей жизни — вот, можно сказать, окончательный нравственный итог, к которому нас подводит Берггольц. Поэтому одним из завершающих звеньев в том образном ряду, который проходит через всю ее книгу, становятся руки человека. Это руки отца, хирурга, спасающие людские жизни и вырубившие ступеньки в ледяной горе; это руки санитарки Матрешы и многие-многие другие — делающие доброе дело, «источающие свет и силу», трудовые руки.

Мы узнали из книги Ольги Берггольц, как смотреть с «вершины» во все стороны света, как всходить на нее и как ее строить. Эта книга, рассказывающая о путях человеческого духа к «вершинам» и по «вершинам», сама воспринимается нами как некая вершина в творчестве поэта. С нее далеко видно. И мы благодарны рукам, которые это сделали.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лебедева. Всей жизнью написанная книга.— **В. Гоффеншефер.** Великий образ — высокие требования.— **С. Образцов.** Прочтите эту книгу! — **Л. Левицкий.** О мещанстве, романтике и просто стихах.— **Л. Плоткин.** Монография о Вересаеве.— **И. Поступальский.** Новеллы Владимира Назора.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Колцева. О «Философских тетрадах» В. И. Ленина.— Полковник **Н. Денисов.** Боевое братство.— **А. Лебедев.** В борьбе за мир, за счастье людей (У истоков советской дипломатии).— **Л. Кюзаджян.** Новый журнал советских востоковедов.— Генерал-лейтенант **С. Красильников.** Еще один глашатай агрессии.— **И. Геевский.** Вациллы империализма.

Литература и искусство

Всей жизнью написанная книга

«**Проданные годы**» — так называется роман Юозаса Балтушиса.

Нищая курная изба. Окаменелые сосульки сажи на потолке. Мыши и крысы покинули это жилье: у хозяев не осталось ни зерна, ни горсти муки. Только полмешка картошки под кроватью...

Отец, мать. Трое босых ребят на печи.

— Перебью всех, как лягушат, а сам — на сухую осину.

Это не крик. Слова сказаны спокойно, и, наверное, отец произнес их даже без особого выражения, без надрыва, без горечи.

Страшная жизнь? Да. Но не только тем, что она голодная, холодная, несчастная. Тем, что привычная. Она тянется, как серая нитка пряжи на материнной прялке, и к нитке этой привязана надежда: мать

получит деньги за свое прядево; надо как-нибудь тянуть, и у нас есть свои радости. Печка — «самый уютный уголок в мире». Буренка, которая просовывает по утрам голодную морду в дверь избы, мычит, просит поила. Вот отелится она, и мать «запечет» отменное молозиво — обделит, так и быть, первым молоком теленка. Пусть скорее идет время, скорее подрастают мальчишки, чтобы можно было продать их по весне в пастухи. Весной наедут хозяева «покупать» пастушат. Хорошо бы не очень продешевить. Но и дорожиться особенно не приходится — как бы не остался еще на год в доме парень, уже переросший обеденный стол.

Отец давно запродал свою жизнь вперед кулаку Тяконису за право приткнуться с семьей в этой самой курной избе. Чтобы не подохнуть с голоду, остается только продать время, труд, руки ребятишек. Так и «выходит в люди» герой романа — безымянный мальчуган, от лица которого ведется повествование.

Есть книги, которые написаны «всей жизнью» автора, в которые вложены его

Юозас Балтушис. Проданные годы. Роман. Авторизованный перевод с литовского К. Келы. «Дружба народов», №№ 1, 2, 3. 1960.

Ю. Балтушис. Проданные годы. Роман в новеллах. Перевод с литовского К. Келы. Редактор З. Кульманова. 376 стр. Гослитиздат Литовской ССР. Вильнюс. 1959.

сердце и ум, жизненный опыт и оценка прошлого и настоящего. К числу таких книг принадлежит, думается, и роман «Проданные годы».

В нашей литературе — точнее сказать, в наших литературах — много произведений о прошлом, которое даже не стало еще историей предыдущего поколения. Произведения эти разные и, так сказать, по-разному «личные». Мы часто говорим о том, что сближает их прежде всего общая идейная позиция авторов, оценивающих прошлое с точки зрения нашей советской эпохи. И в этом актуальность, современность таких произведений. Это правильно, только нельзя сводить речь лишь к разговору о верности социально-исторических оценок. Для художественной литературы не менее важно и то, почему и для чего оценка дается. Судить прошлое — значит, между прочим, и определять, что же ты берешь из него в сегодня и чего не хотел бы больше видеть в людях и в их отношениях.

В романе Ю. Балтушиса много жестокого. Писатель превосходно показывает ужас зачумленной тупым собственничеством жизни. И делает это без громких слов, просто и прямо.

...Золотой работник Йонас. Из тех, кто не может спокойно видеть неделанного, незаконченного дела. Все спорится в руках у этого доброго, справедливого парня. И в батрацкой работе на хозяйском дворе, на хозяйском поле Йонас не забывает мечту о своем клочке земли. С этой мечтой связаны у парня все расчеты, все возможности: обзавестись хозяйством, жениться на любимой Аделе... Хозяевам не по нутру, да и невыгодны (пойди-ка найди другого такого батрака!) планы Йонаса. И они добиваются того, чтобы Йонас землю не получил. Аделе вышла замуж за другого. Йонас повесился...

До полусмерти забит хозяевами и заморен голодом так, что еле ноги таскает, пастушонок Стяпукас — протестующая в отчаянии, упрямая ребячья душа. Стал дурачком после жестокой, прямо-таки палаческой порки другой пастушонок — Ализас, незаконнорожденный сирота, выросший на улице, парнишка языкастый, озорной, с явными задатками будущего художника. Да и мало ли их, загубленных физически, погашенных нравственно, перееханных колесом дикого собственнического уклада!

А сами хозяева деревенской жизни, вершители и истязатели судеб человеческих? Для них желанен, естествен и, конечно, должен быть увековечен именно этот привычный, пакостно-бесчеловечный правопорядок.

Умиравший старик Дирда, наживший и дом, и скот, и землю, и кубышку золота, волком готов выть оттого, что бессилён ворочать сам своим богатством. Властный, хитрый, злой на язык, Дирда теперь может отводить душу лишь тем, что поедом ест своих домашних — сыновей, дочь, жену. Познав на опыте, что такое сила собственности, Дирда держит семью под властью припрятанного им золота, умело ссорит всех и по-своему тонко разрушает попытки сыновей стать самостоятельными. И при этом он уверен в правоте и неизбежности своего взгляда на жизнь.

Богач Подерис заходит иной раз навестить Дирду. Вот один из их разговоров. Подерис сообщает: младший сын, гимназист, прислал письмо. Пишет, что, мол, «земля не стоит на месте, а вертится, и от этого бывает день и бывает ночь...

Старик Дирда хихикает злым, хриплым смехом:

— Болтай, болтай! Когда бы земля вертелась, то и моя изба другим концом повернулась бы. А почему же не повертывается?»

Так вот куда «вышел» из курной избы малец пастушонок! Вот какому миру продает он ребячьи свои годы... Что и говорить, мрачно-вато! Но не надо спешить с выводами. Если бы роман Ю. Балтушиса написан был только о мытарствах пастушонка и подобных ему обездоленных в черном мире, где хозяйничают Тяконисы и Подерисы, то автор его не поднялся бы выше уровня бытоописательной литературы. Какими бы беспощадными, точными, гневными словами ни воссоздал он страшные картины прошлого и многострадальный путь героя, он не заставил бы сегодняшнего читателя так много думать, так принять к сердцу его произведение, как воспринимаешь его сейчас.

Маленький герой романа, по сути, решает, сам того, конечно, не замечая, огромный вопрос, который приходится решать всем людям: у кого и как учиться жить. Можно ведь и у Тякониса, и у Дирды... Жизненная драма многих была заключена именно

в том, что они не могли — в силу разных причин и обстоятельств — постичь «науку» Тяконисов.

На пути у пастушонка встала иная наука, за иными людьми потянулась его душа. Выпихнутый из дома батрачить, он попадает в битву жизни, не защищенный никаким опытом. Как разобраться в окружающих? Вначале мальчик всем сердцем привязался к Йонасу — простому, доброму, спокойному. Трагедия Йонаса до глубины души затронула его. Он потерял близкого человека, которому и помочь-то ничем не мог.

Но вот появился рядом и другой человек — Пятрас, батрак, занявший место покойного Йонаса. Тоже добрый парень, простой, спокойный. Только по-другому, чем Йонас. У того было спокойствие терпения, потом — отчаяния. У этого спокойствие особой нравственной силы, спокойствие уверенности в себе. Оно подсказывает Пятрасу линию поведения, а в окружающих вселяет уважение к «непонятому» батраку. Пятрас не дает издеваться над собой; но сам он к хозяевам относится с нескрываемой издевкой.

Отлично написана сцена, как Пятрас, взяв горшок с перекисшей, заплесневелой простоквашей, предложенной батракам на обед, отправляется в хозяйскую горницу.

«При виде Пятраса хозяева встрепенулись. А тот, молча став посредине избы, опрокинул горшок вниз горлом.

Хлясь-хлясь-хлясь... — заговорила хлынувшая на пол сыворотка.

Все выхлестнув, Пятрас бросил горшок сюда же, в самую лужу, и вышел. Ничего не сказал, ни на кого не крикнул».

Напуганная батрачка Она и пастушонок ждут — что-то будет. И вот: «Дверь чулана растворилась тихо-тихо. Вошла хозяйка в надвинутом на глаза платочке, держа в руках другой горшок. Ничего не сказав и даже не взглянув на нас, поставила его на стол и вышмыгнула. В горшке до самых краев белело свежесквашенное молоко, такое густое и прохладное, что у меня в горле защекотало».

Очень многое остается пастушонку непонятным в силе Пятраса. Услышанное от хозяев слово «большевик» мальчишке ничего не говорит, и он очень смутно связывает слово это со странным поведением Пятраса: тот куда-то уезжает по ночам и, как оказалось, совсем не на свидание с де-

вушкой. Есть в нем много и другого — непонятного, необычного и очень привлекательного. И, пожалуй, больше всего привлекает в Пятрасе та черта, которой мальчик не видел, не чувствовал в других людях и которая как раз больше всего и пугает, обескураживает хозяев, — внутренняя освобожденность от темной власти собственничества.

В конце концов Пятраса арестовывают, уводят полицейские, а пастушонок, оставшись один, твердит слова, оброненные Пятрасом на прощание: «Свидимся... Обязательно, обязательно свидимся!»

Не скоро они свидятся, не скоро и мальчишка поймет Пятраса и, так сказать, найдет Пятраса в себе. Но след в душе остался. На следующий год пастушонок запродал не на хутор, а в деревню, в богатый дом к Дирдам. Здесь уже больше людей — а значит, сложнее и многообразнее человеческие взаимоотношения, больше можно узнать и понять. Искра человеческого протеста, искра любви к настоящим людям, зароненная в мальчишеское сердце (немалую роль сыграло в этом знакомство с Пятрасом), может разгореться в постоянный, упорный огонь, который будет гореть всю жизнь.

«Эх, побыть бы так на людях год, побыть и другой, побыть и третий, и все не надоело бы, все не захотелось бы никуда уходить...», — вот о чем думает мальчишка, раздувая мехами огонь в кузнице у сына старика Дирды — Повилекаса. Повилекас работает весело, размашисто, с прибаутками — любо смотреть на него! — и забываешь о хозяйском доме, о том, что в этом доме все следят друг за другом и все... воруют. «Первый раз вижу таких хозяев, чтобы тащили в своем же доме. У каждого из них есть свой укромный угол, и каждый старается что-нибудь хапнуть, утянуть в этот угол».

Старуха хозяйка прячет, например, украденное за свой сундук, привезенный когда-то в приданое. Это набитое барахлом пространство между стенкой и сундуком в доме называют «ущельем». И время от времени, когда пожитки, не уместаясь, начинают вываливаться из-за сундука, кто-нибудь из детей кричит: «Мамаша, ущелье прорвало!..»

После такого вот «ущелья» кузница Повилекаса, где кипит работа, куда все время приходят люди — и по делу, и так, потолковать, позубоскалить, — кажется дей-

ствительно окном в совершенно иной мир. Здесь видишь труд, увлеченный и увлекающий, здесь можешь научиться кое-что оценивать в сравнении, можешь приобрести и чрезвычайно важное умение смеяться над дикарством собственников, готовых драться не только из-за кубышки с золотом — из-за старого седла или сломанного колеса! Умение смеяться. В войне со старым миром смех нужен так же, как ненависть. Да, он нужен человеку — бунтарю, творцу, работнику, а книга Ю. Балтушиса вся, от первой до последней страницы, пронизана настоящей — мужественной и горячей, страстной и всевидящей — любовью именно к таким людям. И смех — одно из главных действующих лиц в романе. Это не литературный прием, это черта таланта. Проявляется она по-разному, в зависимости от того, о чем и о ком пишет автор, но всегда органично, всегда с соблюдением того самого знаменитого «чуть-чуть», о котором так много было сказано писателями и поэтами.

Думается, те цитаты из романа, которые уже были приведены нами, достаточно подтверждают такую оценку стиля Ю. Балтушиса. Хочется добавить только один пример, показывающий книгу еще с одной, немаловажной стороны. Когда герой узнает о том, что родители решили отдать его в пастушата, он испытывает весьма разнообразные чувства. Ему, конечно, и жаль и страшно расставаться с домом, но он крепится: ведь все будут смотреть, заплачет он или нет, уезжая. «А вот летось, когда увозили Юргисова брата Пятраса, было на что поглядеть. Прошелся он по избе, весь красный, как бурак, стал на скамеечку и долго шарил по полке. Отыскал там вытертую щетку для вычесывания вшей, старательно оглядел и положил в карман.

— Едем,— только и сказал, гордо так...
...Вот как люди уезжают! И я так поеду. Надо будет только щетку где-нибудь найти и заранее положить на полку, чтобы было что искать...»

Сколько здесь настоящего, с понимающей улыбкой, человеческого сочувствия к герою — и ни капли того, что называют «сен-

тиментами!» Нет, только не сентиментальность, не слащавая жалость — таков совершенно ясный художественный подтекст романа. Ю. Балтушис, сочувствуя и любя, нигде не подпускает умиленной слезы. И он непримирим и беспощаден, когда пишет о ненавистном собственничестве, мещанстве, обывательщине. Это тоже черта таланта.

Кстати, совсем недавно опубликованы в русском переводе в альманахе «Советская Литва» путевые очерки Ю. Балтушиса «О чем в песне не поется...». Это — путешествие по сегодняшней, советской Литве, это рассказ о новой жизни и новых людях, рассказ, который кончается словами: «Ох, и чудесного же человека подарил ты нам, литовский край!» Но в свободном рассказе о путешествии по родному краю Ю. Балтушис не только воздаст должное тому, что горячо любимо им. С той же непримиримостью, что и в «Проданных годах», говорит он в очерках о ненавистном ему собственнике-мещанине в еще встречающейся нынешней его «разновидности», об обывателе, которому дело только до себя самого и своего кармана. И это естественно — ведь в наше время собственнические повадки, пережитки морали старого мира вызывают особенное отвращение.

Мы не собираемся здесь подробно разбирать путевые очерки Ю. Балтушиса. Они затронуты лишь потому, что, как нам кажется, даже это беглое сопоставление позволяет оттенить и современность, и гражданственность, и гуманистичность позиции писателя в романе «Проданные годы».

Об этой книге говорить можно много. О ее героях. О ее языке. О других ее особенностях: композиции, принципах создания образов, художественной детали — да мало ли о чем еще можно говорить и спорить, когда познакомишься с новым и взволновавшим тебя произведением искусства. Но прежде всего хочется сказать одно: хорошо, что она написана, эта книга, хорошо, что она может стать твоим другом.

Л. ЛЕБЕДЕВА.

Великий образ — высокие требования

В журнале «Дон» опубликована первая книга романа Галины Серебряковой «Похищение огня». Роман этот служит продолжением ее книги «Юность Маркса», появившейся почти двадцать пять лет назад. В своем новом произведении Г. Серебрякова повествует о важном периоде в формировании революционно-материалистического мировоззрения Маркса и Энгельса. Повествование начинается с августа 1844 года и завершается вестью о революции 1848 года во Франции.

Это были годы революционного предгрозя, годы, когда в процессе революционной борьбы, в процессе изучения положения рабочего класса и ожесточенной критики идеалистической философии, «истинного социализма», прудонизма закладывались основы диалектического и исторического материализма, научного социализма. В эти годы были написаны: «Святое семейство», тезисы о Фейербахе, «Положение рабочего класса в Англии», «Немецкая идеология», «Нищета философии». В эти годы были учреждены коммунистические корреспондентские комитеты, создавшие предпосылки для организации международной пролетарской партии, и возник Союз коммунистов, провозгласивший свои принципы в бессмертном «Манифесте Коммунистической партии».

Нельзя не отдать должное творческому дерзанию Галины Серебряковой, которая после «Юности Маркса» — произведения о мятежных юношеских поисках Маркса и истории любви Маркса и Женни фон Вестфален. — взялась за изображение куда более сложного и ответственного периода и, по-видимому, задумала большое художественно-биографическое произведение. Но вряд ли правомерно называть то, что написано ею, романом. И дело здесь не только в формальном определении жанра.

Я не знаю, какими приемами и средствами можно создать образ Маркса, Энгельса или Ленина как образ главного героя романа. В истории не было до них таких людей — мыслителей, борцов и вождей, в деятельности которых движения и чаяния масс получили бы не отвлеченно-нравственное или религиозное, а научное обоснование и

выражение. Изобразить внутренний мир такого человека, развитие его чувств и мыслей так, чтобы гений действительно встал перед нами во всем своем величии, означало бы средствами искусства проследить пути к гениальному научному открытию и политическому предвидению. Отказаться от этой задачи значило бы лишить главного героя романа того, что составляет его сущность, его силу, то есть представить его читателю не в том основном и главном, что определило место героя в истории и интерес к его личности.

Было бы неправильно категорически утверждать, что эта задача не входит в компетенцию искусства и не под силу художнику. Но пока что в истории советского романа почти нет опыта в ее решении.

Речь при этом идет не об уловлении неуловимых и субъективных путей открытия, не об изображении всплеск «озарения», что обычно сводится к описанию внешних толчков вроде знаменитой архимедовой ванны, или к тому ходульному изображению Пушкина в момент «вдохновения», которое отвращает нас от многих произведений о поэте. Нет, я говорю о социальном проявлении гениальности, о той способности гения «нащупать пульс своей эпохи» и откликнуться на зов созревающих идей и еще не оформившихся страстей, о которой писал когда-то Балзак.

«Если материалистическое понимание истории открыл Маркс, то Тьерри, Минье, Гизо, все английские историки до 1850 г. служат доказательством того, что к этому стремились многие, а открытие того же самого понимания Морганом показывает, что время для этого созрело и это открытие должно было быть сделано». Так писал незадолго до своей смерти Энгельс, говоря о проблеме роли личности в истории применительно к самому Марксу.

Показать, как «созрело время», как Маркс нащупал пульс эпохи и ответил на ее зов своим открытием и своей борьбой, не означает для художника писать трактат на тему «Маркс и его время» или изобразить Маркса в качестве безличного рупора времени и класса. Нет, это означает изобразить исторические закономерности и события как элементы жизни, сознания и чувств определенной личности, неповторимой индивидуальности.

Галина Серебрякова. Похищение огня. Роман. «Дон», №№ 5, 6, 8, 1959.

Можно ли чувственно и зримо изобразить, как время зреет в самом Марксе, немолимо ведя его к открытию новой эры в истории науки и революционного движения? Насколько и какими средствами художественная проза способна выполнить такую задачу? На эти вопросы может ответить только сама практика нашей литературы. Но каковы бы ни были попытки ее решения, для них остаются обязательными основные требования искусства.

Да, построение историко-биографического романа подчинено реальному историческому материалу. Но принципы художественного изображения героя должны здесь подчиняться тем же общим эстетическим законам, что и в любом художественном произведении. Биографический роман — это не копия реальной биографии, а произведение, в котором события и герой «открываются» заново художественными средствами; это произведение, не иллюстрирующее известные нам факты, а вносящее новое, создающее живой образ, который не мог быть создан научной биографией. И в создании этого образа автор вправе игнорировать некоторые достоверные, но несущественные детали реальной биографии и, наоборот, «домыслить» детали и эпизоды, которые способствуют раскрытию сущности героя и этой сущности соответствуют.

Галина Серебрякова назвала романом произведение, стоящее между научно-биографическим очерком и художественной повестью. Оно построено по принципу биографической хроники, и его «главная сюжетная линия» целиком и жестко определена этапами и документально засвидетельствованными фактами биографии Маркса. В то же время сам Маркс как центральный образ художественного произведения раскрыт скупо.

Произошло это потому, что, строго придерживаясь документального материала, который в силу обстоятельности отразил жизнь Маркса не последовательно, а от случая к случаю, и в то же время не осмеливаясь на художественный домысел, автор лишил себя возможности показать внутренний мир Маркса, изобразить его в становлении и развитии. Получился не единый художественный образ и не целостное развитие образа, а лишь серия эпизодов, иллюстрирующих отдельные моменты жизни Маркса — существенные и несущественные. Историко-публицистическая характе-

ристика событий сменяется сценой семейной жизни Маркса, реферативное изложение его очередного труда — диалогом с Энгельсом, информационная справка о социалистическом движении — изображением Маркса в стычке с идейным противником, и т. д.

Было бы неправильно отвергать такой промежуточный жанр биографического повествования. Он вполне правомерен, и в таком жанре написано немало популярных биографий. Но в произведении Серебряковой эта промежуточность осложнена тем, что отказ от художественного домысла при изображении самого Маркса соседствует здесь не только с домыслом в отношении ряда второстепенных исторических персонажей, но и с вымышленными фигурами и эпизодами. Получается изобразительная диспропорция, в результате которой важные моменты в жизни Маркса предстают перед глазами читателя менее ярко, чем, скажем, выдуманные приключения портного-коммуниста Стока, оказавшегося невольным пособником бегства Луи Бонапарта из тюрьмы. А описание любви Карла и Женни Маркс в испытаниях, выпавших на их долю в эмиграции, бледнеет перед историческим и, скажем прямо, необязательным отступлением, в котором элегически изображена стареющая мадам де Сталь и ее поздняя любовь. Некоторые эпизоды, вроде невнятно изображенной истории неприязненного отношения Маркса к Арнольду Руге, отодвигаются на десятый план при сопоставлении, например, с обстоятельным рассказом о взаимоотношениях между Наполеоном I, Жозефиной Богарнэ и ее дочерью Гортензией.

Утверждение, что Галина Серебрякова, изображая Маркса, отказывается от художественного домысла, не совсем точно. Не дерзнув на творческий домысел при раскрытии внутреннего мира Маркса или изображении его в вымышленной ситуации, имеющей существенное значение и помогающей этому раскрытию, Серебрякова в пределах отдельных эпизодов все же вынуждена прибегать к помощи фантазии, то превращая свидетельство мемуариста в живую мизансцену, то преобразя цитаты из переписки в живой диалог, то создавая из отдельных документальных строчек детали обстановки и т. д.

И в связи с этими «микродомыслами» необходимо остановиться на вопросе, весь-

ма важном для художественно-биографического произведения вообще и произведении Серебряковой в частности. Это вопрос об использовании документального материала. Убедительно говорить о нем можно только с помощью примеров и сопоставлений, без которых разговор о литературном мастерстве невозможен.

Там, где нет прямого авторского изображения внутреннего мира героев, особую нагрузку в раскрытии этого мира несет на себе диалог. Строить диалог в биографическом произведении вдвойне трудно. Он не только подчинен раскрытию характера или ситуации, но и предопределен документальным материалом. Диалог или воспроизводит этот материал или строится в его духе. В прямой или косвенной форме персонажи цитируют себя — свои произведения, свои письма. Это неизбежно, и от автора романа зависит, чтобы самоцитирование персонажа звучало, как естественная речь, в обстоятельствах, этой речи соответствующих.

Вот пример такой естественности. В 1847 году Маркс читал в брюссельском Немецком рабочем обществе лекции о наемном труде и капитале. В романе имеется эпизод, где Бакунин, приехавший в это время в Брюссель, в разговоре с Лизой Мосоловой резко осуждает Маркса. Вместо того чтобы вести рабочих на приступ дворцов, Карл Маркс, мол, «портит рабочий люд, делает из него, «мыслителей». Какое-то теоретическое сумасшествие!.. Никогда не вступлю я в Коммунистический союз ремесленников и не захочу иметь с ними никаких дел» и т. д.

Этот разговор смонтирован из двух писем Бакунина к разным адресатам. И, вложенный в уста раздраженного Бакунина во время его разговора с Лизой — девушкой, готовой отдать себя борьбе за справедливость и спрашивающей о путях к ней, — этот разговор звучит естественно и не воспринимается как цитата.

Но вот другой разговор — Энгельса с Луи Бланом. Он основан на письме от 9 марта 1847 года, в котором Энгельс пишет Марксу: «Видел ли ты [Историю французской] революции Луи Блана? Нелепая смесь верных мыслей и ужасных сумасбродств... Он поражает нас то интересным замечанием, то невероятным безумием». Энгельс не объясняет Марксу, в чем заключаются «сумасбродства» и «бе-

зумие» Луи Блана. Это мимоходом брошенное замечание в письме к другу, который, как говорится, и понимает тебя с полуслова и поверит на слово.

Но в романе это замечание, перенесенное из письма к Марксу в разговор с самим Луи Бланом, приобрело неожиданную функцию для характеристики... Энгельса.

«Луи Блану нравился Энгельс, — пишет Серебрякова. — ...Он всегда с интересом слушал этого молодого и столь зрелого в суждениях высокого и стройного немца.

Обычно легко обижающийся, Луи Блан не выразил ни малейшего недовольства, когда Фридрих Энгельс стал излагать ему свои критические замечания по поводу написанной им «Истории революции». Похвалив занимательное изложение, Энгельс бесцеремонно заметил, что книга Луи Блана полна, помимо верных мыслей, также и ужасного сумасбродства и поражает то интересным замечанием, то невероятным безумием». И — весь разговор!

Здесь Энгельс и самому Луи Блану не объясняет, в чем выражаются его «сумасбродства» и «безумие». И не зря автор «Истории революции» не обиделся на молодого немца, который столь «бесцеремонно» и... бездоказательно насакивал на него. Какая уж там «зрелость суждений»!

Еще один пример.

Вряд ли кто усомнится, что Энгельс чрезвычайно высоко ценил труды своего друга. Это документально засвидетельствовано не только в статьях Энгельса о Марксе, но и в их переписке. Вряд ли кто усомнится и в том, что Женни Маркс глубоко любила своего мужа и высоко ценила его как ученого и борца.

Но правомерно ли с точки зрения художественной изображать это так, как это изображено в одном из эпизодов, где рассказывается о работе Маркса над «Ницетой философии»?

«Карл принял за работу. Когда Женни и Фридрих выслушали первые главы книги, они сказали о ней почти одно и то же.

— Твой труд, несомненно, явится вехой в истории науки, — проговорил Энгельс.

— Я с удовольствием переписываю эту рукопись, — заметила Женни, которая должна была готовить ее к изданию. — Мне кажется, что ты никогда еще не писал лучше, хотя каждый раз я удивляюсь твоему новому открытию.

Карл благодарно улыбнулся Женни...» Взаимоотношения Маркса с близкими ему людьми было чудно выспренное взаимовосхваление и самодовольство, которыми отдает этот разговор. Верные в отдельности оценки в результате непродуманного введения их в личный разговор создают неверное впечатление о героях.

Документальное произведение становится художественным только в том случае, если документ не механически монтируется, а входит в произведение творчески осмысленным, озаренным. И документ, так же как самый достоверный факт действительности, будучи включенным в произведение механически, может прозвучать странно и неправдоподобно, искажая действительность. Так и случилось в эпизоде разговора Энгельса с Луи Бланом. Так случилось в сцене чтения «Нищеты философии».

В творческом осмыслении документа важно отличать подлинные удачи от видимости удачи. И здесь уже придется говорить не только о естественности звучания того или иного диалога, о его соответствии изображаемому характерам, но и о содержательности диалога или эпизода в целом. В конечном счете это вопрос о том, насколько эстетически оправдано введение того или иного документального материала, насколько он становится художественно необходимым.

Несомненно, удачен в этом отношении, например, эпизод, в котором изображена одна из стычек между Марксом и Вильгельмом Вейтлингом. Он основан на известных воспоминаниях Анненкова, присутствовавшего при этом споре. Этот эпизод имеет принципиально важное значение: в нем на живом и остром примере показано отношение Маркса и Энгельса к расплывчатым теориям эпигонов утопического социализма. Анненков показывает Маркса в гневе: поднимать рабочих на борьбу, не имея научной доктрины и четких политических лозунгов, — значит обманывать их! Это ведет к гибели страдающих, а не к их спасению. Бесчестная игра в проповедники, возбуждение людей фантастическими идеями уже принесли немало разочарований и зря пролитой крови!..

Мы должны быть благодарны Анненкову за то, что он запечатлел этот спор во всех его эмоциональных оттенках, показав не только столкновение идей, но и столкнове-

ние людей, характеров, темпераментов, органическую слитность мысли и чувства у Маркса.

Для художника эти воспоминания — клад. И заслуга Серебряковой заключается не только в том, что она использовала воспоминания Анненкова как своеобразный сценарий для развернутого живого эпизода, в котором сохранились почти все отмеченные мемуаристом подробности, начиная с портрета Вейтлинга и кончая описанием того, как Маркс в гневе стукнул кулаком по столу. Заслуга автора и в том, что он увидел принципиальную важность этого эпизода для темы «похищения огня» и придал ему в своем произведении роль кульминации в «сюжете» борьбы Маркса против утопического социализма и его невежественных пророков. Автор здесь заставил читателя взглянуть на горячий спор Маркса с Вейтлингом не только глазами стороннего наблюдателя — Анненкова, но и глазами введенного в этот эпизод рабочего Иоганна Стока, представителя класса, кровно заинтересованного в этом споре.

Единственно о чем приходится пожалеть — это об известной робости в использовании анненковского «сценария» автором. Маркс показан извне. Для мемуариста такой показ естествен. Но для художника важно было бы поведать не только о саркастической речи, но и о переживаниях Маркса, прорвавшихся под конец в этом ударе кулаком по столу. Более того, в одном месте Серебрякова даже смягчает ту напряженность, в какой Маркс изображается у Анненкова. По воспоминаниям, Маркс задал Вейтлингу в упор вопрос о его проповедях, не дождавсь, когда Энгельс, открывший заседание, закончит свое вступительное слово. «Энгельс еще не кончил речи, когда Маркс, подняв голову, обратился прямо к Вейтлингу с вопросом», — писал мемуарист. Этот штрих передает напряженность, в которой находился Маркс, — ему не терпелось вступить в бой!

А в романе Маркс не только терпеливо дождался, пока «Энгельс кончил», но даже выждал некоторую паузу, во время которой «все молчали». Редкий случай, когда художник не только не воспользовался характерным психологическим штрихом (запечатленным к тому же в воспоминаниях, которые появились еще при жизни Маркса и были им читаны), но и заменил его штри-

хом менее выразительным. А ради чего? Надеюсь, не для доказательства того, что классики марксизма уважали регламент и, боже упаси, друг друга никогда не перебывали!

Один, казалось бы, незначительный штрих, а какое большое значение он имеет для характеристики состояния героя и обстоятельство, в которых тот действует, и — в конечном счете — для раскрытия идеи произведения! И жаль, что Серебрякова не оценила ухваченный Анненковым штрих для придания еще большей выразительности в общем удачному эпизоду.

К числу удач писательницы следует отнести и описание ареста Маркса и его жены в Брюсселе в 1848 году. Основанное на нескольких абзацах из автобиографических записок самой Женни Маркс, оно превратилось в волнующий рассказ о душевном смятении и стойкости любящей жены и матери, жены-соратника. Нельзя без волнения читать и другие эпизоды, в которых документальный материал обогащен чувством и воображением художника, такие, например, как объяснение Карла и Женни Маркс с Еленой Демут (Ленхен), с которой они решили расстаться из-за того, что не в состоянии были платить ей жалованье. «Бунт» Ленхен, возмущенной предположением, что она предана семье Маркса только из-за денег, ее решительный отказ оставить близких ей людей переданы очень живо.

И опять-таки удача этого эпизода в том, что в нем не просто пересказан случай, а раскрыты характерные черты человека, сыгравшего немалую роль в жизни Маркса и Энгельса.

Но что могут дать уму и сердцу читателя эпизоды, излагающие, казалось бы, достоверные в своей основе отношения, оценки, штрихи, но по существу лишенные значительного содержания?

Вот Маркс собирается писать работу, направленную против «Философии нищеты» Прудона.

«— Пожалуй, следует назвать мою книгу «Нищетой философии», — сказал Маркс. — Что ты скажешь об этом названии, милая Женни?

— Я нахожу это название очень метким, — подумав, ответила она.

Женни всегда была советчицей мужа в сложном деле подбора названий к его произведениям», — добавляет автор.

И, по-видимому, только для иллюстрации этого положения и приводится диалог о названии книги, смахивающий на трафаретные прописи из разговорника.

Особенно досадно, когда такая документально обоснованная и естественно звучащая... пустота царит в эпизодах, весьма интересующих читателя, — например, в эпизодах, где Маркс встречается с близкими ему поэтами. Так, разговор Маркса с «колеблющимся» Гервегом буквально заглушен болтовней жены Гервега, Эммы, в речи которой рассказ о смертельной болезни Гейне перемешан с новостями вроде того, что Жорж Санд «еще больше потолстела» и что «Бернайс разъезжает в прекрасном модном шарабане». Все эти сведения имеют документальный источник, но так и хочется сказать автору: «Да уймите же говорливую Эмму! Дайте послушать, о чем разговаривают основоположник научного социализма и революционный поэт!»

Самое досадное, что этот эпизод завершается поистине классическим приемом умолчания. «Завтрак был наконец окончен, — пишет Серебрякова, — и Маркс увел Гервега к себе. Там они смогли поговорить о том, что было важно для обоих...» Читатель остался перед закрытой дверью! Между тем ему, читателю, интересно было бы услышать столь «важный» для Маркса и Гервега разговор.

А если документального свидетельства о его содержании не было и авторского домысла хватило лишь на то, чтобы в начале эпизода, еще до того, как «Маркс увел Гервега к себе», изобразить, как Маркс, хлопнув Гервега по плечу, заидеально сказал ему: «Конечно, слагать стихи о закатах, цветах, любви — превосходное занятие, но нужно также сделать поэзию оружием борьбы (Серебрякова заставляет Маркса говорить эту прописную истину автору знаменитого стихотворения «Партия!» — В. Г.), то так ли уж вообще необходим подобного рода эпизод?

Попутно нельзя не остановиться и еще на одном вопросе: безразлично ли, в чьи уста вкладываются документальные сведения, и вправе ли автор обращаться с ними в этом отношении произвольно?

Для экономии места обратимся к только что приведенному эпизоду, в котором действует разговорчивая Эмма Гервег. Часть фактов, фигурирующих в ее болтовне, заимствована из писем Энгельса. 26 октября

1847 года Энгельс в письме Марксу из Парижа сообщает: «Представь себе, этот маленький Бернайс, который здесь везде изображает из себя «мученика», всеми оставленного... эта скотина имеет a horse and a gig (лошадь и кабриолет)!.. Тот же самый субъект, который сегодня изображает из себя несчастного, нуждающегося в деньгах, завтра будет хвастать тем, что он единственный, который умеет зарабатывать деньги... Он становится промышленником и хвастает этим».

Энгельс с гневом и презрением рассказывает о коммунисте-эмигранте, свихнувшемся в погоне за деньгами и приключениями, о человеке, которому он в свое время пытался помочь. Этим чувств к Бернайсу не могла, конечно, испытывать Эмма Гервег — наследница богатых родителей, женщина, всецело находящаяся в кругу буржуазных представлений. И в ее устах история с Бернайсом звучит не более как малозначащий предмет болтовни: вот Жорж Санд еще больше потолстела, а Бернайс разъезжает в роскошном шарабане и т. д. В такой же предмет равнодушной болтовни превращается вложенное в уста Эммы описание больного Гейне, взятое из письма Энгельса от 16 сентября 1846 года. Это описание Энгельс заканчивает горестными словами: «Страшно мучительно наблюдать, как такой славный малый по частям отмирает».

Вряд ли нужно доказывать, что такого рода «перепоручение» сведений не только неправомечно, но идет в прямой ущерб произведению, так как обесценивает и лишает значимости фактический материал, который мог бы внести существенные штрихи в характеристику героев и их взаимоотношений.

Если не подходить к тому, что написано Галиной Серебряковой, с теми высокими требованиями, которые выдвигает название «роман» и некоторые романтические повествовательные тенденции, а принять ее произведение таким, как оно есть,— как биографический очерк с художественно-повествовательными эпизодами,— это произведение принесет несомненную пользу читателю, знакомому его с жизнью и деятельностью Маркса.

Но хотелось бы, чтобы и в пределах того жанра, в котором это произведение написано, высокие требования отбора материала, его творческого освоения и образного воплощения не забывались автором. Это нужно, чтобы не мельчить образы великих людей. Это нужно для того, чтобы эти люди предстали перед читателями во всей своей силе и яркости.

Несомненно, что произведения промежуточного жанра, вроде написанного Серебряковой, в какой-то мере помогут формированию новаторских (иными они не могут быть) романов, где Маркс, Энгельс или Ленин будут выведены в качестве центральных героев. Но заменить собой такие романы они не могут. Романы с главным героем, воплотившим в себе волю, чувства и мысли народа — творца истории, романы, где показано, как историческое движение и борьба народных масс рождают мысль гения, романы, где революционная научная мысль становится равноправным героем произведения и изображается в чувственных образах,— такие романы еще впереди.

В. ГОФФЕНШЕФЕР.

★

Прочтите эту книгу!

Когда пишешь письмо, думаешь об одном человеке. Когда пишешь статью, думаешь о многих. Это труднее. Сто тысяч читателей «Нового мира». Кто они? Рабочие, колхозники, служащие, инженеры, врачи, студенты. Есть, конечно, и писатели, и художники, и актеры. Но актеров, вероятно, всего процентов пять, а то и меньше. Значит, несмотря на то, что рассказывать

я хочу о книге, написанной актрисой, обращаться мне нужно не к актерам, не к тем, кто играет на сцене, а ко всем остальным, то есть к тем, кто сидит в зрительном зале.

Дорогие товарищи зрители: рабочие, колхозники, инженеры, врачи, студенты! Я знаю, что от вас, из зрительного зала, актеры, освещенные десятками прожекторов, кажутся людям не совсем обыкновенными, занимающимися профессией хоть и не очень точной и не очень ясной, но безусловно интересной и счастливой.

Ну что ж! В какой-то степени это так и есть. Если пьеса хороша, если спектакль удался и удалась роль, если актер отдал всего себя до капельки, а зритель все до капельки взял, если зрительское и актерское дыхание стали едиными и единым пульсом, то актер действительно испытывает огромное счастье. Оно огромно еще и потому, что умножено счастьем сотен.

Но как бы ни было велико это счастье, неверно думать, будто актерская жизнь и актерский труд — это счастливая жизнь и счастливый труд.

Пожалуй, нет профессии, в которой проливалось бы столько слез, в которой носители ее зависели бы от такого количества случайностей, испытывали бы столько горя от нанесенных обид, от пристрастных или неосторожных поступков директоров, режиссеров или критиков. И нет профессии, в которой бы так рано, так безжалостно, а иногда и так несправедливо опускался дамоклов меч «профнепригодности». Путь, по которому идет актер, покрыт не пухом и не асфальтом. На нем много острых камней, а идти приходится босиком.

Что же соблазняет человека, выбравшего себе такую неблагодарную профессию, и — еще важнее — что заставляет его идти, когда он уже понял всю тяжесть подъема по лестнице актерского счастья, на которой каждая ступенька то невероятно высока, то остра, как лезвие ножа, то с трещиной и, того гляди, обломится?

Что дает силы актеру, какая путеводная звезда его манит? Чего он хочет достигнуть? Успеха? Славы?

Да, тщеславие — это серьезная сила. Жажда славы — сильное горючее. На этом горючем развивали бешеные скорости не только многие актеры, но и художники, писатели, политические и общественные деятели. Но это скорость фейерверочной шутихи и яркость бенгальского огня. Сгорают шутиха, и, кроме дыма, не остается ничего. Совсем ничего — даже таланта. Как бы ни был велик этот талант, он протечет сквозь решето тщеславия. Мы знаем тому много печальных примеров.

«Люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Это формула Станиславского. Точная. Ее никто не опровергает, но руководятся ею немногие.

Если все актеры театральной труппы хотят только личной славы, театр обречен на гибель, даже если он состоит из гениев.

Сила театрального коллектива меряется не только количеством талантов. Она меряется единомыслием, единоверием, единовкусием коллектива и его дружкой. Не просто личной, товарищеской дружкой, а дружкой творческой, дружкой соратников.

Без идеи, гражданской идеи, такая дружба возникнуть не может. Без ощущения этой идеи темой своего личного творчества и темой опять-таки гражданской не может полнокровно жить каждый актер и каждый режиссер единой творческой семьи настоящего театра.

Именно эти ощущения гражданской темы создаваемого театра заставили в свое время встретиться в «Славянском базаре» Станиславского и Немировича-Данченко.

Именно эти ощущения творческой темы как гражданского долга создали неповторимую дружбу актеров — основоположников Московского Художественного Общедоступного театра, в названии которого два слова «Художественный» и «Общедоступный» были решающими в определении его задач.

Дело не в том, как удачно или как точно формулирует Станиславский тему своей жизни, но «Моя жизнь в искусстве» — это прежде всего борьба, страстная, идейная борьба за правду искусства, нужную, необходимую всем людям.

Вера в нужность этой театральной правды сильнее жажды славы. Огонь этой веры горячее бенгальского огня тщеславия.

Станиславский — знамя целого поколения актеров. И тем, кто умеет нести это знамя, именно нести, а не просто изредка покрикивать «ура» или «осанна», тем мы должны быть бесконечно благодарны.

Книга Серафимы Германовны Бирман — это высоко поднятое знамя актерской гражданственности. Знамя Станиславского. Путь актрисы — путь трудный, тяжелый, где каждая ступенька — подвиг и каждая именно поэтому счастье.

У Бирман-человека, как и у всякого другого, есть и друзья и недруги, но нет, вероятно, среди них ни одного, кто не считал бы ее актрисой не просто хорошей или просто талантливой, а прежде всего неповторимой. Нет у нее двойника ни в одном театре. Свойством неповторимости обладают немногие, но только они — разведчики нового. У Бирман бывали роли великолепные, бывали менее удачные, но серых, бесстрастных, амезных не было ни одной.

Я всегда поражался точности, законченности и какой-то микеланджеловской, одержимой, безжалостной страстности, с которой Бирман, как из мрамора, высекает каждого рожденного ею человека, но, по правде сказать, только прочтя книгу, я понял, каким молотом она гранит и души и тела своих героинь. Этот молот — воинствующий гуманизм. В отрицательном или положительном образе сила и страстность удара все те же, потому что та же цель: показать отвратительное и злое, героическое и жертвенное, для того чтобы люди, увидев, возненавидели злое и полюбили доброе, для того чтобы люди были потрясены злом и потрясены добром, для того чтобы люди стали лучше и чище.

Я нарочно не рассказываю содержания отдельных глав этой книги и не описываю созданных Бирман ролей. Я не делаю этого потому, что не хочу переводить сказанное словами Бирман на свой язык, а не хочу потому, что написана книга великолепным, опять-таки неповторимым языком, одновременно и очень простым, и образным, и афористичным.

Прочтите книгу. Вы узнаете об актерской профессии много такого, о чем даже не подозревали, и узанное будет правдой. Вы почувствуете и воздух дореволюционной русской провинции, и отраженные юным сердцем годы революции. Вы узнаете, что такое рост человеческого сознания. Вы познакомитесь с теми, кого играла Бирман, так, будто прожили с ними годы под одной крышей. Вы еще и еще раз полюбите Станиславского, и в новом свете предстанут перед вами и его система и созданная им Первая студия — лаборатория этой системы. Вы по-новому увидите и деятелей этой студии: Вахтангова, Сулержицкого, М. Чехова, Болеславского. Вы познакомитесь с Афиногеновым и Симоновым, и, уверяю вас, вы по-новому, совсем по-новому будете думать о том, как делаются спектакли.

Вы поймете, что такое Павловы и Мичуряны в искусстве. И с очевидной ясностью обнаружится, что в любом деле настоящие победы могут быть одержаны только при абсолютной страстности в работе. А страстность эта питается только одним: верой в нужность того, что ты делаешь. Нужность людям, стране, народу.

Всероссийское театральное общество, издавшее «Путь актрисы», организовало обсуждение этой книги. Разные люди говорили много хороших и верных слов в адрес автора, но сейчас я хочу рассказать только об одном выступлении.

Говорил о книге не актер и не режиссер, а просто человек, любящий театр, студент Московского университета Шерей, и рассказал он о судьбе двух экземпляров книги, оказавшихся в его руках.

Первый экземпляр прибыл бандеролью в часть, в которой товарищ Шерей проходил воинскую службу. В этот день его в части не было, так как он был в командировке. Книгу получили его товарищи по взводу. Никто из них раньше не знал имени Бирман, но все взвод, все двадцать человек прочли книгу, и когда ее владелец вернулся, то к нему подошел простой солдат, плотник, окончивший всего четыре класса, и попросил отдать ему эту книжку, потому что без нее он теперь обойтись не может, так как он в первый раз узнал, что делает человек в искусстве.

Товарищ Шерей отдал книгу и купил вторую.

Эта вторая книга попала в руки чилийской поэтессы Урути, бывшей актрисы народного чилийского театра. Она читает по-русски. И вот, прочтя «Путь актрисы», она сказала, что не может отдать эту книгу, не может уехать из Москвы без нее, потому что ни одна книга о системе Станиславского не раскрыла для нее и систему и самого Станиславского так, как сделала это книга Бирман.

И еще студент Шерей сказал, что в университетской библиотеке запись на книгу Бирман превысила запись на «Триумфальную арку» Ремарка и на многие, очень многие замечательные книги.

Я рассказал об этом для того, чтобы еще раз сказать вам, читателям журнала: если вы сумеете найти в магазинах «Путь актрисы» — купите! Не сумеете — возьмите у товарища или в библиотеке. Прочтите книгу, и вы узнаете о жизни и свойствах человеческой души то, чего не знали раньше.

И то, что узнаете, пригодится вам, какой бы профессией вы ни занимались. Прочтите книгу!

С. ОБРАЗЦОВ.

О мещанстве, романтике и просто стихах

Игорь Кобзев выпустил в свет новый сборник стихов. Четвертый по счету. В предисловии автор пишет: «...Я не знал заранее, что он будет называться «Да здравствует романтика». Название подсказали мне тема и настроение некоторых стихотворений, посвященных людям романтической души. Мне кажется, что профиль книги позволяет включить в нее и новые лирические стихи — просто о весне, о девушках, о дружбе и любви. Пусть и в этом у нас будет больше романтики!»

Итак, перед нами книга стихов, в которых, как оповещает автор, воспеваются люди романтической души. Нет ничего удивительного в том, что, желая восславить романтику, поэт одновременно стремится разоблачить все, что этой романтике противостоит.

В стихотворении «Мещанам» поэт с полнейшей ясностью определяет соответствующие обязанности своей музы:

Как журналист, что побыл в ку-клукс-клане
И, все разведав, написал рассказ,
Так я присматривался к вам, мещане,
Ходил, одетый в маску, среди вас...

Поэт, как видим, хочет нанести удар мещанству и ради этого не останавливается перед тем, чтобы «надеть маску». А что значит «надеть маску»? Это значит так уподобиться мещанам, чтобы внешне ни в чем от них не отличаться. Чтобы у них, у мещан, даже подозрение не мелькнуло, что поэт в чем-то не такой, как они. Это не совсем безопасно. Не ровен час, и мещанство может затянуть в свою трясиину. Но лирического героя Игоря Кобзева эта опасность ни в малой степени не пугает. Он считает, что бактерии мещанства ему не страшны.

В мещанских затаявшихся квартирах,
Среди попоек, сплетен и ковров
Я был разведчиком совсем иного мира —
Державы строек, песен и ветров!

Намерения поэта благородны. И, как принято выражаться, их нельзя не приветствовать. Но намерения в литературе весят ровно столько же, сколько они весят в

жизни. Они важны не сами по себе, а лишь в той мере, в какой они реализуются.

Увы, приходится констатировать, что благородные намерения автора — разоблачить мещанство и прославить романтику — оказались неосуществленными. Мещане в стихах Кобзева — это всего-навсего стилияги, и почти единственный признак мещанства — это модные кофточки, модные пиджаки и т. п.

На танцплощадках
И в гостях, за чаем,
На скверах, среди пестрых
пиджачков...

(«Да здравствует романтика!»)

Но что так робко жмется перед входом,
Рукой в перчатке прикрывая бант,
По всем законам иностранной моды
Пестрей павлина разодетый фронт?

И отчего зачем его подружка
В короткой юбке, где сплошной (?) разрез,
Все смотрит в лица, точно побирушка,
Стараясь в людях вызвать интерес?

(«Высокая проба»)

Вчера глядим: идет с одним стилиягой
В зеленой шляпе, с зубом золотым...

(Там же)

Нужно ли доказывать, что стилияга вызывает нашу неприязнь не потому, что отражает немислимые патлы (хотя, что и говорить, это не самое прекрасное зрелище из всех возможных) или носит утрированно узкие брюки (хотя, что и говорить, они его не красят), а потому, что нас решительно не устраивает его строй мыслей и чувств. Нас удручает его убогий духовный мир, его безразличие ко всему, что дорого всякому нормальному человеку, его паразитический образ жизни. Мы понимаем, что крикливая осведомленность по части заграничных кинозвезд и очередных новинок джаза не свидетельствует о понимании кино или музыки. И мы не прощаем ему (даже если он побреется наголо и наденет косоворотку) мизерность духовных интересов, внутреннюю пустоту, наплева-тельное отношение к товарищам, тунеядство, непорядочность и нечистоплотность.

Костюмы, пиджаки, кофточки, юбки занимают столь заметное место в поэзии Кобзева, так навязчиво упоминаются в его стихотворениях, что невольно задумываешься:

а не придает ли сам герой Кобзева непомерно большое значение внешнему виду и вещам и не платит ли дань тому самому мещанству, которое он хочет уничтожить?

Герой поэмы «Высокая проба» Виктор, недовольный женитьбой отца, отправляется работать в Сибирь. Любимая девушка, конечно, не желает терять столичную «прописку» и «жилплощадь». В поезде герой знакомится с другой девушкой («уже в пути она была комсоргом. И не напрасно избрана была»). Но, анализируя свои чувства, герой приходит к мысли, что «лирика тут вовсе ни к чему». Однако — поразительное дело! — стоит той же девушке появиться на вечере в клубе «с сиренью в волосах», стоит герою увидеть ее «чуть подкрашенные губы», «кокетливое платье из Мосторга» и «лодочки с высоким каблуком», как он проникается к ней пылкой страстью и уже не видит «ничего вокруг себя». Дружба мгновенно переходит в любовь. Выходит, что кокетливое платье и подкрашенные губы оказывают магическое воздействие на нашего высокопринципиального врага мещанства, что ему отнюдь не чужды пошловатые представления о любви.

Еще более показательно другое стихотворение — «В гостях на даче». ...В студенческие годы лирический герой был приглашен на дачу к знакомым. Хозяйский дог, не спросив разрешения, бесцеремонно

Залаял,
Поставил на плечи мне лапы
И новый пиджак мой
Слюною обкапал.

Видя нешуточный испуг гостя, хозяйин и хозяйка смеются. Но гостю не до смеха. В его душе бушует буря чувств. Ему смертельно жалко... нового костюма! «Единственный, береженный», в котором «к любимой ходил я, влюбленный», «в котором по улице шел — и гордился, в котором красивее я становился»... С тех пор невзлюбил он хозяйина дачи и «всю его нежность к породе собачьей». Кончается это стихотворение следующим философическим умозаключением:

Любите собак,
Но учтите, однако:
Внимание людям
Нужней, чем собакам.

Надо быть лишенным чувства юмора, чтобы не заметить, что стихотворение звучит,

как пародия. Бедный пес! Чем ты провинился? Тем, видите ли, что, не обученный правилам хорошего тона, испачкал поэтов пиджак. Но ведь поэт так жестоко иронизировал над разными пиджаками и юбками, и вдруг — нате, пожалуйста, — он не стыдится из-за пятна на костюме закатывать сцену. Вместо того чтобы отнести костюм в химчистку и вернуть ему утраченную чистоту, поэт впадает в настоящее иступление. Он перестает любить хозяина дачи и раздражается грозной антисобачьей филиппикой. Ничтожный повод заставляет его проносить обличительные речи и проклятия. Признаемся: злосчастный пес и его веселье хозяева вызывают куда большую симпатию, чем пылкий «романтик», способный из-за такой малости устраивать трагедии.

Но как же все-таки обстоит дело с романтикой?

Отчетливее всего противопоставление романтики мещанству выражено в открывающем сборник программном стихотворении «Да здравствует романтика!».

...Ах, эти пустозвоны и пижоны!
Когда б мне век лечить их приказал,
Я б их затиснул в жесткие вагоны —
По промыслам, по стройкам потаскал!

Чтоб не в музейном выставочном зале,
Где блеск паркета, мрамор и уют,
А чтоб, глотая ветер, увидали,
Как нефть со дна морского достают.

Чтобы узнали, как без пышной фразы
Сввозь мрак и шторм проводят корабли,
Как лихо балагурят верхолазы
На вышках — в сотне метров от земли.

Пусть поглядят, как сходит с самолета
Хирург, который многих тут (?) спасал,
Который — больше пожилых пилотов! —
Миллионы километров налетал!..

Тут (?) если кто побудет — просто ахнет:
Такая удаль, сила и размах!
Тут (?) воздух сам романтикою пахнет
И подвину подобен каждый шаг.

Программа поэта просга до чрезвычайности и сводится к тому, что мещан и стилист надо без дальних слов «затиснуть» в жесткие вагоны и «потаскать» по стройкам и промыслам страны. Заметьте: не вовлечь их в созидательный труд, не убедить их в его красоте и даже не посадить в вагоны, а «затиснуть». Не повезти, а «потаскать». Польза от участия в стройках и промыслах очевидна. Но зачем же непременно затискивать и таскать? Это ведь ничего общего не

имеет с лечением. Ни в прямом, ни в переносном смысле...

При этом, говоря о романтике, автор вращается в кругу общих, расплывчатых, туманных и неопределенных слов, ограничиваясь простым перечислением специальностей и профессий, в которых, по его мнению, присутствует романтика. Профессии эти лишены даже внешних примет конкретности. Можно ли всерьез принять утверждение, будто верхолазы на вышках, «в сотне метров от земли», находят время «лихо балагурить», а капитаны, напротив, хранят молчанье и обходятся «без пышных фраз», что, по-видимому, помогает им преодолеть бури и штормы? Поэт, как видно, полагает, что романтика заключается в выборе особых занятий, а не в людях, которые внося романтику во все, что они делают. Когда же поэт пытается рассказать о романтике более определенно, то он это делает до такой степени неуклюже, что не только романтику и поэзию, но и обыкновенный здравый смысл нелегко обнаружить. Поди, например, догадайся, что означает строка: «Тут если кто побудет — просто ахнет». Почему бы, в самом деле, и не ахнуть? Но — согласитесь! — надо же для этого какой-то повод иметь. А что ни говори, побывать в каком-то «тут» и увидеть сходящего с самолета врача — это еще не повод для аханья. Сколько ни перечитывай следующие две строки, невозможно понять, что имеет в виду автор. В чем «такая удаля, сила и размах»? Где «воздух сам романтикою пахнет и подвигу подобен каждый шаг»? Все это — слова, слова, слова... Все это — поверхностная декламация, не способная ни убедить, ни увлечь.

Не становится более глубоким представление о романтике и в других стихах сборника. В чем поэт видит романтику? В том, что он любит «этот шумный и широкий мир, опрометчивые руки женщин, абажуры городских квартир» («Любовь к жизни»). В том, что «даже за важнейшими заботами забывать не надо лебедей» («Лебеди в Москве»). В том, «чтоб уметь смеяться без причины, раз уж нет для этого причин...» («Хохотушки»).

Как поэт понимает романтику дружбы, любви и весны, за которую он ратовал в предисловии, можно судить хотя бы по следующим, взятым наугад примерам:

Вот девчонка в намокшем платье
И один (?) ее «кавалер»
В тесном домике — в автомате —
Целый час стоят, например... (?)

(«Под дождем»)

Чтоб ночей не спать от страха:
Что, коль в жизни станется —
Ее ласк медовый сахар (!)
Да не мне достанется?!

(«Не люблю я посиделок...»)

Жгучая (!) страсть не красивая разве?
Разве не ею гремят соловьи

Как несговорчивую подругу (?)
Гипнотизирует соловей...

(«Соловьи»)

Слишком долго старье носила
Молодая твоя жена,
Позабыл, как она красива,
Как волнующе (!) сложена.

(«Новое платье»)

Этот соловьиный гипноз, эти волнующие сложенные женщины — все это не имеет, конечно, никакого отношения к подлинно высокой романтике и поэзии. Но есть в сборнике и такие стихи, в которых речь идет о действительно высоких чувствах. Например, в стихотворении «Портрет с натуры» И. Кобзев пытался рассказать о большом мужестве и непобедимой любви к жизни человека, потерявшего на войне обе руки. Но оказывается, что герой страдал лишь до тех пор, «пока его веселые рассказы не обманули собственной судьбы!». И теперь, по мнению поэта, герою все нипочем, все трын-трава. Зачем ему руки, когда он и без них стлично себя чувствует? И машину лихо водит («Чтоб вздрагивали милиционеры, узрев шофера без обеих рук?!») и так ловко танцует, что его партнерша ни о чем не догадывается («Как хорошо кружить с девчонкой в зале: «Ну, что ты, милая? Я ж — инвалид войны!»). Словом, есть руки — хорошо, нет — и без них обойтись можно. Главное — в полной бездумности:

Планета очень схожа с апельсином,
И сладко пить ее душистый сок...

И даже возможность новой беды ни в малой степени не пугает героя:

А коль и свалит, прикует к постели,
В больнице, где дадут ему кровать,
Все будут задыхаться от веселья
И все от смеха будут умирать!

Эти бестактные строки, под мнимым оптимизмом которых скрывается равнодушие к человеку и тяжелым испытаниям, выпавшим на его долю, не выражают ни мужества, ни воли, ни подвига. Просто диву даешься, как можно настолько не чувствовать слова, чтобы в эдаком игривом тоне говорить о трагической судьбе человека и его духовной силе. Нечего сказать, хороша романтика!

..Оружие слова — это не красивая метафора, а точное выражение. Судьба этого

оружия такая же, как и судьба всякого боевого оружия. Для того чтобы одерживать победы, надо уметь как следует пользоваться им. Одних благих порывов мало. Когда же человек плохо владеет оружием, которым взялся воевать, из этого могут выйти самые неожиданные и печальные последствия. Вместо того чтобы поразить цель, легко нанести вред и себе и окружающим.

Л. ЛЕВИЦКИЙ.

★

Монография о Вересаеве

Почти шестьдесят лет проработал Вересаев в литературе, из них свыше четверти века в советское время. Его повести и рассказы, «Записки врача», работы о Пушкине, Толстом и Достоевском приобрели широкую популярность. Но как обидно мало написано о нем! Если не считать критико-биографического очерка, изданного тридцать лет тому назад (С. Вржосек. «Жизнь и творчество В. Вересаева». «Прибой», Л. 1930), об этом крупном писателе не было до сих пор опубликовано ни одной сколько-нибудь обстоятельной специальной работы. Вполне понятен поэтому интерес, который возбуждает выпущенная недавно обширная монография Г. Бровмана, посвященная жизни и творчеству Вересаева.

Работа Г. Бровмана — результат серьезного и разностороннего изучения творчества писателя. Автор широко привлекает новый архивный материал, обращается к малонизвестным источникам. Вот перед нами семья Смидовичей. Обычно указывалось, что отец писателя отличался религиозными убеждениями и более чем умеренным образом мыслей и, следовательно, вряд ли мог влиять на сына. Новые данные, приведенные в книге, показывают, какое большое значение имели для будущего писателя занятия его отца — тульского врача Викентия Игнатьевича Смидовича. Г. Бровман обращает внимание и на то, что отец Вересаева был автором по-своему показательной книги «Материалы для описания г. Тулы. Санитарный и экономический очерк. Тула, 1880 г.», в которой подробно говорилось о бедственном положении народа.

И это не могло пройти мимо внимания сына.

Обилие и зачастую новизна фактического материала позволили Г. Бровману обстоятельно рассмотреть основные этапы творчества писателя. Отчетливо охарактеризованы повести девяностых годов, в которых запечатлены сложные процессы умственного развития России, кризис народнической идеологии и победа марксизма. Подробно разобраны знаменитые «Записки врача», выяснено их огромное общественное значение. Интересно и доказательно освещена деятельность Вересаева в период реакции. Справедливо отмечено, что и в эту сложную пору писатель оставался на демократических, прогрессивных позициях, хотя в некоторых его произведениях сказались сомнения и растерянность.

Особенные трудности возникли перед Г. Бровманом при рассмотрении творчества Вересаева в советские годы. Легко и удобно укладывается в привычные и стройные схемы деятельность тех писателей, творчество которых развивается по восходящей кривой. Каждый последующий этап выглядит естественной ступенью восхождения к новым успехам. У Вересаева было не так. В советские годы он создал яркие и значительные произведения: роман «В тупике», рассказ «Исанка», цикл «Невыдуманные рассказы», книги о Пушкине и Гоголе. Но Г. Бровман правильно сделал, не поддавшись искушению считать эти вещи вершиной в творчестве писателя, к которой подводила бы его вся предыдущая работа. Автор неоднократно дает понять, что в прошлом у писателя были более значительные, я бы сказал, более принципиальные удачи. Почему же так произошло? На это Г. Бровман отве-

чает своими итоговыми рассуждениями об общем характере творчества Вересаева.

Автор неоднократно высказывает мысль, что Вересаев выражал в своем творчестве общедемократические идеалы, не сумев возвыситься до идеалов социалистической революции. По словам Г. Бровмана, он был солдатом первой общенародной войны за свободу буржуазного общества, за демократию, против самодержавно-крепостнического строя. Но Вересаев в дооктябрьские времена не смог стать солдатом другой войны — классовой борьбы пролетариата с буржуазией за социализм. Слишком крепкими узами был связан писатель с русской мелкобуржуазной интеллигенцией, выражая мысли и чувства той ее части, что стояла на общедемократических позициях и не смогла возвыситься до революционно-пролетарской точки зрения. Этим Г. Бровман объясняет успехи В. Вересаева в период общенародного подъема накануне первой русской революции и нередкие его поражения в последующие времена. В самом общем виде с этой формулой можно согласиться. Но все-таки в ней есть уязвимые стороны. В каком отношении находится тезис Бровмана к советскому периоду работы Вересаева? Неужто писатель, прожив до 1945 года, будучи свидетелем и участником величайших событий, так и остался на старых позициях, не поняв и не приняв правды социализма? Г. Бровман этого, разумеется, и не говорит. Книга копчется теплыми, сочувственными словами: «Советским людям, строителям коммунистического общества, близок по духу жизнеутверждающий оптимистический талант Вересаева, славного русского писателя-демократа, верного сына своей родины». Но читатель и здесь заметит, что Вересаев не назван тем единственно правильным именем, которого он достоин, — именем советского писателя. Он — писатель-демократ! Но так можно определить великое множество писателей, никакого отношения к советской литературе не имевших.

Думается, что в итоговом определении, о котором шла речь, проявились некоторые характерные недостатки книги Г. Бровмана. Монография Г. Бровмана подкупает своей серьезностью и объективностью. Автор нигде не сглаживает острых углов, не старается представить путь Вересаева благополучным и ровным, лишенным сложных и трудных противоречий.

И все же при всех своих симпатиях к автору «Записок врача» Г. Бровман относится к нему зачастую чрезмерно строго и не совсем справедливо. Можно ли, например, согласиться с таким определением: «Вересаев принадлежал к представителям того реализма, который, по словам Горького, «всю силу своего критического отношения к действительности направлял исключительно на утверждение индивидуализма, на защиту свободы личности в условиях капиталистического общества»? Автор даже находит у Вересаева в предреволюционные годы отзвуки тех настроений, которые свойственны были воинствующим реакционерам, яростно и многословно отстаивавшим своеволие мысли и т. д. Рассматривая произведения Вересаева, посвященные интеллигенции и революции, автор находит в них много недостатков и объясняет их следующим образом: «Возможности критического реализма... оказывались у Вересаева иногда ограниченными, тем более что писатель не всегда верно следовал его традициям, а путей к новому искусству он не искал». Обратите внимание на эти слова Вересаев не только не был причастен к новому искусству, то есть искусству социалистического реализма, но даже не искал путей к нему!

Я вовсе не требую, чтобы путь Вересаева был выпрямлен и улучшен. Но, право же, внутренние связи писателя с советской литературой глубже, органичнее, чем это представлено в книге. Даже невооруженным глазом видно, что роман «В тупике» в известной мере предварял и «Любовь Яровую», и «Разлом», и многие вещи А. Толстого, К. Федина и Л. Леонова. При всех неудачах разве не примечательна попытка писателя в романе «Сестры» обратиться к теме социалистического строительства? Думается, что Г. Бровман должен был глубже показать Вересаева как советского писателя.

Мне кажется, что не всегда справедливые выводы возникли в книге потому, что Г. Бровман повторяет ошибку, свойственную, пожалуй, всем нам. Оценивая любой мотив, любую мысль, любое произведение писателя с точки зрения нашего сегодняшнего дня, мы порой теряем при этом принцип историзма в оценке. Вот любопытный пример. Г. Бровман подробно рассматривает книгу «Живая жизнь» и следующим образом говорит об отношении Вересаева к До-

стоевскому, которое-де «...при всей кажущейся многогранности и тщательности философско-психологического анализа страдает известной односторонностью, неполнотой. Автор не подчеркнул высоких положительных достоинств художественного творчества гениального писателя, не отметил то ценное, что имеется в нем. Вересаев не увидел и не показал, как произведения Достоевского отражают кричащие противоречия капиталистического города и буржуазно-дворянского строя вообще».

Бывают ошибки, которые во все времена и в любых условиях нетерпимы, и оценивать их следует со всей решительностью. Были такие ошибки и заблуждения и у Вересаева, и хорошо, что о них Бровман говорит полным голосом. Но в данном случае как раз и проявилась та чрезмерная строгость, о которой сказано было выше. Г. Бровман отлично знает, что писатель вовсе не ставил перед собой задачи разносторонне проанализировать творчество Достоевского, как не ставил ее перед собой в то же примерно время Горький в знаменитых статьях о карамазовщине. У Вересаева была здесь совсем другая цель, а потому и другие средства.

Несколько удивляет та недоверчивость и опаска, с какой подходит Г. Бровман к философской основе вересаевских книг, к теории «живой жизни». Конечно, вопрос о взаимоотношении психической жизни человека и его физиологического состояния освещается Вересаевым не с марксистских позиций. Но отрицать материалистический характер вересаевских воззрений на человека вряд ли есть основания. Г. Бровман пишет: «Трудно поверить, что еще в студенческие годы возникло у Вересаева это сознание некоей зависимости состояния «свободной души» человека от причин биологического порядка». Неужто Г. Бровман полагает, что психическая жизнь человека совершенно независима от причин биологического порядка? У Вересаева в его теории «живой жизни» было немало смутного, противоречивого, но Г. Бровман гораздо ближе к истине, когда он подчеркивает глубокий оптимизм, жизнеутверждающее начало в произведениях писателя, его активную борьбу против философии смертяшкиных, про-

тив эстетики декадентов с их прославлением смерти, нежели когда он тщательно коллекционирует философские ошибки писателя. Я полагаю, что, если бы в книге Г. Бровмана было больше историзма и меньше назидательности, она только выиграла бы.

И еще об одном и существенном недостатке. Это относится к эстетическому анализу творчества Вересаева. Было бы несправедливо утверждать, будто автор во все не говорит о художественных особенностях его произведений. Читатель найдет в книге верные соображения о преимущественном внимании писателя к идейно-нравственным проблемам, о роли публицистического начала в книгах Вересаева, о дневниковой форме. Автор справедливо видит в таких вещах Вересаева, как «Записки врача», не просто документальную исповедь молодого медика, но и элемент художественного обобщения. (Правда, здесь следовало бы подробнее выяснить жанровые черты книги. Известно, какое значительное место в русской литературе занимает жанр «записок» — от Радищева и Карамзина до Чехова и Горького.) Но досадно то, что эти верные соображения не вырастают в книге из глубокого и тонкого анализа произведения как художественного целого, а существуют как бы вне этого анализа, так сказать априори.

И, может быть, это отсутствие живого ощущения художественного текста, его эмоционального и эстетического воздействия на читателя предопределило и некоторую неточность и излишнюю назидательность при разговоре о тех или иных вещах писателя. В работе ничего не сказано о языке Вересаева. Каковы бы ни были масштабы дарования художника, читатель вправе спросить исследователя, какими же языковыми средствами пользуется писатель, каковы достоинства и слабости его как мастера слова.

Таким образом, есть в книге Г. Бровмана и существенные пробелы, и спорные решения. Но думается, что в первой большой работе об интересном и сложном писателе это в какой-то мере неизбежно. А что Г. Бровман проделал работу большую и полезную — в этом нет сомнения.

Л. ПЛОТКИН.

Новеллы Владимира Назора

В сербохорватской литературе хорват Владимир Назор, умерший в 1949 году, оставил прочный, вернее сказать, вечный след.

На протяжении столетий, вплоть до 1918 года, хорваты подвергались угнетению со стороны венгров и австрийцев. В сущности, этот гнет не ослабевал даже в конце девятнадцатого — начале двадцатого века. Правительство Франца-Иосифа проводило насильственную ассимиляцию хорватского национального меньшинства в Австро-Венгерской империи. Уроженец далматинского побережья Хорватии, Назор еще в молодости встал в ряды борцов за независимость своего народа. Однако крайности хорватского национализма были чужды Назору — он рано понял, что сербы и хорваты, несмотря на свои религиозные различия, образуют в действительности один народ, спаянный прежде всего языковым единством. В королевской Югославии, возникшей после распада «лоскутной» империи Габсбургов, зоркие глаза Назора умели видеть бедствия, которые приносила народу и «своя» монархия. Один из первых среди сербохорватских писателей, он еще до второй мировой войны осудил фашистские бредни. А в злые времена гитлеровской оккупации поэт-патриот отверг ласкательства пришлых и отечественных фашистов и на исходе седьмого десятилетия жизни, в конце 1942 года, ушел к партизанам вместе с друзьями коммунистами. После освобождения Югославии Назор был избран председателем Собора Народной Республики Хорватии.

Владимир Назор — творец непреходящих литературных ценностей, классик, народный поэт, жизненным и творческим подвигом которого гордится каждый грамотный югослав. В сущности, общенародного признания Назор достиг еще при жизни. Путь его к этой заслуженной славе был достаточно сложен, но далеко не так криволинеен, как у некоторых других деятелей сербохорватской литературы конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Автор послесловия к рецензируемому «Новеллам» М. Богданов, бегло говоря о при-

надлежности Назора к давнему хорватскому модернизму (то есть к тому же символизму), верно отмечает, что «...в отличие от западноевропейского декаданса «хорватский модерн» в этот период отличала довольно сильная патриотическая тенденция, связанная с еще не решенными задачами национального и государственного освобождения страны. Лучшие поэты того времени горячо сочувствовали трудовому народу, восставали против национальной и социальной несправедливости. В первую очередь это относится к Сильвио Страхимиру Крањчевичу и Владимиру Назору».

У нас широкая известность творчества Назора еще дело будущего. Правда, в 1945 году в Москве была издана в подлиннике книга партизанских очерков Назора. Но по сегодняшний день переведено на русский язык, причем не всегда удачно, только около десятка стихотворений Назора (большая часть их вошла в составленную И. Н. Голенщевым-Кутузовым книгу «Поэты Югославии». Издательство иностранной литературы. М. 1957). Кто знает, когда появится русский или, скажем, украинский поэт, который самостоятельно или в сотрудничестве с филологами даст советской литературе поэзию Назора!

Не лучше покуда и с нашей литературой о Назоре. Одна статья в «Литературной энциклопедии», другая в «Известиях» (в апреле 1943 года), заметка в «Поэтах Югославии» да послесловие к «Новеллам» — это, в сущности, все. Кто знает, когда появится у нас критик или исследователь, который обстоятельно познакомит советских читателей с поэзией Назора!

В ожидании этой будущей книги стихов Назора в русской версии и этой будущей русской работы о нем порадуемся инициативе Государственного издательства художественной литературы, опубликовавшего сборник избранных новелл Назора.

Составитель сборника А. Романенко представил Назора-беллетриста преимущественно его автобиографическими новеллами, отчасти и как мастера темы легендарной и символической (Назор как исторический новеллист не представлен).

Такие автобиографические новеллы Назора, как «Побег в Италию» и «Каменотес

Анджело», доказывают, что сербохорватский поэт, вполне национальный по духу, был вместе с тем тесно связан и с итальянской культурной традицией, более того — даже с итальянским народом, простых людей которого он всегда рисовал с неподдельной симпатией. Смолоду писавший по-итальянски, а впоследствии не только переводивший образцово на родной язык творения Кардуччи, Пасколи, д'Аннунцио, но и на итальянский язык свои собственные сербохорватские стихи, Назор в этом смысле являлся как бы продолжателем старых поэтов Дубровницкой республики, в средние века и в эпоху Возрождения соперничавшей с Венецией. Известно, что многие из них одинаково хорошо писали и по-сербохорватски, и по-итальянски, и по-латыни. Но если те поэты, детища своей эпохи, носители феодального и раннебуржуазного мировоззрения, только изредка выражали сочувствие угнетенным труженикам и уж во всяком случае только эпизодически говорили от их лица, то Назор, демократ и современник социальных и политических конфликтов конца девятнадцатого — первой половины двадцатого века, Назор, свидетель возрождения своего народа и непосредственный участник его борьбы против внутренней реакции и чужеземных захватчиков, создавал свои лучшие произведения — в том числе и некоторые из рассматриваемых здесь новелл — с сознанием своей принадлежности к народным массам отчизны, своей озабоченности их нуждой, своего гражданского долга перед ними. Можно сказать, что для Назора — хотя буржуазная критика приписывала ему и «духовный аристократизм» и «нищшеанский индивидуализм» — проблема «поэта и черни», столь характерная для многих символистов, почти не существовала. Понятие «народ» для Назора никогда не было синонимом «черни». Поэтому Назор рано потерял вкус к мелкотравчатому, камерному лиризму и ко всякого рода литературе для литературы, поэтому он в отличие от иных представителей того же хорватского модернизма довольно скоро добился немалых успехов в написании произведений, реалистических в основе, исполненных серьезных чувств и мыслей, которые воплощались в слове сильным и действенным.

«Эхо гремело по всем ущельям, сливаясь в мощный гул, напоминающий шум дерзко

и сердито набегающих друг на друга клочущих морских валов. Издававший крики человек нарочно налегал на эти три гласные, чтобы узнать, какому из них ответит самое сильное эхо. Услышав, что громче всего раскатываются у-у-у и о-о-о, он исторг такое количество глубоких «бу» и кончил таким оканьем, что казалось, будто устье самого широкого ущелья превратилось в огромный рот, издающий протяжный возглас изумления...

Певец втянул живот, расправил плечи, выпятил грудь и откинул голову, так что стали видны вздувшиеся на шее жилы... Певун поднимался на цыпочки, словно голос мог и его унести, шатался, но ноги не изменяли ему; казалось, что земля ему необходима, будто прикосновение с ней вливалось в певца новые силы.

— О-о-о-о!

Голос его задрожал, но не оборвался. Певец и теперь владел им. Он умело поднимал и опускал его по невидимой лестнице и толкал его все выше и выше, не давая присесть на ступеньку» («Анте-Певун»).

Великолепна эта словесная пластика Назора, заставляющая вспомнить самые высшие достижения сербохорватской литературы. Но разве в одной пластике здесь суть? Наделенный острым зрением и не менее острым слухом, писатель в этих строках прежде всего своеобразно вскрывает глубочайший смысл античного народного мифа о богатыре Антее, которого нельзя было одолеть, пока он крепко стоял на родной земле, дававшей ему и силу и волю к борьбе. Таким Антеем, то есть деятелем литературы, не оторванной от народа, но уходящей в него всеми корнями, еще в юности захотел стать и в зрелости безусловно стал и сам Назор.

О том, как он формировался в этом отношении, собственно, и рассказывают многие из автобиографических новелл.

Очень конкретные впечатления, которые Назор, выходец из семьи состоятельной, но связанной с трудовым людом, получил во время своего пребывания в детские и юношеские годы на острове Браче и вообще в Далмации, вызвали к жизни эти яркие страницы. Правдиво и поэтично Назор показывает, как его раннее сознание не только проникалось картинными величественной природы или содрогалось перед безжизненностью стихийных сил, но также по-

степенно преодолевало предрассудки мелкопоместной среды, улавливало и постигало социальную неправду, все решительнее привязывалось к миру тружеников, к их заботам и скорбям, к их упорству в тяжелой борьбе против природного и общественного гнета. В автобиографических новеллах Назора часто выступают люди «...тощие, худые, полудикие, обожженные зноем, измученные, изнуренные долгой непосильной борьбой с каменной почвой, на которой ничего не растет, с засухой, уносящей последние капли влаги» («Анте-Певун»). Вероятно, не найдется читателя, который равнодушно отнесся бы к жестокому реализму таких, например, новелл Назора, как «Охота за веревками» и «Вода». Для писателя декадентского склада тут хватило бы поводов, чтобы без удержу вопить о всеилии природы и беспомощности двуногих существ. Однако ни в названных новеллах, ни в других своих произведениях, тоже посвященных нелегкой жизни далматинских крестьян и рыбаков, Назор не склонился к пессимизму и человекопрезрению. Наоборот, с течением времени он все больше утверждался в своей надежде на будущее и земляков далматинцев и всего человечества. Вот еще очень характерный отрывок Назоровой автобиографической прозы, писанной им в годы творческой зрелости:

«Учитель знал каждый камешек, каждую скалу. И в темноте он находил тропки, ставил ногу на твердое место, вел меня за собой.

— Нет на свете такой пустоши, которую нельзя превратить в зеленый луг. Но люди этого не знают. Ох, насадить бы на пустыре лес, возделать поле или хоть садик разбить! Везде найдется земляца, где семя даст ростки, вырастет дерево. И душа человеческая... Ну, оставим это. Мал ты еще для таких разговоров.

Но я понимал его.

Я чувствовал, что в тот вечер в мою душу заронилось нечто новое. И мне хотелось сажать и выращивать, и не для себя, а для других» («Сеятель»).

Этот возвышенный гуманизм (в данном случае счастливо роднящий сербохорватского писателя с нашим Чеховым) — отличительный признак творчества Назора, поэта и прозаика, знавшего срывы и заблуждения, но всегда тяготевшего к благородным идеалам.

А что можно сказать о русском переводе «Новелл» Назора?

Перевод, в общем, литературен. Однако местами частные промахи авторов перевода (одна половина его выполнена Ю. Брагиным, другая представляет собой совместный труд И. Макаровской и Г. Языковой) бросаются в глаза.

«Znao si svaki kamen, svaka liticu... A pustimo sada to! Ti si za to još mlad».

Всего две строки, но как небесспорно переведены они!

«Учитель знал каждый камешек, каждую скалу... Ну, оставим это. Мал ты еще для таких разговоров». Прибавлено якобы что-то разъясняющее слово «учитель», вместо многозначительного «оставим это теперь («sada»)» упрощенно сказано только «оставим это», допущена совершенно лишняя отсебятина «для таких разговоров», а слово «камень» почему-то дано в уменьшительной форме «камешек». Так ли надо переводить крупного стилиста?

Тут не мелочные придирки к нескольким неудавшимся фразам перевода. Слив с подлинником десятка два страниц в разных местах книги, прихожу к выводу, что к сходным «разъяснениям», усечениям или, наоборот, расширениям авторского текста переводчики прибегали излишне часто. Кроме того, встречаются погрешности и другого порядка. «Большой, неровно вымощенный каменными плитами, он лежал между большим жилым домом и хозяйственными постройками, за ним шел не большой садик. Выделялся глубокий, округлый желоб, в котором давили виноград, и чаша большого колодца». Откуда такое беспомощное повторение одного и того же эпитета, откуда и эта неряшливость с «чашей», которая... «выделялся»? «Затем вползла опять на стену и исчезла», — но ведь следовало сказать не «вползла», а «всползла»! «Попадались места совершенно без земли, но, конечно же, надлежало написать «без почвы» или «без грунта». «Дом еще несколько дней мылся и приводился в порядок» — хорошо ли это?

Цель этих замечаний не в том, чтобы поставить под сомнение качество всей работы Ю. Брагина, И. Макаровской и Г. Языковой — для этого нет оснований, ибо, как уже было указано выше, перевод «Но-

велл» выполнен, в общем, литературно. Цель этих замечаний в том, чтобы названные переводчики (особенно если они литераторы молодые) поняли, что Назор не из тех писателей, которые легко под-

даются переложению на другой язык, и постарались при удобном случае (при переиздании «Новелл»): усовершенствовать свой труд.

И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.

★

Политика и наука

О «Философских тетрадах» В. И. Ленина

Среди богатейшего литературного наследия В. И. Ленина особое место занимают «Философские тетради» — неисчерпаемая сокровищница философских проблем и вопросов, поднятых и разработанных Владимиром Ильичем. Судя по конспектируемым произведениям, наброскам, заметкам, выпискам по истории философии, логике, естествознанию, которые составляют содержание «Философских тетрадей», В. И. Ленин, по-видимому, предполагал дать целостное и стройное изложение марксистской диалектики. Хронологически материалы «Философских тетрадей» охватывают период с 1895 по 1916 год.

Выполнить план научных исследований, намеченных в «Философских тетрадах», — одна из важнейших задач советских философов.

К сожалению, в нашей литературе, кроме нескольких брошюр и отдельных статей, нет еще специальных монографий, посвященных замечательному ленинскому произведению. Первой попыткой восполнить этот пробел является книга «О «Философских тетрадах» В. И. Ленина», подготовленная большим коллективом научных сотрудников Института философии Академии наук БССР и философских кафедр Белорусского государственного университета.

Книга содержит семь глав, в которых раскрываются основные проблемы диалектического и исторического материализма, философии естествознания и истории философии. Центральное место в монографии занимают вопросы материалистической диалектики: определение ее предмета и задач, разработка В. И. Лениным основных законов и категорий диалектики, проблема единства диалектики логики и теории познания марксизма.

В начале книги авторы рисуют истори-

ческую обстановку в период работы Ленина над «Философскими тетрадами». В основном Владимир Ильич работал над философскими проблемами в годы первой мировой войны. Посвященные анализу империализма и выяснению вопроса о путях борьбы за победу социалистической революции, труды В. И. Ленина были теснейшим образом связаны с его философскими исследованиями периода 1914—1916 годов. В книге ясно очерчена огромная работа, проделанная Лениным по совершенствованию теоретического оружия марксизма, обоснованию необходимости разгрома ревизионизма и решению задач дальнейшего развития марксистской философии.

«Философские тетради» наряду с произведением «Материализм и эмпириокритицизм» являются великим творением ленинского гения. Место «Философских тетрадей», как справедливо отмечают авторы, определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, большим кругом философских проблем и вопросов, поднятых Лениным в его конспектах и заметках, а во-вторых, той ролью, которую выполняет марксизм как мировоззрение в решении конкретных практических задач.

«Философские тетради» являются острым оружием в борьбе против современного ревизионизма; они помогают теоретически осмыслить историческую программу развернутого коммунистического строительства в нашей стране, основы деятельности коммунистических и рабочих партий при решении сложных вопросов международного рабочего движения.

Исследование важнейших проблем марксистской диалектики охватывает в книге следующие темы: «В. И. Ленин о предмете и задачах материалистической диалектики», «Основные законы и категории материалистической диалектики», «Диалектика как теория познания и логика марксизма».

В «Философских тетрадах» Ленин, раз-

вивая и конкретизируя марксистское понимание материалистической диалектики, дает ей ряд определений. В каждом из них выражается та или иная существенная ее сторона. Ленинские определения приведены в сопоставлении с положениями Гегеля, Плеханова и других философов. Вопросу о материалистической диалектике как самостоятельной науке Ленин придавал особое значение, что нашло также отражение в книге.

Конспектируя «Науку логики» Гегеля, Ленин сформулировал шестнадцать элементов диалектики. Глубоко исследовав наиболее важные из них, Ленин вместе с тем подчеркивал неисчерпаемость диалектики и указывал, что в своем историческом развитии человеческое познание будет открывать ее новые стороны и обогащать ее новыми положениями. Авторы знакомят с основным содержанием ленинского фрагмента «К вопросу о диалектике». Хотя и небольшой по объему, фрагмент представляет собой непревзойденное по глубине и богатству мыслей обобщение всего главного и существенного, что составляет содержание материалистической диалектики.

Излагая ее основные законы и категории, авторы справедливо указывают, что разработке закона единства и борьбы противоположностей Ленин уделял особенно большое внимание в «Философских тетрадах», рассматривая его как ядро марксистской диалектики. В книге раскрывается учение Ленина о противоречиях, являющихся внутренним источником развития явлений, приводится классическое ленинское положение о том, что «антагонизм и противоречие во всем не одно и то же. Первое исчезнет, второе останется при социализме». Это определение особенно важно для понимания характера развития социалистического общества. Авторы рассматривают и другие законы материалистической диалектики: закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания отрицания, категории диалектики как ступени познания мира.

Одна из глав трактует указание Ленина, впервые наиболее полно сформулированное в «Философских тетрадах», — о единстве, или совпадении, в диалектическом материализме диалектики, логики и теории познания. Являясь отражением объективной действительности, законы и категории диалектики, действующие в природе, обществе и

мышлении, приобретают в процессе познания роль методологических принципов. В единстве материалистической диалектики, теории познания и логики марксизма и состоит одна из важнейших особенностей диалектического материализма.

Немалое место отведено в книге философским вопросам естествознания, которые получили в ленинских тетрадах по философии соответствующее решение.

Владимир Ильич изучил и законспектировал в разное время (1904—1916 годы) много работ из этой области и дал ряд поразительно метких оценок. На конкретных фактах Ленин показывает в «Философских тетрадах» вздорность попытки махистов подняться выше материализма и идеализма. Читатель найдет в рецензируемой книге ленинские указания по философским вопросам физики, математики, биологии.

В период создания «Философских тетрад» шла острая борьба между сторонниками атомистической теории и ее противниками. Ленин, раскрыв огромное значение атомистического учения для познания материального мира, показал полную несостоятельность утверждений идеалистов, которые ссылками на сложное строение атома пытались опровергнуть материализм. Ленинские мысли имеют неоценимое значение для современной физики, открывшей и открывающей новые данные о строении элементарных частиц.

Одной из проблем биологии, которые занимали в свое время В. И. Ленина, является выяснение сущности жизни и связанных с ней процессов. Рассказывая об этом, авторы подчеркивают значение диалектического материализма для развития науки в современных условиях.

Излагая вопросы исторического материализма, авторы начинают освещение темы с ленинской критики социологических взглядов Гегеля и Фейербаха. На примере этих крупнейших философов Ленин показал несостоятельность идеалистического понимания истории. В книге подробно рассматриваются вопросы исторического материализма в ленинском концепте книги Маркса и Энгельса «Святое семейство», где Владимир Ильич дает оценку открытого Марксом и Энгельсом материалистического понимания истории.

В заключительной части книги авторы останавливаются на ленинских высказываниях об истории философии как науке, о

ее предмете, о важнейших этапах ее развития. Читатель сумеет глубже понять классовый, партийный характер философских теорий и уяснить критику В. И. Лениным буржуазного объективизма.

Хотя книга «О «Философских тетрадах» В. И. Ленина» не лишена недостатков,—

не все главы в ней равноценны и достаточно глубоки по содержанию,— в целом она представляет несомненный интерес и будет полезна для широкого круга читателей, изучающих марксистско-ленинскую философию.

А. КОПЦЕВА.

★

Боевое братство

«Нормандия—Неман»... Эти два слова, стоящие в названии книги Франсуа де Жоффра, воскрешают в памяти славную страницу Великой Отечественной войны, символизируют дружбу французского и советского народов, совместно сражавшихся против фашистской Германии, за свободу и независимость своих стран, за будущее всего человечества.

Франсуа де Жоффр одним из первых отозвался на призыв инициативной группы французских патриотов, не смирившихся после поражения Франции. Призыв гласил: «Сражаться с врагом всюду, где сражаются». И вот в 1942 году в Советском Союзе появилась и приступила к тренировочным полетам первая группа французских летчиков—пионеров авиационного полка, получившего затем название «Нормандия—Неман».

Боевому братству верных сынов Франции и советских воинов посвятил свою книгу Франсуа де Жоффр—кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны, Почетного легиона и Боевого креста. На страницах его книги оживает полный героики путь полка «Нормандия—Неман». От берегов Оки до берегов Балтики пролегал этот путь, вехами которого были такие операции, как битва на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Белоруссии, бои под Кенигсбергом.

На боевом счету полка свыше пяти тысяч вылетов, больше трехсот сбитых и поврежденных вражеских машин, значительное количество уничтоженной живой силы и техники гитлеровцев. Полк неоднократно отмечался в приказах Верховного Главнокомандования, его боевой стяг украсили советские ордена, а рядом к древку пол-

кового знамени были прикреплены французские награды. Четверо пилотов—Марсель Альбер, Роллан де ля Пуап, Жак Андре и Марсель Лефевр—удостоены звания Героя Советского Союза. Имена более чем сорока отважных летчиков, отдавших жизнь за торжество общего дела—разгром фашизма,—золотом выбиты на мемориальной доске московского дома, где в годы войны помещалась военная миссия сражающейся Франции. Сюда, чтя память погибших, москвичи приносят цветы.

Живым, образным языком, с присущим ему французским юмором нарисовал автор ряд интересных эпизодов из боевой жизни полка. «Франсуа де Жоффр дает собственную оценку событиям, описывает их так, как их видел он сам—смелый летчик и француз, обладающий даром наблюдения»,—так отзывается о его записках бывший командир полка «Нормандия—Неман» полковник Луи Дельфино. «Он позволил нам еще раз с волнением пережить эти замечательные годы, которых мы никогда не сможем забыть»,—вторит своему командиру капитан Роллан де ля Пуап.

С большой теплотой говорит автор о советских людях, с которыми приходилось встречаться и ему самому и его однополчанам. Русские, пишет он, делали все, чтобы облегчить трудности, выпавшие на долю французских летчиков. Они обучали их полетам на замечательных советских истребителях конструкции А. С. Яковлева, они помогали им постигать искусство воздушного боя, смелого, наступательного.

В часы отдыха французские пилоты слушали выступления народных ансамблей и известных певцов, смотрели балеты в исполнении фронтовых бригад артистов Большого театра СССР. «А эти чудесные беседы с русскими студентками,—вспоминает автор,—многие из которых прекрасно знают Золя, Бальзака и Ромена Роллана. Французская литература здесь в почете!»

Франсуа де Жоффр. «Нормандия—Неман». Воспоминания военного летчика. Перевод с французского. Редакторы П. Л. Павлов, П. Е. Турчин. 192 стр. Возмиздат. М. 1960.

Восхищаясь советской культурой, национальным русским искусством, Франсуа де Жоффри пишет: для того чтобы понять душу славянина, нужно услышать рожденные войной русские песни, в которых на изумительно красочном и богатом языке тесно переплетаются прославление храбрости и любовь к родной земле, жажда жизни и презрение к смерти, гимн подвигам во имя Родины на фронте и в тылу. Тесное общение с советскими людьми приводит автора к многозначительному выводу. «Понемногу я начинаю понимать, каким образом Советское правительство смогло поднять весь русский народ, такую многонациональную страну на борьбу против агрессора».

Французские летчики с большим уважением относились не только к советским авиационным командирам — генералу Г. Н. Захарову, в дивизию которого полк «Нормандия—Неман» входил как самостоятельная национальная часть, командиру 18-го гвардейского авиационного полка, с которым они взаимодействовали, полковнику А. Е. Голубову, — но и ко многим другим авиаторам, о подвигах которых им не раз приходилось слышать: Ивану Кожедубу, Александру Покрышкину, братьям Дмитрию и Борису Глинки, Аметхану Султану... Горячую признательность каждый из пилотов полка «Нормандия—Неман» питал к советским авиационным техникам и механикам, которые готовили к вылетам их самолеты. «Механики относятся к нам с чувством трогательной дружбы, — рассказывает Франсуа де Жоффри. — Надо видеть их лица, их горящие взгляды, их счастливые улыбки, когда мы сообщаем им о наших победах. Они радуются больше, чем мы. Но когда кто-нибудь из наших не возвращался, нам нередко приходилось наблюдать, как они уединялись, чтобы выплакать свое горе».

И нужно сказать, французские летчики отвечали советским воинам такой же крепкой боевой дружбой. Нельзя без волнения читать рассказ об эпизоде, случившемся 15 июля 1944 года. Помнится, тогда он поразил выдавших виды воинов 3-го Белорусского фронта, о нем долго говорили на аэродромах, в блиндажах, на огневых позициях. Героями этого эпизода были французский барон лейтенант Морис де Сейн и комсомолец из украинского села Покровского сержант Владимир Белозуб.

Во время перебазирования на новый

аэродром лейтенант де Сейн взял на борт своего истребителя механика В. Белозуба. Тот уместился в отсеке фюзеляжа за бронеспинкой кабины летчика. Парашюта у него не было. В полете фашисты повредили самолет, вывели из строя бензопровод. Де Сейну пришлось возвратиться на аэродром. Летчик был ослеплен парами бензина, вытекавшего из баков. Он мог бы спастись, выпрыгнув с парашютом, но это обрекало на верную гибель механика. Теряя сознание, он упорно старается посадить машину. Это не удается. «Самолет, словно взбесившись, делает свечу, опрокидывается на спину, ударяется о землю и исчезает в огромных языках пламени в нескольких сотнях метров от нас».

Бледные и безмолвные, наблюдали мы за этой страшной трагедией. Поступок де Сейна... один из самых потрясающих героических подвигов, очевидцами которых мы были во время этой войны».

Летчики полка «Нормандия—Неман» жили дружной боевой семьей. Автору этих строк в ту пору довелось встречаться с ними и на полевых аэродромах, и в дни их короткого отдыха в Москве. Веселые, жизнерадостные парни, они всегда много шутили, старались с улыбкой переносить тяготы и лишения походной жизни. Эта атмосфера непринужденности и даже, может быть, некоторой легкости, с которой кое-кто из французских летчиков смотрел на происходящее вокруг, хорошо передана в записках Франсуа де Жоффра. Мягко подтрунивая над однополчанами и в том числе над самим собой, он рассказывает о всякого рода маленьких приключениях личного характера, подчас уделяя им слишком много места.

Возможность по-настоящему сражаться за правое дело в те дни, когда правительство Виши позорно капитулировало перед гитлеровцами, привлекла на советско-германский фронт многих истинных патриотов Франции. Полк «Нормандия—Неман», подобно магниту, притягивал к себе французских летчиков. Одни бежали из петэновских казарм морем, другие, подобно Альберу, Дюрану и Лефевру, — по воздуху, на угнанных самолетах. Пилоты прибывали не только из Франции, но и из Индокитая, Северной Африки, Новой Каледонии, Мадагаскара и других мест. Весь пыл своих свободолюбивых сердец, все мастерство они отдавали борьбе с врагом. Ни

мертвые, которых они оставляли позади, говорит Франсуа де Жоффри, ни опасности, которые грозили им впереди, не могли остановить их порыв.

Много воздушных боев и штурмовых налетов на вражеские объекты было проведено полком «Нормандия—Неман». Его летчикам довелось познать не только радость побед, но и горечь поражений, понести невозвратимые потери. Под Орлом погиб ветеран полка — суровый, аскетический капитан Литольф; там же настигла смерть и другого храбреца, любимца полка, его первого командира — майора Тюляна; под Гумбиненом, в Восточной Пруссии, гибнет один из старейших французских летчиков — бургундец Бертран...

Большой размах достигли боевые действия полка «Нормандия—Неман» в октябре 1944 года, во время наступления советских войск в Восточной Пруссии. За этот месяц французские летчики сбили свыше сотни вражеских машин. В книге хорошо передано напряжение этой операции. «На следующий день повторяется то же самое,— пишет Франсуа де Жоффри.— В воздух поднимаемся через пять секунд после сигнала, пикируем, делаем виражи. И вот черный крест «мессера» уже в перекрестии прицела. Палец нажимает гашетку. К вражеской машине тянутся нити трассирующих пуль и снарядов... Взрыв... Дым... Вражеского самолета больше не существует. Вздурожженное сердце, работающее с максимальной нагрузкой, постепенно успокаивается... «Замедленная бочка»¹ над посадочной полосой... Приземление... Осмотр машины механиком... Чашка чаю... Сигарета... И новый вылет! Рывок к черному горизонту! Снова стиснутые зубы, снова напряглись мускулы. Так проходят наши боевые будни».

Наступили последние месяцы Великой Отечественной войны. Как и прежде, на летчиков полка «Нормандия—Неман», приобретших большой боевой опыт, возлагались важные задачи. Им, в частности, 5 дни боев под Кенигсбергом пришлось драться с фашистскими асами из эскадрильи «Мельдерс» — одной из наиболее видных частей гитлеровской истребительной авиации. В конце марта сорок пятого года

¹ Этой фигурой высшего пилотажа французские летчики, возвратившись на свой аэродром, извещали об одержанной в воздушном бою победе.

над заливом Фриш-Гаф автору книги пришлось выпрыгнуть с парашютом из подожженного врагами самолета. Полсоток находилась он в ледяной воде, плавая под огнем на каком-то попавшемся под руку деревянном бруске. Опасности подстерегали летчика всюду: и с воздуха, и с земли, где в это время шел ожесточенный бой, и на воде — тут еще сновали фашистские катера.

С нечеловеческой настойчивостью борясь за жизнь, французский летчик находит в себе силы добраться до берега. Он в опасной зоне вражеского огня. И тут на помощь пришел советский солдат. Он вытаскивает теряющего сознание француза из воды на берег, уводит его в укрытие. С большой сердечной признательностью к своим спасителям — советским воинам — рассказывает Франсуа де Жоффри об этом: «Я очутился в воронке от снаряда, переполненной советскими солдатами. Наступление в самом разгаре. Небритые лица с любопытством разглядывают меня. Мое сердце бьется, я живой, но не могу больше произнести ни единого слова. Советский капитан осматривает меня, он замечает на превратившемся в лохмотья кителе орден Отечественной войны. Его лицо озаряется улыбкой, он наклоняется и крепко целует меня. Этот жест останется навсегда в моей памяти как высшее проявление дружбы бойцов, сражающихся за общее дело...»

Ровно пятнадцать лет назад, вскоре же после того, как Москва орудийными залпами салютовала в честь победы, одержанной над гитлеровской Германией, в Краснознаменном зале Центрального Дома Советской Армии собрался весь личный состав авиаполка «Нормандия—Неман». Главнокомандующий советскими Военно-Воздушными Силами Главным маршал авиации А. А. Новиков вручал французским летчикам боевые награды. Помнится, во время банкета, устроенного по этому случаю, Главный маршал, подзвав к себе одного из французских летчиков, смущенного и застенчивого, шуточно, намекая на эпизод в Фриш-Гафе, назвал его, как и товарищи по полку, «человеком с Балтики». Это был Франсуа де Жоффри, безыскусная, но своеобразная книга которого будет с интересом прочитана теперь советскими читателями.

В борьбе за мир, за счастье людей

(У истоков советской дипломатии)

В серии «Библиотека внешней политики» Издательство социально-экономической литературы выпустило недавно два интересных сборника статей Вацлава Вацлавовича Воровского и Анатолия Васильевича Луначарского. Внешнеполитическая деятельность в жизни каждого из этих людей действительно занимает очень значительное место, оба они по праву считаются виднейшими представителями советской дипломатии.

Есть много общего между собственно литературной деятельностью Воровского и Луначарского и их выступлениями на дипломатическом поприще. В статьях и заметках Воровского сразу же чувствуются стиль и тон, уже хорошо знакомые читателям по его литературоведческим и литературно-критическим работам: прямота и решительность суждений, математическая точность и логическая последовательность аргументации, едкая ирония... Корреспонденции, памфлеты и очерки Луначарского-дипломата мгновенно воскрешают в памяти литературно-художественную манеру этого писателя с ее атмосферой высокого интеллектуализма, широчайшей эрудированностью, изысканностью юмора... Но не только эти внешние стилистические черты сближают Воровского и Луначарского — писателей и дипломатов. Главное в том, что и в непосредственно литературной и в дипломатической работе они были выразителями и проводниками единой идеи, единого стремления. Они были большевиками, защитниками интересов революционного народа. И потому они были за мир. Ибо война с точки зрения рядового солдата, то есть того же рабочего или крестьянина, — или крайняя необходимость, или бессмысленный ужас и проклятие.

Воровский был первым представителем молодой республики Советов за ее рубежами. С момента свершения Великой Ок-

тябрьской социалистической революции и вплоть до своей гибели в 1923 году он выполнял различные ответственнейшие поручения партии и Советского государства, отстаивал интересы своей родины перед сильными и опытными противниками. Воровский очень многое внес в разработку принципиальных основ и методов советской внешнеполитической стратегии.

Деятельность Воровского протекала в тяжелое для нашей страны время. Послевоенная разруха, гражданская война, нашествия интервентов, внутренние трудности в восстановлении хозяйства — все это создавало весьма неблагоприятный «фон» для успешной дипломатической работы. Блистательный успех дипломатической миссии Воровского (на посту советского полпреда в Италии, в скандинавских странах, во время брестских переговоров, на Генуэзской и Лозаннской конференциях) на первый взгляд можно было бы объяснить его исключительными личными качествами. Но дело тут обстоит глубже. Прежде всего, в облике Воровского-дипломата выразились характерные черты дипломатии нового типа, которая соединяет в себе богатейшую традицию дипломатического творчества, весь арсенал веками отработанных приемов и форм этого тончайшего искусства с истинно революционной, марксистской неколебимостью в решении любых принципиальных политических вопросов. Материалы, включенные в новый сборник, являются замечательные образцы такого рода дипломатических выступлений Воровского.

Неуклонно отстаивая свою принципиальную политическую позицию, Воровский вместе с тем был решительным противником всякого рода примитивных приемов в дипломатической работе, всякого третирования «дипломатической воспитанности» и восхваления «запорожских» методов в дипломатии. Сама личность Воровского, как вспоминает один из его сотрудников, играла в его дипломатической деятельности огромную роль. «Он быстро распознавал людей, быстро находил подходящий тон в разговоре с самыми разнообразными людьми, начиная с опытных государственных деятелей и дипломатов и кончая различными представителями... делового мира.

В. В. Воровский. Статьи и материалы по вопросам внешней политики. Составитель Н. Ф. Пяшев. 255 стр. Соцэпгиз. М. 1959.

А. В. Луначарский. Статьи и речи по вопросам международной политики. Составитель Л. А. Истомин. 452 стр. Соцэпгиз. М. 1959.

С какими опасениями подходили иногда эти представители к т. Воровскому! В связи с представлением о большевиках мерещились грубые «чекисты» с маузером или ножом в руке... террор... А тут вдруг худощавый, с сединой в бороде, немного сгорбленный джентльмен, безукоризненно хорошо, хотя и просто одетый, с искорками смеха в серых глазах за стеклами пенсне... И он прекрасно говорит на всех наиболее известных европейских языках... А сколько остроумия и легкого юмора в речи его!..»

Но каждый, кто знал Воровского, знал и то, каким негибачимым и непримиримо жестким был этот человек в отстаивании интересов своей родины, интересов первого в мире государства рабочих и крестьян. Потому так люто, так иступленно ненавидели Воровского враги Советской республики. Исчерпав все иные возможности в борьбе с этим «красным джентльменом», они прибегли к пуле убийцы...

Нота Керзона и выстрел в Воровского, говорил М. М. Литвинов в 1924 году на открытии памятника Воровскому, были арьергардными выстрелами «позорно отступившей международной буржуазии после первой интервенции. В этой стычке мы, к глубокому нашему прискорбию, потерпели большой урон, лишившись одного из лучших наших товарищей, одного из самых **славных** борцов за рабочее дело. Надо отдать справедливость гнусному убийце Конради, что он удачно со своей точки зрения выбрал жертву, что он метко попал в одного из лучших сынов пролетарской республики...»

Шли годы. Советская страна набиралась сил и, отражая удары врагов, крепла, росла, мужала. Вооруженный народ стоял на бастионах пролетарской крепости. А за стенами этой крепости продолжали свою замечательную работу советские дипломаты.

После двенадцатилетней деятельности на посту первого наркома просвещения в нашей стране в ряды представителей советской дипломатии вступает А. В. Луначарский. Он участвует в ряде важнейших международных событий, связанных с деятельностью Лиги Наций. И умирает на своем посту в 1933 году во французском городке Ментоне, по дороге в Мадрид, где он должен был приступить к работе полпреда...

«Как ни мало исследована содержательная и во многом поучительная жизнь А. В. Луначарского,— читаем мы в предисловии составителя к сборнику,— она все же нашла некоторое отражение в научных трудах, посвященных его литературно-критической деятельности. Менее изучена и потому в большей безвестности осталась работа Анатолия Васильевича в Наркомпросе. И почти совсем не известна широким кругам читателей деятельность А. В. Луначарского в качестве дипломата. Из всех справочных и биографических трудов, включая Дипломатический словарь (!), только второе издание Большой советской энциклопедии дает некоторые сведения об этом».

Статьи, речи, исследования Луначарского, включенные в новый сборник, написаны, кажется, сегодня. Ведь основная мысль, основная идея их — борьба за мир, борьба за дружбу народов, населяющих нашу планету.

«Война для нас — помеха. Нам она не нужна. Нам нужно спокойствие. Нам нужно сосредоточить силы на нашем главном деле. Осуществляя его, мы будем завоевывать десятки и сотни миллионов трудящихся, которые, убедившись в правильности нашего пути, водворят на всей земле тот порядок, который мы считаем разумным. Вот почему мы за мир».

Луначарский горячо выступает против всяческих — тайных и явных — поджигателей всяческих «холодных» или «горячих» войн. Против политических авантюристов, против фашиствующих в шовинистической истерии, против благообразных дельцов, собирающих с трупа по копейке, против изуверов, воспевающих «благодарную» силу войн: народы-де выходят из них лишь еще более окрепшими и закаленными. Против всех тех мерзавцев, для кого смерть миллионов детей, людские слезы и кровь, нищенство и исковерканные жизни безногих и безруких калек, опустошенные души, безверие и самоубийства молодежи — лишь ненужные натуралистические подробности, чужое дело, о котором неприлично вспоминать (если только такое «вспоминание» не может сослужить определенную службу в определенной политической игре).

Вот они — их целая галерея, — рыцари политической демагогии, стражи векового «порядка», ревнители и поборники кастовых привилегий и классового высокомерия.

«Я,— говорит Луначарский,— позволю себе... провести перед читателями всю серию этих масок». Некоторым из этих деятелей Луначарский посвящает памфлеты, подробно характеризует их повадки, рассказывает их политическую биографию; иногда это лишь два-три штриха — и на читателя уже глядят какая-нибудь не весьма симпатичная, но всегда весьма характерная физиономия.

Постепенно этот, казалось бы, чисто публицистический прием достигает почти художественного эффекта. За отдельными физиономиями вырастает некий обобщенный образ, проступают контуры той социальной силы, которая определяет порой внешне прихотливые политические жесты этих господ, все их дипломатические «па», на первый взгляд так утонченно замысловатые или неуклюже добродушные. Под пером Луначарского всякая хоть сколько-нибудь примечательная фигура дипломатического противника становится портретом, в котором сохранены все черты, мельчайшие особенности прототипа и в то же время видно значительно большее — отношение автора к изображаемому, социальное «нутро» и социальная генеалогия «героя».

Таков данный Луначарским портрет Раймона Пуанкаре — «чистенького, очень расчтетливого и сдержанного купчика, по-европейски наряженного». Таков «в исполнении» Луначарского «квадратный и крепко стоящий на ногах Тардые, с ледянными глазами и железным лицом, с челюстями, которые могут раздавить любую кость. Тардые соединяет в себе,—мимоходом замечает Луначарский,— удачливого и беззастенчивого биржевика, колониального устремителя и самоуверенного апаша». Таков, наконец, блестящий эскиз «Великий мастер игры в «пацифизм» — об Аристиде Бриане.

А вот целая плеяда оголтело рвущихся к политической карьере мелких демагогов и крупных мошенников — разных временщиков империалистической реакции, спекулирующих на недовольстве масс, на пассивности масс, на всем, что поддается спекуляции. «Это,— говорит Луначарский,— горланы, опьяняющиеся звуками собственного голоса и звонкими фразами своих статей. Обиженные обществом, неудовлетворенные, но полные темперамента, они вечно бегут впереди пролетариата, как бойкая собака впереди охотника, и все для них недостаточно революционно. Революционность их, впро-

чем, в большинстве случаев ограничивается романтической, анархистообразной фразой. Они легко подымаются в гору при известном таланте, пользуясь недовольством масс против вождей оппортунистического типа. Но они... могут переборхнуть с одной позиции на противоположную. Необыкновенно ярким классическим типом в этом отношении является... Бенито Муссолини».

Эти строки написаны Луначарским еще в 1916 году. Но вот звероподобные горланы уже у власти, сброшен камуфляж «революционной» терминологии. На память Луначарскому приходит очень сумрачное произведение Достоевского — «Бесы». Но, говорит Луначарский, «то, что было неверно относительно зачаточной революции в России, было бы совершенно верно относительно господствующей сейчас реакции в Германии. Да, бесы. Словно из какой-то черной, смрадной бездны поднялись некультурные, дикие люди. Словно какая-то отрыжка давно прошедших веков варварства вдруг отравила атмосферу великой страны...» И Луначарский с огромной тревогой вглядывается в происходящее в то время в Италии и Германии. Фашизм — это война. Это агрессия, какими бы словами ее ни прикрывали. И Луначарский разоблачает излюбленные приемы лицемерной буржуазной дипломатии, зовет массы не верить ее красивым словам, учит видеть за этими словами истинные побудительные силы в той или иной политической игре.

Сложнейшие вопросы международной политики и современной дипломатии затрагивает Луначарский в своих статьях и речах: классовая сущность пацифизма и отношение к нему коммунистической идеологии, проблема связи и взаимообусловленности внешней и внутренней политики государств, место и роль националистических движений в крушении колониализма и так далее. Ряд страниц сборника представляет поистине блестящий образец марксистского анализа внешнеполитической обстановки и решения конкретных дипломатических задач.

С тех пор как были написаны Воровским и Луначарским эти статьи и произнесены ими эти речи, многое изменилось на нашей планете. Но главное в их наследии сохраняется ценностью и поныне. Ибо главное тут — последовательная защита интересов Советской страны, интересов пролетариата, интересов трудового народа всех стран, а значит — интересов мира.

Эпиграфом к сборникам статей и речей Воровского и Луначарского по вопросам международной политики вполне можно было бы поставить бессмертные слова, ставшие теперь лозунгом всех миролюбивых сил: «Люди, будьте бдительны!» И эта

настораживающая нота должна постоянно звучать в том мощном и торжественном многомиллионном хоре, который ширится ныне по всей нашей земле.

А. ЛЕБЕДЕВ.

★

Новый журнал советских востоковедов

Вечно спящий, таинственный, непонятный, мистический... Сколько эпитетов было придумано и придумывается буржуазными учеными, писателями, дипломатами для характеристики Востока! Отрешенными от действительной жизни, пассивными и ленивыми — такими или примерно такими предстают народы Востока в изображении бардов колониализма. В трудах буржуазных исследователей нередко присутствует и прямая или порою тонко завуалированная фальсификация истории и культуры стран Востока.

Именно сейчас, когда большинство колониальных и полуколониальных стран Азии и Африки — недавние резервы и тылы империализма — ценой долголетней борьбы добились независимости и превратилось в активную силу мира, особенно важно восстановить правду о Востоке, определить значение его во всемирной истории, в достижениях человеческой цивилизации.

Перед советскими востоковедами стоит задача творческого обобщения и смелого теоретического решения выдвигаемых жизнью новых важных проблем. Вооруженные самой передовой, подлинно научной теорией, руководствуясь решениями XXI съезда КПСС, наши востоковеды могут и должны создавать такие работы, которые были бы достойны эпохи строительства коммунизма.

Свидетельством постоянной заботы Коммунистической партии и Советского правительства о развитии востоковедческой науки явилось создание журнала «Проблемы востоковедения» — органа институтов востоковедения и китаеведения Академии наук СССР.

Давно существует в нашей стране востоковедческая периодика. Еще в прошлом столетии ученые-ориенталисты публиковали результаты своих изысканий во

многих журналах, привлекая внимание русских читателей к странам Востока. Уже тогда существовало убеждение, что в древности великие государства Азии сыграли огромную роль в истории. Однако ученые старой школы, занимавшиеся преимущественно историей прошлого и классической филологией, почти не ставили социальных вопросов, они не могли понять и оценить роли народов Азии и Африки в современную эпоху. Для многих западных ориенталистов этот идеалистический подход остается в силе и ныне.

Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало новому периоду в развитии нашего востоковедения, ставшего одной из отраслей общественных наук. Жизнеутверждающие идеи марксизма-ленинизма, ленинские работы по национально-колониальному вопросу по-новому осветили роль и место народов Востока в развитии человечества.

Большой путь прошло наше востоковедение за годы Советской власти. Заметный след в науке оставили журналы двадцатых годов: «Восток», «Жизнь национальностей», «Новый Восток», «Революционный Восток», «Материалы по китайскому вопросу» и другие. Их тематика свидетельствовала о широком кругозоре советских востоковедов. В этих изданиях печатались статьи не только проблемного характера, но и материалы, посвященные политической и экономической жизни современного Востока. Они-то и положили начало советской востоковедческой научной публицистике.

Немало сделали для решения насущных задач востоковедения и журналы «Тихий океан», «Проблемы Китая», «Мировое хозяйство и мировая экономика», выходившие в тридцатых годах.

Послевоенные годы ознаменовались наступлением нового этапа в развитии советского востоковедения. Огромные изменения на политической карте Азии и Африки,

вызванные образованием Китайской Народной Республики, Республики Индии и других независимых государств, мощный подъем национально-освободительного движения обязывали наших ученых более углубленно заняться проблемами Востока. Что же успел проделать новый журнал для того, чтобы направить усилия востоковедов на разрешение актуальных вопросов?

На протяжении ряда лет в нашем востоковедении существует комплексный подход к изучению азиатских и африканских стран. Такой метод себя оправдал. Но как быть, если в одном журнале, пусть даже толстом, должны освещаться все страны Востока во всех аспектах?

Редколлегия нового журнала наметила внутри каждого комплекса несколько узловых тем. К примеру, еще на страницах журнала «Советское востоковедение» (предшественника нового журнала) было начато исследование вопроса об уровне экономического развития стран Востока до европейского проникновения. По существу это дискуссия о генезисе капитализма в странах Востока. Надо ли говорить, что выводы и итоги такого обсуждения имеют не только научное, но и политическое значение. Они облегчают понимание того, принесло ли европейское проникновение ускоренное развитие более прогрессивных отношений или же, наоборот, затруднило процесс развития этих стран. Марксистское изучение проблемы развенчивает писания апологетов империализма о цивилизаторской миссии колониализма.

Как еще один пример удачно найденной узловой темы можно привести цикл статей о зарождении в литературах Востока реалистического направления, которое сочеталось с другими художественными методами.

Даже два эти примера дают некоторое представление об исключительном разнообразии тематики журнала; сфера его интересов весьма широка и в пространстве и во времени: от берегов Атлантического до Тихого океана, от первых очагов человеческой цивилизации до наших дней. И все же журнал не сможет удовлетворить тех своих читателей, которые в каждом номере ищут статей и материалов лишь по своей, зачастую очень узкой теме. Поэтому, естественно, на читательских конференциях в Москве и Ленинграде некоторые упрекали журнал за то, что в нем мало современности, другие, напротив, хотели бы найти

больше статей по Древнему Востоку, многие возражали против кажущегося обилия филологического материала, а лингвисты говорили о том, что слишком мало отражена их работа.

Эти высказывания объективно характеризуют нынешнее состояние востоковедения, которое достигло сейчас высокой степени дифференциации. Каждый квалифицированный специалист-востоковед занимается своей областью: периодом в несколько лет или десятилетий, если это историк нового времени, творчеством нескольких писателей, если это литературовед, и лишь немногим доступны более широкие диапазоны. И вот создается противоречивое положение. При обилии источников трудно выйти далеко за рамки собственной темы, не рискуя стать дилетантом. Пора энциклопедистов миновала, и нельзя одинаково хорошо знать историю или литературу всех стран Востока или даже в рамках одной страны свободно ориентироваться в огромном количестве фактов, накопленных за все время существования культуры, литературы, языка, истории, экономики этой страны. Но не хотелось бы мириться с тем, что люди, увлекшись своими, как правило, частными исследованиями, теряют интерес ко всему, что лежит за пределами этой частной темы.

Журнал, который стремится стать активным организатором и воспитателем, а не пассивным фиксатором событий и дат, должен бороться за формирование советского востоковеда — ученого узкой специализации с широким кругозором. Предваряя основные выводы, хочется уже сейчас отметить, что «Проблемы востоковедения» избрали именно этот путь.

Знакомство с вышедшими номерами нового журнала убеждает в том, что он публикует немало материалов, представляющих интерес не только для исследователей и преподавателей, но и для более широкого круга читателей.

Конечно, надо было бы, чтобы каждый материал отражал высшие достижения нашей востоковедческой науки. Жаль, что не всегда это так. Но, несомненно, в разработке некоторых тем журнал уже добился хороших результатов. Это прежде всего проблемы строительства социализма в народно-демократических странах Азии и самостоятельного развития многих восточных

государств; проблемы борьбы с колониализмом.

Особенно велико значение статей, в которых обобщен опыт социалистического строительства в Китае, Корейской Народно-Демократической Республике, Демократической Республике Вьетнам. Конкретный материал этих статей еще и еще раз подтверждает: при всем многообразии форм и методов создания нового общественного строя общие закономерности построения социализма, проверенные практикой Советского Союза, остаются неизменными.

Хочется, однако, заметить, что иногда на страницах журнала обобщения подменяются описанием административной и хозяйственной политики, без анализа социальных и экономических основ деятельности коммунистических партий. Последнее замечание в большой степени относится к статьям о Китайской Народной Республике, опубликованным главным образом в номере пятом.

И все же за год сделано немало.

Правильным кажется нам и то, что журнал исследует различные пути развития стран Востока. Немалый интерес представляет освещение роли рабочего класса. Мы имеем в виду статьи и сообщения: Г. Е. Комаровского «К вопросу о характеристике современного профсоюзного движения на Филиппинах» (№ 1), В. В. Балабушевича «О некоторых особенностях рабочего движения в странах Востока на современном этапе» (№ 2), Р. П. Корниенко «К истории рабочего движения в Турции» (№ 2).

В целом же в разработке вопросов истории, экономики и политики стран Азии и Африки последних десятилетий наряду с определенными достижениями имеются и существенные пробелы: многие темы еще не заняли должного места на страницах журнала. Это — значение Востока в борьбе за мир, миролюбивая внешняя политика ряда стран Азии и Африки, роль народных движений на Востоке, положение крестьянства, общественно-политическая мысль и особенно вопросы идеологии, которые почти совершенно забыты.

Значителен вклад журнала в решение интересной проблемы о зарождении и развитии реализма как творческого метода в литературах Востока. Нужно сказать, что в этой области, казалось бы далекой от политики, немало потрудились буржуазные ученые, создавшие свою версию о симво-

лическом, мистическом характере литературы восточных народов. Они тшились доказать, что реалистическое направление якобы не свойственно писателям Азии и Африки. Поэтому заслуживает одобрения ценная инициатива редколлегии, опубликовавшей серию статей, где показано, что именно реалистическая литература Востока ведет борьбу с реакционными течениями. Среди материалов, прямо или косвенно относящихся к данной теме, — интересная заметка индийского ученого Г. Халдара «Связи между русской и бенгальской литературами» (№ 1), подборка «Образ В. И. Ленина в литературах Востока» (№ 2), статьи А. А. Долининой «Из предыстории реализма в новой арабской литературе» (№ 3), Н. А. Айзенштейна «Из истории романтизма в Турции» (№ 4) и другие.

На наш взгляд, основной недостаток материалов по литературоведению в журнале состоит в том, что в них преобладает описание литературных процессов, а не их анализ; кроме того, недостаточно четко показано национальное своеобразие и специфика литератур Востока.

Большую работу предстоит проделать журналу в области восточной лингвистики, чтобы направить усилия ученых на разработку наиболее важных вопросов. Сейчас во многих странах Востока происходит интереснейший процесс становления нового литературного языка, а в ряде стран идет борьба за новые элементы в языке. Это характерно для народов, вступивших в новую полосу развития. Досадно, что наши лингвисты зачастую увлекаются отдельными, слишком частными и узкими исследованиями, к тому же обращенными в далекое прошлое. Это, конечно, сказалось и на лингвистических материалах в журнале «Проблемы востоковедения». Большую пользу, нам кажется, могла бы принести дискуссия о единой научной транскрипции. Был бы сделан важный шаг в приближении филологии к проблемам жизненным, актуальным.

Далеко не всегда даже правильный выбор темы сам по себе обеспечивает ее достаточно глубокую разработку. Эта истина получает подтверждение и на страницах журнала: не всем его материалам присущ подлинно боевой дух. Журналу надо проявлять нетерпимость к поспешным и слабо аргументированным обобщениям экономи-

ческих, политических и идеологических явлений на Востоке. Это меньше всего должно повлечь за собой сокращение материалов о современном Востоке. Такие материалы непременно должны присутствовать в научно-исследовательском, проблемном журнале, несмотря на то, что существует еще и другой специальный журнал, который освещает именно сегодняшний день стран Азии и Африки. Мы имеем в виду общественно-политический журнал «Современный Восток», своевременно и широко комментирующий события на Востоке.

Анализируя и обобщая глубинные процессы, происходящие ныне в азиатско-африканских странах, наши ученые должны неизменно руководствоваться недавним постановлением Центрального Комитета КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях».

Очень многое из того, о чем говорится в этом документе, имеет непосредственное отношение и к востоковедению в целом и к «Проблемам востоковедения» в частности. Борьба за расширение сферы влияния пропаганды, за ее массовость и доступность должна стать определяющей в деятельности и этого журнала. Он должен и может активно способствовать тому, чтобы многие востоковеды преодолели элементы догматизма, смело и творчески анализировали актуальные и теоретические вопросы, вырвались из плена устарелой и бесплодной тематики.

Перед журналом стоит также задача активной борьбы против национализма, космополитизма и аполитичности, против буржуазной идеологии. И конечно же «Проблемы востоковедения» могут выступить застрельщиком и организатором подготовки популярных учебников по истории национально-освободительного движения народов Азии и Африки, издание которых предусмотрено в постановлении ЦК КПСС.

Форма подачи материалов в журнале весьма разнообразна — от больших статей до заметок в несколько строк, набранных мелким шрифтом. Читатель может найти различные сообщения, публикации, научные и хроникальные заметки, критические статьи, рецензии, персоналии. Это следует всячески приветствовать. Неверно было бы упрекать редакцию в том, что страницы журнала не целиком расходуются на «проблемные» статьи. Если бы журнал сплошь состоял из больших или малых, но обязательно проблемных статей, то он превратился бы в ученые записки и потерял специфику периодического издания.

Журналу нужно неустанно заботиться о том, чтобы увеличить количество действительно интересных, подлинно научных материалов во всех разделах. В этом направлении предстоит сделать еще многое, и зависит это и от усилий редакции и главным образом от плодотворной работы большого отряда советских востоковедов.

Л. КЮЗАДЖАН.

★

Еще один глашатай агрессии

Краеугольным камнем внешней политики Советского Союза является последовательная и неуклонная борьба за мир. «Осуществляя одностороннее сокращение советских вооруженных сил, — говорил Н. С. Хрущев, — мы демонстрируем перед всем миром и притом конкретными делами честность наших намерений, наше стремление жить в мире и дружбе со всеми народами... Мы хотим избавить себя и других от угрозы войны, свести на нет случайности, которые могут вовлечь человечество в войну, а

ведь война при теперешних условиях неизбежно стала бы мировой войной».

Э. Дж. Кингстон-Макклори. Глобальная стратегия. Перевод с английского В. Я. Черепанова. Под научной редакцией В. М. Кулакова. 319 стр. Воениздат. М. 1959.

Но в капиталистических странах продолжают еще действовать определенные круги, кровно заинтересованные в сохранении напряженных международных отношений. Этим подчас скрытым, а подчас открытым сторонникам агрессии, наживающим колоссальные барыши на гонке вооружений, нужны свои военные идеологи. В их задачу входит доказывать неизбежность войн, запугивать народы мнимой агрессивностью «мирового коммунизма», убеждать в необходимости расходовать огромные средства на вооружение, разрабатывать теоретические основы наиболее эффективных методов осуществления агрессии в новых условиях.

Одним из видных военных идеологов является Э. Дж. Кингстон-Макклори, вице-маршал английской авиации, автор ряда военных сочинений, в том числе книги «Глобальная стратегия», о которой мы и хотим рассказать.

Кингстон-Макклори — империалист и милитарист, враг Советского Союза. Это накладывает отпечаток на все содержание книги — большинство теоретических обобщений автора лишено подлинной научности. Даже факты минувших войн, особенно второй мировой войны, не говоря уже о современном международном положении, освещены грубо тенденциозно. Об этом свидетельствует хотя бы полное замалчивание автором выдающейся роли Советского Союза в разгроме фашизма при нарочитом выпячивании второстепенных событий войны, в которых принимали участие английские и американские вооруженные силы.

Основная идея книги — призыв, притом неискренне замаскированный, к войне против Советского Союза и всего лагеря социализма. В соответствии с этим автор исследует новые проблемы стратегии, возникающие перед блоком западных держав, и в частности перед английским высшим командованием, при подготовке и ведении такой войны.

Чтобы прикрыть подлинное направление политики «с позиции силы» и вместе с тем архаггессивный дух своей «глобальной (то есть всеобщей, мировой) стратегии», Кингстон-Макклори возводит клевету на Советский Союз и все социалистические страны, якобы виновные в международной напряженности и способные в любое время нарушить мир. Автор в унисон с глашатаями политики «с позиции силы» называет государства, входящие в агрессивный военный блок НАТО, «свободным миром», «свободными странами», «оплотом свободы и цивилизации», «оборонительной организацией» и так далее.

Первая часть книги, представляющая для нас наибольший интерес, посвящена общим вопросам войны, стратегии и стратегической оценки важнейших театров военных действий.

Во второй части книги мы находим обстоятельный разбор военно-технических вопросов.

Критикуя военную систему Великобритании и различные неполадки и трения внутри НАТО, Кингстон-Макклори пытается

найти выход в создании стратегии агрессивного блока в целом. Но на этом пути, вынужден признать автор, встречается ряд труднопреодолимых препятствий и прежде всего противоречия между США и Англией, которая не может и не хочет подчинить свою политику и свои интересы целиком и полностью американскому империализму, несмотря на его руководящее положение в капиталистическом мире.

Заветная мечта автора — достижение такой основы для ведения войны против стран социалистического лагеря, благодаря которой «союзная объединенная стратегия могла бы обеспечить эффективность совместных усилий союзных государств, причем, что самое важное, в любой части земного шара». При этом автор лелеет надежду, что Англия окажет огромное влияние на глобальную стратегию.

Кингстон-Макклори вынужден признать огромный риск «глобальной войны», несущей неисчислимы бедствия для человечества, поэтому он, по примеру американских милитаристов, признает возможным подготовку и ведение так называемой «ограниченной войны», подразумевая под ней «любой вооруженный конфликт, не связанный с использованием современных видов оружия массового поражения против тыловых районов». Но и этот вариант мировой войны, по мнению самого автора, может привести в конечном итоге к «тотальной войне».

Насквозь лицемерные рассуждения автора о народных массах как носители воли к ведению войны потребовались Кингстону-Макклори для того, чтобы обосновать кровавый тезис о необходимости сосредоточения ядерных ударов против мирного населения. Его физическое уничтожение (конечно, вместе с источниками материальных ресурсов страны) при помощи ядерного оружия будет, по мнению автора, наилучшим образом способствовать лишению противника всякой воли к продолжению войны. В связи с этим автор с нескрываемым восторгом описывает огромные разрушительные возможности ядерных средств нападения, накопленных в США.

Все же ему не следовало забывать, что давно прошли те времена, когда Англия, сталкиваясь с другими европейскими государствами, могла в безопасности отсиживаться на своем острове и вступать в войну уже «под занавес», пожиная плоды чужих военных

усилий. Опасное положение Англии как сравнительно небольшого острова — теперь очевидная для всех истина.

Автор придерживается того взгляда, что стратегия — это наука войны и, поскольку характер войны непрерывно меняется, должна меняться и стратегия. Он и ставит перед собой задачу разработки основ новой стратегии для Англии и военного блока, в который она входит.

Кингстон-Макклори правильно замечает, что теперь трудно было бы «провести точную границу между военной областью стратегии и областью политического руководства войной», что «стратегическое руководство должно тесно переплетаться с политическим на самом высоком уровне» и что «стремление военных руководителей прошлого свести свои обязанности к эффективному использованию войск, выделенных им политическим руководством, сейчас свидетельствовало бы лишь о крайней косности взглядов», наконец, что «военные руководители являются военными советниками политических руководителей, и они должны вместе разрабатывать стратегию». Таким образом, автор выдает свое стремление поставить политику под неослабное воздействие и влияние стратегии, то есть военщины, направляющей свои усилия на провокацию военных конфликтов и на разжигание войны.

Автор — решительный сторонник сохранения и дальнейшего увеличения числа баз стратегической авиации, созданных вокруг стран социализма и направленных прежде всего против СССР и Китая. Он, несколько не таясь, признает, что «основой западной обороны являются наступательные операции стратегической авиации дальнего действия против тыловых районов Советской России и ее приверженцев». В другом месте он пишет: «Рассматривая объекты на территории России, необходимо знать все подробности о системе расположения промышленных предприятий, рассредоточенных по всей ее территории... подробности о редкой и чрезвычайно уязвимой сети железных дорог, особенно в таких узловых пунктах, как Москва, Киев, Смоленск и Харьков».

В то время как Советский Союз предлагает запретить и уничтожить ядерное оружие, Кингстон-Макклори пишет, что «союзная стратегия основывается на водородном оружии и других видах оружия массового

поражения, которые представляют собой главное средство...» Атомное оружие «тактического назначения» в любой войне, в том числе и локальной, пишет автор, союзники по военному блоку западных держав применят против социалистических стран первыми, несмотря на риск вызвать «тотальную войну». Обосновывая это, он указывает, что «нашим лучшим и единственным средством обороны является стратегия устрашения» при помощи баллистических ракет и бомбардировщиков — носителей ядерных бомб.

Объекты «обороны» автор трактует в том же духе. Оказывается, мало оборонять собственную территорию Англии и даже территории союзных стран, — надо удерживать в своих руках также «территории, находящиеся вне пределов союза... если на них находятся необходимые ресурсы или если они господствуют над коммуникациями». Благодаря такой «гибкой» формулировке под эту категорию можно подвести любую территорию на земном шаре. Читателя уже не удивит, что Кингстон-Макклори именует обороной захватнические устремления английского империализма на Ближнем и Среднем Востоке для сохранения «удобных в географическом отношении позиций», — как известно, аппетит приходит во время еды. И вот автор в понятие «обороны» включает и «охрану» источников нефти в этом районе и, наконец, «сохранение морских и воздушных коммуникаций, идущих с запада к Индийскому океану и далее». Но даже и такое явно империалистическое истолкование понятия так называемых «оборонительных задач» кажется автору недостаточным. Он считает вполне допустимым оккупацию нейтральных «производящих стран», и притом не только во время войны, но и в мирное время, если это будет признано необходимым... Читателям предлагается определить, что же нужно считать агрессией.

Разбирая стратегическое значение различных районов земного шара, Кингстон-Макклори особое внимание уделяет Западной Европе. В его трактовке, «западный бастион включает Северную Америку и Западную Европу, которые вместе представляют собой промышленно-производственную базу западного образа жизни...». Ведь в Западной Европе «случайно» наиболее выгодно расположены базы, с которых можно быстро нанести удар по военным и промыш-

ленным объектам Советского Союза и восточноевропейских стран народной демократии. Западная зона, по терминологии автора, — «цитадель военной глобальной стратегии союзников».

Возводя клевету на миролюбивый Советский Союз, Кингстон-Макклори провокационно запугивает США мнимой угрозой постепенного захвата «отдельных частей Западной Европы» Россией, что «угрожало бы могуществу Америки — настолько велики преимущества живой силы, производственной мощи, ресурсов и стратегического положения», которые оказались бы в распоряжении Советского Союза. Он пугает англичан, заявляя, что «без поражения Англии захват Европы был бы еще далеко не завершен, и, наоборот, если бы такое поражение было нанесено в самом начале конфликта, вся Европа оказалась бы в объятиях коммунизма». Эта провокационная клевета нужна империалистам, чтобы оправдать существование западного военного блока и обосновать необходимость дальнейшей гонки вооружений.

Лживость Кингстона-Макклори не имеет пределов. Он не стыдится писать не только об «угрозе» продвижения Советского Союза на юг, в пределы Юго-Западной Азии, но даже в экваториальные зоны. Стало быть, во что бы то ни стало нужно сохранить колониальное господство империалистов в Южной Азии и Африке, ибо утрата нефтяных запасов Среднего Востока и нефронутых ресурсов Африки, прежде всего крупнейших залежей урановых руд в Бельгийском Конго, угрожала бы сильным истощением стратегических ресурсов западных держав и могла бы подорвать основы их стратегии на Востоке и Западе. Прожженный империалист Кингстон-Макклори, очевидно, считает, что эти «доводы» вполне удовлетворяют народы Азии и Африки...

Не лучшие перспективы, якобы завящие от злой воли СССР, сулит он народам Европы. Он признает, что в случае развязывания войны обширная территория Европы «может превратиться в радиоактивную пустыню». По его собственным расчетам, применительно к Англии, «достаточно сбросить на наши крупнейшие города и важ-

нейшие районы до двух десятков водородных бомб, и мощь Англии, а также ее воля к сопротивлению будут сломлены».

Не лишены интереса рассуждения автора о возможности любой авантюры со стороны перевооруженной Германии, которая «будет стараться натравливать страны Запада и Америку на Советский Союз и его союзников в собственных реваншистских целях».

Наряду с этими в известной мере обоснованными соображениями Кингстон-Макклори, исполненный лютой ненависти к социалистическим странам, строит совершенно беспочвенные планы отрыва Китайской Народной Республики от всего лагеря социализма. Он считает, что ценой некоторых уступок Китаю «следует попытаться разобщить цели СССР и Китая и что Китай должен получить возможность сойти с курса Москвы».

Куда реальнее — и об этом автор вынужден сказать — противоречия между Англией и США на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии как в области торговых интересов, так и в отношении Китая, Индокитая и других стран.

Все заверения Кингстона-Макклори в том, что английские и даже американские военные руководители якобы стремятся избежать «тотальной войны», что они преследуют лишь «оборонительные» цели и проводят «оборонительные мероприятия», остаются пустыми отговорками. Проводимые союзниками военные мероприятия, вся так называемая «глобальная стратегия» пропитаны духом пропаганды войны.

Но политика «с позиции силы», политика «холодной войны» терпит провал. Все народы сочувствуют предпринимаемому Советским Союзом усилиям, направленным на разрядку международной напряженности. В славном представителе Советского Союза Н. С. Хрущеве народы видят знаменосца мира и дружбы между всеми странами. С презрением отворачиваются все люди доброй воли от апологетов войны, не учитывающих потепления международного климата.

Генерал-лейтенант С. КРАСИЛЬНИКОВ.

Бациллы империализма

Более тридцати лет доктор медицинских наук, профессор А. Н. Рубакин занимается изучением состояния здоровья населения и организации здравоохранения в капиталистических странах. Он написал свыше двухсот работ по этим вопросам. Новая книга основана не только на критическом использовании огромного количества разнообразной литературы на многих языках, но и на личных наблюдениях автора, который знакомился с состоянием здравоохранения в США, Англии, Бельгии, Италии, Швейцарии, в странах Африки и Азии.

Научный труд А. Рубакина не носит, однако, характера бесстрастного «академического» исследования. Это острая, боевая книга.

Автор разоблачает попытки буржуазных ученых рассматривать состояние здоровья населения в отрыве от социальных факторов. Неразрывная связь между ними показана в книге весьма убедительно.

Усиление интенсификации труда в странах капитала резко сказывается на росте и характере заболеваемости. Отсутствие надлежащих мер по технике безопасности ведет к неуклонному увеличению числа несчастных случаев на производстве. В Соединенных Штатах ежегодно погибают примерно пятнадцать тысяч рабочих. Во Франции общее число несчастных случаев в год выросло по сравнению с довоенным временем свыше чем на миллион. Рост производственного травматизма — одно из свидетельств безжалостного отношения к жизни и здоровью трудящихся в условиях капиталистического строя.

Достижения медицинской науки, подчеркивает автор, доступны в странах капитала главным образом обеспеченным классам. Состояние здоровья представителей различных классов населения резко различается, причем эти различия не уменьшаются, а растут.

Разоблачая буржуазных апологетов капитализма, автор пишет: «В классовом обществе существует резкое неравенство людей и перед болезнью и перед лицом смерти». Чем ниже стоят люди на социальной лестнице, тем выше среди них смертность.

А. Н. Рубакин. Империализм и ухудшение здоровья трудящихся. Редактор П. Эхин. 515 стр. Соцэпгиз. М. 1959.

В Англии, например, на первом году жизни умирает в три с лишним раза больше детей неквалифицированных рабочих, чем детей из буржуазных семейств. В Италии детская смертность в семьях сельскохозяйственных рабочих в четыре раза выше, чем в зажиточных.

В капиталистических странах происходит неуклонное ухудшение психического здоровья трудящихся. Это неизбежные последствия лишений, нужды, неуверенности в завтрашнем дне. В США, по официальным данным, насчитывается не менее девяносто миллионов психически больных, в том числе полтора миллиона с тяжелыми формами. Из пятнадцати миллионов американцев, призванных на военную службу во время второй мировой войны, около двух миллионов было забракковано из-за невропсихических заболеваний. При этом, как показали специальные обследования, среди новобранцев с низким доходом процент забракovaných был в два с лишним раза больше, чем среди молодежи из состоятельных слоев населения. Об огромном удельном весе в США психических заболеваний по сравнению со всеми другими заболеваниями говорит и тот факт, что количество коек в психиатрических больницах составляет половину общего числа больничных коек в стране.

Широко распространены психические заболевания также в Канаде, Англии, Франции и даже в такой, казалось бы, «тихой» стране, как Норвегия. Во Франции число психически больных выросло за столетие почти в десять раз.

В книге собран интересный материал о распространении за рубежом наркотиков, тяжело сказывающихся на здоровье населения. Автор книги сообщает, что на одной крупной фармацевтической фабрике в Париже он лично видел установку для переработки опиума производительностью в одну тонну в день: это количество могло бы удовлетворить всю мировую потребность в опиуме для медицинских целей.

«Какие бы ни были запрещения,— пишет А. Рубакин,— какие бы ни созывались международные конференции по борьбе с наркотиками, фабрикация и продажа их не прекращаются. Слишком уж велики и заманчивы прибыли от их продажи. А в капи-

талистическом мире размеры прибыли решают все».

В книге подробно рассматривается проблема туберкулеза в капиталистических странах. На примере этой болезни особенно наглядно видно влияние социального строя на здоровье и жизнь трудящихся масс. Обследования, проведенные в различных странах, показывают общую закономерность — туберкулез более всего распространен среди беднейших слоев населения.

В настоящее время медицинская наука подошла к решению проблемы туберкулеза. Однако сохранение социальных условий, способствующих распространению этой болезни, приводит к тому, что заболеваемость туберкулезом во многих капиталистических странах не только не уменьшается, но даже растет.

В книге разоблачается «цивилизаторская» роль империалистов в Азии, Африке и Латинской Америке. Из шестидесяти миллионов людей, которые ежегодно умирают на земном шаре, тридцать-сорок миллионов — в основном в слаборазвитых странах — погибают от голода!

Всюду, где господствуют колонизаторы, свирепствуют такие болезни, как чума, оспа, проказа, холера, малярия, бери-бери, пеллагра, куриная слепота, цинга, трахома и другие. В некоторых странах Азии, Африки, Южной Америки малярия поражает более половины всего населения. Не менее трех с половиной миллионов людей страдает проказой.

На основе изучения истории здоровья народов колониальных стран автор делает вывод, что оно тем хуже, чем дольше страна находилась под гнетом империализма. Разоблачая расистские измышления о якобы большей, чем у европейцев, восприимчивости коренного населения колоний к различным болезням, он показывает, что дело не в биологических, а в социальных различиях, в том, что жители колоний являются объектом самой хищнической эксплуатации, лишены элементарной медицинской помощи. Не случайно поэтому освобождение стран от колониального гнета ведет к улучшению состояния здоровья населения, хотя последствия векового господства империалистов ликвидировать не так просто.

Современная наука располагает мощными средствами борьбы против различных заболеваний. Однако капиталистический строй лишает широкие слои населения возможности пользоваться благодатными достижениями медицины; в результате многие болезни, которые могли быть искоренены, продолжают поражать миллионы и миллионы людей. Капиталистический строй препятствует не только лечению, но и предупреждению болезней.

Антинародная сущность империализма проявляется и в том, что он использует достижения науки в человеконенавистнических целях. Развязанные империалистами войны стоили человечеству десятков миллионов жизней и нанесли ущерб здоровью сотен миллионов людей. Но не только войны, а и подготовка к ним, огромные военные расходы, которые ложатся тяжелым бременем на население, тяжело отражаются на здоровье людей. Особенно пагубны последствия испытаний термоядерного оружия, являющихся источником заражения атмосферы, воды и почвы радиоактивными элементами; тем не менее империалистические державы препятствуют заключению соглашения об их прекращении на вечные времена, как этого добивается Советский Союз.

Книга А. Рубакина — яркое обличение империализма. Но она, несомненно, выиграла бы, если бы содержала характеристику — пусть краткую! — коренных изменений в состоянии здоровья трудящихся масс в странах социализма. Эти достижения в деле развития здравоохранения и повышения благосостояния масс поистине величественны. После Октябрьской революции здоровье народов нашей страны резко улучшилось, значительно снизилась общая и детская смертность, уменьшилась заболеваемость туберкулезом и многими другими болезнями. Средняя продолжительность жизни в нашей стране за годы Советской власти возросла более чем вдвое!

На фоне достижений социализма, этого подлинно гуманного строя, где все подчинено заботе о благе человека, особенно ярко видна человеконенавистническая сущность капитализма — тормоза на пути прогрессивного развития человечества.

И. ГЕЕВСКИЙ.



ПРОТИВ БЕДНОСТИ ЧУВСТВ

Бывает так: живешь в квартире день за днем, неделю за неделей и прибираешь как будто каждый день. Все на месте, все чисто, а как-нибудь на досуге глянешь повнимательнее и вдруг заметишь: и обои вылиняли, и занавес запылвился, и мебель надо переставить, и то, и это поменять. И как примешься за уборку — ничто тебя не остановит.

И в жизни народа тоже бывает такое. Вдруг окажется, что можем мы жить много лучше, чем жили. И будто сговорятся люди: давай придумывать новшество за новшеством, нет им покоя ни днем ни ночью.

Мне кажется, что сейчас такое время. И никуда от него не денешься. Хочешь не хочешь, а будешь работать по-новому, мыслить по-новому и других толкать на новую жизнь. Интересное ведь время. И самое интересное — следить, как в него включаются с разной скоростью разные области нашего хозяйства и культуры.

В журнале «Октябрь» в №№ 4, 5 и 6 за прошлый год я прочитала роман В. Салтыковой «Маше двадцать семь лет». Жила себе на здоровье Н-ская область, из года в год возила уголь из Донбасса, и вдруг этот заведенный порядок надумали ломать, предложили использовать близлежащие торфяные залежи и возить это топливо по малосудоходной небольшой речке. Собственно, поняли то, что следовало давно понять. Но ведь всякое новшество берется с бою. Вот и завязался этот бой в облплане, где работала Маша Поленова, молодой инженер.

Писательница пишет очень добросовестно, хорошо знает материал. И бюрократ Ямщиков, который тянет назад, и руководящие работники области Морозова и Роман Балашов, которые думают только о своем деле, игнорируя общегосударственные интересы, и мелкий подхалим Лавриков — все эти «прорехи» нашего социалистического общества показаны довольно правдоподобно.

Как будто все в порядке. Написан роман на тему современную. Конфликт налицо. Он созревает, разрешается, и Н-ской области запроецированы положенные ей топливные блага из местных ресурсов. Бюрократы наказаны, справедливость торжествует. Все это написано без натяжки на лакировку (ведь бывают же в жизни хорошие концы!), написано довольно простым, непретенциозным языком (кроме разве только заглавия). В этом большая заслуга В. Салтыковой, молодой еще, видимо, писательницы (мне, во всяком случае, ее имя встречается впервые).

Скажут: ну что ж, и довольно, на этом можно остановиться. Но, оказывается, нельзя. К сожалению или к счастью, но нельзя. Виногато опять-таки время, то самое время, которое описано в романе, время, которое требует по-новому взглянуть на многие явления, не исключая и литературные.

Когда мы — читатели и писатели — предъявляем сейчас новые, возросшие требования к литературе, то мы хотим, чтобы в произведении была такая глубина, которая заставила бы нас еще и еще раз к нему возвращаться. Мы хотим, например, чтобы Маша Поленова, героиня романа В. Салтыковой, была живой, чтобы мы ее видели перед глазами. А ведь Маши-то в романе нет. Есть торфоразработки, есть облплан, есть Москва с Третьяковской галереей. А вот Маши нет. Она безлика. Мы не видим ни ее улыбки, ни ее жестов, ни ее походки. Мы только знаем, что она пышно-волосая, красивая, что у нее белая кожа. Вероятно, писательница считала, что за Машу говорят ее слова и дела. Есть такой литературный прием. Но в этом романе он не дал желаемого эффекта. Маша неживая. Она трафаретна, схематична. Она говорит и делает то, что должна говорить и делать, по мнению писательницы, вполне положительная героиня. Маша, видимо, должна являть собой образ современной молодой женщины. И, вероятно, потому В. Салтыко-

ва так безжалостно отняла у нее прекрасные женские качества — мягкость характера, такт, преданность и даже любовь к сыну. Удивительно мало места занимает сын в Машином сердце. Более того, Маша даже не может понять материнского чувства в другой женщине. У сотрудницы Маши — Васютиной — тяжело заболел муж, и Маша предложила ей отдать сына в суворовское училище. «...Екатерина Ивановна промолчала, но внезапно лицо у нее сжалось морщинами, и она заплакала. Маша недоумевала, а у Васютиной неудержимо катились из глаз слезы... Расстаться с Димой казалось ей сейчас невозможным. А Маша не могла понять, почему она отказывается».

Проблема жизни современной семьи у В. Салтыковой разрешена донельзя просто. Дети «подкидываются» бабушкам. Так сделала Маша, так сделала ее родственница Оля. Правда, оба отца восстают против такого решения вопроса, более того, оно способствует разрушению семей. Выходит, что у современной женщины, отдающей все силы своей работе, не должно оставаться времени для воспитания ребенка. Но ведь в жизни мы видим другое. Никакая культура, никакая образованность, никакие загрузки на работе не уничтожают в женщине материнского чувства. Пожалуй, они даже увеличивают его. Каких только усилий (иной раз граничащих с подвигом) не прилагает женщина, чтобы урвать время для своих детей, чтобы растить их в любых условиях, уделяя им то внимание, какого они требуют. И вот этот конфликт, существующий в жизни каждой современной семьи, совсем обойден писательницей. Она сосредоточивает свое внимание на другом конфликте, тоже «постоянно действующем», тоже требующем разрешения: неудачная любовь, поиски новой любви.

Маша никак не может разобраться, любит ли она мужа. Андрей (муж) тоже не может разобраться, любит ли он Машу. Не может в этом разобраться и читатель. В. Салтыкова называет Андрея писателем. Я говорю «называет», потому что читатель на всем протяжении романа не верит автору. Андрей — никак не писатель, да еще и талантливый. Это какая-то карикатура на писателя.

Вот задачу несколько авторских характеристик:

«...Андрей быстро записал что-то в блокнот. Привычки не меняются! Значит, пой-

мал у Тихона Петровича меткое слово. Маша вспомнила, как мешала ей эта записная книжка. Чуть что, Андрей вытаскивал ее из кармана...»

«...Странная это была черта в характере Андрея — внезапность поступков! Он мог, проходя мимо вокзала, неожиданно купить билет и уехать на три недели к Черному морю. Мог так же внезапно оказаться в Сураве или в любом другом месте. Мог не являться домой по несколько дней. Однажды пропал три дня кряду. Маша не знала, что и думать».

«...Чтоб не забыть, надо было немедленно, сию же минуту записать! Андрей похлопал себя по карманам и выругался: он не захватил блокнота. Быстро, крупными, неровными буквами он стал списывать свою левую руку. Вскоре синие чернильные негерлифы покрыли ее до локтя... Дома за остаток дня доработал очерк».

Очевидно, писательница думала, что создает образ яркого, порывистого, необычного человека, таланта! И не заметила, что получилась почти пародия.

Не только личность Андрея, но вся любовная линия в романе не вызывает у читателя доверия. Машу оставил муж, и вот в новом городе, на новой работе к Маше как будто приходит и новая любовь — к гидротехнику Волкову. Волков уже давно любит Машу. Но вскоре Маша чувствует, что не переставала любить мужа. Раздвоенность Маши показана на всем протяжении романа, показана подробно, многословно, запутанно. Что и говорить, в жизни далеко не всегда человеку бывают ясны его чувства, но ведь в произведении искусства сама неясность, неопределенность ощущений должна быть выражена с художественной ясностью и определенностью. Иначе читатель просто не поверит во всю эту сложность.

И он не верит! Не верит еще в самом начале романа, когда Волков, которого переводят в другой город и который надеется, что Маша поедет с ним, приходит поговорить об этом. Писательница очень подробно изображает, как подслушивают у дверей мачеха и отец Маши, а само свидание Волкова с Машей — значительное, важное для раскрытия внутреннего мира героини — описано в двух словах и при этом так, что понять Машины чувства невозможно.

«Волков взял ее за руку.

— Маша? — Он потянул ее к себе. —стой... подожди...»

Маша близко увидела его лицо. Он потянул сильнее, и она уткнулась в теплую рубашку на его груди. Сердце у Волкова колотилось где-то у горла. Она отстранилась, отошла и села. Волков стоял молча. Напряженность Маши он принял за холодность».

И все. Вот иди разберись, где тут напряженность, где холодность!

Не верит читатель и тогда, когда Маша, убедившись еще раз в эгоизме и жестокости Андрея (он, приехав в Н-ск, хотел забрать у нее сына), вдруг воспылала к нему нежностью. «Умный, хороший, добрый, что делать мне? — шептала она беззвучно. — ...Лапушка, сердце мое дорогое! Нет лучше тебя человека...»

Как некстати, почти кощунственно звучат здесь эти слова (между прочим, единственные, где Маша выражает горячее чувство).

Образ Волкова так же бледен и безлик, как и образ Маши. О нем, как и о Маше, много написано, но образа не получилось.

Но дело не только в этом. Один герой больше удается писателю, другой меньше. Все это возможно и допустимо. Недопустимо другое.

Если мы прочтем внимательно роман (кстати, читать его довольно скучно, особенно начало), то нас удивят некоторые моменты, имеющие какую-то закономерность. Писательница добросовестна и внимательна ко всему, что касается работы, торфа, облплана. Описания природы сделаны тщательно и порой выразительно. Все же, что касается личных человеческих отношений, как-то недоговорено, смазано.

Боюсь, что В. Салтыкова здесь не одинока. Игнорирование глубины человеческих отношений и сложности жизни, иногда к тому же пронизанное такой молодежной бравадой, довольно часто встречается в книгах о наших днях, встречается в виде примитива, лубка, трафарета — называй как хочешь.

Вот и В. Салтыкова определенно избегает тонкостей, или, вернее, они не даются ей. Маша Поленова переживает, и переживает много (более чем на двухстах страницах), но переживает до того поверхностно, что это не трогает читателя. И именно против этого он и протестует.

А главное — ведь весь портрет Маши претендует на глубину, на сложность. Красивая и образованная женщина никак не может наладить своей личной жизни. Читатель

ждет чего-то большого, а его нет. Маша донельзя холодна, бесчувственна и нетактична. Конечно, хорошо, когда люди сдержанны, когда они не выставляют на всеобщее обозрение своих чувств, но ничего нет хорошего в отсутствии чувства, в его дряблости. Как ни антипатичен Андрей, читатель иногда ему сочувствует: уж очень нетерпима и толстокожа его жена.

Маша никогда не идет навстречу Андрею, нет у нее душевного внимания к тому, чем он занят. Вот Андрей возвращается к Маше, она как будто счастлива, но «...и в эту встречу она не проявила никакого интереса к тому, что он сделал за эти три года...».

Постоянные споры Маши и Андрея возникают из-за того, что каждый из них отстаивает свое право на работу, на поглощенность ею. Любовь, семья — это, по их понятиям, нечто второстепенное. Если оно мешает работе, его отбрасывают. Таково, видно, и мнение автора. Что это, возвышение труда или принижение чувств? Я думаю, последнее. Более того, этот поединок между личной и общественной жизнью вообще бутафория. В жизни все иначе. Преданность своему делу, своей профессии совсем не мешает сильно любить, ревновать и т. д. И как-то не верится, что Маша Поленова, которая так смело выступает на совещаниях в облплане, которая соскакивает с машины, чтобы разогнать табун лошадей, потому что пастух заснул и лошади портят пшеницу, что эта самая Маша так инертна в своем чувстве. Что она так равнодушно расстается с мужем, которого как будто любила (через неделю после его отъезда она надевает лыжи и бежит навестить Волкова). И, наконец, что она так спокойно и бесстрастно думает в конце романа о Волкове, который, по-видимому, будет ее новым мужем. Эти противоречия убивают Машу как образ.

Говорят: скажи, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Но можно вместо слова «друзья» вставить — «любимые книги». У меня, как и у каждого человека, есть свои книги-друзья. Я могу их перечитывать по несколько раз. Они помогают мне жить. Вот только один маленький пример. Года три назад я прочла в одном сборнике четверостишие С. Маршак:

Даже по делу спеша, не забудь!
Этот короткий путь —
Тоже частица жизни твоей,
Жить и в пути умей!

Как будто ничего особенного. А вот «пристали» эти строчки ко мне, и не отвязешься. Как будто кто-то стоит за моей спиной и постоянно меня одергивает. И вот из-за этой как будто ерунды, из-за этих четырех строчек мне пришлось многое изменить в своей жизни. Одно тянуло за собой другое. Может быть, это не каждому понятно, объяснять подробно тут не место, но это так.

Или вот еще. Хемингуэй заканчивает свою повесть «Старик и море» фразой: «Старику снились львы».

И вот эти простые слова — они для меня совсем не простые. В моменты жизненных неудач, даже не жизненных, а просто житейских, которые подстерегают тебя на каждом шагу, в минуту, когда опускаются руки, портится настроение и есть желание увильнуть от самой себя, — подобно световой рекламе на темном небе, выстраиваются три слова: «Старику снились львы» — и опять полный порядок. Я не могу объяснить почему. То ли я чувствую их как великодушный художественный прием, то ли они говорят мне о непобедимости человеческого духа — не все ли равно, я уже без этих слов не могу жить. Они мои так же, как четверостишие Маршака, так же, как многие дру-

гие слова писателей, на которых строится наша читательская жизнь, так же, как несколько строк из стихотворения малоизвестной поэтессы В. Головановой:

Вот и полжизни мне глянуло в спину.
Но половиной
Не стала сама я.
Я ничего не хочу вполнину,
И отвергая,
И принимая...

Я вовсе не призываю В. Салтыкову к подражанию (пиши, дескать, как такая-то или такой-то!). Это было бы глупо. Я призываю к использованию всех ее возможностей. Требования к себе должны быть огромны, стремления очень высоки.

Я почему-то уверена, что В. Салтыкова найдет в себе силы создать полноценное произведение. Но что-то (точных рецептов здесь быть не может) ей надо в себе, в своей работе изменить. Ее талант должен пойти какую-то новую опору. Это случится, вероятно, когда она всем сердцем поймет, как много значит иногда в жизни человека писательское слово и как с ним надо бережно обращаться, какое оно должно быть меткое, правдивое и серьезное.

Галина ЗИЧЕНКО,
г. Киев, закройщица.

О СТАТЬЕ ПРОФЕССОРА П. МАСЛОВА

В свое время в «Новом мире» была напечатана статья профессора П. Маслова «Давайте разберемся» (№ 10 за 1959 год). Эта статья оспаривала ряд утверждений вице-президента США Р. Никсона, высказанных им в дни пребывания в Москве и касавшихся уровня жизни в его стране.

Сопоставляя бесспорные статистические данные, П. Маслов показывал истинную картину усугубляющегося обнищания трудящихся в капиталистическом обществе и непрерывный рост благосостояния людей в условиях социалистической экономики.

Статья вызвала живой отклик наших читателей. Редакция получила содержа-

тельные письма от доцента Грузинского политехнического института Б. Карапетяна, главного бухгалтера Московской селекционной станции С. Рубцова, персонального пенсионера Ф. Шанявского, ассистента Института народного хозяйства имени Плеханова (Москва) В. Швыркова, рабочего из Астрахани В. Петрова, экономистов М. Эсковой и В. Бондаренко и других.

Помещая отклики рабочих Коломенского тепловозостроительного завода и читателя М. Марковича, мы благодарим также и тех авторов писем, чьи выступления не смогли опубликовать на страницах журнала из-за недостатка места.

Нам нужна такая пропаганда

В десятом номере вашего журнала за 1959 год нам понравилась статья П. Маслова «Давайте разберемся», в которой дан ответ господину Р. Никсону.

Читая в газетах выступление Никсона, мы удивлялись тому, как он далек от понимания нашей советской жизни. Видимо, господа капиталисты не в состоянии по-

нять, чем живет советский человек. Статья профессора Маслова очень правильно все разъясняет, и мы полностью присоединяемся к мнению ее автора. Действительно, дело ведь не только в заработной плате и квартире. Признаться, нам самим не все было ясно до того, как мы прочли статью «Давайте разберемся».

Надо чаще помещать такие полезные

статьи, помогающие лучше понимать нашу советскую действительность. Да и иностранцам будет яснее, за что борется наш народ и чем наша жизнь отличается от ихней.

Ю. ЖЕРНОВ, С. ЛАРИН, Н. БОЛГАРОВ,

рабочие Коломенского
тепловозостроительного
завода имени В. В. Куйбышева.

То, что не входит в ведомость

Я прочитал статью профессора П. Маслова «Давайте разберемся». В ней много интересного сказано о том что представляет собой доход советской семьи и в чем его особенности. Хотелось бы и мне высказать несколько соображений о роли государственных услуг в повышении уровня жизни трудящихся СССР — о том, что увеличивает заработок каждого труженника, хотя и не входит в ведомости заработной платы.

Известно, что основная часть общественных фондов потребления реализуется в услугах, оказываемых населению здравоохранением, просвещением, детскими дошкольными учреждениями и так далее. Роль общественных фондов в нашей стране с каждым годом все более возрастает. Это особенно ярко видно на развитии детских учреждений. Для того чтобы воспитать здоровое поколение, в СССР ежегодно увеличивается строительство яслей, детских садов, школ-интернатов. К концу семилетки более четверти, а в 1975 году около трех четвертей всех детей до семи лет будет находиться в дошкольных учреждениях.

Развитие дошкольных учреждений — это не только забота о детях, но и предоставленные возможности советским женщинам включиться в общественно-полезный труд в народном хозяйстве, более активно участвовать в политической, государственной и культурной жизни страны. Это в свою очередь означает огромное увеличение трудовых ресурсов нашего общества, развитие его производительных сил. Кроме того, через систему детских учреждений государство оказывает большую материальную помощь трудящимся.

В январе 1960 года было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и

охраны здоровья населения СССР». В этом документе вновь проявилась особая забота партии и правительства о женщинах и детях. Намечено в этом году повысить качество лечебно-профилактического обслуживания женщин и школьников, улучшить условия труда работниц, значительно увеличить количество женских и детских консультаций, дошкольных детских учреждений, комнат гигиены женщин на предприятиях. Постановлением разрешен бесплатный отпуск молочных смесей из молочных кухонь детям первого года жизни, находящимся на раннем прикорме и искусственном вскармливании, из многодетных и малообеспеченных семей.

Это, как и многое другое, говорит о том, что в нашей стране заработная плата является далеко не единственным источником доходов семьи.

К сожалению, профессор П. Маслов в статье не осветил один важный факт. Речь идет о принимаемых у нас мерах к полному прекращению отчислений из заработной платы. В 1957 году была вдвое сокращена, а затем и полностью прекращена подписка трудящихся на государственные займы. Минимум заработной платы, не подлежащей обложению налогами, был поднят с 260 до 370 рублей в месяц. Для трудящихся с заработной платой до 450 рублей в месяц введены дополнительные налоговые льготы. Отменен налог на холостяков и малосемейных граждан для подавляющего большинства его плательщиков — рабочих и служащих с одним или двумя детьми и одиноких бездетных женщин. Вопрос стоит об окончательной отмене в ближайшее время всех существующих налогов.

Все это привело к очень интересному явлению: в нашей стране выплаченная за-

рабочая плата растет значительно быстрее начисленной. В 1958 году по сравнению с 1955 годом начисленная заработная плата возросла на сто восемь процентов, а выплаченная увеличилась на сто шестнадцать процентов. В дальнейшем с упразднением налогов расхождение в темпах роста начисленной и выплаченной заработной платы будет еще более усиливаться.

Сейчас все большее внимание уделяется различным формам бытового обслуживания. Правильная организация этого дела позволяет более рационально использовать время советских людей и высвободить огромные средства на дальнейшее повышение их благосостояния. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР (март 1959 года) о мерах по улучшению бытового обслуживания населения предусматривается ряд эффективных мер дальнейшего прогресса в этом направлении.

Однако надо сказать прямо: в настоящее время организация некоторых сторон быта заставляет желать значительно лучшего. Во многих городах и рабочих поселках сеть государственных и кооперативных предприятий бытового обслуживания недостаточна, качество их работы вызывает законные нарекания потребителей.

Я считаю, что в каждом квартале должна быть домовая кухня, где можно получить готовый обед на дом. При больших домоуправлениях целесообразно организовать прокатные пункты бытовых приборов — пылесосов, холодильников, электрополотеров, стиральных машин, — а за их пользование установить минимальную оплату.

Разумное размещение прачечных, мастерских по ремонту одежды и обуви, ателье пошива имеет большое значение, и очень жаль, что нередко все это создается в городском районе в стихийном порядке: ателье — чуть не на каждой улице, а на поездку в прачечную или столовую нужно затратить несколько часов.

Предприятия бытового обслуживания сейчас располагаются главным образом в поселениях городского типа. В селах численность их крайне незначительна. Например, в Псковской и Оренбургской областях в городах и районных центрах сосредоточено более семидесяти процентов всех бытовых предприятий.

Неравномерность размещения бытовых предприятий наблюдается и в самой Моск-

ве. Сейчас в столице на сто тысяч жителей приходится двадцать одна мастерская по бытовому обслуживанию. Однако в Куйбышевском районе, где людей проживает значительно меньше, чем в Ленинском районе, мастерских по металло ремонту и ремонту мебели вдвое больше, ателье по ремонту и индивидуальному пошиву в три раза больше. В Киевском, Сокольническом и Фрунзенском районах нет ни одной мастерской по ремонту мебели. В Краснопресненском и Тимирязевском районах нет мастерских по ремонту радиоприемников, телевизоров и музыкальных инструментов. По-видимому, нечто похожее и в Киеве, и в Минске, и в других крупных городах. Спрашивается: неужто так трудно навести во всем этом должный порядок? Ведь дело-то касается не только удобств, но и нервов тысяч людей.

Неудовлетворительная работа бытовых предприятий вынуждает горожан обращаться к услугам некооперированных кустарей и ремесленников. Вы знаете, каков их удельный вес в общем объеме ремонтно-бытовых услуг? Без малого пятьдесят процентов! В Рязанской области к уплате подоходного налога за занятие частным сапоговаляльным промыслом привлечено тысяча семьсот человек, а в промышленной кооперации изготовлением валяной обуви занят только сто один человек.

Во Владимирской области колхозники, рабочие и служащие получили в своих хозяйствах в текущем году более четырехсот тонн натуральной шерсти. Однако промышленная кооперация из давальческого сырья сделала только восемьсот пар валяной обуви. В той же области зарегистрировано около четырехсот кустарей-валяльщиков.

В Риге из-за малого количества предприятий по химической чистке в среднем один заказ приходится на трех жителей в год. По расчетам, это составляет всего лишь двадцать процентов существующей потребности.

По данным Азербайджанской конторы Госбанка СССР, в год на одного жителя Баку приходится расходов на все виды бытовых нужд лишь около 60 рублей, в том числе на индивидуальный пошив одежды — 25 рублей, ремонт одежды — полтора рубля, ремонт обуви — 2 рубля 80 копеек, ремонт металлоизделий — 2 рубля, ремонт мебели — 50 копеек и так далее. Это большой упрек тем, кому положено заниматься

развитием сети предприятий бытового обслуживания.

Все знают, сколько времени затрачивают матери, имеющие грудных детей, на стирку пеленок. Стирка в домашних условиях, как правило, производится вручную. А почему бы не организовать стирку пеленок в механизированных прачечных? Для этого достаточно было бы сделать заявку в приемный пункт по телефону, и стандартные, в стерильном пакете, пеленки доставлялись бы заказчику на дом в обмен на требующие стирки. Такой вид услуг обошелся бы заказчику недорого, но сколько это экономит драгоценного времени у молодых матерей! Да и вообще в квартире, где находится грудной ребенок, стирать и сушить белье негигиенично.

Для улучшения бытового обслуживания трудящихся государство выделило значительные ассигнования капиталовложений. Лишь в Москве в предстоящем трехлетии имеется в виду израсходовать на эти цели не менее трехсот миллионов рублей. Вопрос в том, как наиболее рационально использовать эти средства.

На некоторых заводах и фабриках организовали прямо в цехах прием заказов на индивидуальный пошив, а также на ремонт одежды и обуви. Эта форма бытового обслуживания получает все более широкое распространение; почин принадлежит коллективу комбината бытового обслуживания Пролетарского района Риги. Сейчас прием заказов производится в цехах двенадцати промышленных предприятий города.

Не знаю, занимается ли у нас кто-либо повседневным изучением существующих и разработкой новых форм бытового обслуживания. А надо бы.

Хочется поделиться некоторыми соображениями.

В больших городах наиболее целесообразно создавать крупные механизированные фабрики с широкой сетью приемных пунктов. В сельской же местности рационально строить комбинаты бытового обслуживания, в которых можно получить комплекс различных бытовых услуг: ремонт одежды, обуви, часов, химчистка, прием в стирку белья.

Наряду со строительством крупных фабрик-прачечных с широкой сетью приемных пунктов следовало бы создавать выездные небольшие прачечные, смонтированные на автомашинах. Это даст возможность непосредственно по месту жительства населения осуществить стирку и кипячение белья в сетках, без сушки и глажения. Опыт таких автофургонов показал, что дело это весьма перспективное.

В городских микрорайонах нужно предусматривать в первых этажах новых домов не только магазины, но и предприятия бытового обслуживания. В Москве на Лужнецкой набережной при строительстве нового жилого массива было создано комплексное обслуживание населения различными видами бытовых услуг. Там имеется домовая кухня и продажа пищевых полуфабрикатов, приемные пункты, куда население сдает в стирку белье, химчистка и ремонт одежды и обуви, часов и авторучек и так далее. Этой инициативе должны последовать и другие города.

Для человека досуг — это возможность использовать время по своему усмотрению. Чем ближе к коммунизму, тем шире становится круг духовных потребностей и тем они настоятельнее. Это значит, что неотложно должны быть приняты меры к резкому сокращению непроизводительных потерь времени членами рабочих семей, к увеличению их полезного досуга для повышения культурного уровня.

М. МАРКОВИЧ,



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. И. КУЗНЕЦОВ. Основные направления технического прогресса в СССР в 1959—1965 годах. Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС. М. 1960. 107 стр. Цена 1 р. 85 к.

Примечательнейшим явлением нашей эпохи является мирное экономическое соревнование двух мировых систем — социализма и капитализма. В. И. Ленин указывал: «...берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины». Выполняя решения XXI съезда КПСС, Советская страна выходит на широкие просторы технического прогресса, уверенно, шаг за шагом, перегоняя капиталистические страны.

Об основных направлениях технического прогресса в СССР рассказывает в своей книге профессор В. И. Кузнецов. Это электрификация народного хозяйства, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, ускоренное развитие химической промышленности, интенсификация технологических процессов.

Автор не только знакомит читателя с выдающимися достижениями советской науки и техники, но и заглядывает в завтрашний день.

«Производительные силы Советского Союза,— пишет в заключение автор,— имеют неограниченные возможности для своего процветания, а наша промышленность способна развиваться высокими темпами, по сравнению с которыми бледнеют темпы роста капиталистической промышленности даже в самые лучшие годы ее существования».

В. Ю. СТЕКЛОВ. Электрификация в период развернутого строительства коммунизма. «Советская Россия». М. 1959. 135 стр. Цена 2 р. 90 к.

В контрольных цифрах на 1959—1965 годы говорится, что это десятилетие явится «решающим этапом в осуществлении идеи Ленина о сплошной электрификации страны». Книга В. Стеклова призвана вооружить читателя знанием проблем, поставленных семилеткой в области энергетики. Автор рисует широкую картину тех материальных благ, которые получит наш народ при реализации этого плана. Убыстрение темпов производства электроэнергии — к

концу семилетки ее выработка возрастет более чем вдвое — позволит СССР приблизиться к абсолютной величине производства электроэнергии в США. В 1965 году мощность советских электростанций превзойдет суммарную мощность, имевшуюся в 1958 году на всех электростанциях Англии, ФРГ, Франции, Италии, Австрии, Норвегии, Дании, Бельгии и Швейцарии, вместе взятых.

Большое значение приобретает сооружение электростанций, оборудование которых будет установлено не в зданиях, а под открытым небом. Преимущества очевидны, особенно если привести такой пример: объем машинного зала Волжской ГЭС составляет 4 500 тысяч кубометров, в то время как объем Исаакиевского собора в Ленинграде — 310 тысяч кубометров; напомним, что даже грандиозное здание МГУ составляет 2 611 тысяч кубометров.

Интересные сведения приведены в главе, посвященной международному значению электрификации Советского Союза.

Книга богато иллюстрирована рисунками, диаграммами и схемами.

М. Ю. РАГИНСКИЙ. Воспитательная роль советского суда (по уголовным делам). Юридическое издательство. М. 1959. 151 стр. Цена 1 р. 90 к.

Советский суд не только карает. На него, по словам В. И. Ленина, ложится «громкая задача воспитания населения к трудовой дисциплине». В книге М. Рагинского подробно исследуется воспитательное значение судебного разбирательства, воспитательная роль приговора и таких мер, все шире применяемых сейчас судами, как условное осуждение. Автор раскрывает также смысл деятельности судей вне судебного разбирательства — отчеты перед населением, пропаганда советских законов.

В книге справедливо подчеркивается, что судья должен не только осудить человека, если он виновен, но и дать понять осужденному, что советский суд открывает перед ним возможность исправиться и после отбытия наказания стать на честный трудовой путь.

Общие теоретические положения автор иллюстрирует многочисленными примерами из судебной практики.

А. КАРАГАНОВ. Характеры и обстоятельства. Сборник статей. «Советский писатель». М. 1959. 398 стр. Цена 9 р. 50 к.

Статьи, вошедшие в сборник критика А. Караганова, написаны в разное время, от 1951 до 1958 года. Каждая из статей (всего их тринадцать), будь то заметки о современной комедии (1953) или исследование о творческой лаборатории драматурга — «Автор и герой в пьесе» (1958), и сегодня не потеряла своей актуальности.

Основная проблема, которой посвящено большинство статей сборника (что подчеркнуто самым заголовком книги), — принцип воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах. Не приспособливать характеры действующих лиц к обстоятельствам, не урезывать и обламывать своих героев, а изображать их во всей сложности реальных конфликтов, во всем многообразии жизненных связей — вот мысль, которую автор развивает на протяжении многих страниц книги (статьи «Раскрытие характера», «Характеры и обстоятельства», «Сюжет — история характера» и другие).

В статьях «Ленин и «литературная часть партийного дела», «Поучительный опыт», «Жизнь и метод», «Кремлевские куранты», «Автор и герой в пьесе» на примерах драматургии Горького, Тренева, Афиногенова, Погодина и других критик особо подчеркивает, как важны для художника партийное, страстное отношение к жизни, неустанное поиски нового.

В некоторых работах А. Караганов выступает против обветшалых догм, наносящих вред искусству, против «власти шаблона и эстетических канонов». В статье «Каноны и творчество» он пишет: «Каноны, возведенные в ранг законов, часто становятся прокрустовым ложем жизненной правды...»

Статья «Когда автор молод» посвящена творчеству молодых драматургов, с чьими пьесами зритель познакомился лишь в последние годы.

А. СЕЛИВАНОВСКИЙ. В литературных боях. Избранные статьи и исследования (1927—1936). «Советский писатель». М. 1959. 464 стр. Цена 12 р. 40 к.

Критик А. Селивановский принадлежал к поколению писателей, чьи первые литературные выступления совпали с первыми годами Советской власти. Он начал писать еще тогда, когда с оружием в руках защищал Советскую республику. Позже работал в газете «Всесоюзная кооперация», редактировал «Луганскую правду», был организатором и первым председателем старейшей писательской организации «Забой» (Украина). В конце 1926 года он автор статей, опубликованных в центральных газетах и журналах, один из активных деятелей РАППа, а затем — Союза советских писателей.

Как критик А. Селивановский отличался непримиримостью ко всем проявлениям буржуазной идеологии, боролся за высокую идейность советской литературы. В то

же время в творчестве А. Селивановского конца двадцатых — начала тридцатых годов проявились и ошибки, свойственные РАППу, в частности вульгарный социологизм. Позже А. Селивановский освободился от своих ошибок и до последних дней деятельности (д.о 1937 года) активно участвовал в творческой разработке проблем социалистического реализма.

Аннотируемый сборник статей А. Селивановского имеет два раздела. В первом из них — «Статьи и рецензии» — автор анализирует значительные произведения советской литературы, появившиеся за период с 1927 по 1936 год («Швабрия» Л. Кассиля, «Я люблю» А. Авдеенко, романы «День второй» и «Не переводя дыхания» И. Эренбурга, «Всадники» Ю. Яновского, «Дорога на океан» Л. Леонова). Отдельная статья этого раздела посвящена обзору прозы за 1932 год, где критик разбирает произведения М. Шолохова, Н. Тихонова, А. Веселого, Ф. Гладкова, А. Фадеева и других писателей. Здесь же опубликован критический очерк о поэтах «Искры», статьи, посвященные И. Ильфу и Е. Петрову, творчеству Скитальца, Н. Дементьева.

Второй раздел сборника составляют статьи из книги «Очерки по истории русской советской поэзии», над которой автор работал несколько лет (издана в 1936 году). В них исследуется творчество Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого, Ильи Сельвинского и Николая Тихонова, Александра Безыменского и Владимира Луговского.

ПИСАТЕЛИ-НИЖЕГОРОДЦЫ (Забытые имена). Критико-биографические очерки. Горький. 1960. 158 стр. Цена 3 р.

Авторы почти всех работ, собранных в этой книге, — студенты Горьковского государственного педагогического института им. А. М. Горького, в издании которого и вышел этот сборник. В своих очерках о нижегородских писателях второй половины девятнадцатого — начала двадцатого века, чьи имена оказались впоследствии забытыми, они использовали материалы местных архивов, музеев, частных собраний. Авторы (И. Никитина, И. Морозова, М. Габелев, Л. Весновская, Ю. Булаев и доцент Л. Фарбер) стремились показать то ценное в творчестве нижегородских писателей, что достойно внимания сегодняшнего читателя.

Почти все писатели, которым посвящена книга, были связаны с А. М. Горьким. Поэтому естественно, что в очерках рассказывается и о влиянии, оказываемом классиком русской литературы на писателей-нижегородцев: на Л. Граве, А. Мысовскую, Н. Новикову, П. Клокова, А. Сулова, С. Елпатьевского, А. Панова.

Хотя не все рассматриваемые в сборнике писатели родились в Нижнем Новгороде, но пребывание в этом городе явилось в творчестве каждого из них значительной вехой. Так, поэт П. Шумахер (очерк И. Никитиной) прожил в Нижнем несколько лет (с 1855 по 1861 год). Именно здесь, отойдя

от эстетских настроений, характерных для первого периода его творчества, он обратился к общественной, политической сатире.

В сборнике приведены также данные о творческих связях нижегородских литераторов с А. Островским, Т. Шевченко, В. Короленко и другими.

Сборник вышел под редакцией Л. Фарбера.

А. КОПТЕЛОВ. Сад. Роман. «Советский писатель». М. 1959. 524 стр. Цена 9 р. 80 к.

Сибирский писатель А. Коптелов, автор известной книги «Великое кочевье», свой роман «Сад» впервые опубликовал в 1955 году в журнале «Сибирские огни». В центре романа — образ садовода Трофима Дорогина, человека страстного, дерзновенного, беззаветно любящего свое дело. В условиях сурового сибирского климата он, наперекор силам природы, выращивает теплолюбивые плодовые деревья.

При всей поэтичности замысла, отличном знании автором хозяйства Сибири, ее природы и при удаче в изображении образа главного героя, в романе были и существенные недостатки (о них говорила в свое время критика).

Сейчас роман вышел в значительно переработанном виде.

Читатель найдет в романе поэзию сельского труда, познакомится с людьми, самоотверженно борющимися со всем тем, что мешает их движению вперед, к светлому будущему.

ЕВГ. ПЕРМЯК. Семьсот семьдесят семь мастеров. Сказки. Свердловское книжное издательство. 1959. 138 стр. Цена 2 р. 85 к. Сказка о стране Терра-Ферро. Издательство «Детский мир». М. 1959. Цена 7 р. 70 к.

Сказки Евг. Пермяка имеют одну отличительную особенность: о чем бы в них ни говорилось, о каком бы времени ни шла речь — о глубокой ли древности или о наших днях, — в них всегда присутствует прославление труда. В посвященной П. П. Бажову сказке «Про долговекого мастера» автор пишет: «Пятьдесят шесть тонких подделок вычеканил словесных дел мастер, и добрая половина из них — о руках, о труде... Великий волшебник — труд одарил его силой, против которой бессильно даже само время».

Произведения, собранные в первой из аннотируемых книг, связаны с родным краем писателя — Уралом. Главные персонажи чуть ли не всех сказок — умельцы, мастера, делающие чудеса своими руками и благодаря трудовой смекалке находящие выход из самого, казалось бы, безысходного положения.

Сказка о стране Терра-Ферро, изданная отдельной книгой, и по своему характеру и по форме отличается от других сказок Евг. Пермяка. В ней — весьма пунктирно, через историю железа — рассказана как бы история человечества. Но и здесь автор не забывает упомянуть о том главном, ради чего

она написана: «...На этом можно было бы и закончить сказку о потерянном и возвращенном железе. Этого было бы достаточно, чтобы ты и твои сверстники поняли, что значит железо в жизни людей и как нужно дорожить им, вещами, сделанными из него, будь то станок, трактор или всего лишь столлярные инструменты...»

ГЕОРГИЙ ГАЙДОВСКИЙ. Возвращение. Повесть в письмах. Воениздат. М. 1959. 312 стр. Цена 5 р. 75 к.

Отношение людей в солдатских шинелях к своему долгу перед Родиной, к выпавшему на их долю тяжкому ратному труду — вот что лежит в основе книги «Возвращение». Она написана военным журналистом, которому стоит «провести день-другой в редакции, как тянет туда, на передний край, где люди и живут, и думают, и чувствуют иначе», человеком, участвовавшим в обороне Одессы, в славных делах Севастополя, а также в двух новороссийских и в керченском десантах.

Июль 1942 года — май 1944 года. С отхода наших войск из Севастополя и до того момента, когда над городом вновь взвился алый стяг, — таковы хронологические рамки событий, описанных в этой «повести в письмах», которые с фронта посылал герой книги своим родным.

Р. РАЙТ-КОВАЛЕВА. Роберт Бернс. «Молодая гвардия». М. 1959. 366 стр. Цена 6 р. 90 к.

Замечательные стихи Роберта Бернса, переведенные С. Маршаком, стали широко известны и любимы в нашей стране.

Недавно советские читатели — вместе с шотландцами — отметили двухсотлетие со дня рождения великого поэта. Вышло пятое издание стихов Бернса, появились статьи в журналах, газетах, и вот первая на русском языке большая его биография.

«Каким образом обыкновенные слова становятся песней, которую веками поет народ, гимном и маршем, провожающим героев на подвиг, признанием в любви, бичом сатиры, плясовой или колыбельной?» — спрашивает автор и отвечает всей своей книгой, прослеживая с колыбели до последних дней жизнь Роберта Бернса, его человеческие привязанности, окружение, идейные симпатии и антипатии — словом, весь его мир. В нем разгадка тайны бернсовских стихов, глубоко народных, хотя Бернс всегда пишет о себе. «Бернс пишет о том, как он сам пашет землю, сам целует девушку, сам издевается над святошами и ханжами», — замечает Р. Райт-Ковалева.

Хорошая особенность книги в том, что везде, где только возможно, автор представляет слово Бернсу: приводит его стихи, письма, дневники.

Каждая новая книга о Бернсе, говорит отечественный биограф Бернса Джеймс Барк, должна стать еще одним камешком в кургане его славы. Таким камешком будет и эта книга.

П. А. ПАВЕЛКИН. Что такое религия. Госполитиздат. М. 1960. 336 стр. Цена 5 р.

Определяя задачи партийной пропаганды в современных условиях, ЦК КПСС в своем послановлении подчеркнул первоочередное значение формирования нового человека с коммунистическими чертами характера, привычками и моралью человека, избавленного от пережитков прошлого, в том числе и от религиозных предрассудков. Этой цели служит и книга П. Павелкина.

С рассмотрения первоочередного вопроса: что такое религия, в чем ее сущность, — и начинается книга. Особое место отведено критике богословского понимания религии. Автор рассказывает также о реакционной сущности «богостроительства» — религиозно-философского течения, возникшего среди русской буржуазной интеллигенции после поражения революции 1905—1907 годов.

В книге раскрывается социальная роль религии в доклассовом и классовом обществе. Большое внимание уделено отношению религии к науке, искусству, нравственности.

Чем же объясняется живучесть религии в условиях победившего социализма? Подробному анализу этого явления посвящена отдельная глава. Здесь автор затрагивает такие вопросы, как традиции и пережитки старого быта, влияние буржуазной идеологии и другие причины, содействующие сохранению религиозных верований, обрядов, суеверий.

Несомненный интерес для пропагандиста представит глава, в которой говорится о формах и методах научно-атеистической пропаганды.

И. РОМАНОВ. Творческое наследие М. И. Чигорина. «Физкультура и спорт». М. 1960. 404 стр. Цена 8 р. 65 к.

В многочисленных статьях о матче Ботвинник — Таль часто упоминалось имя Чигорина. Это закономерно, так как именно он был основоположником русской шахматной школы, на лучших традициях которой выросло советское шахматное искусство. Книга кандидата исторических наук И. Романова «Творческое наследие М. И. Чигорина» представляет собой обстоятельное исследование. Эта монография продолжает и дополняет известный труд Н. Грекова о Чигорине, явившийся первой попыткой воссоздать творческий облик замечательного русского мастера.

Автор вводит в мир шахматной литературы целый ряд ценных материалов, рассыпанных в изданиях дореволюционной периодической печати и потому мало доступных широкому кругу шахматистов. Достаточно сказать, что ему удалось выявить свыше тысячи партий Чигорина, а также множество его статей и заметок о путях развития шахматного искусства.

Книге предпослана большая статья заслуженного шахматного мастера П. А. Романовского, содержащая творческую характеристику Чигорина, на партиях которого сегодня учатся миллионы шахматистов нашей страны и всех стран мира.

К. КОСТРИН. Федор Прядунов и его нефтяной завод (К вопросу о возникновении в XVIII веке, впервые в мире, переработки нефти на Ухте). Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1959. 40 стр. Цена 60 к.

В 1959 году исполнилось сто лет со дня обнаружения нефти Эдвином Дрейком, проводившим изыскательские работы и бурение в Пенсильвании, где после многих неудач им было найдено «каменное масло». В США состоялась юбилейная торжества, была выпущена специальная марка. Во Франции была организована выставка, посвященная нефтяной промышленности. Во многих странах вышли в свет книги по истории нефти.

В свете всех этих событий следует особо отметить выход в Сыктывкаре скромной брошюры, написанной одним из видных знатоков северной русской нефти К. Костриным. В этой отлично документированной работе обстоятельно рассказывается о возникновении на Ухте первого в мире «нефтяного завода», сооруженного в 1745—1746 годах архангельским рудоскателем и промышленником Федором Савельичем Прядуновым.

В брошюре приведены впервые публикуемые данные, почерпнутые в архивных материалах и сообщенные автору геологами, охотниками, старожилами, хорошо знавшими район Ухты. Автор знакомит с историей ухтинской нефти до Прядунова и приводит сведения о деятельности другого замечательного энтузиаста освоения северной нефти — М. К. Сидорова. Брошюра заканчивается содержательной справкой «Наша советская Ухта».



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 22—25 декабря 1959 г. Стенографический отчет. 448 стр. Цена 7 р. 50 к.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898—1960. Часть IV. 1954—1960. Издание седьмое. 640 стр. Цена 11 р. 20 к.

Борьба КПСС за социалистическую индустриализацию страны и подготовку сплошной коллективизации сельского хозяйства (1926—1929 годы). Документы и материалы. 512 стр. Цена 8 р. 30 к.

В. И. Ленин во главе великого строительства. Сборник воспоминаний о деятельности В. И. Ленина на хозяйственном фронте. 328 стр. Цена 5 р. 70 к.

Ленин о внешней политике Советского государства. 592 стр. Цена 10 р.

Ленин — журналист и редактор. 552 стр. Цена 7 р. 70 к.

Ленин о библиотечном деле. 184 стр. Цена 1 р. 70 к.

Н. С. Хрущев. Мир без оружия — мир без войн. Том 1. Январь—июль 1959 г. 512 стр. Цена 7 р. Том 2. Август—декабрь 1959 г. 440 стр. Цена 7 р.

А. Андреев, Б. Панков, Е. Смирнова. Ленин в Кремле. 120 стр. Цена 2 р.

Без маски. Сборник фельетонов. 112 стр. Цена 1 р. 15 к.

Индрих Веселый. Хроника февральских дней 1948 года в Чехословакии. 264 стр. Цена 4 р. 55 к.

И. А. Гладков. В. И. Ленин — организатор социалистической экономики. 384 стр. Цена 7 р. 50 к.

XIX съезд Коммунистической партии Нидерландов (Амстердам, 26—29 декабря 1958 года). 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. А. Карпинский. Владимир Ильич Ленин — вождь — товарищ — человек. 64 стр. Цена 70 к.

П. Г. Софинов. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (1917—1922 гг.). 248 стр. Цена 5 р.

В. Ф. Стельмашук. Использование товарно-денежных отношений для построения социализма в СССР. 192 стр. Цена 2 р. 30 к.

И. Трифонов. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы нэпа (1921—1937). 280 стр. Цена 7 р.

Б. Яковлев. Ленин-публицист. 240 стр. Цена 5 р.

СОЦЭКГИЗ

И. Г. Булатов. Кооперация и ее роль в подготовке сплошной коллективизации. 200 стр. Цена 4 р. 10 к.

И. Гаек. Мюнхен. 228 стр. Цена 6 р.

А. П. Кладт, В. А. Кондратьев. Братя по оружию. 224 стр. Цена 2 р. 70 к.

Е. И. Ларькина. Подготовка колхозных кадров в период массовой коллективизации. 168 стр. Цена 5 р. 20 к.

М. Т. Ломовская, А. Ф. Трутнева. Разведчики будущего (О славном движении бригад и ударников коммунистического труда). 136 стр. Цена 3 р. 15 к.

Международная жизнь КНР в датах и фактах (Хроника событий). 204 стр. Цена 1 р. 85 к.

И. М. Мрачковская. Развитие В. И. Лениным марксистской теории воспроизводства в борьбе против либеральных народников и «легальных марксистов». 176 стр. Цена 4 р. 70 к.

Новые формы эксплуатации и рабочее движение (Обмен мнениями между марксистами ряда стран Европы, Америки и Азии по вопросу теории и практики «человеческих отношений» на капиталистических предприятиях. Рим, 13—15 октября 1958 года). 344 стр. Цена 7 р. 10 к.

Л. Н. Пажитнов. У истоков революционного переворота в философии. 170 стр. Цена 4 р. 45 к.

Я. Я. Эттингер. Бонн рвется в Африку... 108 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Бакинский. Придет день. Роман. 380 стр. Цена 6 р. 55 к.

С. Журахович. Простые заботы. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 308 стр. Цена 5 р. 35 к.

Н. Заболоцкий. Избранное. 240 стр. Цена 5 р. 70 к.

М. Зошенко. Рассказы и повести. 680 стр. Цена 10 р. 60 к.

Н. Ивантер. Снова август. Повесть. 284 стр. Цена 5 р. 15 к.

З. Мансур. В эту минуту. Стихи. Перевод с татарского. 100 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Озеров. Александр Фадеев. Творческий путь. 404 стр. Цена 9 р. 40 к.

И. Осипов. Чудо на Каспии. Очерки. 336 стр. Цена 5 р. 70 к.

Ю. Помозов. Есть на Балтике остров. Повесть. 332 стр. Цена 5 р. 80 к.

М. Рыльский. Далекие небосклоны. Стихи. Перевод с украинского. 128 стр. Цена 2 р. 10 к.

В. Солоухин. Ветер странствий. Рассказы. 276 стр. Цена 5 р. 10 к.

П. Сычев. Великий тайфун. Третья книга повести «У Тихого океана». 384 стр. Цена 6 р. 30 к.

М. Чарный. Артем Веселый. Критико-биографический очерк. 136 стр. Цена 4 р. 10 к.

В. Шкловский. Художественная проза. Размышления и разборы. 628 стр. Цена 14 р. 20 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

О Ленине. Воспоминания. Рассказы. Очерки. 459 стр. Цена 9 р.

Стихи о Ленине. Сборник. 359 стр. Цена 6 р. 70 к.

М. К. Азадовский. Статьи о литературе и фольклоре. 547 стр. Цена 14 р. 20 к.

А. Вулис. И. Ильф, Е. Петров. Очерк творчества. 376 стр. Цена 6 р. 40 к.

Джордж Дюморье. Трильби. Роман. Перевод с английского. 335 стр. Цена 5 р. 90 к.

Петр Комаров. Стихотворения. 263 стр. Цена 4 р.

Социалистический реализм и классическое наследие (Проблема характера). Сборник статей. 427 стр. Цена 11 р. 20 к.

Илья Чавчавадзе. Сочинения. В двух томах. Перевод с грузинского. Том 1. 199 стр. Цена 3 р. 15 к. Том 2. 307 стр. Цена 5 р. 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Великий друг молодежи. Воспоминания старых коммунистов и комсомольцев о В. И. Ленине. 102 стр. Цена 1 р. 55 к.

Молодые годы В. И. Ленина. По воспоминаниям современников и документам. 512 стр. Цена 8 р. 60 к.

В. Авдеев. Моя Одиссея. Рассказы. 302 стр. Цена 5 р. 90 к.

Савва Головановский. Две поэмы. 136 стр. Цена 4 р. 35 к.

Т. Епхийев. Семья Цораевых. Роман. 200 стр. Цена 2 р. 90 к.

Л. Кассиль. Маяковский сам. 160 стр. Цена 3 р. 95 к.

Т. Керашев. Состязание с мечтой. Роман. 223 стр. Цена 4 р. 75 к.

Люди высокого звания. Очерки. 256 стр. Цена 4 р. 95 к.

Меджид. Иные времена. Рассказы. Перевод с дагестанского. 128 стр. Цена 1 р. 85 к.

М. Назаренко. Ветка от доброго дерева. Повесть и рассказы. 206 стр. Цена 3 р.

Наш Маяковский. Сборник воспоминаний. 160 стр. Цена 2 р. 10 к.

Пханишварнатх Рену. Грязное покрывало. Роман. Перевод с хинди. 400 стр. Цена 8 р. 70 к.

ДЕТГИЗ

Айбек (Муса Ташмухамедов). В поисках света. Пакистанская повесть. 168 стр. Цена 3 р. 65 к.

А. Багдай. 0:1 в первом тайме. Повесть. Перевод с польского. 200 стр. Цена 4 р. 15 к.

Л. Воронкова. Детство на окраине. Повесть. 304 стр. Цена 5 р. 75 к.

Ф. Зубарев. В ледяной западне. Рассказы. 104 стр. Цена 2 р. 55 к.

Р. Кармен. По Индии. 128 стр. Цена 7 р. 85 к.

М. Матусовский. Подмосковные вечера. Стихи. 112 стр. Цена 2 р. 15 к.

Д. Нагишкин. Храбрый Азмун. Амурские сказки. 224 стр. Цена 4 р. 55 к.

В. Овчинников. Тысячелетия и годы. 208 стр. Цена 7 р. 10 к.

Н. Роллечек. Избранницы. Повесть. Перевод с польского. 208 стр. Цена 4 р. 20 к.

Г. Скребицкий. Листопадник. Рассказы и сказки. 192 стр. Цена 3 р. 70 к.

В. Фрей. Республика Бхарат. 10 месяцев в Индии. 160 стр. Цена 4 р. 5 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Ю. В. Арутюнян. Механизаторы сельского хозяйства СССР в 1929—1957 гг. (Формирование кадров массовых квалификаций). 344 стр. Цена 12 р. 85 к.

М. М. Богуславский. Основные вопросы изобретательства в международном частном праве. 284 стр. Цена 9 р. 70 к.

К. А. Власов, Е. И. Кутукова. Изумрудные копии. 251 стр. Цена 16 р. 45 к.

Вопросы диалектического материализма. Элементы диалектики. 382 стр. Цена 13 р. 80 к.

Э. Б. Генкина. Ленин — председатель Совнаркома и СТО. 255 стр. Цена 8 р.

Э. В. Ильенков. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса. 286 стр. Цена 9 р. 90 к.

Б. Г. Кузнецов. Беседы о теории относительности. 223 стр. Цена 3 р. 40 к.

В. Л. Лоссиевский и Л. Г. Плискин. Вопросы автоматизации непрерывных производственных процессов. 112 стр. Цена 4 р.

В. И. Палладин. Избранные труды. 244 стр. Цена 15 р. 80 к.

Н. С. Поспелов. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. 252 стр. Цена 10 р. 20 к.

Ю. И. Соловьев, О. Е. Звягинцев, Николай Семенович Курнаков (Жизнь и деятельность). 208 стр. Цена 10 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Воспитание учащихся в труде. 264 стр. Цена 5 р. 65 к.

Новая система народного образования в СССР. Сборник документов и статей. 604 стр. Цена 15 р. 75 к.

По пионерским ступеням. Из опыта работы учителей и вожатых с пионерами. 224 стр. Цена 3 р. 80 к.

ГЕОГРАФИЗ

Н. Н. Баранский. Экономическая география. Экономическая картография. 450 стр. Цена 16 р. 75 к.

В. И. Клипель, В. П. Сысоев. За черным соболем. 144 стр. Цена 2 р. 70 к.

Коллектив авторов. Вопросы географии (Охрана природы). 310 стр. Цена 10 р. 75 к.

Коллектив авторов. На суше и на море. Сборник. 550 стр. Цена 11 р. 80 к.

С. Д. Муравейский. Реки и озера. Гидробиология. Сток. 388 стр. Цена 14 р. 50 к.

А. Е. Святловский. К вулканам Камчатки. 100 стр. Цена 1 р. 65 к.

М. Сеницын. По ненецкой земле. 116 стр. Цена 1 р. 85 к.

О. Ф. Хлудова. Волны над нами. 216 стр. Цена 4 р. 25 к.

О. Г. Чистовский. В стране великих гор. 198 стр. Цена 3 р. 5 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Великий поход 1-го фронта китайской Рабоче-крестьянской Красной Армии. Воспоминания. Перевод с китайского. 566 стр. Цена 13 р.

Р. О. Гропп. Диалектический материализм. Краткий очерк. Перевод с немецкого. 122 стр. Цена 2 р. 25 к.

Морис Дрюон. Узница Шато-Гайяра (Из серии «Проклятые короли»). Перевод с французского. 216 стр. Цена 5 р. 85 к.

Юсуф Идрис. «Четвертый пациент» и другие рассказы. Перевод с арабского. 136 стр. Цена 3 р. 60 к.

Патрик Кессель. Враги общества. Роман. Перевод с французского. 263 стр. Цена 6 р. 85 к.

М. Коль. Представительство Китая в международном общении. Перевод с немецкого. 150 стр. Цена 3 р.

Альберт Норден. Фальсификаторы. К истории германо-советских отношений. Перевод с немецкого. 271 стр. Цена 6 р. 85 к.

Ингвалл Свинсос. В тени копра. Роман. Перевод с норвежского. 166 стр. Цена 4 р. 50 к.

Слышу, поет Америка. Поэты США. Перевод с английского. 174 стр. Цена 3 р. 70 к.

Женевьева Табуи. Двадцать лет дипломатической борьбы. Перевод с французского. 464 стр. Цена 9 р. 45 к.

Джордж Уилер. Американская политика в Германии (1945—1950). Сокращенный перевод с немецкого. 308 стр. Цена 7 р. 15 к.

Джон Уэйн. Спешу вниз. Роман. Перевод с английского. 280 стр. Цена 7 р.

Г. Хаберлер. Процветание и депрессия. Перевод с английского. 586 стр. Цена 26 р.

Фумико Хаяси. Шесть рассказов. Перевод с японского. 135 стр. Цена 3 р. 10 к.

Чжоу Ли-бо. Весна приходит в горы. Роман. Перевод с китайского. 318 стр. Цена 9 р. 85 к.

Л. Штерн. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Германию и германское рабочее движение. Перевод с немецкого. 403 стр. Цена 9 р. 50 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Я. М. Бельсон. Современное буржуазное государство и «Народное представительство». 200 стр. Цена 6 р. 90 к.

А. И. Лукьянов, Б. М. Лазарев. Советское государство и общественные организации. 232 стр. Цена 6 р. 35 к.

Ю. Г. Судницын, Б. С. Хангельдыев и другие. Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов. 340 стр. Цена 10 р. 35 к.

В. М. Чхиквадзе. Вопросы социалистического права и законности в трудах В. И. Ленина. 344 стр. Цена 12 р. 75 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. М. Маръямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 23/III 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 26/IV 1960 г.
А 05503. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.200.

Зак. № 593.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.